

Н О В Ы Й  
М И Р

2

Н О В Ы Й  
М И Р

1962

2



1962

# Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 2

Февраль, 1962 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
А. ТВАРДОВСКИЙ — Космонавту, стихотворение	3
ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ — Один из нас, повесть	5
ФЕДОР ЕФИМОВ — Ветер в грудь, стихотворение	64
С. ЗАЛЫГИН — Тропы Алтая, роман. Продолжение	65
ИЗ ЧУВАШСКОЙ ПОЭЗИИ. Яков Ухсай. О лошади.— Геннадий Айги. Куст сирени в ночном саду, Снег, Сказка, Зимние ночи. Перевели Бо- рис Иррин и Д. Самойлов	132
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Баллада о четвертой жене (Из стихов об Африке)	140
В. КАВЕРИН — Семь пар нечистых, повесть	142

### ПУБЛИЦИСТИКА

И. ДУБИНСКИЙ — Славные имена, славные страницы	178
--	-----

### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ — В центре циклона	188
------------------------------------	-----

### К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ А. С. ПУШКИНА

ЭММА ГЕРШТЕЙН — Вокруг гибели Пушкина (По новым материалам)	211
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. МОТЫЛЕВА — Над страницами Томаса Манна	227
---	-----

### К 70-ЛЕТИЮ К. А. ФЕДИНА

И. Соколов-Микитов. Письмо другу.— Константин Паустовский. Взамен юбилейной речи.— Г. Марков. О Константине Федине	243
---	-----

(См. на обороте)

### ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	253
<b>М. Блинкова.</b> Испытание буднями.— <b>В. Войнович.</b> Хива, 20-й год.— <b>Л. Лебедева.</b> Связь времён.— <b>Л. Лазарев.</b> Материал и исследование.— <b>Е. Эткинд.</b> Новый Рабле.	
<i>Политика и наука</i>	271
<b>Л. Зак,</b> кандидат исторических наук. Документы пролетарского интернационализма.— <b>А. Кондратович.</b> Бессмертие рода людского.— <b>Евг. Бурче.</b> Книга о великом русском летчике — <b>Д. Гурвич, И. Шаскольский,</b> кандидаты исторических наук. Правда, идущая из глубины веков.	
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

---

---

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

## КОСМОНАВТУ

Когда аэродромы отступленья  
Под Ельней, Вязьмой иль самой Москвой  
Впервые новичкам из пополненья  
Давали старт на вылет боевой,—

Прости меня, разведчик мирозданья,  
Чьим подвигом в веках отмечен вск,—  
Там тоже, отправляясь на заданье,  
В свой космос хлопцы делали разбег.

И пусть они взлетали не в ракете  
И не сравнить с твоею высотой,  
Но и в своем фанерном драндулете  
За ту же вырывались черту.

За ту черту земного притяженья,  
Что ведает солдат перед броском,—  
За грань того особого мгновенья,  
Что жизнь и смерть вмещает целиком.

И, может быть, не меньшею отвагой  
Бывали их сердца наделены,  
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов  
Не стоил подвиг в будний день войны.

Но не за тем той памяти кровавой  
Я нынче вновь разматываю нить,  
Чтоб долю твоей всемирной славы  
И тех героев как бы оделить.

Они горды, они своей причастны  
Особой славе, принятой в бою,  
И той одной, суровой и безгласной,  
Не променяли б даже на твою.

Но кровь одна, и вы — родные братья,  
И не в долгу у старших младший брат.  
Я лишь к тому, что всей своею статью  
Ты так похож на тех моих ребят.

И выправкой, и складкой губ, и взглядом,  
И этой прядкой на вспотевшем лбу...  
Как будто миру — со своею рядом —  
Их молодость представил и судьбу.

Так сохранилась ясной и нетленной,  
Так отразилась в доблести твоей  
И доблесть тех, чей день погас бесценный  
Во имя наших и 'грядущих дней.



---

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

★

## ОДИН ИЗ НАС

*Повесть*

1

**Д**о той минуты еще так далеко, что ее может и не быть вовсе. А пока над степями Ставрополя, над зыбкими, в мареве, перелесками жарит июльское солнце. Поезд медленно ползет от полустанка к полустанку. Уже скрылся с глаз пыльный Прикумск — наш родной городок. Мы с Колей уезжаем далеко — в Москву, в институт. Чувствуем себя счастливыми, и нам обоим немножечко грустно и тревожно. Впереди незнакомые города, которых мы никогда не видели, Москва, где каждые четверть часа бьют куранты и где бог знает чего и кого только нет.

В вагоне пусто и душно, пахнет нагретой краской. Две старушки дремлют у своих кошелок и тощих узелков.

Не сидится. Мы шлеяемся из конца в конец вагона, заглядываем в пустые купе, подолгу стоим в тамбуре, принимая на себя встречный ветер. Коля начинает петь. Я стараюсь тихонько, на низах вторить ему. Ветер сбивает у Коли на сторону каштановую челку, пузырит за спиной белую рубашку.

Из соседнего вагона выходит высокий вислоусый проводник. Минуту стоит возле нас, слушает песню, а затем просит очистить тамбур.

— Ну-ка, от греха подальше, — говорит он, пропуская нас впереди себя. В вагоне совсем уже другим голосом возвещает: — Плаксей-ка-а!

Поезд останавливается у тихонькой станции, с прохладной тенью от кирпичного зданьца, с чисто подметенной и побрызганной земляной платформой. У железной ограды стоит бак с медной кружкой на гремучей цепи. Низко свисает почерневший колокол. В холодочке важно, как гусь, вышагивает дежурный милиционер в фуражке с красным околышем.

Жидкая толпа пассажиров расплзается по вагонам, проплывает ни на что не похожий звон станционного колокола, и мы снова трогаемся.

Прощай, наш родной Прикумск! Вот он, кажется рядом — и уже совсем, совсем далеко.

2

В конце концов ко всему привыкаешь.

Пересев на почтовый Минводы — Москва, первую ночь мы не смыкаем глаз, зато вторую уже посапываем на верхних полках. Но как бы там ни было, нас ни на минуту не покидает предчувствие, которое можно высказать только одним словом: Москва...

И вот заерзали в душном вагоне пассажиры, громче застучали колеса, замелькали высокие дощатые платформы, домики, дома, закоптелые фабричные здания, красные дымящие трубы.

Поезд замедлил ход. И тут же возникла многолюдная площадка перрона. Бурлит, волнуется перронный мир, переливаясь, одно другим засяняя, и нет никакой возможности на чем-то остановиться или все охватить разом. Нам не терпится влиться в этот поток, затеряться в нем, но мы не можем оторваться от оконного стекла.

Наконец-то обеими ногами стоим на мягком асфальте. Шагах в десяти от нас, силясь приподняться над людским потоком, ищут кого-то ясные встревоженные глаза.

— Мама!

И опять встревоженные глаза ищут кого-то над плывущей толпой.

— Москвичка, — говорю я Коле.

— Москва! — отвечает он.

Я молчу. Я всегда молчу, когда Коля начинает говорить со значением.

## 3

Утреннее солнце косо бьет в потолок. Странная тишина. Не стучат колеса, не покачивает вагонную полку. Переворачиваюсь на бок, и под мною не полка, а койка. Она скрипит старенькими пружинами, и все становится ясным: мы в студенческом общежитии, на шестом этаже. Коля тоже проснулся. И, словно сговорившись, мы пробираемся на балкон.

Окраинные дали, деревянные домики, бараки, задворки. Дальше, возвышаясь над слободской бестолочью, тянется взгорье, и над ним — небо. Справа из густой зелени выступают золотоголовые башни монастыря.

Окраина Москвы! А сама она, невидимая глазу, где-то внизу, с другой стороны.

Четыре дня назад мы лежали еще на нашем дворе, под акацией, и над нами жарко пылали южные звезды. Большая Медведица сияла прямо над крышей нашего домика. Всего лишь четыре дня назад мы были обыкновенными мальчишками в нашем обыкновенном маленьком городке. А сейчас, когда все сошлось вместе — и последняя прикумская ночь, и дорога, и этот балкон на шестом этаже, — мы чувствуем себя взрослыми, и жизнь кажется нам раздвинутой до безграничности.

— Прикумские казаки! — Это выглядывает на балкон заспанный Толя Юдин. Долговязый и нескладный, он смотрит на нас исподлобья с мрачноватой улыбкой. Один глаз с чуть приметным бельмом.

— Запоминайте, казаки, — говорит он. — Это поселок, Лужники называется. За ним — Москва-река, а вот там — Ленинские горы, а это — Новодевичий монастырь.

Кроме Толи, в нашей комнате еще двое — Витя Ласточкин и Лева Дрозд. Первый — наш земляк со Ставропольщины, второй приехал из Тамбова. Витя — коренастый, маленький крепыш, нос пуговицей, на низком упрямом лбу заметная бороздка. Она становится еще заметней, когда Витя думает. Лева — высокий, с круглой кудрявой головой и сочными девичьими губами. Что касается их птичьих фамилий, то, как и у большинства человечества, фамилии почти ничего не значат.

Все вместе мы идем умываться. Шумим, разбрызгиваем воду.

— Знаете, откуда это? — говорит Лева, подставляя ладони под кран. — Из Волги! — И прижав палец к отверстию крана, пускает в нас тонкую струю.

— Ну, вы! Ме-лю-зга!

Это говорит грузный детина, с тяжелой лохматой головой и жирными обвислыми плечами. Раздетый до пояса, он стоит, не замеченный нами, и ждет очереди. Мы тут же уступаем ему место. Он моется неуклюже, как морж. Затем отступает от раковины. С опущенной головы капает на пол вода. Он дружелюбно, но внушительно говорит:

— Вы, хлопцы, не обижайтесь.— Берет с колышка наше полотенце, вытирается и снова говорит: — Гении?

— Вроде нет,— ухмыляясь, отвечает Юдин.

— Зря. А вот я — гений. Зиновий Блюмберг. — Не давая опомниться, он наступает.— А теперь пошли к вам. Пожрать-то найдется?

Перед рослым, массивным человеком я всегда чувствую себя как-то неловко. Робость берет, что ли, удивление — не пойму.

Мы сидим по одну сторону стола. Зиновий — по другую. Я гляжу, как уплетает он небогатую нашу снедь, и думаю: вот Коля — такой же, как я, обыкновенный. Толя со своим таинственным глазом — тоже обыкновенный. Лева, Витя... Говорят, жестикулируют — и ничего. А этот повернет башку — вроде событие. Шевельнет рукой — тоже. Даже просто сидит и молчит, и то думаешь: гора, ума палата.

Я польщен присутствием гения. Коля, привалась к стене, исподтишка приглядывается, прислушивается к Блюмбергу.

Дрозд листает томик любимого Роллана и делает вид, что равнодушен и к гостю и к разговору. Дело в том, что ему только что досталось от Блюмберга.

— Кто же ты в конце концов? — спросил Зиновий.— Лев или дрозд? — И заметив, что Лева обиделся, прибавил: — Обижаешься на слова, значит глуп, братец.

Лева обиделся. А Блюмберг, подбирая последние крохи со стола, все говорит:

— Кто к нам едет? Умы, хлопцы. Умы. Заведется где-нибудь на Полтавщине или Смоленщине — прет сюда, к нам. А куда ж ему, уму? У нас поэт один сказал: «А мы — умы! А вы — увы!» Вот так дубье... Будьте здоровы.— Зиновий шумно встает и, шаркая стоптанными тапочками, уходит. И сразу становится просторно, даже пусто, зато как-то легче, проще.

— Вот гусь,— усмехнувшись, говорит Юдин.

#### 4

Общежитие наше — в одном конце Москвы, на Усачевке, институт — в другом, в Сокольниках. Чтобы попасть в него, надо пересечь весь город. Многолюдье в трамваях, в метро, на улицах. Мы словно попали на какой-то праздник, которому нескоро еще конец.

Сегодня приемный экзамен. Дорога в институт уже знакома. И мы привычно шествуем к трамвайному кругу у Новодевичьего монастыря. Ночью прошел дождь, и дома, деревья, цветы за железной оградкой бульвара дышат свежестью.

Среди домов, автомобилей  
И люди праздничными были,  
И люди были, как цветы...

Это бормочет Коля.

На трамвайном кругу людно. Отсюда начинается один из потоков, который вместе с другими, берущими начало в других местах, вливается

у Дворца Советов в метро. Стремительно несет нас под землей к Сокольникам. На Колином лице блуждает улыбка, глаза какие-то работающие. Они ощупывают толпу, останавливаются на разных лицах, то улыбаются, то становятся серьезными, то вспыхивают, удивленные неожиданным открытием.

Две-три трамвайные остановки, и мы отрываемся от подножек. Направо дымит гигантская труба завода «Богатырь», налево, за дачными деревянными домиками, почти в лесу, поблескивает стеклами четырехэтажное здание института. Небольшой уютный дворик за дощатым зеленым забором.

Во дворе полно молодого народу. Народ отменный, оригинальный. Даже по внешнему виду — по взглядам, жестам, по манере говорить, двигаться — догадываешься: каждый — уникал, личность. Собрание личностей. Вот у забора стоят трое. Они обмениваются короткими и, видимо, очень умными репликами. Полные достоинства, уникалы наслаждаются беседой, ибо понимают друг друга с полуслова. Белокурый красавец при каждой затяжке папиросой вскидывает голову и тонкой длинной струйкой выпускает в сторону синий дымок. Рядом — высокий и худой и тоже белокурый, перед тем как прошесть свою фразу, нервно передергивает лицом. О, это лицо! В отличие от наших, широкоскулых, оно сдавлено так, что, если посмотреть на него в профиль, кажется вырезанным из кости. Это лицо не знает решительно ничего, кроме постоянной, неутомимой, возвышающей человека работы интеллекта. Третий, хотя и в другом роде — большеголовый, мешковатый, толстые очки на расплюснутом носу, у нас такого непременно бы прозвали жабой, — держится с таким же, как и его собеседники, достоинством и, глядя сквозь толстые стекла, ломая широкий рот в усмешке, словно говорит своим видом: нас голыми руками не возьмешь, мы знаем столько же и еще раз столько.

На мраморных маршах лестницы кому-то читает собственные стихи шепелявый юноша. Смешно двигая нижней челюстью, он скороговоркой пробегает начало строки, зато конец ее буквально выпевает. Получается однообразно и оригинально:

Море расплескалось сотней га-а-мм,  
Бьет клыками волн по бе-ре-га-а-м.  
И медуза падает дрожа-а  
С лезвия рыбацкого ножа-а.

И лишь отдельно фигурки робковатых и неуверенных уныло горбятся по уголкам и закоулкам, над школьными тетрадками, пользуясь последними минутами перед первым вступительным экзаменом.

Коля, я и Витя Ласточкин держимся вместе, присматриваемся к будущим своим однокашникам и пока робеем. Только в аудитории нас покидает робость. Здесь все равны перед судьбой. Она лежит перед каждым из нас в виде чистых листов бумаги с институтским штампом. В зависимости от того, что будет написано на этих листах за шесть томительных часов, к одним она повернется лицом, к другим — спиной.

## 5

Две недели или долго и неровно, будто толчками от экзамена к экзамену. Но когда они все же прошли, то показалось, что прошли очень быстро. Кроме Вити Ласточкина, не добравшего одного очка, все мы были зачислены в институт. Было жаль Витю и неловко перед ним, но сделать мы ничего не могли. Витя молча переживал несчастье, со лба его не сходила глубокая складка. Вечером, когда мы сидели, не включая света, некстати ввалился Зиновий Блумберг. Он щелкнул выключателем.

— Прозябаете, огольцы? — Заметив, что на него не обратили внимания, спросил: — Что, хлопчики, случилось?

Мы рассказали Зиновию о нашем несчастье. Тот хмыкнул, смерил взглядом Ласточкина.

— Советской власти предан? — Вите совсем было не до шуток и в то же время нельзя было не рассмеяться. — Тогда что-нибудь придумаем, — успокоил Зиновий и, тяжело переадаиваясь, вышел.

Мы узнали, что Зиновий Блюмберг приехал откуда-то с Украины и был на земле один как перст. Летом никогда не уезжал на родину — не к кому. Каникулы проводил в общежитии, слонялся в приемной комиссии института и был там своим человеком. Мы и верили и не верили его обещанию. Однако на следующий день он заглянул к нам с потрепанным учебником в руках и увел к себе Витю. Он уже побывал у директорши, старой большевички, и убедил ее помочь пролетарскому сыну Виктору Ласточкину. Директорша обещала зачислить на экономический факультет, если пролетарский сын покажет знания не только по литературе, но и политэкономии. Возвращаясь в общежитие, Зиновий прихватил из библиотеки старый вузовский учебник политэкономии.

Витя пришел от Блюмберга вечером — красный, улыбающийся и вспотевший. Он долго не мог ничего сказать нам, улыбался и вертел головой.

— Да-а... Действительно...

Зиновий в течение многих часов потрясал Ласточкина своим умом и знаниями, после чего Витя никак не мог прийти в себя. Ему оставалось за ночь проштудировать учебник, а утром предстать на собеседовании — перед кем, он и сам не знал. Чтобы не оставлять его в одиночестве, мы отправились все вместе в читальный зал. Толя Юдин выписал с десяток книг и начал листать их одну за другой, рылся в предисловиях и комментариях, шевеля пухлыми губами, о чем-то таинственно перешептываясь с самим собой. Лева Дрозд наслаждался Ролланом, то и дело обращаясь к Юдину за сочувствием. Я переворачивал тяжелые меловые страницы иллюстрированного Шекспира и чувствовал себя на вершине блаженства. И только друг мой Коля долго переминался у стойки, перекапывал каталоги и, видимо, ждал, пока мы не увлечемся чтением. Вообще он был сегодня не такой, как всегда. Наконец, он получил книги и сел поодаль от нас. Юдин, успевший до этого ревниво обследовать все, что было у каждого, подошел к Коле. Мрачно запустил нервную руку под обложку книги, приподнял ее и улыбнулся.

— Ну, ладно тебе, — обиженно сказал Коля, закрыл ладонями книгу. У него был первый том «Капитала». Рядом лежал словарь иностранных слов. Словарь мне был понятен, это давняя Колина страсть, — обложки его учебников были всегда исписаны иностранными словами и их значениями.

Когда мы вышли покурить, Юдин спросил его:

— Решил читать «Капитал»?

— Да, — ответил Коля. — Сегодня наша первая студенческая ночь, и мне хотелось, чтобы эта ночь запомнилась, и я подумал: какая есть в мире самая великая книга? Я никогда не читал «Капитала», но я подумал... и мне захотелось прикоснуться сегодня...

— К великому?

— Да, — серьезно ответил Коля.

Я спросил Витю, как дается ему политэкономия. Пока он говорил, Юдин исподлобья разглядывал Колю, словно изучал его, словно видел его впервые.

Давно ушли работники библиотеки, в читальном зале мы были одни. Шелестели страницы Юдина, слышно было, как отдувался и сопел от натуги Витя Ласточкин и как вздыхал от переживаний Лева Дрозд. Почти физически я ощущал, как работает, впитывает свежие силы наша бьющая мысль.

## 6

Наконец-то наступили эти минуты. И все, что было до них, все, чем мы жили прежде, казалось теперь только ожиданием этих минут.

Мы сидим не за партами, как бывало в школе, и даже не за столиками, как в дни приемных экзаменов. Мы сидим в главной аудитории за барьерами-полукружьями, которые уступами уходят вглубь и вверх, почти до самого потолка, их не знаешь даже как и назвать. А между двумя выходами — невысокие подмости, на них длинный стол и кафедра, а за кафедрой необыкновенный человек. Профессор! И тишина стоит необыкновенная.

Седенький профессор с желтой щеткой усов затягивается папироской «Дели», пускает перед собой белое облако дыма и говорит сквозь облако необыкновенные, как и сам, слова. Облако то рассеивается, то снова окутывает профессора, и, слушая лекцию-сказку о богах и героях, мы не замечаем, как бежит время. Но вот сказка обрывается бесцеремонным звонком, и, потолкавшись в коридоре, мы заполняем новую аудиторию, чтобы погрузиться в новую сказку.

А здесь уже другой, но тоже необыкновенный человек. Зовут его Николай Альбертович.

— Итак, друзья мои, — говорит он устало и мудро, — мы приступаем к изучению латыни. Не верьте тому, кто скажет: латынь — мертвый язык, язык канувшего в вечность народа. Нет, друзья мои, этот язык бессмертен, как и народ, некогда говоривший на нем.

Николай Альбертович берет мел, и на доске появляются первые фразы. Он произносит их как заклинание, нараспев...

— Сальвэттэ, амици! Что значит: здравствуйте, друзья!

— Сальвэ ту квоквэ, профессор! Здравствуй же и ты, профессор!

Отныне каждое наше занятие у Николая Альбертовича начинается этими сокровенными словами.

— Сальвэттэ, амици! — осеняя нас двуперстием, произносит учитель.

И мы поднимаемся и нестройным хором отвечаем:

— Сальвэ ту квоквэ, профессор!

В молодости своей Николай Альбертович много путешествовал. Пешком исходил вдоль и поперек Италию, Грецию, Ближний и Средний Восток. Он может часами предаваться воспоминаниям о путешествиях. Поводом ему служит любая буква латыни, любая строчка из Юлия Цезаря, которого понемногу мы начинаем читать в классе. Часами баюкает нас глуховатый голос профессора.

— Однажды, друзья мои, — начинает очередную новеллу Николай Альбертович, — я возвращался из Цюриха в Женеву. В купе нас было двое. Тронулся поезд, и мой сосед — средних лет интеллигентный человек — извлек из кармана небольшой томик и углубился в чтение. В дороге я также имел обыкновением своим читать любимых писателей. На этот раз в моих руках был Гораций. За окном вагона проплывала осенняя Швейцария. Я наслаждался красотой швейцарских пейзажей и стихами великого поэта. Изредка я обращал свой взор на моего спутника. Дело в том, что книга, которую он читал с глубочайшим вниманием, как я заметил, была русской и чем-то очень мне знакомой. «Простите, — не удержался я, обратившись к незнакомцу по-русски, — что за книгу читаете»

те вы с таким интересом?» Тот поднял голову, окинул меня быстрым живым взглядом, протянул томик и весело сказал: «Горацкий. Замечательный, между прочим, писатель. Хотя и древний».

Николай Альбертович сделал паузу и закрыл глаза, не желая в это мгновение видеть нас, а желая остаться один на один с далекими своими годами. И когда он насладился этим, взглянул на нас удивленно и поднял указательный палец.

— Знаете ли вы, кто был этим незнакомцем?— спросил он.— Это был,— голос Николая Альбертовича дрогнул,— это был Владимир Ильич. Да, друзья мои, Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

«Да-а!»— сказал бы Витя Ласточкин. Но сейчас он сидел в другой аудитории. Было тихо-тихо. Только слышно было, как шумно вздохнул Коля.

## 7

Совсем другое дело капитан Портянкин. Из главного здания мы ходим к нему в деревянный сарайчик, где размещается тир, где закуток для стрелкового оружия и в песочных ящиках различные рельефы, на которых мы решаем тактические задачи. Здесь все просто и доступно. Собрать и разобрать винтовку, поразить противника. Причем стараться поразить напечатанного на бумаге противника на десятку, то есть в сердце. Прост, доступен и сам Портянкин. Он похлопывает нас по плечу, отпускает солдатские шутки, а когда отделили от нас студентов, с особенным смаком стал выговаривать свое любимое присловье «яссное море!». Он так это выговаривает, что мы чувствуем глухую тоску капитана по крепкому слову. И если тоска эта слишком одолевает его, он безо всякого стеснения употребляет и такие слова.

В этом сарае капитан Портянкин по-своему распоряжается нашими судьбами. Он вроде и не подозревает, что кто-нибудь может думать о литературной славе, кто об ученой, а кто и об иной какой славе. Он знает только одно: «Молодец! Хороший солдат получится!» Или наоборот: «Горе луковое! Какой же из тебя солдат получится?» Или так еще: «Кто же так стреляет с положения лежа? Вот он прижмет тебя огнем к земле, а ты что? А ты с положения лежа стрелять не умеешь».

— Кто он?— спрашивает непутевый солдат.

— Противник, конечно,— отвечает капитан.

— Я не собираюсь быть военным,— не сдается студент.

После таких слов капитан Портянкин останавливается на месте. Обычно он ходит перед нами, поскрипывает сапогами и ременной сбруей, а тут останавливается, смотрит страшно удивленными глазами и говорит:

— Эх ты, яссное море! Он не собирается!.. А кем же ты собираешься? Кем же ты будешь, когда он тебя в заднее место клонет?

Тут мы разражаемся хохотом. Не потому, что нам очень смешно, а потому, что мы хорошо относимся к капитану и посщряем его смехом, когда он острит. Капитан тоже начинает смеяться, но в отличие от нас делает это от всей души. Что-то у него булькает, потом он закашливается, машет на нас рукой, и смех прекращается. У него еще с гражданской легкой, что ли, прострелено или осколок какой в груди — толком как-то не случилось разузнать.

Один раз после такой веселой минуты Коля спросил:

— Товарищ капитан! Вы на самом деле верите? Война на самом деле будет?.. Вы так с нами обращаетесь, как будто война начнется не сегодня, так завтра.

Капитан остановился, задумался. И мы получили лекцию о международном положении. Это положение нам в общем было известно. Но капи-

тан Портянкин так его осветил, что впереди никакого другого выхода не было, кроме войны.

— А как же пакт о ненападении? — растерянно спросил я.

В самом деле, как же пакт? В наших газетах даже слово «фашизм» исчезло. Режим Гитлера стали называть национал-социализмом. Вообще как-то странно стало. Капитан Портянкин на это ответил так:

— Страшно,— сказал он,— когда война начинается молча...

## 8

Стоит нам вернуться в главное здание, опять начинается древность.

Русская история, которую читал эlegantный толстяк, также уводила нас в глубокую древность. Отшумевшие миры, воинственные набеги кочевых племен, победы и поражения путались в наших головах, снились по ночам, и временами начинало казаться, что сам ты и твои товарищи, метро и трамваи, люди, улицы, дома, студенческая столовка и последние известия — все это условно и нереально. Реальными были дорога из баряг в греки, Навуходоносор и Цезарь, Атиллы и князь Игорь...

— Там, где конь Атиллы ступал копытом, никогда не росла трава. Хан сидел в Бахчисарае, как волк в своем логове; каждый год со своей легкой конницей он налетал на Польшу и Москву, жег, грабил, уводил в плен народ и так же быстро скрывался за Перекоп,— выпалил я без роздыха и обалдело уставился на ребят.

Был вечерний час, ярко горела лампочка, и каждый возился с каким-то своим делом. Юдин, перебиравший книги, положил стопку на этажерку и быстро подошел ко мне.

— Я научу тебя, как это делать. Возьми вот так ладонь, поднеси к губам. Теперь дыши. Чувствуешь?

— А что я должен чувствовать?

— Теплый воздух.

— Ну?

— Ну вот. Ты болен.— Сказал он это деловито-равнодушно и тут же с неуклюжей поспешностью подхватил отобранные книги и юркнул за дверь.

Леву Дрозда будто укололи. Он вскопчил с кровати и бросился к книгам.

— Так и знал! Моего Хлебникова уволок.— Лева растерянно оглядел нас, ища сочувствия.

Но Витя морщил лоб над письмом к родителям; Коля, утонув в прогнувшейся кровати и привалясь к стене, занимался французским, поминутно заглядывая в словарь и шепча чужие слова.

— В конце концов! — сказал Лева и, нахмуренный, рванулся вслед за Юдиным.

Коля поманил меня кивком головы.

— Слушай,— сказал он, и в голосе его почувствовалось волнение.

Вообще у Коли было как бы два голоса — обычный и необычный. Когда он бывал чем-то расстроган, в его обычном голосе то и дело появлялась особая нота. Вроде перекаtywалось у него что-то в горле. Вот этим необычным голосом он и сказал: «Слушай!» и стал читать полшепотом что-то французское.

— Ну? — спросил я, не понимая смысла.

— Слушай,— повторил он и, запинаясь, подыскивая слова, стал переводить: — Женщина потеряла на войне мужа. Она не перенесла бы этого горя, если бы не крошка-сын. Он стал ее единственным утешением. Всю любовь свою она отдавала ему. Недоедая, не досыпая ночей, она трудилась, чтобы мальчику было хорошо. И мальчик рос беззаботно и весело.

А когда вырос и стал красивым и статным, а мать совсем состарилась, юноша полюбил девушку. Полюбил и привел ее в дом. И с этого дня плохо стало матери. Ее ненавидела и мучила молодая хозяйка. Однажды сказала она своему юному мужу: «Ты должен убить старую каргу, а сердце ее бросить собаке. Не сделаешь этого — уйду». И тогда, ослепленный любовью, сын убил свою мать и вынул ее сердце и бросился отдать его собаке. Он бежал, не помня себя, споткнулся и упал, и сердце выпало у него из рук. И, лежа на земле, он услышал, как сердце спросило тихим человечьим голосом: «Ты не ушибся, мой мальчик?»

Что я мог сказать Коле? Песня была жестокой и сентиментальной. Я опасно покосился на черный столбик нерусских слов, потом на Колино лицо.

— Что ты смотришь? — улыбнулся он.

— Да нет, ничего...

Я вспомнил давнюю Колину поездку из города, где мы учились, в степное село Петропавловское, где жили на поселении его родители, «чуждые элементы». Коля был сыном раскулаченных родителей. Его отец пел в церковном хоре, пел знаменито, даже был каким-то помощником церковного дирижера, регента. Тоска погнала Колю к маме. Ночью, когда он приехал, его схватили и заперли в петропавловской комендатуре. Он был тоже «элементом», но «элементом-подростком», и поэтому его не стали разыскивать, когда он бежал.

Он бежал и жил в городе, у двоюродной сестры. Жил как все. Из пионеров перешел в комсомольцы, писал стихи о красном комиссаре.

Не знаю, об этом думал Коля или о чем другом, но был он сейчас задумчив и скучноват.

Широко распахнулась дверь. Вошел Дрозд. За ним с тихой загадочной улыбкой — Юдин.

Толя Юдин не был простым человеком. Например, улыбался он загадочно, исподтишка. И вообще многое в нем было загадочно. Мы знали, что его брат играет в киевском оркестре, в письмах к Толе он никогда не подписывался, а рисовал человечка, играющего на трубе. О родителях своих Юдин сочинял легенды — одну нелепее другой, и мы совсем перестали интересоваться его биографией.

Юдин знал всю мировую литературу. Правда, как выяснилось, знал по предисловиям и примечаниям. Книг же читал мало. Зато был редким книголюбом-коллекционером. За короткое время он стал близким другом всех московских букинистов. Он коллекционировал не только книги, но и людей. Не было такой недели, чтобы он не привел к нам в комнату какого-нибудь редкого человека. Он приводил этого человека и, не то хмурясь, не то смущаясь, пряча глаза, бурчал:

— Знакомьтесь, хлопцы. Это — Муня Люмкис, переводит с итальянского, знает наизусть всего Данте.

Приводил угреватого юношу, который тоже был редким человеком, увлекался писаниями Ницше, умел читать книги по диагонали и после этого пересказывать их чуть ли не дословно. Однажды привел даже старика алкоголика, оказавшегося известным в свое время имажинистом, другом Есенина. Со всеми этими людьми, как правило, потом мы не встречались. Забывал про них и сам Юдин. Но с двумя из них мы все же подружились. Это были нерусские ребята. Один — сухонький серб с золотым зубом, Самаржич. Другой — испанец Антонио Парга-Парада. Самаржич был в Интернациональной бригаде и сражался под Мадридом. Антонио Парга-Парада был солдатом Республики и тоже сражался под Мадридом. Сухонький Самаржич и черный, как вороненок, с лоснящейся от брильянтина головой и перстеньком на мизинце Антонио с первого раза совсем не были похожи на ту Испанию.

Я только что прочитал дневники писателя, находившегося в Испании. Меня особенно поразило одно место. Писатель находился с бойцами, занимавшими оборону среди каких-то развалин. Они лежали под артиллерийским обстрелом, и один снаряд разорвался совсем рядом. Когда писатель пришел в сознание и открыл глаза, перед ним все было красным. Красное небо, красные развалины. Весь мир красный. Это на стекла очков брызнула чья-то кровь, и писатель увидел небо и все вокруг себя через чью-то кровь.

Когда Юдин привел сухонького Самаржича и набрильянтиненного Парга-Парада, я не увидел почти ничего. Но это вначале. А потом Самаржич сказал:

— Товарищи (он назвал нас так официально в домашней обстановке), мы не сдались! Мы отступили. Мы будем еще наступать!

Глаза его сухо вспыхнули, он переглянулся с Антонио Парга-Парада, тот разжал зубы и подтвердил:

— Самаржич правильно говорит,— сказал он.

И я опять увидел Испанию и все, что там было, через те красные стекла...

— Входи, Марьяна,— сказал Юдин, немного смущаясь, и пропустил незнакомую девушку.

Она вошла с каким-то наигранным вызовом и также наигранно (стеснялась, наверно) поздоровалась. Опять какой-нибудь редкий человек?

— Здравствуйте, мальчики! А что вы такие грустные? — И глазами потребовала у Юдина объяснить, что это значит.

Но Юдин топтался на месте, еще больше смущаясь. У Марьяны был надтреснутый, как у сороки, голос. От нее сразу становилось шумно.

Нет, она ничуть не стеснялась.

— Я, мальчики, всех вас знаю по Толиным рассказам. Вот вы — Витя. Так? Так. Здравствуйте, Витя.— Она крупно шагнула к столу и пожала Витину руку, заставив его покраснеть до ушей... Она действительно всех узнала и каждому потрясла руку.— Ну, а слевой мы уже знакомы.

Лева со спасенным Хлебниковым в руках не то что сиял, а как-то весь лоснился.

— Вот и познакомились,— продолжала Марьяна.— Чтобы сохранить нашу дружбу — ведь мы будем дружить, правда? — вы хорошенько проверьте, мальчики, свои библиотеки. У вашего Юдина есть привычка дарить мне чужие книги. А сейчас мы пойдем в музкомнату слушать музыку.— Она обвела нас нетерпеливыми круглыми глазами, что означало: ну, мальчики! — и поторопила, как непослушных ребят: давайте, давайте!

Музыкальная комната, о которой мы и не подозревали, была в первом этаже нашего шестиэтажного краснокирпичного гиганта. Мы прошли длинным коридором и свернули в темный, неосвещенный тупичок. Марьяна пошарила в темноте, без скрипа открыла дверь и глазами позвала нас.

В углу за черным роялем спиной к нам сидел черный человек.

— Это Полтавский, тоже Толя, гениальный музыкант,— представила нам Марьяна черного человека.— А это Юдин и Дрозд, мещане знаменитых городов Киева и Тамбова. И крестьянские дети.— Она назвала нас по имени и добавила: — Все они любят музыку.

Полтавский выслушал Марьяну угрюмо, без улыбки. За толстыми стеклами глаза его были надежно спрятаны. Он медленно поднялся, высокий, чуть сутулый, приставил к роялю второй стул и снова сел.

— Юдин, ноты,— приказала Марьяна.

Пошелестели желтыми страницами, пошушукались о чем-то. Полтавский коснулся длинным пальцем нотной страницы и кивнул головой.

Потом опустил на клавиши руки.

Мы сидели в углу на старом кожаном диване. Толя Юдин шепотом объявлял нам каждый раз, когда начиналось новое. Вторая... Пятая... Траурный марш из Седьмой... Пятый концерт... Первый...

Эта комната стала нашим заветным уголком. Нашей консерваторией. Мы приходили сюда все вместе и порознь. Мы подружились с Толей Полтавским.

И сейчас, двадцать лет спустя, я много бы дал тому, кто вернул мне хотя бы один час в той комнате в тупичке первого этажа. Только час вместе с Колей и Витей Ласточкиным и Толей Юдиным, Дроздом и Марьяной и Толей Полтавским.

9

Осень в самом разгаре. Тихая, прозрачная осень Москвы.

По Богородскому шоссе, по красной кленовой аллее уже не летит, как оглашенный, трамвай. Он ползет еле-еле. Можно спрыгнуть с подножки, пробежаться и снова вскочить на подножку. Перед каждым изгибом и поворотом предупреждающие таблички: «Осторожно — листопад!», «Осторожно — юз!»

Да, мир, в котором мы живем, прекрасен. Мы с гордой небрежностью открываем стеклянную дверь института, сбегает в подвальный этаж раздевалки и оттуда, не торопясь, поднимаемся на первый этаж, чтобы до звонка обменяться приветствиями с однокурсниками.

Сегодня здесь что-то произошло. Молодые умы толпятся у стены, густо лепятся друг к другу. Через их головы видим гигантскую газету — «Ком-со-мо-лия». Тянется она по всей стене до конца коридора. По своим размерам, по краскам, по вдохновенным росчеркам и рисункам все это не стенная газета. Это произведение искусства.

Коля, задрал голову, выставив острый кадычок, ищет мою руку. Как дети, держась за руки, мы продвигаемся вдоль толпы.

«Комсомолия» кричит о Ферганской долине, о Ферганском канале. Газета бьет в глаза Ферганой. Песни и верблюды! Азиатские головы в фесках и тюрбанах, гачки и кетмени. Люди в пестрых халатах с поднятыми к небу иерихонскими трубами-дутарами. Студенты в пустыне! Наш друг Камиль Файзулов! Девушка из Коканда!.. И над всем этим по верху красными литерами — словарь Ферганы. Солнце — куйош! Человек — инсон! Хлеб — нон! Вода — сув! Небо — осимон!

Да, мир, в котором мы живем, прекрасен. Но, видно, не дано человеку найти раз и навсегда одно-единственное счастье. Сегодня ударили по нему красные полотна «Комсомолни», и оно как-то потускнело, сузилось, и замаячила перед нами иная жизнь, иной мир.

Нет, не удастся понять сегодня, о чем говорит профессор. Я слежу только за его жестами, на которые вчера еще не обратил бы внимания. В аудитории шелест, шепот. Только Коля невозмутим. Он слушает и пишет. Лицо его то обращено к профессору, то склоняется над конспектом. Вниз-вверх, вниз-вверх. Словно птица, что пьет из дорожной колеи на утренней зорьке.

И все же, и все же... На полях его тетрадки появляется слово «солнце». Он толкает меня локтем и ставит после «солнца» вопрос. Я шепчу на ухо: «Куйош». Коля ставит тире и пишет это новое слово: «Куйош».

Фергана, Фергана!

А вечером встреча со студентами — участниками ферганской стройки. Но об этом я ничего не могу рассказать. У меня и сейчас еще нет таких слов.

Я скажу только, что не было в мире людей прекраснее этих — загорелых и умных незнакомых наших товарищей, живущих с нами под одной крышей.

Один за другим проходили они в президиум, и шепот проносил над густыми рядами их имена: это Млечный, это Голосовский, Чернов, Бокишев, Леванчук... И среди них неуклюже прошаркал к столу башковитый наш гений Зиновий Блюмберг. Смущенные и очень скромные, они сидели слева и справа от седой большевички, нашей директорши...

Вечер закончился ночью. По Ростокинскому проезду, будя уснувших птиц, хлынула гулкая молодая толпа, разбудораженная романтикой далекой Ферганы.

Трамвай скрежетал в ночи, возвращая нас домой по аллее листопада. Чернели клены, тускло повторялись фонари в черном глянце асфальта.

На площадке, под яркой лампой, мы сбились вокруг Блюмберга — сегодня совсем необычного для нас, совсем нового. Словно уличенный в чем-то таком, в чем ему никак не хотелось быть уличенным, еще не остывший от всего, что было, он чувствовал себя впервые перед нами неловко и из всех сил старался войти в обычную свою роль. Уклоняясь от наших восторгов, он благодушно и чуть свысока усмехался, овладевал собой.

— Счастливички,— говорил он с издевкой, в которую мы уже не верили.— Растете, как трава растет...— Он хрипло засмеялся.— А? Дрозд! Красив, подлец! Сын Лаокоона!..

Из-за плеча Юдина смотрит на Зиновия круглыми нетерпеливыми глазами Марьяна.

— Блюмберг! — вдруг выпаливает она из засады.— Почему тебя не любят? И девочки наши тоже.

Удивительное дело — Блюмберг густо краснеет, потом ухмыляется, потом говорит:

— Я мудр и прожорлив. И некрасив. И несчастлив. Женщины это знают.

Нет, разговор все же не тот. На уме у всех другое. И наконец-то вырвалось у Зиновия:

— Фергана, хлопцы,— это работа! — сказал он и начал мерить нас глазами, как бы взвешивая каждого.— Может, вам золотой век снится? Золотой век — это тоже работа. Но ведь это же здорово, черт возьми!

Мы сходим с трамвая и вслед за шаркающим Зиновием спешим в метро.

— Столица! — шумит он, захватывая рукой мерцающую огнями площадь.— Цените!

В грохочущем вагоне Блюмберг кричит нам:

— А знаете, что сказал о золотом веке старик Гегель? Идеалист Георг Вильгельм Фридрих Гегель сказал: «Человек не имеет права жить в такой идиллической духовной нищете; он должен работать». Слыхали? Не имеет права!

...Уставшие, мы сразу же разбрелись по койкам, потушили свет и легли. Но день этот был слишком большим, чтобы можно было сразу забыться и уснуть. Ворочаемся. Вздыхаем. В голове еще звучат последние слова Блюмберга. Он заметил на синем квадрате окна в глубине коридора два силуэта.

— Целуются, подлецы! И с вами то будет.

Да, Толя тоже где-то отстал с Марьяной. Силуэты...

— Николай, не спишь? — скрипнув пружинной сеткой, шепчет Витя Ласточкин.— А что, если махнуть к чертовой бабушке в Фергану?

— Там все закончилось,— серьезно отвечает Коля.

— В другое место?

— Мы должны учиться.

Тихо. Вдыхает Коля. У Вити, наверно, складочка сейчас резко пролегла по маленькому крепкому лбу. Тонкий, почти неуловимый всхлип, будто лопнула почка или упала капля. Это шевельнул губами Лева Дрозд. А Толя сейчас целуется.

И все-таки мы уснули.

## 10

Отчетный доклад и не очень бурные прения закончились, и был объявлен перерыв. Народ заполнил коридоры, лестничные марши, подоконники. Всюду гудели, гомонили, смеялись, сбившись кучками, о чем-то спорили, пели.

Общие комсомольские собрания факультета случались нечасто, и нам интересно было потеряться среди старшекурсников, послушать, о чем они говорят. Мы с Колей пристроились возле ребят, куривших у лестницы. Они курили и вполголоса пели. Мы слушали и следили за их лицами.

— Зина! — крикнул кто-то из них.

И вот, разгребая спящую по коридору толпу, двинулся сюда Блюмберг. Он подошел к ребятам, неуклюже выставил вперед толстую ногу, ораторски произнес:

— В нашей стране даже камни поют! М. Горький.

Ребята грохнули смехом, и песни не стало. Со ступеньки поднялся худющий парень с тонким лицом, тоже встал в позу и, сбиваясь на фальцет, воскликнул:

— Эх... испортил песню... дур-рак! Тоже — М. Горький.

Опять грохнула лестница. Мы с Колей тоже смеемся. Потому что не знаем, что скоро Колю исключат из комсомола.

Как это все получилось?

После перерыва начали выдвигать кандидатов в новое комсомольское бюро. Кричали с мест, называли фамилии, паренек из президиума записывал эти фамилии на доске. Я видел, как в первых рядах вскакивал Юдин и кричал: «Терентьев! Пиши Терентьева!»

Паренек очумело посмотрел в сторону Юдина, махнул рукой и записал в столбик фамилий Терентьева. Коля показал кулак торжествовавшему Юдину.

Потом подвели черту и начали обсуждать кандидатов. Председательствующий называл записанные на доске имена и спрашивал, какие будут суждения.

— Оставить! — кричала аудитория.

— Будем слушать биографию?

— Знаем! — дружно орали с мест.

Конечно, старшие знали друг друга, им незачем было слушать биографии своих товарищей.

Иное дело Коля, первокурсник. Когда председатель назвал Колину фамилию, аудитория завертела головами, ища Терентьева. Коля, бледный от волнения, встал.

— Будем слушать?

— Будем! — нестройно ответило собрание.

— Знаем! — раздалась одинокие голоса первокурсников.

Председатель попросил Колю к кафедре. Коля прошел вниз, поднялся на подмостки и встал между президиумом и кафедрой. Взглянул в аудиторию, набрал воздуха. Он стоял в своих вздутых на коленях брючках, без пиджака, в застиранной рубашке, стоял бледный, и такой насквозь ясный, и чуть-чуть жалкий, и чуть-чуть похожий на бессмертных ребят

гражданской войны. Было в нем что-то пронизывающе понятное и еще такое, что вдруг, будто сговорившись, собрание взревело:

— Оставить! Знаем!

— Биографию? — спросил председатель.

— Знаем!..

Коля стоял все такой же бледный, только уши его пылали.

— Не надо! Знаем! — кричало собрание.

И Коля уже повернулся, чтобы уйти на место, когда в президиуме раздался голос, который остановил Колю и враз водворил тишину.

— Я ничего не знаю. Я хочу послушать биографию. Пусть Терентьев расскажет о родителях, — сказал этот голос. Это сказал молодой человек, опрятный, тщательно причесанный, хорошо одетый. У него очень правильный голос и какое-то незапоминающееся лицо. Лицо незапоминающееся, а мы его хорошо знаем. Его хорошо знают все.

Мы сразу поняли: сейчас что-то будет. Всем стало ясно: этот знает о Терентьеве что-то серьезное. Он обо всех знал что-нибудь серьезное. Коля снова повернулся лицом к собранию и вместо биографии тихо сказал:

— Мои родители раскулачены и сосланы.

Он опустил голову и ждал вопросов. Тот человек снова поднялся и, глядя неопределенно в аудиторию, спросил, как относится Терентьев к своим родителям. Коля ответил вопросом:

— А как вы относитесь к своему отцу и к своей матери?

Тщательно причесанный человек опять послал свои слова в аудиторию, не взглянув на Колю.

— Мои родители — члены ВКП(б), — сказал он. — Их никто не раскулачивал. Но я не об этом, я хочу услышать ответ на свой вопрос.

Тогда Коля сказал:

— Мои родители неграмотные и темные, но они хорошие люди, и я хорошо к ним отношусь. — Он помолчал, поднял голову и добавил: — Раскулачены и сосланы они неправильно. За то, что отец пел в церковном хоре.

С места кто-то крикнул:

— А почему пел в церковном хоре?

Поднял руку Блюмберг. Встал.

— Я хочу ответить этому глупцу... (Председатель взял стеклянную пробку и постучал по графину.) Я хочу ответить ему, — повторил Зиновий. — Русский мужик потому пел в церкви, что до Большого театра ходить было далеко.

Председатель махнул на Зиновия рукой: садись, мол, дело тут совсем в другом. Но слова Зиновия все же произвели свое действие. Прокатился смехок, аудитория загомонила, вроде пришла в себя, ожила. Тогда взял слово опять тот. Голос его снова водворил тишину.

Он начал с того, что напомнил собранию, что нас учат бдительности — умению видеть за пролетарской внешностью обличье врага.

— Конечно, — оговорился он, — я не имею в виду непосредственно Терентьева. Я не говорю, что Терентьев — враг народа. Терентьев пока — политически незрелый, скажу точнее: неустойчивый элемент. И я удивляюсь, как это он оказался в комсомоле.

Что он говорит? Как он смеет?! Меня душила обида, злость, все внутри бунтовало, но в этой холодной, разделяющей людей тишине я не знал, что же такое нужно сделать. Коля весь повернулся к этому выглаженному гаду и широко открытыми глазами смотрел на него, словно не понимал или не слышал его слов. А тот говорил уже о правом уклоне, о том, наконец, что Терентьев считает политику раскулачивания и уничтожения

кулака как класса неправильной и, следовательно, выступает против политики партии, против самой партии. Кто-то с места выкрикнул:

— Неправильно!..

Председатель наклонил большую лысеющую голову над графином и вежливо спросил:

— Вы хотите возразить? Пожалуйста, сюда! — Он показал рукой на кафедру, возле которой стоял Коля.

Но возражать никто не захотел. Я вдруг вспомнил, как на одном из собраний вот так же спрашивали одного парнишку, как он относится к своим арестованным родителям. Парнишка ответил, что к врагам народа он относится так же, как и все советские люди. Я вспомнил книжку, которую прочитал уже в Москве. В этой книжке описывался враг народа, как он ложился спать на свежую подушку, как становился в очередь за газировкой и пил газированную воду с сиропом, потом покупал цветы и ехал на вокзал встречать жену. Было страшно. Оказывается, враги народа пьют газировку, покупают цветы и ездят на вокзал встречать своих жен. Все это в одну минуту нахлынуло на меня, и мне тоже не захотелось возражать. Но я все равно встал и начал что-то говорить, начал говорить все, что думал о Коле и об этом выглаженном человеке. Только говорил я плохо, все время путался, даже как будто кричал, а потом все мысли вдруг пропали, и я закончил просто ни на чем.

Еще выступали, еще говорили в защиту Коли. Лучшие всех, едко и убедительно, выступал Зиновий Блюмберг. Но у того типа тоже нашлась поддержка, и он добился, что председатель объявил голосование. А перед этим дали слово Коле, что он хочет сказать собранию. Коля посмотрел на всех нас полными слез глазами и сказал:

— Ребята... не надо меня исключать...

Но на другой день на бюро его исключили. Правда, за исключение проголосовало совсем незначительное большинство.

Но как же все-таки это понять?..

## 11

Вот и зима пришла. На белых улицах дворники скребут тротуары, посыпают их песком. Ростокинский проезд завалило сугробами. По утрам жители деревянных домиков заботливо раскапывают тропинку вдоль дощатых заборов. Когда над парковыми соснами поднимается мохнатое солнце, по голубому снежному насту, искрясь и мерцая, кочуют розовые отсветы, а склоны сугробов синеют. Над резными ростокинскими теремками, как лисьи хвосты, торчмя стоят дымы. По глубокой тропке пробиваются к институту черные фигурки студентов. От институтских ворот, огибая обледенелую водопроводную колонку, бежит лыжня к заваленному снегом Чертову мостику, через синюю впадину пруда, в медностволый сосняк.

Все шло так, как вроде и надо быть. Колина боль понемногу подживала. Он собрался было писать жалобу, но потом понял, что жаловаться на всю организацию неправильно и бесполезно. Комсомольский билет он не отдал, хранил при себе и все надеялся, что с ним разберутся и поправят эту обидную, допущенную целой организацией ошибку...

К ночным сидениям в читалке прибавились лыжи. К ним приохотила нас московская зима.

Витю Ласточкина выбрали в узком комсомола, и он теперь частенько засниживался на заседаниях.

Юдин ввел нас в литературный кружок, которым руководил настоящий писатель первой величины. Коля боготворил этого человека с выпуклыми прозрачными глазами. Он даже купил трубку, почти такую

же, как у писателя. Курил на своей продавленной кровати трубку и мечтал когда-нибудь прочитать этому писателю свою поэму о красном комиссаре.

Сегодня выступали поэты. Тут были и наши знаменитости и гости из другого института. Читали по кругу. Все поэты были особенные — каждый со своим жестом, со своей манерой читать стихи.

Вот с черными чуть косящими глазами, совсем еще мальчишка, но с каким-то не мальчишеским взглядом. Он только что отчитал свои строки. А вокруг все еще повторяли их.

А вот начинает читать... Мы сразу его узнали, хотя сейчас, зимой, он и одет был и выглядел по-другому. Михаил Галанза!

Красный шарф, как пламя, закинут за спину, на голове не то кепка, не то шлем с кнопками и застежками. Мы видим его вполоборота. Скошенный взгляд и выступающий вперед крепкий подбородок.

...Железные пути  
человек сшибает  
с земшара грудью!  
Только советская нация будет!  
И только советской расы люди!

Потом читает другой, большеглазый, смотрит на нас огромными своими глазами, не мигая.

Мир яблоком, созревшим на оконце,  
Казался нам...  
На выпуклых боках —  
Где Родина — там красный цвет от солнца,  
А остальное — зелено пока.

Они все читают, читают уже по второму кругу. Опять этот черный бросает в аудиторию свои железные строчки:

Косым,  
стремительным углом  
И ветром, режущим глаза,  
Переломившейся ветлой  
на землю падает гроза...

Гроза проходит, в мире наступает снова тишина.

И люди вышли из квартир,  
Устало высохла трава.  
И снова тишь.  
И снова мир,  
Как равнодушие, как овал.  
Я с детства не любил овал!  
Я с детства угол рисовал!

Коля толкает меня локтем в бок, и я начинаю тоже повторять про себя: «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!»

Вот, оказывается, мы какие! Вот какие!

Нет, пусть прервется на этом месте повесть, потому что я должен назвать их имена. Они смотрят на меня бессмертными своими глазами, смотрят с газетной полосы ленинцы, святые ребята.

Они смотрят на меня, и я не могу не назвать их имен:

«Но мы еще умрем в боях!..» Это тот, в черной кожанке,— Павел Коган.

А рядом — «сшибает с земшара грудью...» Никакой это не Галанза. Никакого Галанзы вообще не было. Это Михаил Кульчицкий.

Потом Всеволод Багрицкий — поэт и сын поэта, потом Николай Майоров и Коля Отрада.

Они не пришли с войны...

А жизнь все-таки баловала нас.

Недавно Юдин из Киева от брата-музыканта получил шубу. Тяжелая и старая, зато теплая, на обезьяньем меху и с железной цепью-вешалкой. В лютые морозы мы поочередно ходили в ней за провизией, все остальное время она безраздельно принадлежала счастливому своему владельцу. Немногим раньше Коля получил из Прикумьска от двоюродной сестры заячью шапку-ушанку. Для Коли, одетому в ветхое пальтишко и доживавшие свой век ботинки с калошками, для него эта заячья благодать была настоящим спасением.

А в мире что-то происходило. Мир не хотел считаться с нами. Он сворачивал не на ту дорогу, которую мы выбрали для себя. Вчера еще Коля мечтательно курил писательскую трубку, и мысли его работали совсем в ином направлении, чем сегодня.

Сегодня началась война с Финляндией.

Почему?! Война? Она совсем не входила в наши планы.

Витя позже обычного пришел с заседания, и мы долго, уже погасив свет, говорили о войне.

Армия, которой мы не знали и которая жила своей отдельной, не известной нам жизнью, сражалась сейчас на снежном Севере. По всему было видно, что она справлялась со своим делом. И все же нас не покидало тревожное предчувствие, ожидание чего-то. Распорядок дней не менялся. Путь от Усачевки до Ростокинского проезда оставался прежним. По-прежнему могущественной латынью приветствовали мы Николая Альбертовича. Но по шумным институтским коридорам и лестницам словно бы гулял невидимый сквознячок. И даже в те минуты, когда мы, кажется, забывали о Севере, тревожное ощущение сквозняка не проходило.

Неожиданно исчез наш комитетчик Витя Ласточкин. То ли соревнования, то ли лыжные сборы под Москвой. Случилось это как-то внезапно и в полутайне. И от этого тревога наша еще больше усилилась...

## 12

Наступал Новый год.

Больше всех суетилась Марьяна. До этого у них с Юдиным что-то произошло. Как-то вечером открылась дверь и в комнату мрачный, со стопкой книг до подбородка вошел Толя. Подтолкнув его в спину, Марьяна с сердитой насмешкой сказала:

— Возьмите своего Юднна.— И не входя в комнату, захлопнула дверь.

— Поссорились,— буркнул Толя и стал бережно и долго расставлять книги, подаренные когда-то Марьяне.

Он стоял спиной к нам, перебирал томики, вроде обнюхивал их, переставляя с места на место. А мы недоуменно смотрели на его ссутулившуюся спину. Потом к нему подошел Дрозд, помолчал и с робким участием спросил:

— Что случилось, Толя?

— Пошел к черту! — огрызнулся тот.

— Сам бы сходил к нему, — обиделся Лева и вернулся на свою койку.

Через день Юдин унес со своей полки первую книжку. А сегодня, опять нагрузив себя до подбородка и плохо скрывая радость, отволох остальные. Помирились. И хотя Марьяна грубовато подшучивала над Толей, было видно, что она не меньше его рада примирению. Она покрякивала, распорядилась нами, гоняла по магазинам с авоськами, придиралась к нашим туалетам.

— Боже мой, это же не галстук, а телячий хвост, — говорила она Коле, и тот, краснея и сопя, покорно давал стянуть с себя свалывшийся в косичку галстук. — Вы же опозорите меня перед девочками. Вот вам уют, снимайте брюки и делайте на них стрелку.

И мы снимали брюки и делали на них стрелку. Наконец отутюженные, подштопанные, нагруженные авоськами, двинулись вслед за Марьяной. На улице шел снег. Фонари были окутаны желтыми облачками, в этих облачках и в снопах света, падавших из окон, копошились мохнатые снежинки.

Марьяна с Юдиным впереди, за ними долговязый Дрозд и, чуть приотстав, мы с Колей.

Опушенные снегом, шагали мы, тихие, послушные, будто вели нас к бабушке на рождество. А где-то в белом ночном переулке, в московском доме — мы с Колей еще не бывали в московских домах — ждали нас какие-то девочки, перед которыми мы не должны были опозорить Марьяну.

— Ау, мальчики! — кричала из снегопада Марьяна.

Долго топтались у подъезда, под тусклой лампочкой, отряхивались, стучали ногами о дверной косяк, пока не раздалась команда с лестницы:

— Где вы? Наверх!

Под вопли, восклицания, сорочий смех и трескотню Марьяны мы, как под шумовым прикрытием, проникли в переднюю, разделись и уже толклись почти в самой комнате, в полумгле которой горела новогодняя елка.

Через мгновение тени, передвигавшиеся в цветном полумраке, обрели видимые очертания. Первым я узнал Толю Полтавского. Он поднялся из мягкого кресла в углу, напротив елки, и направился к нам. Девочки оказались всего-навсего нашими однокурсницами.

Коля тревожно зашептал:

— Смстри, Наташка!

— Ну и что?

— Просто так, — ответил Коля и сдвинул рукой мое плечо.

Так-то так, но я уже знал, что Коля Терентьев попался. Наташка... Была она тихой, вроде бессловесной. Глаза у нее были больше и непонятные. Все бы это ничего — Наташка и Наташка, кому как покажется. Но вот совсем недавно по дороге из института нагнала нас одна девочка и, передохнув, очень серьезно и даже печально сообщила:

— Что я тебе хотела сказать, Коля... ты Наташке нравишься. До свидания, ребята. — И убежала к трамваю.

Это была такая минута в Колиной жизни, когда он был от макушки до пяток похож на идиота. А когда лицо его снова сделалось нормальным, он сказал своим вторым голосом: «Глупости!» Сказал: «Глупости!» — и с той минуты стал бояться Наташки...

Марьяна включила большой свет и голосом конферансье объявила: — Прошу знакомиться! — И первой захохотала.

Ее поддержали другие. Встреча была подготовлена как новогодний сюрприз для ребят. Не знаю, как Коле, а всем остальным это понрави-

лось. Юдин исподлобья разглядывал однокурсниц, улыбался, Лева Дрозд сиял.

Тут же из кухни была приведена бабушка и представлена нам. Улыбающаяся ситцевая старушка, седая и черноглазая, поздравила всех с Новым годом.

— Как вам понравилась наша елка? — спросила она.

В ответ ей заокало, заукало, замычало наше собрание.

— Наташины папа и мама, — сказала старушка, — празднуют у знакомых, а вы будьте как дома. Ну, ну! — подмигнула она и удалилась.

Наташка кинулась к стене и выключила свет.

— Так лучше, — сказала она горячим шепотом, вернув всех нас в цветной полумрак.

Времени до полуночи было достаточно, и перед тем как расставить и накрыть столы, начались танцы. Зашипела пластинка, тягуче заныло танго. Все сгучились, прижались к стенкам, к мебели, образовав тоскливую пустоту посередине комнаты.

— Ну что же, мальчики! — взмолилась Марьяна. — Юдин, приглашай дам! — приказала она и, подхватив Полтавского, начала танец.

Осмелев, Лева Дрозд пересек пустоту и устремился к Наташке. За ним мелким шагом двинулся Юдин. Мы с Колей, одеревенев, стояли у входа в комнату, усиленно стараясь показать, что нам очень интересно наблюдать за танцующими. Но вот и меня оторвали от дверной шторы и увлекли туда, где, церемонно склонив голову, господствовал над парами и откровенно наслаждался ритмом, музыкой, собой и своей партнершей Наташей Лева Дрозд. На Колином месте я бы немедленно провалился сквозь пол. Но он, бедняга, стойко держался на месте и не проваливался.

Кто-то снял иголку, оборвал танго, чтобы завести его снова. Пока скрипела заводная ручка, пары выжидали в застигнутых позах. Воспользовавшись заминкой, Наташка вывернулась из Левиных рук и выскочила на кухню. Лева, ничуть не смутившись, улыбкой и жестом поднял с кресла новую партнершу и счастливым лицом своим, каждым своим движением доказывал самому себе, что счастье заключается не в партнерше, а в танце.

Через минуту появилась Наташка. Коля обернулся и встретился с ее глазами. В них мерцали елочные огоньки. Наташка чуть подалась вперед и протянула руки. Что же тут оставалось делать Коле? Он глотнул воздуха и взял эти руки и, бестолково путая ногами, попятился к танцующим, увлекая за собой Наташку. Кое-как он овладел собой, поймал ритм и смешался с другими. Нет, не смешался. Белая рубашечка его и светлая Наташкина голова делали медленные круги, не смешиваясь с другими. Наблюдая за ним, я никак не мог понять, откуда у него брались силы, чтобы вынести все это и не умереть тут же от какого-нибудь удара. А проклятому танго как будто и не было конца.

Утомленное со-о-лице  
Нежно с морем проща-а-лось...

И кто только выдумал эти танцы! Я уверен, если бы Коля сию минуту узнал этого человека, он дал бы клятву поставить ему памятник. А Наташка? Вот она совсем рядом, и я слышу, как она, приподнявшись на носках, говорит:

— Коля, вы забыли снять калоши...

И какой голько черт толкнул ее!

В обычных условиях Коля ни за что бы не произнес этого детского «ой!». А тут, будучи застигнутым врасплох, он сказал «ой!» и метнул-

ся поправить свою оплошность. Каким образом он собирался осуществить это, я бы не мог сказать. Дело в том, что Колины штиблеты сами по себе, без калош, как бы не существовали. Дело в том, что подметки на них держались только благодаря этим калошам, которые он «забыл» снять. Торопливо, бочком протиснулся он к выходу и скрылся в темной прихожей.

Наташка с ее непонятными глазами,— как же она была понятна сейчас всем и каждому! При свете красных, желтых, зеленых лампочек она перебирала пластинки. Ей, наверно, хотелось найти что-нибудь необыкновенное, успеть поставить это необыкновенное перед тем, как Коля вернется и тихонько тронет ее за плечо.

Вот и завертелась та пластинка, колыхнулись и пошли под новую мелодию пары, а Коля не возвращался. Вот и закончились танцы, а он так и не пришел и не тронул Наташкиного плеча. Я делал вид, что удивлен вместе со всеми, делал вид, что и сам ищу своего дружка, но мне было ясно, что у него был единственный выход — сбежать, и он, конечно, воспользовался этим.

Я быстро накинул на себя пальто и шапку и, сказав: «Я мигом»,— захлопнул за собой дверь: нет, не сидеть нам сегодня с Колей за Наташкиным новогодним столом!..

На улице уже не было того мягкого и тихого снегопада, было метельно и почти безлюдно. Встретился какой-то чудака с елкой. Пыхтя, он тащил ее на радость семейству своему за какие-нибудь полчаса до той минуты, когда очень много людей сдвинут бокалы, чтобы осушить их во имя новых надежд.

Все-таки грустно не оказаться в ту самую минуту почти со всем человечеством за одним столом, а, накрывшись казенным одеялом, утешаться своей отрешенностью и независимостью. Именно этим самым и занимался Коля Терентьев. Во всяком случае, застал я его лежащим на койке. Он читал со словариком французский текст «Тартарена из Тараскона».

— С Новым годом! — сказал я Коле, войдя в комнату.

Он ответил виноватой ухмылкой и отложил своего «Тартарена».

— А там сейчас вносят столы, бабушка подает всякую еду,— сказал я, вешая на гвоздь пальто и шапку.

— У нас еще все впереди. Наше останется за нами.— Похоже, что Коля бодрился.

— Да,— продолжал я,— а Наташка сейчас...

— Ну, ладно тебе,— уже другим голосом перебил он меня.

— Ну, ладно, аллах с ними,— сказал я так, будто кто-то в чем-то был виноват перед нами.

Может, час, а может, и два прошло, как и я по примеру Коли, отвергнув новогоднюю ночь, повесил на спинку стула брюки с никому теперь не нужными стрелками и улегся в постель. Изредка обмениваясь случайными словами, мы читали и думали каждый свое. И вдруг приотворилась дверь, и сначала показалась голова, а за ней и весь человек — странный, обледенелый, увешанный ледяшками. Видно, долго шел он под снегом, а поднимаясь по лестнице на шестой этаж, стал оттаивать, и таящий снег повис ледяными комочками на ворсинках лыжного костюма и вязаного шлема.

— Витя! — в один голос воскликнули мы после минутной немоты и удивления.

И хотя, страшно обрадованные, мы весело кричали, суетливо одевались и обнимали холодного, ледяного Витьку, а он, довольный и заметно смущенный, улыбался, было во всем этом что-то тревожное и даже

жутковатое. Витя Ласточкин — и этот костюм, перехваченный солдатским ремнем, и этот шлем, и эта новогодняя ночь! Мы шумели:

— Какой ты! Прямо совсем не такой. Ну просто не узнать!

Предлагали раздеться, а он отбивался.

— Да нет, ребята, я на минутку.

И все это время где-то под спудом, на самой глубине, немо стояло слово «война». И сам Витя — вроде вот он, можно потрогать, обнять, и в то же время он уже не здесь, а там где-то, за снежными ночами, на войне. И это подспудное одержало верх и заставило нас притихнуть, посерьезнеть.

— Я на минуту, попрощаться,— повторил Витя, грустно улыбнувшись.— К пяти надо быть в эшелоне.

— А как же мы? — спросил Коля.

— Знаете, ребята, не всем же ехать,— туманно объяснил Витя.— Ух ты, наследил я вам,— сказал он, размазывая тяжелыми ботинками лужицу под ногами.

Потом оглядел нашу комнату и, спохватившись, спросил:

— А где же Юдин, Дрозд? На елке? Ну, привет им.

— Витя, ты даже не старшекурсник? Ну, мы понимаем, пошел Зиновий Блюмберг. Он старше. А как же ты?..— настойчиво допытывался Коля.

— Ну, я...— он сделал паузу,— я как член вузкома.— Ласточкин старался и говорить и вообще держаться как можно скромнее, обычнее, но это у него не получалось. Значительность и необычность положения, в котором он находился, переполняли его чувством достоинства и радости. И он не мог скрыть от нас этого.

— Вы знаете, хлопцы, мне просто повезло. Ребята поддержали,— признался он с таким видом, словно получил неожиданное поощрение.

Мы собрались и вышли вместе. Бушевала метель. Пробиваясь сквозь снежный ветер, мы проводили Витю до трамвайной линии. Было уже поздно, трамваи не ходили. Он посмотрел вдоль белой улицы на мутные фонари, вокруг которых завивалась кольцами вьюга, и сказал:

— Да, действительно... Ну, хлопцы, я пошел.

— Не заблудись, Витя! — крикнул я вдогонку.

И уже почти неразличимый, он отозвался:

— Что вы, ребята. Я же солдат!

Сначала мы стояли, заносимые снегом. Потом долго-долго шли домой.

— Скажи, а могут убить Витьку? — спросил Коля.

— Не знаю,— ответил я.

Потом опять шли молча. Потом Коля сказал:

— Какая подлость!

— О чем ты?

Но он продолжал свое:

— Как это можно — умереть?! Это невозможно!

Нет, Коля. К сожалению, это возможно,— говорю я теперь, двадцать лет спустя. И ты в эту минуту не можешь ни возразить мне, ни согласиться со мной. Я смотрю на твою маленькую фотографию со студенческого билета, и все кажется мне, что вот раздастся звонок и мой сын радостно объявит:

— Папа, дядя Коля пришел!

Да какой же он дядя? Каштановая челка, как у моего Сашка, уши торчат в стороны, как самоварные ручки..,

Дядя Коля... Я-то уж привык к «дяде», давно привык. Но дядей Колей... тебя?.. Не могу. Не получается.

Я сижу сейчас за письменным столом. Передо мной... Помнишь снежное поле под Малоярославцем?.. Так вот, передо мной, как то снежное поле,— белый лист бумаги. Я сижу перед ним и думаю и пишу. А за окном течет река жизни. Я пишу о том, что было когда-то и чего никогда уже не будет. И чем больше я сижу у этого снежного поля, тем чаще мне кажется, что вот-вот откроется дверь и ко мне войдешь ты.

Но войдешь, конечно, не дядей, а тонкошеим парнишкой с теплыми своими глазами. Войдешь и скажешь:

— Что с тобой? Ведь я бы мог и не узнать тебя, ты же совсем седой! Может, пережил что?

— Да нет,— отвечу,— ничего особенного. Просто давно не виделись, двадцать лет. А ты все такой же. Мальчишка. Хотя что ж удивляться — *die Toten bleiben jung*...<sup>1</sup>

— А это уж как водится,— ответишь ты и улыбнешься милой своей улыбкой.

И я начну рассказывать тебе о последних новостях, о спутниках, космонавтах, об атомных бомбах, о Наташке... Изредка мы встречаемся с ней. А недавно даже ездили в одно место. Она давно меня просила об этом. Потом покажу тебе из окна одиннадцатого этажа — я живу на Ленинских горах в большом четырнадцатизэтажном доме,— покажу тебе нашу Москву. Отсюда она, как из кристаллов сложена,— такая игрушечная и огромная. По ее каменным кубикам мягко скользят тени, а белые высотные здания омыты солнцем и кажутся невесомыми...

И когда пройдет все это, я опять подумаю: да как же они посмели убить тебя, гады!..

А за окном течет река жизни. Когда мне нужно, я останавливаю ее. Я ее останавливаю, и вот мы идем уже из нашего института — я, Коля и Наташка. Наташка теперь всегда ходит вместе с нами. После новогодней неприятности они как-то сумели встретиться и... одним словом, она всегда теперь ходит вместе с нами. Наташка, я и Коля идем цепочкой между осевшими сугробами. Тропинка подтаяла, хлопает, солнце слепит — нельзя глядеть, с крыш ростокинских теремков падают капли, блестят оконные стекла. Вообще-то уже пора. Начало апреля. Правда, Коля еще в шапке, в той, заячьей. Не потому что холодно, а потому, что ему нравится. А у Наташки на голове — ничего. У нее очень красивые, почти желтые волосы. Они рассыпаются по воротнику ее коротенькой белой шубки. Наташка не такая уж тихая. Она веселая и даже легкомысленная. Коля, конечно, уже не боится ее. Вообще он у нас самый счастливый человек. Правда, Юдин тоже. Но они с Марьяной очень уж часто ссорятся. Юдин только и знает, что перетаскивает книги то от Марьяны, то к Марьяне.

И вот мы приходим домой, а там нас ожидает новость — письмо от Вити Ласточкина. Первое письмо. Оно переходит из рук в руки, мы ощущаем его, смотрим на свет, не решаясь вскрыть. А потом решаем: когда соберутся все, откроем и прочитаем вслух.

Пришли ребята — Юдин и Лева Дрозд. Мы чинно расселись по своим койкам, и я предложил Коле вскрыть конверт и прочитать письмо. Я предложил Коле, потому что он обязательно будет читать своим вторым голосом. А этот его голос всегда меня страшно как-то трогает. Да и письмо как раз такое, что его надо читать только вторым голосом, то есть не нашим обычным голосом.

Коля осторожно распечатал конверт, развернул сложенные вдвое

<sup>1</sup> Мертвые остаются молодыми... (Нем.)

странички — а страничек было много — и начал было про себя читать, пробегать глазами первые строчки. Тогда Юдин сказал:

— Ты, Терентьев, давай вслух. Договорились же вслух читать.

И Коля начал читать вслух.

— Ребята,— прочитал он.

И так это он прочитал, что прямо за душу взяло. Я же точно знал, что так оно и будет. А Коля переглянулся с нами и начал снова читать, и уже больше не переглядывался и не останавливался:

— «Ребята, здравствуйте! Пишу вам своей рукой. Раньше я не мог писать, руки у меня не могли держать карандаш и даже ложку. Это бывает, когда обмороженность второй степени. Но сначала я хотел написать, что убили Зиновия Блюмберга. Это точно, потому что он умер у меня на руках. Но я вам напишу все сначала».

— Ты подожди,— сказал Юдин.— Ты это снова прочитай.

Что такое?.. Как можно убить Зиновия Блюмберга?! Зиновий очень хороший человек. Сначала он показался нам странным и грубым. Но оказалось, что это все чепуха. На него ведь никто не обижался. Вот он встретит тебя, остановит, ткнет тебя в лоб своим толстым пальцем и скажет: «Ну, как, дубье, дел-ла?» — «Ничего»,— говоришь. И если не обижаешься, начинается душевный разговор. Одной девчонке — Светлана такая, маленькая голубоглазая и очень красивая,— так ей он сказал однажды просто ужасное. Она из читальни шла с книжками, а навстречу по этому же коридору шел Зиновий. Они остановились друг перед другом. Светлана подняла на Блюмберга голубые глаза. А он, нависая сверху башкой своей, вдруг очень выразительно — он всегда смаковал каждое слово,— выразительно, веско так говорит:

— Света, в твоих глазах окаменел разврат.

Но Света ничуть не обиделась, она даже назвала его Зиной. Она улыбнулась и ответила:

— Ты, Зина, просто дурак.

— Ну вот,— сказал Зина,— уже и оскорбления начались.

А сам, представьте себе, покраснел и смешался как-то...

Я все думал, думал о Блюмберге и так и не мог понять, что его можно убить, что он уже убитый. Никак не мог понять.

А Коля уже читал дальше:

— «Знаете, ребята, после того, как вы меня проводили, я попал в Подольск. Полмесяца там жили, обучались. Хлопцы были разные — рабочие, студенты, больше молодые, но были и постарше нас. Особенно Силкин — московский рабочий, крепкий такой, простой и как родной отец. Понимал нас, мальцов. Особенно студентов. Он нас обучал всему — и на лыжах ходить, и портянки заворачивать, и костер разводить. Он все умел. А Зиновий меня все ругал. «Думал, говорит, ты умный хлопец, а ты глуп как пень. Куда идешь? Зачем? Ты ведь и не жил еще, защищать тебе нечего».— «А ты жил?» — спрашиваю у него. «Я, говорит, другое дело». Вы же знаете его.

В Подольске выдали нам белые ватники и ватные штаны, тоже белые, и еще чесанки с кашошами. Чесанки — это безобразие, конечно. Они же тонкие. Тут и другие непорядки были. Ну вот. Из Подольска в теплушках двинули дальше, на Ленинград, вернее, в сторону немного — на Волхов. А потом на север, север, север — прямо в Карелию. Вот где, ребята, зима — действительно! Выйдешь — ноздри смерзаются. В общем доехали до станции Кочкома. Отсюда уже на машинах до Ребол. Может, слышали? Ребольское направление. Так это здесь. Тут ночевали в землянках. Наутро снова на машины — и дальше, через границу, на финскую землю. Тут, уже на финской земле, поставили нас на лыжи. Это возле деревни Хилики-первые, а может, Хилики-вторые — не помню

точно. Наш добровольческий батальон и еще рота кадровиков пошли на Хилики-третьи выручать окруженную дивизию. Суток трое или четверо шли. Леса мачтовые, глухие. Озера под снегом, сопки. А морозы, наверно, градусов двести ниже нуля. Выдали сухой паек и водку. Кто начал пить водку, замерз в дороге. Хорошо, мы были с Силкиным. Он не велел пить в дороге, только руки растирали. Ночью костров жечь нельзя. Представляете, меховые варежки изнутри начали смерзаться и уже не грели, а наоборот. Когда идешь — мокрый, остановился на привал — начинаешь леденеть. Да, первого убитого увидели возле одного озера, прямо сбоку лыжни. Он лежал кверху лицом — лицо белое, даже серое, одет он был, как и мы, в белую ватную стеганку, и в белые ватные штаны, и шлем, как у нас, вязаный. Жутко. Мы идем, а он остался лежать — абсолютно такой же, как мы. А потом возле сопки одной, в лесу, устроили дневной привал. Костры развели. Снег топили в котелках, чаем согрелись. Часа через полтора подъем. Комбат поднял руку и крикнул: «Становись!» И тут же упал. Где-то в соснах «кукушки» финские. Хлопнул выстрел — и комбата наповал. Главное, только команду крикнул, и сразу убили. Ошибка наша, что крупными отрядами ходили, а финны — мелкими группками. Комбата в снегу похоронили. Снег очень глубокий был. И все идем, идем. Никто не знает куда. Командование, наверно, знало. А мы-то шли и не знали, куда шли. Где эти проклятые Хилики-третьи?

Опять ночь. Тени какие-то на лыжах носятся, стреляют где-то. Ничего не поймешь. Поднимаемся на высокую сопку, разбрелись мелкими группами. Я все держусь ближе к Силкину. А Зиновий пыхтит рядом. Ему тяжело — он же грузный и вообще неприспособленный. И все ругает меня. «Раз уж пошел, говорит, держись рядом, а то подстрелят дурака, и помочь некому. Будешь валяться, как тот, у озера...» Ну вот, поднимаемся на сопку, темно, стреляют где-то. Вдруг Зиновий двинул меня в спину и зашипел: «Ложись!» Впереди тоже легли. Прислушались, взгляделись в темноту. Какие-то тени впереди, нам наперерез. Стали стрелять. Постреляли, потом все стихло. И тени пропали. Опять пошли. Когда поднялись на сопку, пули начали вжикать. Зиновий говорит: «Ты не забегай вперед, а то башку сверну». И сам вышел вперед. Потом залегли и начали стрелять. Силкин справа где-то подал команду: «Пошли, ребята!» Стали подниматься. Я тронул Зиновия прикладом. «Пошли», — говорю. А он молчит. Перевернул его, наклонился, а он смотрит и вроде улыбается. Губы у него замерзли, и он еле-еле выговорил несколько слов. «Ты, говорит, от Силкина не отставай. А я останусь... Навсегда, браток, останусь». Я ему говорю: «Не дури, Зиновий». И вдруг как крикну: «Силкин!» Силкин вернулся, потормошил Зиновия, ухом приложился. «Готов», — говорит. Признаюсь вам, хлопцы, затрясся я весь и заревел навзрыд. Даже маленьким так не ревел. Силкин обнял меня, успокаивает. А я не могу остановить себя. Тогда он грубо скомандовал: «Ласточкин, прекратить, черт возьми! За мной!» Я перестал трястись и спрашиваю: «Как же он, Зиновий?» — «Утром подберем», — сказал Силкин. И опять скомандовал: «За мной!»

Пошли мы. Я все оглядывался, но ничего уже не было видно.

Утром действительно стали собирать убитых и замерзших. Половина батальона пропала. Зарыли в могилу. Мы с Силкиным подобрали Зиновия и положили рядом с другими.

Потом еще день шли и еще ночь. Шли, стреляли, костры стали даже ночью палить. Замерзнуть многие начали. Но все потом у меня было пополам с бредом. Видения начались какие-то. Не помню, выручили дивизию или нет. Ничего не помню, даже как обратно добрались — тоже не помню. Только помню, что один раз хотел стянуть чесанки, чтобы ноги

спиртом протереть. И не мог стянуть, примерзли. Безобразие, что нам выдали чесанки. И еще помню, как Силкин потребовал у меня томик Маяковского — костер разжечь. Я не давал. А он требовал. «Сейчас, говорит, тепло важнее, чем стихи». И я отдал. Раньше я думал, что стихи всегда важнее. А тут вышло наоборот. Важнее костер. А вот кадровиков мало погибло. Они умели воевать, хоть у них и одежда была не маскировочная, как у нас, а темная. Все дело в умении.

В Хиликах-первых мы сели в теплушки. Я часто терял сознание. Привезли в Киров, в госпиталь. Оказалось, что руки у меня обморожены по второй степени, а ноги — по третьей. Руками долго не мог держать ложку. Теперь уже могу. И вот даже пишу. А ноги мои, наверно, отрежут. Пальцы на ногах синие были, теперь чернеют. Врачи говорят — мокрая гангрена. Переводят ее в сухую, мазью какой-то мажут. Видно, отнимут ноги. Черт с ними, думаю, с ногами. Меня тут один выздоравливающий берет на руки и к окну подносит. Солнце, тает все, весна начинается. Красиво за Вяткой-рекой. Письмо писал пять дней. И вроде с вами был все время.

Обнимаю. До скорой встречи.

Виктор».

И еще была приписка к письму.

«Ребята! Не успел отправить, помешала операция. Оказывается, гангрена уже перешла в сухую, пальцы стали черные и сухие, и можно делать операцию. Отрезали в общем. у меня ноги. Не целиком, конечно, а только с обеих ног по полступни. В общем ходить можно, а жить — тем более!

До встречи.

В. Ласточкин».

#### 14

Коля дочитал письмо и сказал:

— Все.

Мы вскочили со своих мест, разом заговорили. Письмо пошло от одного к другому. Каждый еще раз прочитал его про себя. Потом стали обсуждать, что бы такое сделать. Ведь нельзя же было прочитать это письмо и ничего такого не сделать. Сначала мы подумали ехать в Киров, к Виктору. Взяли карту, посмотрели маршрут, узнали, с какого вокзала выезжать, и уже наметили день отъезда, и тут кто-то вспомнил, что у нас не хватит денег даже для одного человека, даже на один билет. Тогда мы отменили поездку. Решили послать посылку. Получим стипендию и на все деньги соберем посылку, а сами проживем как-нибудь, найдем работу и проживем. Но когда начали думать, что послать, то, кроме шоколада, апельсинов и папирос, ничего не могли придумать. Толя Юдин ходил за Марьяной. Она пришла не такая трескучая — она понимала обстановку и была деловита. Молча прочитала письмо и очень серьезно сказала:

— Вы теперь понимаете, мальчишки, почему я люблю Юдина? Потому что все вы такие, как Витя, по-разному, как Витя. В нем, — она все время смотрела на Толю, — я люблю всех вас. — Марьяна нагнула Толину голову и поцеловала его в макушку. — А теперь я скажу, что вы должны купить. Нет, куплю я все сама. Апельсины, шоколад, папиросы — это хорошо. К этому надо еще вино. Без вина он не поправится. Это я знаю, у меня мама врач. Дальше — теплая белье: весна там холодная, а он скоро выходить будет на улицу. Так? Свитер шерстяной, платки носовые. В один ящик все не войдет. Надо апельсинов побольше. Пошлем в два приема. Договорились?

Марьяна ушла. Вслед за ней надел свою шубу на обезьяньем меху и, не говоря ни слова, выскочил Юдин. Это была его привычка. Он всегда исчезал как-то молча. Даже по дороге в институт он умел незаметно отделиться от нас и исчезнуть. Потом скажет: был в поликлинике или у букинистов.

Вечером, уже в восьмом часу, мы вышли пройтись по нашей Усачевской улице и столкнулись с Юдиным. Он быстро, как иноходец, притрухивал по мостовой. Мы бы не узнали его в сумерках, но он сам наскочил на нас. Воротник пиджака у него был поднят, а шубы совсем не было на нем. Вечер был холодный, по-весеннему ветреный, поэтому Юдин и бежал, как иноходец. На молчаливый наш вопрос он ответил:

— Не подумайте, я не продал ее. В ломбард заложил. Всегда можно выкупить.

Только Юдин, вечно рыскавший по городу со своим таинственным глазом, мог знать, что в Москве, кроме букинистов, есть еще и ломбарды. Мы, конечно, поняли, зачем он это сделал. До стипендии еще неделя, а первую посылку можно отправить и раньше. Коля взял Юдина за пуговицу и спросил:

— А шапку нельзя?

— За нее мало дадут,— ответил Юдин. Потом мягко так извинился: — Ты извини, Коля. Я подумал вместе поехать, но боялся опоздать.— Это он соврал, конечно, потому что любил делать все втихомолку и в одиночку.

— Ничего, что мало дадут. Лишь бы взяли,— возразил Коля.

Тогда Юдин уже сказал все.

— Насчет шапки,— сказал он,— я между прочим говорил. Если хочешь, завтра забежим.

— Ну, спасибо. Обязательно забежим,— обрадовался Коля и отпустил пуговицу.

## 15

Гордость нашей комнаты — шуба на железной цепи и заячья шапка лежали в ломбарде. Вырученные деньги — за шубу триста рублей, за шапку двадцать пять — были переданы Марьяне. И сразу же после занятий мы отправились в Химки, на речную пристань.

Нас просто преследовали удачи. Как только мы явились на пристань, подошла баржа, чем-то нагруженная. Оказалось, посудой. Тарелками. И нас взяли на разгрузку. Нам было все равно, что разгружать, лишь бы заработать денег, но, конечно, тарелки лучше, чем уголь, например, или цемент. Компания подобралась подходящая. Были еще студенты какие-то и вообще случайные люди. Один только оказался профессионалом, кадровым грузчиком. Поняли это, когда расставили нас цепочкой и начали передавать из рук в руки тарелки — с баржи на берег. Не успели как следует освоить дело, как тот самый человек — он был полусонным, небритым, в замызганном ватнике — вяло скомандовал: «Пе-ре-ку-ур!» И вышел из цепи. И мы сразу поняли, что это профессионал. Нам не хотелось устраивать перекур, но тот человек уже сидел на каком-то бревне и сворачивал сигарку. Пришлось и нам закурить. Даже Юдин, который вообще не курил, попросил папиросу. Пока мы выгружали баржу, этот человек издергал нас своими перекурами. Но все равно нам работа понравилась. К концу мы уже так наловчились, что почти бросали друг другу тарелки и почти на лету их ловили. Все же это работа. Когда мы возвращались домой, я заметил, что не только я, но и Коля, и Юдин, и Дрозд — и они полны самоуважения. Странно как-то: ведь тарелки — это не Фергана и тем более не война с белофиннами, а вот уважаешь себя после этих тарелок, и все.

На другой день стружали какие-то ящики. Так и не узнали, с чем они. Потом стружали и уголь, и цемент, тяжелые мешки с цементом, и кирпич. Мы работали до самого праздника, до Первого мая. И заработали по двести рублей. Получили стипендию, и у нас образовалось очень много денег. Шубу и шапку, правда, выкупать не стали. Зато отправили Вите две посылки, а Коле купили новые туфли на резиновой подошве. И еще устроили праздник — у Наташки. Но сначала были на демонстрации. Лично я и Коля — первый раз в жизни. Вообще, как только мы приехали в Москву, все время что-нибудь видели и что-нибудь делали первый раз в жизни. Мы с Колей не только первый раз были на демонстрации, но и первый раз в жизни видели столько людей. Море людей! Когда они выходили колоннами со всех улиц и сливались на площади в одно море и над их головами все цвело и светилося зеленым и красным — зеленым от веточек, красным от знамен, — когда в общем мы все это увидели, я понял, что демонстрация была для нас таким зрелищем, которое не с чем и сравнивать.

Нам очень бы хотелось увидеть Витю Ласточкина и Зиновия на демонстрации. Но их не было. Мы это понимали, чувствовали и все-таки были счастливы. Мы были так счастливы, что вечером у Наташки здорово напились. Девочки пили вино, а мы пили водку. Коля был в новых ботинках, танцевал с Наташкой и даже пел. Первый раз он пел в Москве. И только теперь все мы увидели, как он здорово поет. А потом Коля, как равный с равным, долго о чем-то беседовал с Наташкиным отцом. Наташкин отец был крупный мужчина, седой, с одышкой. Он сидел в кресле, все время гладил ладонью грудь — против сердца — и немного устало, но с уважением беседовал с Колей. Я смотрел на седого крупного человека и на Колю с маленьким круглым подбородком и тонкой шеей и не мог понять, почему мне так хорошо и радостно смотреть на этих беседующих мужчин.

Марьяна осталась ночевать у Наташки. А мы ушли домой. Но мы не сразу ушли домой, а стали гулять по Усачевской улице. Ночь показалась нам теплой, и мы очень громко разговаривали, потому что выпили много водки. Спать совсем не хотелось. Хотелось еще сделать что-нибудь, совершить какой-нибудь выдающийся поступок. И тут у Юдина родилась идея. Он считался самым умным среди нас и самым начитанным, и поэтому к нему первому пришла идея.

— Знаете что, — сказал он, — пошли купаться на Москву-реку.

Предложение показалось нам замечательным. Во-первых, был праздник, Первое мая, во-вторых, был уже третий час ночи и, в-третьих, всем нам хотелось действовать. Мы свернули к Новодевичьему монастырю, обошли его темные молчаливые стены и вышли на берег Москвы-реки. Быстро разделись и стали спускаться в черную воду. Мы спускались молча, держась за трещины и выступы, а когда вошли в воду, начали шуметь, визжать, как девчонки. Отплыли совсем немного — все же страшновато было — и вернулись обратно. Потом Лева Дрозд наклонился над водой, сложил рупором ладони и заорал:

— Ле-е-на-а-а! — И еще раз: — Ле-е-на-а-а!

Здесь же в реке, дрожа от холода, мы выслушали рассказ о первой любви. Лева Дрозд, оказывается, любил какую-то Лену, которая жила в Тамбове и не отвечала на его письма. Он попросил нас покричать хором. И мы начали кричать хором:

— Ле-е-на-а-а! Ле-е-на-а-а!

И рев наш перекатывался по черной, слабо мерцавшей под звездным небом реке, натывался на невидимый во тьме берег, и где-то далеко внизу, куда текла река, отзывалось слабое эхо. Орала мы так вдохновенно, что долго не могли услышать человека, который кричал на нас с вы-

сокого берега, где лежала наша одежда. Когда мы обернулись, то сразу увидели на фоне звездного неба черный силуэт человека с винтовкой и отчетливо услышали его голос:

— Эй, вы! Какого черта разорались?— кричал он с раздражением.— А ну, немедленно выходите!

На четвереньках мы выкарабкались на берег и голышом предстали перед красноармейцем. Он был в шинели, туго перетянутой ремнем, а мы — голые. Он ругался, а мы старались не стучать зубами и смотрели на холодно мерцавший штык, тоненько оканчивавшийся у самого уха красноармейца.

— Вы что, не соображаете? Вы что, не видите? — кричал он и показывал в сторону темной арки железнодорожного моста.— Это что, по-вашему?

— М-мост,— ответил кто-то из нас.

— Не мост, а объект военного значения.— И когда мы уже окончательно замерзли, он скомандовал:— Пошли!

Зачем же идти, спрашивали мы, разве мы не имеем права искупаться на праздник? Но часовой был неумолим.

— Пошли,— сказал он,— разберемся.

Оказывается, он вел нас к фонарю. Захватив в охапку одежду, не разбираясь где чья, пошли к фонарю. Там часовой потребовал документы. Нам бы, наверное, плохо пришлось, если бы у кого-то в штанах, которые мы стали судорожно перебирать, не нашли чей-то студенческий билет. Подали его часовому. Он начал внимательно разглядывать документ, а мы увидели, что часовой был таким же пареньком, как и мы. Он прочитал в билете все, что нужно, и грустно вздохнул.

— Студенты первого курса,— сказал он как бы про себя.— А вот я не прошел. И сразу в армию.

— В какой сдавали? — спросил Юдин.

— В Бауманский,— ответил он жалобно и махнул рукой. А потом совсем не по-красноармейски, а как-то по-мальчишески спросил:— Сколько человек на место было?

— Три.

— Вам повезло. А у нас было пять человек... Да вы одевайтесь, ребята.

Мы стали одеваться. Хмель у нас уже прошел, потому что нам очень жаль стало красноармейца. Хотели еще поговорить с ним, посоветовать на заочный подать, а когда отслужит срок, перейти на очный. Но он сказал, что ему надо на пост, попрощался с нами за руку и ушел, и тоненький штык слабо мерцал у него над головой.

Почти у самого общежития мы уже совсем согрелись от ходьбы и от разговоров. Страшно любивший обобщения и всякие значительные слова, Коля остановил нас у подъезда и сказал:

— Наша молодость уже ходит в шинели.

— Это ужасно грустно,— отозвался Дрозд.

— Ты дурак, Лева,— буркнул Юдин и открыл тяжелую дверь.

А теперь я должен многое пропустить. И как сдавали экзамены, а потом разъехались по домам — мы с Колей уехали в наш Прикумск, к моим родителям; и как вернулись снова в Москву уже второкурсниками; и даже то, как осенью встречали нашего Витю. Он поправился и ходил в особых, специально сшитых ботинках. Ходил, переваливаясь с боку на бок, будто точки все время ставил. И мы по этой новой поход-

ке могли узнать его хоть за сто километров. Пропускаю любовь — особенно Коллину и Наташкину. И многое другое. Все это стало мне вдруг неинтересным. До этого было интересно, а теперь вот что-то стало мешать. Хочу рассказывать дальше, а что-то мешает. А мешает я знаю что. Война.

Правда, начнется она через год, но уже сейчас мешает, не дает рассказывать дальше. Стоит впереди, и все время я ее вижу и ни о чем больше думать не могу...

А началось все очень просто. Мы жили уже в другом месте, в студенческом городке, недалеко от института. Окна нашей комнаты выходили во двор. Посередине двора стояла маленькая часовенка — часовенкой она была когда-то, когда жили здесь то ли монахини, то ли престарелые вдовы, а теперь она была складом нашего имущества. Вокруг этой складской часовенки — асфальтовое кольцо; от него во все четыре стороны расходились асфальтовые дорожки и аллеи, уставленные теми ребристыми скамейками, которые служат для отдыха москвичам во всех скверах и на всех бульварах столицы. И над этими аллеями, скамьями, клумбами и газонами мягко шумели вековые липы и клены, нависавшие тяжелыми кронами над крышей нашего трехэтажного здания. Здание, ломаясь в четырех углах, опоясывало двор со всех сторон.

В тот день — вы знаете, о каком я говорю дне, — мы проснулись рано-рано. Мы проснулись потому, что окна всю ночь были открыты, и нас разбудил влажный шелест клена — он протягивал зеленые лапы свои прямо к нашим окнам. Клен шелестел листьями так влажно и так сладко, будто ручей плескался под окном. И капли стекали по листьям и шлепались об листья, видно, ночью выпал небольшой дождик. И от всего этого мы проснулись очень рано. Над клумбами и газонами, над асфальтом и травами стоял чуть заметный утренний дымок. Солнца еще не было видно, а земля уже парила, курилась синеватым дымком.

В субботу мы сдали очередной экзамен и сегодня собирались с утра куда-нибудь поехать. В Останкинский музей или еще куда-нибудь, пока не решили. Умывшись, всей комнатой мы зашли к Марьяне. Девочки занимались своими туалетами, Юдин сидел у окна и слушал музыку. Марьяна в пестром халатике, с полотенцем на плече вышла из комнаты. Мы тоже стали слушать музыку. Кто-то пел арию из «Искателей жемчуга». Я смотрел в окно, которое выходило в тупичок под названием Матросская тишина, и слушал эту арию.

Вот так было за минуту до того, как смолкла ария из «Искателей жемчуга», и после небольшой паузы мы услышали тяжелый голос диктора. Еще не осмыслив того, о чем сообщал он, мы столпились у репродуктора и, ничего не понимая, растерянно смотрели в одну черную точку.

Солнце заливало комнату, а из репродуктора тяжело падали на нас страшные слова.

На рассвете, в то время, когда, наверное, уже кончился короткий дождик, и клен под нашим окном влажно шелестел листьями, и мы еще не проснулись, враг переступил границу и бомбы уже падали на Киев, где жил брат Толи Юдина, на Минск и другие города.

Шумно вошла с умытым, сияющим лицом Марьяна.

— Мальчики! — воскликнула она и осеклась. Застыла на месте с полотенцем в руках. Потом из остановившихся глаз ее быстро-быстро начали выступать слезы. Марьяна покорно смахнула их и сразу стала совсем другой. Она тихо повесила полотенце, положила на этажерку мыльницу, зубную щетку и пасту. Она делала это не спеша, обстоятельно, словно сейчас это было самой главной ее заботой. Так вешают полотенца и кладут мыльницы и зубные щетки на этажерку, когда в доме лежит покойник.

Радио наконец затихло. Ребята молчали. Полупричесанные девочки тоже молчали. У меня противно как-то ныло в коленях. Мне захотелось почему-то сесть не на стул, а прямо тут, где стоял, — сесть на пол. Но я не сядил, и от этого было просто невыносимо. И я стал ходить туда-сюда по комнате. Тогда зашевелились остальные, задвигались. И первым заговорил Витя Ласточкин.

— Вот так, — сказал он и начал тереть ладонью лоб.

А потом уже сказала Марьяна.

— Ну что ж, мальчики, — сказала она покорно, — пойдете воевать...

Подошел Коля и одной рукой обнял меня за плечи. Он ничего не ска- зал, но я все понял: раз уж началась война, будем воевать.

— Надо ехать в институт, — сказал Витя Ласточкин.

И мы беспрекословно ему подчинились, поехали в институт.

Представьте себе, не одни мы догадались, что надо ехать в институт. Там уже было много студентов, несмотря на выходной день. И когда в институтском дворе, в коридорах, на лестницах собралось много наро- ду, нам перестало быть страшно. Мы шумели и толкались вместе со все- ми, обсуждали разные вопросы, бегали зачем-то со двора в здание, а из здания снова во двор, и нам уже совсем было не страшно.

Заседал комитет комсомола вместе с нашими партийными руково- дителями, а мы ждали, что будем делать дальше. Мы ждали, волнова- лись и поэтому много шумели и много бегали без всякого толку. И толь- ко когда закончилось заседание комитета, вся наша беготня и суета при- обрела определенный смысл и деловое направление. По курсам стали записывать добровольцев.

На нашем курсе список вел Витя. Он сел за стол в небольшой аудито- рии. Под номером первым он записал себя — Ласточкин Виктор Кирил- лович. Потом поднял глаза на толпившихся возле него ребят. Я пора- зился: у него было взрослое лицо, взрослое и строгое. Он уже побывал на одной войне. Но Витя, наверное, и не подумал, что из него уже не по- лучится солдат — ведь у него не было ступней. Однако он старательно вывел свою фамилию под номером первым и поднял глаза на ребят.

Когда подошла наша очередь, я наклонился над столом и так, чтобы слышал только Витя, сказал ему:

— Витя, надо записать Колю, но ведь он же исключенный и вообще... как тут быть?

— А может, он не хочет? — сказал Витя и посмотрел на Колю. Но тот ничего не ответил, потому что у него неожиданно дрогнули губы и их как бы свело на минуту. — Ладно, Николай, беру это дело на себя! — И вписал Колину фамилию: Терентьев Николай Иванович.

В этот же день списки добровольцев отвезли в военкомат. Витя пере- дал нам слова военкома: «Ждите, — сказал военком, — когда понадоби- тесь, вызовем».

И мы стали ждать.

Страшным было то воскресенье. Оно было последним днем мира: казалось, что улицы, магазины, метро, трамвай, солнце по-прежнему оставались такими же, как и всегда. Но это только казалось: уже шел первый день войны. Все мирное быстро становилось военным — и Моск- ва и ее люди.

Из общежития нас расселили по школам. Студенческий городок гото- вили для госпиталя.

Мы работали на заводе — рыли котлованы под новые цехи. Работали по двенадцати часов в сутки, но жили не этим, а сводками с фронта. Жили от сводки до сводки и ждали вызова. Ночью дежурили на крыше

девятиэтажной школы. После первого налета бомбардировщиков стали дежурить на чердаках.

Потом налеты участились. Однажды мы возвращались с работы и не успели пройти наш переулок, как завывли сирены, и вдруг за спиной у нас так хрястнуло, что мы попадали на брусчатку. Я подумал, что уже убит. Но оказалось, что нет. Да, подумал я тогда, надо скорее идти на фронт.

В нашей школе не хватало коек, и мы спали, когда не дежурили на чердаке, прямо на полу. В углу, на одном матраце, спали Юдин и Марьяна, как муж и жена. Раньше бы мы удивились этому, а теперь нам это даже нравилось.

В ту ночь, когда я подумал, что меня убили, Коля придвинулся ко мне и начал нашептывать.

— Наверное,— говорил он,— про нас забыли в военкомате. Войска отступают, а мы тут роем котлованы. Рыть могут и другие и женщины. Надо сходить в военкомат и узнать.

Коля похудел, лицо у него заострилось, на верхней губе образовался густой пушок, почти усы. И Наташки в Москве не было. Наташка была на окопах. Где-то под Москвой рыли противотанковые траншеи.

Перед отъездом Наташка забежала к нам попрощаться с Колей — в белой кофточке и лыжных брюках и с рюкзаком. Первый раз она никого не стеснялась и так плакала, так целовала Колю, что я подождал немного, а потом ушел в коридор.

Мы посоветовались с Витей и на другой день, после ночной смены, поехали в военкомат. С нами не было только Левы Дрозда. Он почувствовал себя плохо, и мы отпустили его домой.

В военкомате битком набито народу. Почти полдня пришлось ждать. Но мы все же попали к начальнику. Он не только не поздоровался с нами или хотя бы пригласил сесть, он прямо заорал на нас.

— Не могу же я триста раз говорить одно и то же,— кричал он, разводя руками.— Есть же, черт возьми, порядок какой-то! Или нет его?..

Но мы уже были у самого стола. И Витя уже перебивал начальника ровным заискивающим голосом. Первый раз я услышал, как говорит Витя заискивающим голосом. А он говорил одно и то же, одно и то же. Всего два слова: «Товарищ полковник! Товарищ полковник!» — и так далее.

— Ну что, товарищ Ласточкин? — смягчился полковник. Мы переглянулись: оказывается, он знает товарища Ласточкина.— Я же вам сто раз уже сказал: не имею права.— Развел руками и тяжело опустился в кресло. Потом посмотрел на нас и вроде обрадовался чему-то.— Вот еще знакомый,— сказал он и пальцем показал на Юдина.— Юдин, как жется?

Юдин уставился в пол и стал медленно краснеть.

И вдруг военный человек, полковник, неожиданно для нас сказал:

— Господи! Ну что мне с вами делать? Садитесь.

И мы сели. Полковник совсем успокоился и сказал, что Ласточкину, поскольку он участник финской войны, подыщет военную работу. Что же касается Юдина, то пускай он не сетует. Белобилетник есть белобилетник. Он повторяет последний раз: ничего сделать не может. Остальные, то есть мы с Колей, будут вызваны, когда это понадобится.

— И не думайте, пожалуйста,— сказал он под конец,— что война кончится сегодня к вечеру. Хватит и на вашу долю... А теперь не мешайте работать. Будьте здоровы.

Когда мы вышли, Юдин угрюмо сказал:

— Все равно меня возьмут. Я же почти все вижу.— И он прикрыл ладонью таинственный левый глаз, на котором было небольшое мутноватое бельмо.

— Может быть,— грустно ответил Витя.— Все это придирки. Зачем придираться, когда идет война?

Через несколько дней Витю вызвали к военкому и дали боевое задание — руководить курсами медсестер. Витя скрепя сердце согласился. Он переехал под Москву, где были организованы эти курсы, и нас стало на одного меньше.

Мы продолжали ждать вызова. Юдину ждать было бесполезно, поэтому он действовал. Действовал, как всегда, молчаливо и скрытно. Ночью работал, днем метался по каким-то местам. Однажды пришел возбужденный, радостный.

— Устроился,— говорит,— в отряд парашютистов.

Но радость оказалась преждевременной. Его опять забраковали. Но, видимо, не зря он считался среди нас самым умным и начитанным. В нашем классе, где мы спали на полу, появились таблицы, по которым медицинские комиссии проверяли зрение призывников. Где он их достал? Наверное, просто украл. Таблицы эти Юдин приколол к классной доске и начал тренировку. Отходил на определенное расстояние — он знал, на какое расстояние надо отходить,— и кто-нибудь из нас, чаще это делала Марьяна, показывал карандашом на какую-нибудь букву алфавита или фигурку. Юдин должен был назвать букву или фигурку. Сначала у него ничего не получалось. Потом он стал угадывать все чаще и чаще, пока, наконец, не вызубрил наизусть все таблицы. Так удалось ему обмануть очередную комиссию, и он был зачислен в специальный отряд службы ВНОС.

Юдина обмундировали. В красноармейской форме — в гимнастерке не по росту, в пилотке, ботинках с черными обмотками — он был счастливым, молодецкатым и немного нелепым. Марьяна вертела его перед собой и все говорила:

— А правда, ребята, Юдин молодец? Вот пилотка только маловата. Ты обязательно, Толя, перемени. Слышишь?

Распрощались и с Юдиным. Он служил в своем ВНОСе где-то под Москвой, и Марьяна один раз уже ездила к нему.

Через неделю, в начале августа, получили повестки и мы — целая группа ребят, в том числе Коля, я и Лева Дрозд. Дрозд попал в артиллерийское училище, мы с Колей — в пехотное.

Но вместо училища мы получили назначение следовать до города Саранска, в какую-то запасную часть. Старшему группы вручили документы, и мы отправились на вокзал. До отхода поезда оставалось два часа, которые показались нам целой вечностью. Нас провожала Марьяна. Мы толкались на перроне, старались о чем-то разговаривать, но каждый, наверное, думал об одном: как сложится наша солдатская судьба. Ведь мы были уже солдатами, хотя еще и в своих гражданских пиджачках. Один черненький такой крепышок подошел со своей девчонкой к старшему и попросил на полчаса отлучки.

— Мы сбегает,— сказал он,— распишемся, тут недалеко.

И они, взявшись за руки, побежали расписываться.

— Зря,— сказал я.

— Почему же зря? — вступилась за молодоженов Марьяна.

— А вдруг что случится? Убьют, например. Будет вдовой.

— Зачем ты говоришь глупости?

— Но ведь могут же убить?

— Перестань. Нашел о чем говорить.

Я перестал и извинился перед Марьяной за этот глупый разговор. Но Коля неожиданно продолжил его.

— А я тоже бы расписался,— сказал он.— Понимаешь? Одно дело сражаться вот так, а другое дело мужем. Когда у тебя за спиной родина и еще Наташка, жена твоя... Если удастся, обязательно распишусь.

— Ты прав,— сказал я и подумал: что же будет с нами?

Первый раз в жизни мне так хотелось знать, что будет дальше, хотя бы за день вперед, или за два дня, или же за целый месяц вперед.

Молодожены прибежали буквально перед самым отходом поезда. Даже не успели попрощаться как следует. Они раскраснелись и сияли от счастья. Только когда уже поезд тронулся и муж начал махать кепкой, жена не выдержала. Она пробежала немножко вслед за вагоном, потом остановилась и заплакала. А Марьяна крикнула нам:

— Обязательно пишите, ребята!

Долго мы смотрели в окна, а потом стали уstraиваться. Ребята подобрались веселые. Все время шутили, даже над мужем немножечко посмеялись, так просто, по-дружески, не обидно для него. И перезнакомились незаметно, под шуточки...

Запели военные песни. А мне очень хотелось разговаривать, разговаривать с кем-нибудь, чтобы не думать одному черт знает о чем.

— Сколько продержалась Парижская коммуна? — спросил я Колю.

Я и сам не знал, почему задал этот дурацкий вопрос. Коля повернулся ко мне и посмотрел как на ненормального.

— Ты что?

— Нет, правда. Сколько продержалась Парижская коммуна?

Тогда он ответил вторым голосом своим, но немного грубовато, рассерженно:

— Она и сейчас держится.

Мне не хотелось развивать глупый разговор, но в то же время я не мог удержаться, что-то подмывало меня.

— Коля! А что, если и нам срок отпущен какой-то? И будут потом вспоминать о нашей жизни как о светлом сне человечества. А?

Коля совсем повернулся ко мне, и в глазах его шевельнулась тревога и отчуждение.

— Знаешь что? — сказал он.— Этого никогда не случится. Мы их все равно разобьем.

Я тоже думал, что мы разобьем их. Но меня просто подмывало заглянуть в бездну. Вот немцы займут всю страну, даже всю Сибирь — что тогда будет? Если кто останется из нас в живых, мы заставим себя умереть. Все умрем. Даже в моем дурацком воображении я не находил места для подневольной жизни.

— Ты не подумай, Коля,— сказал я.— Мы, конечно, разобьем их. Просто на минуту я интеллигентом сделался.

— Интеллигентом был Ленин,— ответил Коля.— Ты просто раскис. Давай лучше петь.

Мы пристроились к песне.

Эх, махорочка, махорка!  
Подружились мы с тобо-о-ой...

Поздно вечером, когда улеглись спать,— наши полки были верхние, друг против друга,— мы с Колей тихонько спели на два голоса нашу любимую песню «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горюшь ты вся в огне». Между прочим, мы ее пели и тогда, в поезде, когда первый раз ехали в Москву из Прикумска, когда проводник прогнал нас с открытой площадки тамбура. Очень хорошая песня.

В Саранск поезд пришел на рассвете. Можно сказать, почти ночью. Потому что, когда мы пришли в красные трехэтажные казармы, чтобы переждать до утра, там в коридорах еще плавал в табачном дыму ночной сумрак. Переждать до утра было невозможно: одни только лестницы были свободны, а в коридорах — мы осмотрели все три этажа — вповалку лежали люди. Они лежали так тесно и в таком беспорядке, что негде было ступить даже одной ногой. И сплошь одни мужики, огромное количество мужиков. Они были в диком рванье. Никто, наверное, уже лет сто не надевал на себя того, что было на них сейчас надето. Они шли на войну, знали, что получают обмундирование, поэтому оделись в такую рвань, какую можно было достать только с трудом. Все они спали мертвецки. Смотреть на них было жутко, потому что это же те солдаты, которые должны были в конце концов остановить врага.

Картина была до того угнетающая, что мы не стали даже пытаться найти себе место, поскорее выбрались на воздух. Бродили возле казармы сонные и погрузневшие. Потом пошли в город, который уже просыпался, и слонялись там до открытия комендатуры. Комендант объяснил нам, как пройти в лагерь, к месту нашего назначения. Все это время то и дело перед моими глазами как наяву вставали коридоры, заваленные спящими людьми.

Лагерь стоял в лесу, в нескольких километрах от города. Зеленые шалаши с плоскими крышами, между ними вытоптанная трава, уже хорошо пробитые тропинки. В глубине дымилась походная кухня, чуть в стороне от шалашей — брезентовая палатка для командования. Когда мы пришли, в лагере стояла тишина, редкие мелькали меж деревьев и шалашей дневальные, несколько человек у походной кухни чистили картошку. Нас внесли в список, то есть поставили на довольствие, и развели по шалашам, а после обеда у нас уже были свои отделения, взводы и роты, и мы с Колей в составе отделения ушли на занятия. Народ весь был гражданский, одетый кто во что горазд, но молодой, не похожий на тех, что мы видели в казарме.

На следующее утро мы получили оружие. Оружие, правда, не настоящее — деревянные палки с зеленой неочищенной корой и вместо ремней бельевая веревка. Но мы быстро освоили это оружие и лихо кололи им чучела, делали «на плечо», «к ногам» и другие несложные артикулы. Главное, мы были в строю. Нам понравилось на зорьке вставать по сигналу, выстраиваться по росной траве на утренний осмотр, а потом упругим строем идти на занятия, прижимая локтем сучковатую подругу, с веревкой через плечо. Мы усердно печатали шаг и чувствовали себя настоящими воинами.

Каждый день у брезентовой палатки собирались какие-то группы, оформляли документы и уходили из лагеря. Сначала мы не обращали на это внимания, но скоро нам стали надоедать наши деревянные, ненастоящие винтовки, кончились московские запасы, а в лагере кормили совсем плохо, не было питьевой воды, сводки по-прежнему были тревожными, и вообще все было не то. Мы стали приглядываться к палатке, томительно ждать своей очереди, когда и нас вызовут, чтобы отправить куда-то.

Может, потому, что мы жили в лесу, в глухой тишине, война отсюда казалась бесконечно далекой. О ней напоминали только сводки да изредка забредавшие самолеты — то ли наши, то ли чужие, различать их мы еще не умели.

И оттого, что война казалась отсюда бесконечно далекой, но она все же была, тягостная нелепость нашего положения томила нас еще боль-

ше. Однажды, когда мы кололи своими палками истерзанные чучела из связанных прутьев, на полянке появился командир роты. Заметив его, отделенный подобрался весь и скомандовал:

— Отделение, стройся! Смирно! — И сделав навстречу идущему несколько великолепных шагов, отрапортовал: — Товарищ старший лейтенант, отделение занимается штыковым боем.

— Вольно, — сказал небрежно старший лейтенант.

— Вольно! — отчеканил командир отделения.

Мы поломали строй и стали переглядываться между собой, строя всякие догадки. Каждую минуту мы ждали важных новостей. Поговорив с отделенным, старший лейтенант подошел к нам.

— Как держишь винтовку, товарищ боец? — сурово обратился ко мне командир.

Я держал свою палку на плече, как удочку. После этого замечания я снял ее и поставил перед собой вроде посоха. Командир снова сделал замечание, повысив голос. Тогда я приставил палку к ноге и стал по стойке «смирно». Он оглядел меня с головы до ног и добавил:

— Постричь волосы!

Я снял кепку, провел пятерней по волосам и ответил миролюбиво:

— Да ничего, товарищ старший лейтенант.

Командир укоризненно взглянул на отделенного, потом снова начал смотреть на меня сурово, выжидательно. Я понял наконец, чего от меня хочет командир, и повторил приказание:

— Есть постричь волосы!

Он улыбнулся краешком губ и сказал:

— Вот это другое дело. — Потом взглянул на Колю. — Тоже постричь волосы.

— Есть, товарищ лейтенант! Разрешите исполнять?

Командир вместо ответа приказал отделенному:

— В воскресенье отправить на стрижку в город. Продолжайте занятия.

— Товарищ старший лейтенант, — спросил кто-то из ребят, — мы что, всю жизнь тут воевать будем?

— Может быть. Мне ничего неизвестно, — соврал старший лейтенант.

Я по глазам заметил, что он соврал. А может быть, и действительно ничего не знал. Он ушел и ничего особенного, чего мы ждали, не сказал. И мы продолжали колоть и сбивать «прикладом» свои чучела.

В воскресенье мы с Колей получили увольнительные и отправились в город. Было солнечно, небо стояло высокое, чистое. Между лесом и городом лежал холм. Нужно было перевалить через него, и там уже видны были городские дома. Настроение было бодрое. Душа неизвестно чему радовалась. И у Коли настроение хорошее. Мы шли беспечным шагом и вспоминали всех, кого не было с нами, — Юдина, Дрозда, Марьяну, Витю Ласточкина. Вспоминали Зиновия, но так, как будто он живой еще был. И отдельно про себя Коля думал о Наташке. Это я знал точно.

У нас не было денег на стрижку. Вообще ни на что не было. Поэтому мы сначала пошли на рынок, на толкучку. Наши надежды были связаны с моим почти совсем новым костюмом. Получилось все быстро и здорово. Сначала мы продали костюм прямо на мне, а потом у той же барахольщицы купили старенькие брюки. Барахольщица, ее соседка и Коля устроили заслон, и я быстро переоделся. Вырученных денег хватило не только на стрижку — бедные наши волосы падали на пол парикмахерской, а головы становились маленькими, как у подростков, — мы купили

на рынке много разной еды и первый раз отведали душу, как только хотели. Даже выпили какой-то отравы. Стриженные, отравились бродить по улицам. И тут пережили вот что. Сначала просто услышали бодрую маршевую музыку, даже не поняли сразу, где этот оркестр. А когда вышли на площадь, увидели, как из другой улицы показалась голова колонны и впереди — сияя медными трубами, духовой оркестр. Музыка загремела в сто раз сильнее, чем до этого. Колонна извивалась, огибая памятник Ленину, а конца ее не было видно, она все текла и накатывалась из глубины улицы. Р-раз! Р-раз! Р-раз! — печатала колонна слитый из тысячи шагов один гигантский шаг... А бойцы! Они были в зеленых стальных касках. Через плечо ладно пригнаны серые скатки шинелей. За спиной винтовки щетинятся штыками. И р-раз! И р-раз! И р-раз! И вдруг я подумал, что это, может быть, те самые, из казарм, и чуть не заплакал.

Командир роты все-таки не зря приказал нам постричь волосы. На другой день некоторые отделения не пошли на занятия, а после обеда оставили в лагере и нас. Всех зачем-то еще раз переписали, перепроверили, а через день повзводно мы вышли из лагеря. Опять в дорогу.

Теперь мы ехали по-военному, в переполненных теплушках. Всю ночь ехали. Утром узнали — едем в Москву. И верно, вечером того же дня эшелон остановился в Москве, на какой-то товарной станции. Место было незнакомое. Из эшелона никого не пускали, хотя многие просились в город. И вдруг мы увидели телефонную будку напротив эшелона, за путями, у какого-то заборчика. Сбежать в будку разрешили. Мы разжились у ребят монетками и побежали, перепрыгивая через бесконечное количество путей.

Коля передохнул несколько раз, потом начал звонить. Сначала ничего не получалось: он раньше снимал трубку, а после бросал монету — так он волновался. Потом он сделал все как надо. Набрал номер и шепотом проговорил:

— Дома или нет?.. — И вдруг — щелк! — и сразу голос в трубке. Даже мне было слышно, что это Наташкин голос. — Наташенька, здравствуй! — сказал Коля и весь натянулся, как струнка, и глаза его стали теплые и какие-то прислушивающиеся. — Это я, Коля... Почему не я? Честное слово, я. — Молчание. Коля забеспокоился, взглянул на меня мельком и опять: — Наташа, это же я говорю! Почему не мой голос? — Коля подsunул мне трубку. — Не верит, скажи, что это мы.

— Наташа, это мы, здравствуй! Я и Коля! Узнала?

И Наташка слабым голосом, как будто с того света, ответила:

— Да...

Снова заговорил Коля:

— Наташа, слышишь? Аллс! Наташа! — Коля прислушался и тихо сказал: — Наташенька... Плачет... Ну скажи что-нибудь, сейчас эшелон уйдет... Плачет.

И тут действительно резко запела труба: по вагонам!! Я открыл дверь будки, а Коля все говорил, все умолял не плакать, сказать что-нибудь, потому что он уже уезжает, уезжает уже. Еще немножечко послушал молчавшую трубку, бережно повесил ее и выскочил из будки.

Эшелон тронулся. Мы сели на ходу, ребята втащили нас за руки.

Да, надо привыкать к быстрым переменам в жизни. Война. Вроде еще вчера мы были в Москве, потом — раз! — и уже где-то под Саранском, а теперь опять в Москве и в то же время не в Москве, куда-то уже несет нас эшелон. Были все вместе, а теперь все по разным местам. Только что Наташка в белой кофточке и в лыжных брюках при всех целовала Колю, и вот ее нет, и вдруг ее голос как будто с того света. Она где-то рядом,

среди моря домов, в одном доме, а мы вот в теплушке — потряхивает немного, колеса постукивают... Да, надо к этому привыкать.

Остановились в Серпухове. Пока туда-сюда, стемнело. Начали выгружаться. За насыпью, уже в сплошной темноте, построились. И только тут командиры взводов объяснили все по-человечески. Оказалось, что весь наш путь от Москвы до Саранска, оттуда назад до Серпухова — это путь в училище, Подольское пехотное. Стоит оно в лесу, место называется — лагерь Лужки.

Вот и идем в эти Лужки под августовскими звездами. Ночь такая темная, что почти не видишь идущего впереди.

— Не растягиваться! Подтянуться! — перекликаются командами то спереди, то сзади, то справа, то слева невидимые командиры.

Кто-то споткнулся и выругался, кто-то налетел на замешкавшегося переднего, кто-то прыснул от смеха под самым ухом. Куда-то идем и придем, видно, прямо в лагерь Лужки. Это хорошо, что в училище мы попали не сразу. Все-таки накопился опыт — строевая, штыковой бой, саранская лагерная жизнь. Неважно, что вместо винтовок — деревянные палки. А этот ночной марш! Вообще ходить строем ночью, да еще в незнакомых местах — это кое-что значит.

По звездам было видно, что идем полем. Потом звезды, те, что висели над горизонтом, заслонились черной стеной, запахло по-иному, послышался шум листьев. Вошли в лес.

Шли долго. Уже стало казаться, что вообще никуда не идем, а так вот живем на ходу. А ночи и конца нет. Заволокла все на свете густо, на-совсем.

Где-то в голове колонны слабо, как через стенку, раздалась команда, потом повторилась ближе и громче, еще ближе. А когда я стукнулся лбом в затылок переднего, команда уже перекинулась назад, теряя силу, замирая где-то в хвосте.

— Приставить ногу! Остановись! Приставить ногу!

Колонна уперлась в часового. Это и был лагерь Лужки. Мы прошли внутрь. Конечно, все это условно, потому что и вне и внутри была ночь, и ничего другого не было. Но мы уже видели лучше, чем вначале. Пригляделись. Справа от нас белели палатки. Спотыкаясь о натянутые веревки и колышки, расползлись по палаткам и сразу уснули. Может, кто и не сразу уснул — кого голод мучил, кого холод: ночи были уже студеные.

Труба деловито и молодо выпевала подъем. Для ее серебряного голоса нет преград. Брезентовые потолки, стены, изнутри проложенные фанерой, задраенные той же парусиной двери — ничто не мешает звучать ей будто над самым ухом. Труба пела, а мы вздрагивали, как боевые лошади, поднимались и спешили на ее зов.

Здесь, в Лужках, не то что под Саранском. Хотя кругом тоже лес, но даже и лес какой-то строгий, сосновый. Возле палаток дорожки подметены, широкий плац в центре лагеря, дорога — гладкая, будто асфальтовая — идет между соснами к столовой и в обратную сторону, к штабным помещениям, к воротам. То там, то здесь — вкопанные в землю бочки с водой, песок против зажигательных бомб, траншеи в сосняке — на случай воздушного налета. Во всем строгий порядок и культура. Тут уж вошь не заведется! В первое же утро на линейке была отдана команда проверить «на форму двадцать». Старшина прошел к правофланговому и на ходу приказал:

— Приготовиться!

Мы переглянулись и из-за военной своей неграмотности не знали, что надо делать.

— Кто не понимает,— крикнул старшина,— объясняю: проверка на швивость. Вопросов нет? Снять рубашки и держать на вытянутых руках в вывернутом виде.

Начал он с правофлангового. Пошарив в складках, скомандовал:

— Три шага вперед!

Потом подошел к другому, третьему. Из строя выходило больше, чем мы ожидали. Никто, конечно, не виноват, но все же неудобно как-то и стыдно стоять перед строем со своей злополучной рубахой.

Потом направились к столовой. Командир взвода, не саранский, а новый, молодецкато шествовал сбоку и следил за нами, как перед парадом. То и дело выкрикивал: «подравняться», «шире шаг», «подтянуться, не разговаривать» и так далее и так далее. А когда замечаний придумать больше не мог, начинал считать:

— Р-раз, два, три... Лево́й, лево́й! Р-раз, два, три...— Когда надоело считать, скомандовал: — Запевай!

Передние молчали. Хвост тоже молчал. Мы уже чуяли носом кухню, и души и сердца наши были давно уже там, в столовке. Было не до песни. Тогда взводный остановил нас и заставил маршировать на месте. Мы дружно маршировали на месте, а взводный добродушно объяснял нам: пока не запоем, будем вот так маршировать и никогда до столовой не дойдем. Хочешь не хочешь, а петь надо. Взводный дал нам понять, что любая его команда для нас закон. Петь — значит петь. Не петь — значит не петь. Мы запели и двинулись вперед.

— Эх! — воскликнул я, когда взглянул на Колю, представшего передо мной на другой день полностью обмундированным.

Головки его кирзовых сапог блестели, начищенные, гимнастерочка туго перетянута ремнем, красные петлицы, и главное — фуражка с черным лакированным козырьком и ярко-красным околышем. Фуражка венчала все. Она лихо, чуть набок, сидела на Колиной голове и, перекликаясь с красными петлицами, делала Колю необратимо военным человеком.

Форма — великая вещь. Коля весь преобразился, движения его стали решительными и веселыми. Все он делал с какой-то внутренней радостью — вставал, поворачивался, ходил, отдавал честь командирам. Особенно эта честь! Он отдавал ее играючи, с веселым вызовом, щегольством и даже наслаждением. Может, в нем есть военная косточка? Как будто не замечалось. Но быть военным ему очень нравилось.

Отделенный выделил из всех нас Колю. Сам он был человеком вялым, мешковатым, но когда надо, работал, как хорошо отлаженный механизм. Мог и скомандовать не хуже ротного, и выправку держать, и повороты, и все другое. Воинское рвение тоже умел оценить, потому и выделил из всех нас Колю.

Однажды отделенному не понравилось, как один из нас делал повороты. Он вызвал того курсанта из строя и приказал ему подать команду.

— Я покажу вам,— сказал он,— как надо поворачиваться.

— Кру-у...— начал курсант, и отделенный замер в ожидании второй, исполнительной части команды, чтобы как следует показать поворот.— Кру-у... От-ставить!

Не ожидая такого коварства, отделенный сделал щегольской поворот. Отделение встретило это хохотом. Тогда наш сержант, выждав, пока отольет от лица кровь, скомандовал курсанту «шагом марш». Потом завернул его, еще завернул, пока не вывел на круг.

— Шире шаг! Прибавить шагу! Бегом!

Отделенный вывел курсанта на круг и нудновато-тихим голосом начал гонять провинившегося по кругу.

— Раз, два, три, четыре,— бесстрастно считал сержант.— Прибавить шагу! Хорошо.

Он гонял до тех пор, пока мы не начали тревожно переглядываться, а Коля вышел из строя и сказал сержанту:

— Остановите его, он сейчас упадет.

Отделенный сразу же приостановил свою месть. Напуганный, бледный курсант встал в строй. Почему сержант послушался Колю? Может быть, потому, что ценил его, а может, сам догадался, что затеял нехорошее. После этого случая ничего такого у нас с отделенным не было, но отношения наши с ним дальше служебных не продвинулись. А был он молодым парнем, чуть постарше нас, и ему, наверное, иногда очень хотелось потрепаться с нами во время перерывов. Но он сидел на траве рядом с нами, одиноко сидел и не вмешивался в наш разговор.

## 20

Вот уже несколько дней небо затягивало хмарью и заряжал хотя еще не холодный, но мелкий, назойливый дождь. В лагере участились тревоги. Где-то в стороне сотрясали воздух взрывы, и там же нервно перекликались зенитки. В такие часы мы отсиживались в непросыхавших траншеях.

Но и с ночными налетами мы вполне сжились в Лужках. Стреляли из винтовок и пулемета, если наш учебный пулемет системы Дегтярева бы исправен; трижды на день с песнями «Эх, махорочка», «Катюша» и особенно «Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое-ое мы стальными штыками защитим...» маршировали по дороге в столовую и обратно. Эта дорога была для нас наиболее желанной из всех, какие были на территории лагеря. Потому что, сказать честно, в любую минуту суток, даже за обеденным столом, мы испытывали голод.

Неожиданно приехала Наташка. Коля ждал от нее письма. Но вместо этого она явилась сама. Как она могла разыскать нас по условному полевому адресу? Коля об этом не спрашивал ее и правильно делал. Наташка могла бы разыскать Колю, если бы нас отправили в какой-нибудь даже не существующий на земле город. А тут все же лагерь Лужки, совсем под рукой. Приехала она в воскресенье. Когда Коле передали об этом дежурные, мы вместе с ним отправились в штаб, чтобы получить разрешение на выход из лагеря, где (даже не верилось) Колю ждала Наташка.

Попали мы на какого-то полковника. Полковник так полковник — нашего большого начальства мы не знали.

— Разрешите, товарищ полковник, обратиться! — Коля вытянулся и отдал честь с блеском.

Полковник не пришел от этого в восторг, он даже не поспешил с ответом. Он сказал спокойно: «Не разрешаю», — строго спросив при этом, почему являемся не по форме. Мы переглянулись и ничего не поняли. Тогда мы еще раз оглядели друг друга. И тут я заметил — я и раньше видел, но на эту мелочь никто не обращал внимания, — у Коли не было на левом кармашке гимнастерки пуговицы. Она была там когда-то, но в этом кармане Коля носил пухлую записную книжку. Пуговицу трудно было застегивать, она страшно оттягивалась и наконец отскокида совсем. Я молча показал на этот злосчастный кармашек, и полковник тут же сказал:

— А вы как думаете? Можно щеголять без пуговиц, с набитыми черт знает чем карманами?

Между прочим этот непорядок с оттопыренным карманом без пуговицы несколько не нарушал военной опрятности и даже изящества в Колином облике. Однако полковнику лучше знать. Раз он считает — непорядок, значит так оно и есть.

Полковник снял с гвоздя свою фуражку, достал оттуда иголку с ниткой, в столе отыскал пуговицу и попросил Колю опорожнить карман. Коля с трудом вынул записную книжку и вместе с огрызком карандаша положил на стол. Полковник ловко и быстро пришел Коле пуговицу. По-женски перекусил нитку, застегнул кармашек и пригладил его для порядка.

— Попробуй, как оно?

Коля потрогал пуговицу и сказал, что пришита хорошо, большое спасибо.

— Не за что,— ответил полковник и только теперь разрешил обратиться по форме.

Коля щелкнул каблуком, вскинул руку к лакированному козырьку и доложил о нашей просьбе. Полковник выписал пропуск.

— А для этого,— указал он на записную книжку,— найдите другое место.

Он взял книжку, повертел ее в руках, полистал. Затем задержался на одной страничке, прочитал вслух:

Провинившееся небо  
Взяли молнии в кнуты...

Коля покраснел. Это были строчки еще не написанного стихотворения, и ему было неловко, что их читали вслух, вроде подглядывали в его душу. А полковник еще перевернул страничку и еще прочитал:

— «Пламя мысли, никогда не унижавшейся до бездействия».

Лицо у полковника было грубоватое, как у большинства военных, но Колины заметки его тронули как-то не по-военному. Он чуть задумался и, проговорив: «Хорошо сказано», спросил, о ком эти слова. Коля ответил:

— О Барбюсе.

— Хорошие слова,— повторил полковник и еще перевернул страничку.— «Советский человек не имеет права быть неучем, дураком и вообще плохим человеком. Потому что перед ним все время стоят Ленин и революция». А это чьи слова?

Коля не ответил.

— Значит, ничьи. Сам сказал...— Полковник задумался на минуту, потом закрыл книжку и подошел к Коле.— Вот что. Когда пуговица снова отлетит, пришейте ее немного повыше, легче будет застегивать.— И собственноручно водворил записную книжку на старое ее место, в кармашек гимнастерки.

Если ты простой курсант, и тебе полковник пришивает пуговицу, и сам водворяет записную книжку в левый кармашек гимнастерки, то этот полковник чего-нибудь стоит. Уж он-то, наверно, чувствует, что перед каждым из нас стоят Ленин и революция.

На минуту мы позабыли даже о Наташке. Зато потом со всех ног бросились к выходу. Небо выседало мелкую, невесомую морось. Воздух от нее был белесым, и сквозь эту морось на холме, поросшем соснами, мы увидели Наташку. Она стояла в обнимку с молодым медностволовым деревом. Как только в одном из нас она узнала Колю, то сбросила с головы капюшон плаща и рванулась вниз. Не добежав до

нас несколько шагов, остановилась, чтобы во все глаза разглядеть своего совсем нового Колю Терентьева. Глаза эти я запомнил на всю жизнь. Потом уже, после этого, я всегда мог отличить без ошибки настоящую любовь от ненастоящей... Коля тоже остановился на минуту. И вот они бросились друг к другу и замерли, обнявшись, а я тихонько козырнул и прошел мимо, вверх по холму, в сосновую гущину. Но вскоре меня окликнула Наташка. Она отступила от Коли на шаг, посмотрела на него и сказала:

— Убили Толю Юдина. При бомбежке.— И печально опустила счастливые свои глаза.

Мы смотрели на песчаную землю, усыпанную прошлогодней хвоей и шишками. Долго смотрели на землю. И хотя шла война, я не мог себе представить убитым Толю Юдина, как не мог недавно представить мертвым Зиновия... Юдин... Его улыбка исподтишка, его постоянно сползающая прядь, его хитроватый таинственный глаз, его букинисты, его шуба, его письма от брата-музыканта, его — дохнул в ладошку: ах, температура?.. Как же это все? Неужели ничего этого никогда больше не будет?

Мы тихонько побрели вверх. Спросили о Марьяне. Наташка сказала, что Марьяна ушла служить к Толиным товарищам в отряд ВНОС.

## 21

В конце октября заглодало. После обеда, когда все разошлись по палаткам, над лагерем тревожно пропела труба. Боевая тревога. Курсанты бросились на плац, торопливо строясь, спрашивали друг у друга, у отделенных: «В чем дело, что случилось? Не подошли ли к лагерю немцы?» Оказалось, ничего серьезного. По приказу командования мы должны в составе всего училища совершить глубокий учебный марш-бросок. Пешим строем, затем поездом и снова пешим строем. За пять минут нужно было привести себя в полную боевую готовность, проверить оружие, осмотреть палатки, чтобы ничего не осталось из личных вещей.

Лагерь, размокший от морозящих дождей, казался пустынным, заброшенным даже в эти минуты, когда плац был еще забит курсантами. Мы стояли в полном боевом снаряжении — с малыми лопатками в чехлах, ранцами за спиной, с оружием. У меня на плече — ручной пулемет, у Коли в руках — две коробки с пустыми дисками.

К голове колонны скорым шагом пронесся маленький, шустрый, в зеленой плащ-палатке и с автоматом ППШ через шею командир нашей четвертой роты. Раздался его пронзительный голос, и четвертая рота тронулась вслед за первой, второй, третьей, вслед за другими ротами других батальонов.

Мокрый, слезящийся от мелкого дождя лагерь остался позади. По обочинам дороги глянцевице мерцали еще зеленые травы. Вода скапливалась в листьях, потом проливалась, и травинки от этого зябко вздрагивали. А мы, в серых шинелях, вроде бы и ни о чем не думали, кроме как «левой, левой, левой». Дорога была песчаной, поэтому мы шли, как по сухому, — левой, левой, левой...

До Серпухова дошли быстро, не так, как тогда, ночью. Но за дорогу нам с Колей не раз пришлось поменяться ношами. Носить пулемет и диски не такое уж удовольствие. В лагере кое-кто завидовал нам, теперь же мы завидовали им. Горя они не знают со своими винтовочками за спиной.

Было совсем темно, когда мы погрузились в эшелон. Поехали. Марш-бросок? Хуже всего на войне, когда не знаешь, где ты будешь вскоре, что с тобой будет.

Остановились. Чуть видно мерцали фонари в чьих-то руках. Высыпали на платформу. Говорят: Подольск. Кто-то куда-то уходил, возвращался, с кем-то перекинулся. Потом к вагонам стали подносить пахнущие сосной деревянные ящики. Их открывали штыками, в ящиках были цинковые коробки. Патроны. Нам с Колей достался ящик. Цинковые штуки мы тоже вспороли штыком. Холодные, тяжелые, остроклювые патроны лежали плотно, один к одному. Много патронов. Мы уже не были детьми, но столько настоящих смертоносных патронов могли и взрослого заставить переживать. Даже на ощупь, в темноте, они производили впечатление. Вроде нехитрая штука — боевой патрон, а что-то такое в нем есть. Жизнь человеческая, что ли, смерть ли его?

С этим не вполне ясным настроением набивали мы свои подсумки и даже карманы шинелей холодными, оттягивающими ладонь патронами. Одну цинковую коробку захватили в теплушку, чтобы зарядить порожние диски. Между тем откуда-то появился слух: немцы прорвали оборону под Москвой. Но мы и без того уже понимали, что едем на фронт. От этого было не то что легче, а как-то спокойней, душа стала на место. В такие минуты каждому хочется знать только правду. Скажут правду — неважно, хорошая она или плохая, — и душа становится на место. Если ничего не знаешь или знаешь не то, что есть на самом деле, тогда все как-то не то, неладно.

Рассвет был мокрый, дождливый. Эшелон вынесло из ночных блужданий к Малоярославцу. Городок стоял нахохлившийся, молчаливый. Не задев его тревожной дремоты, наши колонны прошли мимо потемневших деревянных домиков. Черная шоссейка со взбитой тысячами ног грязью уползала к далекому лесу, чуть проглядывавшему за мутной сеткой дождя. Низкое, тоже со взбитой грязью туч небо стекало на нас ленивым дождем. Порой дождь взбадривался и шумел полетному, потом снова выбивался из сил и безвольно лился на наши потемневшие колонны. Шинель набрякла, стала неудобной, терла за деревенелым воротником шею. Тысячи ног устало месили жидкую шоссейную грязь. Мир казался тесным, сдавленным и безнадежным. Но мы, колонна за колонной, ползем, пробиваемся куда-то вперед, куда-то вперед.

Коля идет в четверке передо мной. Плечи его оттянуты книзу, потому что в руках тяжелые коробки с дисками. Над грубым шинельным воротом, из которого торчит тонкая шея, лишь намокшая фуражечка напоминает мне о вчерашнем курсантском щегольстве.

— Коля! — окликаю я. Мне хочется взглянуть ему в лицо, чтобы поддержать себя, а может быть, и его.

Он с трудом поворачивает голову и через плечо устало подмигивает мне. Живы будем — не померем! Перекладываю пулемет в парусниковом чехле на другое плечо, еще не успевшее отдохнуть, и шаг мой становится чуть построже, поуверенней. Как бы ниоткуда приходят свежие силы. Думалось, что их давно уже нет, волочишь ноги, как заводной, но вот переглянулся с человеком, и откуда-то явилась еще одна капля терпения и силы. Вскинешь голову, а там далеко, в мутном дожде, идет, наверное, наша первая рота. Устало колышутся головы, шаркает один нестройный тяжелый шаг. Но я уверен, колонна не только идет, она думает. «Что нужно сейчас родине? — думаю я. — Чтобы мы шли и шли вперед, в серую мглу дождя. Шли день, другой, третий, сколько понадобится». И я иду, идет впереди Коля, идут мои товарищи.

По рядам передается команда «примкнуть штыки». И вот над колонной вырастает частокол ножевых штыков. Распрямляются плечи, чуть выше головы. Мы идем, думаем. Покачивается холодный, железный лес штыков.

Дорогу обступил молодой осинник. За ним чернеют хмурые ели. Привал.

Что такое счастье? Теперь бы я еще подумал, прежде чем ответить. Но тогда я сказал бы, не думая: счастье — это когда ротный скомандует привал, а старшина выдаст по куску черного хлеба и по ложке сгущенного молока.

Вроде бы день, и его уже нет. Вместо дня грязные сумерки.

Мы сидим на мокрой листве, держим в руках черствый захламленный хлеб со сгущенным молоком, потом начинаем с краев, чтобы не падали крошки, отламывать зубами солдатское лакомство. Хорошо после этого затянуться сладким дымком пайковой махорки. Свернув цигарку, Коля говорит:

— Кончится война, сразу же на всю стипендию куплю сгущенного молока. Сорок четыре банки... Двадцать две съем за один раз, остальное растяну до новой стипендии.

— Нет, — говорит другой курсант, — я не сгущенку, я куплю...

Ему не дают договорить. Скомандовали подъем и развели нас по осиннику рыть окопы. Корни в земле сплошь переплелись, их нужно рубить лопаткой. Трудно рыть окопы в осиннике. И неизвестно зачем. Неужели это уже передовая? Мы работаем своими маленькими лопатками, стоя на коленях, работаем с жестоким упорством, пока наконец не раздается команда строиться. Построились и опять пошли. Ничего не поймешь.

Дождь незаметно перешел в снег, первый снег в этом году. Он тяжело закурился над нами.

Черным-черно. Черный лес наваливается на шоссе с двух сторон, черная дорога, черное небо, и даже белый снег кажется черным. Чуть коснувшись раскисшей дороги, снежные хлопья гибнут у нас под ногами. Никак не могут накрыть дорогу. Падают и гибнут. Перед глазами, которые ничего впереди не видят, кружатся эти хлопья, садятся на ресницы, стекают по лицу. Тьма шевелится от этого кружения. Кружится голова. Но мы идем, идем в ночную глубину.

От четверки к четверке шепотом передаются первые новости: до передовой — восемьдесят километров. Потом приходит другое: не восемьдесят, а пятьдесят. Еще через час: враг прорвался и движется навстречу, он в двадцати километрах. И все же мы делаем привал. Падаем меж деревьев на мягкие холмики снега, который здесь, в лесу, уже успел прикрыть землю. Курить нельзя и не хочется... Потом снова идем через черную ночь навстречу врагу. О чем он думает, сволочь, в такую ночь?

Оказывается, когда человек смертельно устал, он может идти без конца, хоть всю жизнь. Только один раз мы остановились, смялись как-то, вспыхнула невидимая тревога. Впереди кто-то уснул на ходу или, споткнувшись, упал. И когда он падал, передний оглянулся и глазом напоролся на штык. Говорили об этом жутким шепотом. Приказали отомкнуть штыки. И колонна двинулась дальше.

Под клочковатым небом нехотя расступилось утро. Оно застало нас на опустевшей совхозной ферме, где уже хозяйничали штабные службы училища. Из трубы мазанки валит жирный дым, и над всей зажатой лесами фермой стоял пьянящий запах кухни.

Первые батальоны, прибывшие сюда раньше, были накормлены и отправлены на передовую. После обеда повзводно ушла и наша рота. Мы прошли по лесной дороге не больше трех километров, и наш первый

взвод Получил приказ рыть окопы и занимать оборону. Это была вторая линия обороны.

Мы рыли окопы и думали о своих товарищах, которые или уходили сейчас на первую линию, или уже находились там. Они казались гораздо старше нас, оставшихся здесь, даже старше самих себя, какими они были на самом деле. К ним вроде что-то прибавилось, важней и значительней чего уже не прибавляется к человеку за всю его жизнь...

Вот и окончилась наша дорога на войну. Она обрывалась перед этой поляной. Перед этими окопами, которые уже были вырыты и нелепо чернели среди зеленой еще травы, возле белых берез, уже исхлестанных дождями и ветром первой осени.

В глубине леса меж дремучих елей копился сумрак. А ближе к опушке, куда подступали березы, было светло даже в это серое и сырое утро.

Чуть высунув головы над свежими брустверами, стояли мы в своих окопах. Наконец-то пришли, вступили по самую грудь в землю, и прежняя текучесть мыслей стала искать точку опоры, обретать устойчивость. Вживайся в эту землю, здесь твой рубеж, твоя крепость, дом твой и твоя родина. У каждого солдата, в каждом окопе.

В неглубоких ямках по лесной опушке — живые существа: в каждой ямке по человеку. Но в каждой ямке еще дом, еще крепость, еще родина. Нет, не просто выковырнуть из этих ямок маленьких человечков в синих курсантских фуражках... А как же те, что с первых дней все отходят и отходят назад, оставляя врагу за пядью пядь живую свою землю? Трудно тем отходить с тяжелой своей ношей — дом, крепость, родина...

В таком духе я развиваю перед Колей свои мысли. Вцепившись железными лапками в землю и вытянув черное рыльце над бруствером, стоит наш ручной пулемет. Мы с Колей, навалившись грудью на кромку просторного, на двоих, окопа, смотрим туда, куда смотрит черное рыльце нашего пулемета. Моросит дождь. Коля молчит, а я развиваю перед ним свои мысли. Мысли вроде и верные, но все же грустные. Почему? Потому что время сейчас по календарю природы называется месяцем прощания с родиной. Я не слышу, как курлычут журавли, покидая родину, улетаая в чужие, дальние страны. Но знаю, что они летят сейчас, невидимые за моросливыми тучами.

На противоположной стороне поляны, куда нацелены стволы винтовок и рыльце нашего пулемета, кровью сочится рябина, а в мокрой траве одиноко достаивают свой срок последние ромашки. Еще ближе, за бруствером, лежит голубовато-фиолетовый, поваленный ненастьем, но еще чистый и еще живой колокольчик. Листья иван-чая потемнели, набрякли темной краснотой, на голых макушках одуванчиков дрожат налипшими косичками остатки когда-то веселого белоснежного пуха.

Тихо по-осеннему. Почти на самой середине поляны стоит старый клен. С его ветвистой кроны опадают подпаленные листья. Они падают медленно, высматривая себе место в траве. Чуть слышно посвистывает синичка.

Опадают листья, лежит в траве колокольчик, робко свистит синичка, моросит дождь, с черного рыльца пулемета стекают на бруствер холодные капли. Осень. Вот почему я развиваю перед Колей хотя и верные, но все же грустные мысли. Конечно, это еще и потому, что уже несколько месяцев идет война, а наша армия, наши солдаты все отступают, все еще отступают.

Взводный облазил окопы, проверил, хорошо ли уложен дерн на брустверах, удобно ли чувствуют себя курсанты. Потом приказал проверить оружие. Неуместно и тревожно вспыхнули первые выстрелы. Над окопами поднялся пороховой дымок. Лейтенант, растолкав нас с Колей, приложился к пулемету. Дал очередь. Гулко отдалось в груди. Еще оче-

рѣдь, и еще отозвалось в груди. Постреляли и мы с Колей. На той стороне поляны пули срезали листья и ветки с деревьев. Как видно, оттуда должен появиться немец. После пристрелки оружия мы окончательно поверили, что он обязательно появится. Вглядывались в поредевшую лесную чащу и ждали. Но он не появился.

До самого вечера, а потом и всю ночь то слева, то справа, то где-то далеко впереди затевалась стрельба. На разные голоса — глуше, явственнее — постукивали пулеметы, Вмиг обрывалось все, а через минуту-другую все начиналось снова. Снова стучал и захлебывался пулемет и тяжело прослушивался далекий рокот артиллерии. Там-то был, наверно, настоящий бой.

Перед сумерками оттуда, где харкали орудия — это мы сразу поняли, что оттуда, — пришел, пошатываясь, ворочая воспаленными белками, одиночка курсант. Он появился на поляне грязный, помятый, озирающийся. Испуганно повернулся на наш окрик и хрипло ответил:

— Свой!

Мы окружили его, он молча оглядел нас, и вдруг его прорвало. Он начал говорить, говорить, заплетаясь, без остановки, боялся, что не поверим.

— Всех поубивало, всех до одного, — говорил он заплетаясь, — весь батальон, один я остался. Один из всего батальона. Не верите?

— Типичная паника, — сказал кто-то из курсантов.

— Я — паника? Я? — жалко осклабился «свой». — Я вот один из всего батальона. Поняли? Там же ад. Не верите? Пошлют, узнаете...

Лейтенант несколько минут слушал молча, нахмутив брови. Потом оборвал этот страшный лепет.

— Где винтовка? — спросил он.

— Да я же говорю...

— Где винтовка?

— Какая винтовка? Я же один из всего батальона...

— Курсант... — Взводный оглядел всех и назвал фамилию одного из курсантов. — Сопроводить в штаб. Доложить начальнику штаба, что по моему приказанию доставили труса и паникера. Исполняйте!

— Есть доставить труса и паникера, — угрюмо отозвался курсант, не отводя тяжелого взгляда от «своего». Потом так же угрюмо сказал: — Ну-ка, двигай, браток. — И взял винтовку наперевес.

Конечно, это был паникер. И трус. Это всем было ясно. Но мы смотрели на него и как на человека, который побывал там. На душе было тяжело и обидно. Пусть он с перепугу все преувеличил, наврал. Но истерзанный вид его говорил и о том, чего мы еще не знали и не могли представить себе. Что-то там неладно, не так, как надо. И душа сама тянулась туда, ей не хотелось гомиться неизвестностью.

— Что ты скажешь? — спросил я Колю, когда снова заняли свои окопы.

— Не бойся, я не побегу, — ответил Коля.

— Я совсем не об этом.

— А я об этом, — упрямо повторил Коля и в упор посмотрел на меня. Как бы продолжая разговор с самим собой, сказал: — Главное — стоять. — Помолчал немного и добавил: — Договорились?

— Договорились!

К ночи подул холодный ветер, разогнал тучи. С деревьев, что стояли у нас за спиной, срывал капли, разбрызгивал над окопами. Отвратительно холодные, они попадали за воротники шинелей и не давали согреться. На рассвете подморозило. Болели челюсти, потому что всю ночь нельзя

было их разжать от холода. Когда принесли в котелках остывшие за дорогу макароны и к ним сухари, сухари трудно было разгрызть — так болели челюсти.

Всю ночь с нами провел отделенный, наш безбровый сержант. Его ячейка была рядом, и, когда стемнело, он перешел в наш окоп. Втроем все же не так холодно. Он долго рассказывал о своей жизни, не стесняясь нас, жаловался, как ему тяжело.

— На войне я тоже первый раз, — говорил он, — но мне тяжелей. Вы ребята образованные. Образованным легче.

Он говорил, говорил, потом притулился к нам и уснул. Перед рассветом его разбудил взводный. Лейтенант кричал сверху:

— Сержант! Почему в чужом окопе? Почему спите?

Отделенный вскочил на колени и, приложив ладонь к виску, доложил:

— Я не спешу, товарищ лейтенант!

— Я спрашиваю, почему спите? — кричал лейтенант.

— Я не спешу... Я не спешу, товарищ лейтенант, — стоя на коленях по стойке «смирно», молот свое сержант.

— Тьфу ты, черт! Одурил совсем. Да поднимись ты, голова!

— Слушаюсь, товарищ лейтенант. — А сам продолжал стоять на коленях с рукой у виска.

И жалко и смешно. Мы с Колей подняли обалделого спросонья сержанта и помогли ему выбраться из окопа.

Командиры ушли. Через несколько минут сержант вернулся и собрал отделение возле своего окопа, под березами. Он сказал, что скоро придут катюши и будут вести огонь с наших позиций. Мы должны соблюдать порядок — сидеть и не высовываться из окопов.

Неужели катюши? О них уже рассказывали легенды.

Да, по глухой заросшей дороге подошли три машины. Обыкновенные грузовики, но с задранными над кабиной кузовами, вроде рельсов. Стали в рядок по опушке. Из кабин выскочили очень подтянутые и очень веселые люди.

— Привет юнкерам, — бросил кто-то из них в сторону окопов, откуда выглядывали курсантские головы.

Сначала один, за ним другой, потом все мы сбежались к машинам. Один из водителей бойко заговорил с нами. Вид у нас был понурый, смятый, лица серые от холода и бессонных ночей. Водитель толкнул в плечо одного, другого, подбадривая каждого соленой шуткой.

— Что это вы носы повесили? — балагурил он. — А знаете, как немцы зовут вас? Не знаете? Подольские юнкера! Во как! Наложили им юнкера по самые некуда, чуть посмирней стали. Вот сейчас мы еще прибавим, гляди, и пойдет дело...

Взводный какое-то время и сам прислушивался к разговору, но, вспомнив что-то, подобрался весь и скомандовал «по местам».

— Дай, начальник, поговорить, — сказал водитель, — не гони, успеешь.

Лейтенант пожал плечами, успокоился. Курсанты приставали к водителю с вопросами: что на фронте, где немец, верно ли, что катюша все сжигает начисто и прочее.

Шоссе, по которому мы пришли сюда, — это прямая дорога на Варшаву. По ней-то и прет фашист к Москве. Перед нами стояли здесь московские ополченцы. Немец смял эти не очень хорошо подготовленные части и теперь идет на Малоярославец, чтобы оттуда ударить по Москве. Подольские курсанты, которых с первого дня немец окрестил подольскими юнкерами, стали у него на пути. Километров за пятнадцать отсюда уже вторые сутки сражаются наши первые батальоны.

Водитель рассказывал, шутил, подбадривая нас, и на душе у нас потеплело.

Раздалась команда «по местам». Мы рассыпались и затаились в своих окопах. Что-то зашипело, потом шипенье перешло в гремучий треск, и нижняя часть рельсового полотна первой машины выбросила огненные хвосты. Затем огонь вырвался с верхней части вздыбленных рельсов, и оттуда начали срываться одна за другой длинные тяжелые чушки. Они были видны на лету, напоминая, как ни странно, стремительно летящих журавлей с вытянутыми вперед узкими головами. Чиркнули над деревьями и скрылись за лесом, в той стороне, куда смотрело черное рыльце нашего пулемета. По очереди отставались своими чушками, машины развернулись и быстро исчезли в глубине лесной дороги.

— Черт возьми! — возбужденно сказал Коля. Расстегнул зачем-то ремень, распахнул шинель и снова затянул ее ремнем. — Да, катюши — это вещь!

Взошло солнце. Лес заиграл осенними красками. Поодаль от окопов развели костерки. Сняли ранцы и по очереди стали греться, переобувать сапоги, сушить портянки.

Высоко в расчищенном утреннем небе проплыла «рама». Костры загасили. А через полчаса началась бомбежка. Первая фронтальная бомбежка. Сначала бомбы падали на ферме, где стоял наш штаб. Потом с изматывающим воем и визгом бомбардировщики стали заходить над поляной. Чуть не срезая острые макушки елей, они вспарывали воздух над окопами, роняя на лету черные туши бомб. Жирными фонтанами вскидывалась выше деревьев земля, с хрустом падали обломанные березы и ели, воздух сочился сизым дымом, тошнотной вонью. В ушах стоял такой гром, будто все время катали огромные катки по железной крыше.

Отбомбившись, самолеты возвращались снова и поливали нас пулеметными очередями. Кто-то не выдержал, начал бухать по самолетам из винтовки.

— Прекратить огонь! — крикнул взводный. И в окопе замолчали.

Нет ничего обиднее и унижительнее, чем сидеть под открытым небом и ждать, когда свалится на твою голову бомба или прошьет тебя пулеметная очередь. Втянув головы в плечи и выворачивая шею, мы жалко и беззащитно следили за разгулом бомбардировщиков, но после второго, третьего налета это стало невыносимым. Пробовали отойти в лес, в гущину, но и там не сиделось, не лежалось под бредущим визгом бомбардировщиков, под свистом падающего железа.

Солнце уже высоко стояло над лесом, а немец все еще бросал на нас через каждые полчаса свои самолеты.

И-и-и-и-и-и! Ах! — совсем рядом ахнула бомба, и с неба обрушилась на нас земля. Коля замолчал, потому что мы были придавлены землей ко дну окопа. Нас засыпало, как будто мы уже были готовы, уже мертвые. Но мы были живы, и, когда скинули с себя землю и поднялись, я сказал:

— Давай-ка свою поэму, о красном комиссаре.

— Какая поэма?!

— О красном комиссаре!

— Детский лепет, — сказал Коля, отплеываясь от скрипевшей на зубах земли. — Это совсем не то.

Я не сразу сообразил: то, что мы успели увидеть, и то, что происходило сейчас, совсем не похоже на то, что было в Колиной поэме. Там была очень складная и очень красивая гражданская война. Очень красиво и совсем не страшно умирал там красный комиссар. Его расстрели-

вали беляки, а он бесстрашно и гордо смотрел перед смертью в холодные глаза врагов. Очень красиво умирал комиссар за свободу и революцию.

— Да,— ответил я немного погодя.— война, наверно, совсем не такая. И умирают, наверно, не так. И на расстрел не водят. Умирают, наверно, в бою, не увидав врага в лицо.

— Но я напишу о красном комиссаре,— сказал Коля.— Кончим войну, и напишу.

— Да, мы еще увидим, как это все бывает.

Наконец эти сволочи улетели. Странно: никто из курсантов не был убит, никого даже не ранило. Значит, и на войне можно не сразу умереть. Сколько сброшено металла, сколько срублено, свалено деревьев, даже пулемет наш вывело из строя осколком, а человека, оказывается, убить очень трудно.

Вечером на наше место пришел другой взвод, а мы двинулись на первую линию.

Заросшая дорога вывела снова на Варшавское шоссе. Шли молча, будто крадучись. Взводный говорил шепотом, шипел, когда надо было что-то приказать, курить в рукав, не разрешалось. Всей шкурой чувствовалась близость врага. Особенно когда вышли из леса.

Подшли к деревне. Домики чуть густели черными силуэтами. Посередине деревни шоссе обрывалось перед взорванным мостом через овражистую речушку. За ней, за этой речушкой, начинались вражеские позиции. Крадучись, мы свернули влево, поднялись наверх, перешли узкий мостик через глубокую канаву, тянущуюся вдоль домиков, и остановились в разгороженном со всех сторон дворе. У самого спуска к речушке стоял полуразрушенный сарай, возле канавы, в противоположной стороне двора, чернел вспухшим холмиком погреб. Двор был просторный, пустой, потому что дом — главное в нем — был начисто сожжен. В жутковатой тишине мы обошли двор и обнаружили свежие окопы. Взводный развел нас по окопам, и началось ночное томительное окопное сиденье.

Ни пулемета, разбитого при бомбежке, ни дисков с нами не было. Все это оставили сменившему нас взводу. Но по привычке мы поселились с Колей в одном окопе, расширив его на двоих. Хотя карманы наши были набиты патронами, а за поясом торчало по одной гранате РГД, мы чувствовали себя безоружными. Взводный сказал:

— Оружие достанем в бою.

Мы, правда, не знали, как это делается, но мало ли чего не знает человек в девятнадцать лет. Узнает, научится.

Впереди, куда уходила едва различимая в темноте лента шоссе, было тихо, недвижимо. Только далеко слева по овражистой речке вспыхивали ракеты, и час от часу сонно бормотал пулемет.

На рассвете, когда все замерло и мы стали подремывать в своих окопах, в воздухе вдруг заныло, захлюпало, прошумело вихрем над головами и хрястнуло позади нас, в соседнем дворе. Мина! За ней вторая, третья. И пошло. Пюднялся такой треск, что тишины, казалось, никогда и не было. Мины иногда проходили так низко, что обдавали головы наши горячим воздухом.

В нервном напряжении мы и не заметили, как за спиной у нас взошло солнце. Черт их знает, откуда они бьют! Как ни всматривались, впереди нельзя было заметить ничего живого. Пустынное шоссе за взорванным мостом поднималось в гору и, врезаясь в лесной массив, упиралось прямо в небо. Слева по оврагу тянулся густой кустарник, а дальше, за овражистой речкой, лысая боковина в частых заплешинах березнячков тоже подступала к лесу. Двор наш переходил в огород, за ним — открытое поле. Справа внизу лежало уличное шоссе, упираясь в разбитый мост, а за противоположным порядком домиков — кусты, редколесье и опять же

лес. Вокруг ни души. А мины, обгоняя друг друга, все летели и летели на нас. Месили соседний и наш двор, лопались на огороде, на шоссе, оглушая, забрызгивая нас землей. По одному звуку, по клекоту мы уже угадывали, где она ляжет. Поэтому не перед каждой втягивали головы в плечи. И вдруг шелестящий звук точно сказал нам, что мина сейчас достигнет цели, упадет на нас. Вмиг мы втянули головы и воткнули их в колени, и два скошенных глаза, мой и Колин, выжидающе взглянули друг на друга. Прошло полсекунды, и она тяжело шлепнулась где-то за нашими затылками. От задней стенки окопа отвалилась земля, сыпалась по спине. Глаза закрылись. Еще бесконечные полсекунды. Дыхание оборвалось. Сейчас хрястнет, и осколки жадно вопьются в наши головы, и войне конец. Еще полсекунды. Не поднимая головы, я вывернул шею, опасно оглянулся.

— Коля!

— Ну?

— Взгляни!

Коля оглянулся. Вдохнул. Улыбка тронула усталое, исхудавшее его лицо.

Отвалив кусок глины, мина матово-черным боком смотрела на нас и не взрывалась.

Все стихло. Неужели это и есть война? То убивали нас и не могли убить с воздуха. Теперь хотели сделать то же самое черт знает откуда.

Вот они послали лоснящуюся матово-черную смерть. Возле нее еще осыпается мелкая крошка глины. Но где же они сами, рвущиеся к Москве по Варшавской дороге?

По двору вдоль окопов пробежал, играя желваками, взводный. Он заглядывал в каждый окоп и ошалело-радостным голосом спрашивал:

— Живы? — Потом крикнул: — Смотреть в оба! Сейчас пойдет пехота!

Пехота не пошла. По-прежнему пустынное, нелюдимое, тянулось к небу шоссе. Молчали кусты, молчали дальние перелески. Мрачно молчал дальний лес.

## 24

В этот день вражеская пехота так и не пошла. Но огневой налет они повторили несколько раз. Пользуясь передышками, мы вылезали из окопов поразмяться и вообще освоиться с тем клочком земли, на котором еще недавно мирно жили незнакомые нам люди и который мы должны удерживать теперь любой ценой.

После одной из таких вылазок Коля вернулся с винтовкой.

— Вот, — сказал он радостно, — пока одна на двоих.

Винтовку нашел он под мостком, в канаве. Была она старенькая, обласканная многими солдатскими руками, с тряпочным ремнем. Ствол ее был забит грязью. Сержант посоветовал прочистить выстрелом. Если не разорвет — значит, все в порядке.

— А если разорвет? — спросил Коля.

— Давайте попробую, — великодушно предложил сержант.

— Думаете страшно? Нет, — улыбнулся Коля. — Просто не хочу так дешево рисковать. И вам не советую. Мы еще понадобится для чего-нибудь другого...

Коля посмотрел по сторонам, что-то соображая. Потом повернулся к погребу и сказал про себя:

— Мы ее сейчас... сделаем.

Он зажал ее дверью, дернул за шнур, привязанный к спусковому крючку, и трехлинейка, выстрелив, чуть вскинулась и подалась назад. Коля торжествующе взглянул на нас и весело сказал:

— Зря боялись!

Сержант снисходительно улыбнулся. Трехлинейка перешла на наше вооружение.

В полдень во дворе появился незнакомый лейтенант. Он пришел с противоположной стороны улицы. Осмотрел нашу оборону, поговорил со взводным. Мы услышали, как он сказал:

— Вот хорошо, значит — соседи.

Меня как безоружного послали с этим лейтенантом узнать расположение соседей и получить обещанную им винтовку. Мы спустились вниз, пересекли шоссе и поднялись на другую сторону. Там перед спуском к речушке был небольшой скверик с гипсовым памятником Ленину. Точно такой же Ленин стоял в нашем студенческом городке на цветочной клумбе. Напротив сквера пусто глядел открытыми окнами и дверьми деревенский клуб. У входа выцветала давняя афишка какого-то фильма. Мы прошли мимо клуба по тропинке, петлявшей по зарослям ивняка. Тропинка привела нас в землянку. В мутном свете коптилки бойцы чинили оружие: один разбирал станковый пулемет, другой рашпилем выглаживал вырубленное ложе для винтовки. Лейтенант распорядился выдать мне оружие, и я тут же получил винтовку с такой же самодельной, еще не окрашенной ложей. На ней не было ремня, но держать шершавую самоделку было очень удобно, лучше, чем полированную.

Когда мы вышли, я спросил:

— Это у вас мастерская?

— Так точно,— ответил лейтенант,— это у нас походная мастерская.

Я спросил, есть ли дальше люди. Лейтенант объяснил, что и справа от них и слева от нас есть люди.

— А там,— он показал рукой за реку (отсюда тоже проглядывалось взбегавшее к небу шоссе),— там уже фашисты.

Он провел меня к бетонированному дзоту с пушкой-сорокапятимиллиметровкой, познакомил с расчетом.

— Здесь, если надо, найдете и меня,— сказал он на прощанье.— Будем держаться вместе.

Линия обороны, до этого казавшаяся мне почти условной, вроде не существовавшей на деле, теперь представлялась вполне реальной, протянутой на многие километры вот такими же, как здесь, маленькими, но живыми и надежными крепостями. Я возвращался к своим с другим настроением. Тропинка, по которой я шел, балуясь затвором новенькой самоделки, была уже не просто тропинкой, а неким рубежом, преградой для невидимого врага. Я шел по этому рубежу и даже насвистывал — душа становилась на место.

В нашем училище, там, в Лужках, был один курсант с курносой и смешливой физиономией. Он никогда не расставался с гитарой, висевшей у него на ремешке за спиной. В свободные минуты он собирал вокруг себя любителей и развлекал их своими бесконечными песенками. Одна из этих песенок, совсем незатейливая, не то чтобы понравилась мне, а как-то помимо желания врезалась в память. Даже в самую трудную и неподходящую минуту она то и дело всплывала в памяти и сама собой, без участия голоса и как бы даже без участия меня самого, пелась где-то внутри, одной памятью. Вот и сейчас она насвистывалась сама собой:

Снова годовщина,  
А три бродяги сына  
Не стучатся у во-рот,  
Только ждут телеграммы,  
Как живут папа с мамой,  
Как они встречают Новый го-од...

Я шел, играя затвором.

Налей же рюм-ку, Роза,  
 Мне с моро-за,  
 Ведь за сто-лом сегодня  
 Ты-ы и я-а.  
 И где еще найдешь ты  
 В ми-ре, Роза,  
 Таких ребят, как наши сы-новья?

Тропинка петляла, я поглядывал сквозь просветы ивняка на вражью сторону, в холодноватое небо, где за редкими тучками остывало солнце. Никакого мороза не было, не знал я и никакой Розы, а песенка пелась сама ни к селу ни к городу.

## 25

Сколько же можно прожить без сна? Эти сволочи и не думали, наверно, наступать. Но и оставлять нас в покое тоже не хотели. До вечера они сделали еще три артиллерийских налета. Еще три раза мы всем существом своим прислушивались к жуткому хлюпанью мин — будто они на лету заглатывали воздух. И только когда совсем стемнело, немцы утихомирились.

Сон навалился на нас вместе с темнотой. Взводный установил очередность на «отсыпку».

Небо было темное, беззвездное, когда подошла очередь отсыпаться нам с Колей. Мы осели на дно окопа, втянув головы в поднятые воротники шинелей. Но промозглый холод не давал насладиться сном. Рядом был погреб, и мы решили перебраться туда. На погребнице собрали какую-то полуистлевшую рвань, постелили ее под бок, ранцы под голову, прикрыли дверь.

Как убитые проспали целую вечность. Проснулся я, словно от удара, от глухой тишины. Растолкал Колю. В дверную щель еще сочилась ночь.

Нас удивила тишина. Когда мы открыли дверь и выглянули наружу, нас даже испугала эта тишина. Белая, белая тишина. На всем лежал снег. Белый жуткий снег. На нем не было ни одного следа. Бесшумно, медленно и вкрадчиво падали белые хлопья. Почему так бесшумно падает снег? Будто кто-то подкрадывался к нам на цыпочках, затаив дыхание. Я вздрогнул, оглянулся. Во всем этом было что-то неладное. С тревогой бросились мы к крайнему окопу. Отделенного там не было. Кинулись в другой — пусто. В третий — никого. Сердце начало колотиться. Оно уже знало: что-то случилось. А мысль еще не могла разгадать — что. Наступала растерянность. Мы разом обернулись к шоссе. Уф ты, черт! Вот они где!

— Ребята! — крикнул Коля и первый бросился через двор, к мостку. — Ребята! — повторил он, когда мы уже перебежали мосток.

Но тут зашипела и свечой взвилась ракета. В ту же секунду глаз выхватил из тьмы черные лоснящиеся спины и каски чужих солдат. Мы упали на снег, у самого спуска к шоссе. Пока ракета бесшумно соскальзывала с неба, мы впивались глазами в черные регланы и черные каски, на которых мягко и страшно мерцали мертвые отсветы. Солдаты крались вдоль шоссе.

Ракета погасла. Регланы и каски слились в одно черное пятно на тусклой белизне снега. Пятно зашевелилось, стало вытягиваться в цепочку. Задвигалось, загомонило отрывистыми, сдавленными голосами: «Аб!.. Фой!.. Ауф!..»

В этих сдавленных выкриках была какая-то машинная точность, отработанная деловитость.

Вот они! Коля приподнялся, завозился. Неужели хочет бросить гранату? Нельзя гранату! Нас же двое. Я не успел подползти, чтобы остановить его. Он взмахнул рукой и припал к земле. Еще до взрыва там, внизу, тревожно залопотали голоса. Потом коротким громом перекрыло все. Коля вскинулся и, пригибаясь, рванул назад. На бегу дохнул горячим шепотом:

— За мной!

Сначала я ринулся следом. Но что-то меня остановило. Я развернулся и стоя бросил свою гранату туда, вниз.

Перемахнув мосток, я метнулся в погреб. Коли там не было. Выглянул во двор — мосто. Внизу, на шоссе, лихорадочно заливались очередями автоматы. На той стороне, где был клуб, вспыхнул крайний домик. Пламя быстро разгоралось. В его свете были видны мечущиеся по шоссе черные солдаты. Вот они перегруппировались, одни начали сползать к взорванному мосту, другие повернули к нашему двору, поливая из автоматов. Красные отблески пожара заглядывали через приотворенную дверь в погреб. Прижимаясь к дверному косяку, боясь, что меня могут заметить, я следил за черными фигурами, которые карабкались вверх, к мостку, через канаву. Пересохло во рту, нудно дрожали колени, и так же, как давно-давно, когда я услышал о начале войны, хотелось опуститься на колени. Но я не мог этого сделать, потому что не увижу тогда, как подойдут и убьют меня черные солдаты. Не отводя глаз от черных солдат, которые становились все ближе и ближе, я захватывал с порога снежок и глотал его и ждал, сам не зная чего.

И когда первый из них вступил на узкий мосток, откуда-то, чуть ли не из-под земли, уробно заговорил станковый пулемет. Этот первый нелепо вскинул руки и свалился в канаву. Сотни верст прошел он по Варшавскому шоссе, чтобы пробраться в этот двор, потом в погреб и прикончить меня. Но не дошел трех десятков шагов и свалился в канаву. А пулемет гулко и тяжело колотил из-под земли, и черные солдаты дрогнули, начали падать и скатываться назад. Что-то произошло со мной, и я вскинул шершавую самоделку и, почти не целясь, начал бухать вслед бегущим убийцам.

Пожар слабел. Отблески его уже не доставали меня. Но это, наверно, потому, что наступил рассвет. От собственной стрельбы я осмелел и вышел во двор поискать Колю. Побродил возле пустых окопов, решил заглянуть в полуразрушенный сарай. Брел по мягкому снежку и думал, что остался как есть один на войне. Я не сразу заметил, как старательно подавал мне разные знаки Коля. Он выглядывал из сарая и старался жестами, гримасами привлечь к себе внимание. Я влетел туда, стал обнимать Колю, вроде мы не виделись с ним сто лет. Я даже не удивился как следует тому, что, кроме Коли, там еще были люди и что сарай был только снаружи сараем, а внутри это был бетонированный дзот с такой же сорокапятимиллиметровой пушкой, как и у наших соседей.

— Нашелся, бродяга, — с грубоватой радостью сказал один артиллерист.

Всего их было пять человек вместе с командиром, которого они называли политруком. Политрук выделялся особой жестковатой собранностью. Видно было, что он знал, что ему делать и зачем он здесь находится. Я тоже знал, как и все остальные, зачем мы оказались здесь. Но о каждом из нас можно было сказать и многое другое. О нем только одно: он воевал. Во всем, что он делал — говорил, приказывал, смотрел своими светлыми, без улыбки глазами, передвигался, — во всем этом я

видел только войну. Человека, занятого войной. У меня он спросил одну лишь фамилию и повторил то, что, видимо, сказал уже Коле: по уставу мы обязаны подчиняться командиру подразделения, в котором застала нас обстановка.

С этой минуты я и Коля стали не то артиллеристами, не то пехотой при артиллерии.

— Задача такая,— сказал мне политрук,— бить врага. Это первое. И держать оборону. Это тоже первое.

Потом он отдал команду завтракать. Артиллеристы положили на снарядный ящик колбасу и хлеб. Ели стоя, по очереди наблюдая через амбразуру за местностью. У этого политрука ели так, словно выполняли важное боевое задание. Первый раз на войне мне было хорошо и спокойно, потому что я уже беззаветно верил в этого политрука. Мне почему-то казалось, что здесь, на этом участке войны, будет так, как задумает этот политрук.

## 26

Мы сидели с Колей на артиллерийских ящиках, разговаривали, еще не остывшие от радости, что не потерялись этой ночью, что снова оказались вместе. Мы курили махорку, говорили, поглядывая на ребят-артиллеристов, на амбразуру, через которую открывалась та сторона с шоссе, упиравшейся в небо. А позади нас была Москва. Мы уже почти размечтались о Москве, обо всем, что там осталось дорогого, о наших дружках и знакомых и, конечно, о Наташке. И тут кто-то резко окликнул политрука. Потому что оттуда, где шоссе упиралось в небо, вывалилась черная легковичка и беззаботно, на полной скорости покатила вниз. Она катилась так беззаботно и мирно, так весело и жутковато!

С этого и начался наш новый военный день. Наводчик попросил:

— Товарищ политрук! Разрешите один снаряд?

Политрук махнул рукой. Молодой смуглявый боец стал прицеливаться. Ствол пушечки чуть поклонился вверх-вниз и гаркнул огнем, оглушив нас и на минутку задернув амбразуру дымком. Черная легковичка будто стукнулась о невидимую стенку, взмахнула обвисшими дверцами, как подбитыми крыльями, и застыла на месте. Из нее почти разом вышвырнуло двух фашистов. Было видно, как они судорожно карабкались на четвереньках к придорожным кустам.

Прошла минута, другая, и уже стало казаться, что ничего не произошло, что черная легковичка с обвисшими дверцами всегда стояла перед взорванным мостом на белом от снега шоссе.

Чуть прикрытая снегом земля, рощицы и кусты, темные гребни дальнего леса немо ждали каких-то событий. Вернее, это мы, никому невидимые в свесом бетонном дзоте, ждали этих событий.

Тишина была нестойкой и ложной. Вот по кромке шоссе между стенками леса метнулись темные фигурки. Потом еще. Потом две фигурки замешкались, остановились.

— Разрешите, товарищ политрук! — снова умоляющим шепотом попросил смуглявый наводчик.

Политрук промолчал. Все знали, что снаряды надо экономить. Но физиономия наводчика была просительной-жалобной, артиллеристы не выдержали и насели на политрука:

— Ведь стоят же, гады. Стоят, товарищ политрук.

Тогда политрук сам выбрал снаряд, повертел его в руках и нехотя передал заряжающему.

— Смотри, промахнешься — голову сниму.

— Ни в жисть! — весело ответил наводчик.

Рывкнула сорокапятка. И в том самом месте, между небом и землей, взметнулся и опал черный куст земли. Мы не успели как следует разглядеть, что случилось с фигурками, как там появились еще двое. Они торопливо стащили с дороги убитых.

Я никогда не видел живых снайперов, о которых рассказывал нам когда-то Витя Ласточкин. О снайперах-артиллеристах даже и не слышал. Пока мы восхищались наводчиком, а ребята вспоминали разные подобные случаи, из-за той самой кромки вывернулись два танка. Давя молодой снег, они тяжело и быстро двигались вниз по шоссе, угрожающе выставляя орудийные стволы и плюясь огнем из этих стволов.

— Бронебойные! — сухо скомандовал политрук.

Артиллеристы бросились к ящикам. Зарядив пушку, они держали в руках наготове снаряды. Томительно продвигались секунды. Танки были уже на полпути к мосту. Дрогнула, громынула пушка. Первый снаряд угодил в задний танк. Передний, разворачиваясь, подставил нашему снайперу бронированный бок. Еще ахнула пушка — и танк так и остался стоять, перегородив дорогу. Еще выстрел — и жирное пламя лизануло броню, стало разгораться. Из люка выскочили танкисты, повалил чадный дым.

Похоже, что бог войны, если верить в него, приступал к своему делу. Пока этот бог был на нашей стороне. Но где, в каком месте, каким будет его следующий шаг?

Опережая его замыслы, политрук приказал мне и Коле и еще двум артиллеристам занять оборону снаружи, слева и справа от сарая. В том месте, где чернела воронка, зачастили перебежки, и мы уже вели огонь по этим одиночным целям, когда появился политрук и приказал нам перенести огонь левее. За речушкой, в березнячке, он заметил скопление пехоты. Снова заговорила наша сорокапятка. Снаряды стали ложиться там, где короткими перебежками скатывалась к речушке вражеская пехота.

Горячо зашелестел над головами воздух. Снаряды и мины снова начали перекапывать нашу землю. Огонь быстро нарастал.

Бог войны бушевал во всю мощь.

Один снаряд рванул землю под самой амбразурой. Мы затаились в ожидании несчастья. Но пушка тут же ответила врагу. Значит, пронесло. И вдруг вражеская канонада смолкла.

— Сюда! — крикнул кто-то слева за сараем.

Мы бросились к траншее, выходящей из дзота, и прилегли за ее насыпью. Теперь наши лица были обращены в сторону огорода, нашего левого фланга.

Вот почему он оборвал свой артналет! Они уже перешли речку! Выползая из лозняка, немцы вставали в рост и поднимались по склону, прижав к животам автоматы и поливая перед собой трескучими очередями. Я не успевал заряжать обоймы и загонял в свою самоделку одиночные патроны. Сначала стрелял не целясь, а они надвигались все ближе и ближе. Потом я стал выбирать себе цель и посылал в нее пулю. Но они снова шли, и с ними шел тот, что был моей мишенью. Я старался целиться спокойней, но моя мишень по-прежнему шла на меня. И тут я почувствовал оторопь: они все шли вверх по склону, прямо на нас. Их пули уже посвистывали над нашими головами.

Политрук выкатил «максим» и устроился рядом. Он мельком взглянул на меня и, наверно, заметил мою растерянность.

— Трусись?

— Винтовка не попадает, — пролепетал я в ответ.

Политрук покосился на мою самоделку и бросил зло, сдавленно:

— Рамку!

Черт возьми! Рамка стояла на дальнем прицеле. Рука у меня немно-

го подрагивала, но я сумел все же перевести прицел на сто метров. Прилачился. Выстрелил. И сразу меня бросило в жар. От радости. Ведь я же здорово стрелял в училище. Зеленая живая мишень споткнулась, стала на колени и пропала за неровностью склона. Застучало в висках. И тут память без всякого моего участия начала бешено выстукивать в такт пульсирующей крови эту дурацкую песенку: «Снова годовщина, а три бродяги-сына не сту-чат-ся у во-рот». Я доставал из кармана по одному патрону, вгонял их затвором, целился, стрелял и весь дергался от дурацкого ритма «снова годовщина, снова годовщина, снова годовщина...» Я стрелял теперь не так часто, с выбором, даже успевал поглядывать, как расчетливо бил Коля, прикладываясь щекой к старенькому ложу, как выжидал чего-то политрук, припав к пулемету. «Не сту-чат-ся, не стучат-ся, не сту-чат-ся у во-рот... Налей же рюмку, Ро-за, рюмку, Ро-за...»

Из неровной, перекошенной и поломанной цепи то там, то здесь выпадали зеленые автоматчики. Потом что-то всколыхнуло их, цепь дрогнула, и, пригнувшись, немцы бросились вперед, преодолевая последние метры склона. Вот они уже бегут по чуть запорошенной снегом ботве. Захолodelо, заныло что-то внутри. И тут густо и очень разборчиво заговорил пулемет политрука, и я сразу узнал голос ночного спасителя. Это он, как из-под земли, бил тогда по черным солдатам на шоссе.

Кровь застучала чаще. Куда-то далеко отодвинулось, но все еще стучало в моей и как будто не в моей голове: «И где найдешь, и где найдешь, и где еще найдешь ты в ми-ре, Ро-за...»

Немцы падали в ботву, взбивая снежную пыль.

Нет, не устояли, сволочи! Повернули, без памяти сыпанули вниз, к зарослям лозняка. «Максим» подстегивал их свинцовой плетью.

Сначала заорал Коля.

— А-а-а-а! — заорал он, приподнявшись на колени.

Потом подхватил я:

— А-а-а-а!

Политрук вытирал рукавом шинели вспотевший лоб, на его железном лице я увидел первую улыбку.

— Все, — сказал он, — кончились патроны. — И потащил вдоль насыпи пулемет.

Из дзота выглядывала смуглявая физиономия наводчика. Он весело подмигивал нам и тоже улыбался.

## 27

В этот день политрук расстрелял одного артиллериста. И осталось нас шестеро.

Вторая атака была тяжелой. Но и она была отбита. Отбита гранатами. Когда немцы снова отошли за реку, в соседнем дворе появился грузовик. Шофер привез снаряды, патроны и противотанковые гранаты. Мы выгрузили все и перенесли в дзот. Проводили шофера и уже возвращались к себе. Справа от нас, где стояли наши соседи, где получил я свою самоделку, кипел бой. Политрук прислушался и сказал, не обращаясь ни к кому:

— Жарко.

Мы шли, и, наверно, все понимали, что третья атака будет еще тяжелей. Один из артиллеристов, полнощекый, еще не потерявший румянца крепьш, остановился и в спину всем, кто шел за политруком, сказал:

— Товарищ политрук, надо отходить. — Он сказал это с угнетенным спокойствием. Но все, и политрук тоже, оглянулись, как от удара. —

Они уже бросают ракеты вон где.— Артиллерист отчаянно протянул руку в сторону нашего тыла.— Сам видал...

Политрук молча разглядывал розовощекого крепыша и, видно, искал и не мог сразу найти нужных слов. Артиллерист не выдержал этого взгляда. Лицо его перекосилось, и он закричал:

— Что вы смотрите все? Не имеете права! Хотите подышать, подышайте! Я не хочу подышать!.. Не имеете права!..

Он кричал, оглядывался на машину, потом побежал.

— Стой, гад! — Политрук выхватил пистолет и поднял руку.

Крепыш оглянулся, за минуту оцепенел, но в это время шофер завел машину, и он побежал снова. Грузовик уже трогался, парень с ходу вцепился в задний борт. Но тут хлопнул выстрел, и руки его отцепились. Он упал навзничь. Политрук не сразу вложил в кобуру пистолет. Рука его почти незаметно дрожала.

Никто о нем ничего не сказал. А звали его тоже Николаем.

Солнце уже висело над лесной хребтиной на немецкой стороне, когда начался новый артналет. А за ним — опять атака. Сегодня третья.

Теперь их было больше, и они шли, бежали очередями. Первая очередь, сделав рывок, падала в снег; за ней поднималась вторая, делала бросок и тоже падала в снег. Потом снова поднималась первая. Они двигались на нас жутким слоеным накатом. Первая волна вырвалась вперед и уже бежала по взбитой ботве. Захлебываясь, клокотал пулемет политрука; слева от меня, прикладываясь к ложу, расчетливо, на выбор, бил Коля.

Рассыпавшись по ботве, в длиннополых шинелях, то падая, то вставая, они рвались к нам. На этот раз они решили во что бы то ни стало добиться своего. Я вижу, как вскинулся один для короткого броска, и я говорю Коле: «Мой!» — и бью по этому фашисту. Поднимается второй, и Коля бросает мне, не отрывая глаз от немца: «Мой!» — и бьет по этому немцу.

Размеренными, ровными очередями ведет свою строчку «максим». И в этой размеренности я слышу, чувствую, вижу политрука, хотя и не смотрю на него. Эта размеренность делает меня неуязвимым, мне не страшно, я не боюсь этих зеленых гадов.

— Мой! — бросаю я коротко и деловито.

Но он живой бросается вперед и сползает в крайний окоп уже в нашем дворе. На мгновение во мне шевельнулся холодок. Но ровная строчка политрука говорит мне: «Я здесь, спокойно».

Перезарядив самоделку, я жду. Мушка в прорези. Над мушкой — пустота. Потом медленно начинает вздуваться, подпирая мушку, черная каска. Я нажимаю спуск. Толчок в плечо, и в ту же секунду я увидел его глаза. И снова пустота. Пока я достаю из кармана патрон и вгоняю его затвором, над пустотой поднимается черный гриб, и чужой ствол ловит меня на мушку. Выстрел. Мимо! Мимо моей головы, прижатой к насыпи. Теперь мой черед. Выстрел. Черный гриб уходит в землю.

За огородной ботвой вскинулась новая волна. Хлынула, заорала...

И тут в устоявшийся грохот боя с частой автоматной дробью, с нервной ружейной перепалкой и тяжелой строчкой пулемета ворвалось что-то совсем новое, инородное — орудийная пальба и сотрясающий воздух рев моторов. Коля, я, политрук и ребята-артиллеристы разом повернули головы к улице. По шоссе, ведя огонь, быстро шли танки. Им ответили пушки с немецкой стороны.

— Наши! — крикнул политрук.

Немцы, тоже заметив танки, прекратили стрельбу, залегли. Наступило затишье. Танки остановились как бы в недоумении перед взорван-

ным мостом, перед нашим двором. Мы сбежались к сараю и вглядывались в ревущие машины.

— Кресты на броне,— сказал кто-то вполголоса.

Да. На всех танках были желтые кресты. Но почему они пришли оттуда, с нашей стороны? Тогда политрук сказал:

— Это наши, на трофейных машинах.

В головном танке приподнялась крышка люка. Оттуда высунулся по грудь танкист. В черном кителе, на черном рукаве — белый череп со скрещенными костями. Он спокойно озирался по сторонам. Фашист!.. Он был в пенсне — такие квадратные стеклышки без оправы. Стекла без оправы и белый череп на рукаве будто выстрелили в меня и тут же скрылись в броне под желтым крестом.

Тогда политрук сдержанно сказал:

— Собрать гранаты. Живыми пушку не отдадим.

Мы кинулись в дзот, собрали гранаты и вынесли их наружу. Башня головного танка медленно разворачивала на нас оружейный ствол. Вот он остановился, глянул черным жерлом. С громом вырвался из жерла огонь, и угол крыши с треском взлетел и осыпался на землю.

— В траншею! — приказал политрук, и мы бросились в траншею.

Вторым снарядом швырнуло на нас чуть ли не половину крыши. В нескольких шагах от дзота траншея переходила в крытый бревнами блиндаж. Верх его был заложен дерном. Припорошенный снегом, он незаметно сливался с двором. Задыхаясь от пыли, мы выбрались из-под обломков и соломенной трухи и проникли в этот блиндаж. Там было темно, как в могиле. Вход, по которому мы только что вбежали, тут же завалило, а выход, оканчивавшийся лазом, кротовой норой, был заложен как бы случайно брошенным здесь выкорчеванным пнем. Над головой стоял страшный треск, земля гудела и вздрагивала, будто били по ней стопудовым колуном.

Наконец все стихло. Мы сидим, привалясь к стенкам своей могилы. В слепой темноте я слышу дыхание всех шести, слышу, как дышит рядом Коля. Сейчас они что-то с нами сделают. Первый раз в жизни я не вижу перед собой никакого выхода. Голова работает бешено, но вхолостую. Мысль бьется в темном и тесном и замкнутом кругу. Она бросается туда и сюда, но везде натывается на что-то и не может найти выхода. А под этой беспомощно метавшейся мыслью живет как последняя надежда другая, спасительная: он, политрук, знает, что делать. Вот он подумает немного и скажет что-то, и все станет ясным. Если бы не было этой другой мысли, я начал бы думать о конце, о том, как жили мы, как хотели стать нужными людьми и как не успели стать такими людьми, потому что сейчас, через сколько-то минут, наступит конец. Но я не думал об этом, а только ждал тех самых слов, которые знал только он один, политрук.

И вот он сказал эти слова. Но чуда не наступило. Все же политрук не был богом, он был обыкновенным человеком, о чем раньше я как-то не догадывался. Он сказал:

— Пусть думают, что мы погибли. Надо дожидаться ночи. Ночью прорвемся.

По накату из бревен, по молодому снежку, по нашим головам уже ходили немцы, уже лопотали на своем языке. Я только подумал: ночью прорвемся — и тут же захрапел. Никогда раньше со мной этого не было, а тут захрапел. Кто-то схватил меня за грудки и, шипя матерщиной, встряхнул. Я ругал себя последними словами и захрапел снова. И снова тряс меня политрук и шипел матерщиной. Эта отвратительная сцена повторялась несколько раз. Повторялась до тех пор, пока в кротовый лаз не просочился вдруг голубоватый сноп света. Немцы заметили и от-

крыли лаз. Потом свет потух — сверху навалились на эту дыру, — и кто-то бросил в нашу могилу резанувшее по сердцу слово:

— Рус!

Когда они лопотали там наверху — это одно. А когда они ударили нас этим словом — совсем другое, это так больно резануло по сердцу, что я содрогнулся. Больше я уже не храпел.

— Рус! — И мертвая тишина.

Потом они подтащили к лазу пулемет. И вслед за хищным клекотом по лазу заметалось сухое жало огня. Мы вдавливали себя в стенки, поджимая ноги, а красноватое жало лихорадочно зализывало темноту, стараясь достать нас. Невидимая свинцовая плеть делила надвое нашу могилу и тупо хлестала где-то рядом слепую мягкую землю. Они простреляли землянку из пулемета и успокоились, убедившись, видно, что мы уничтожены.

Гомон стихал. Потом стал тускнеть и совсем погас сноп голубоватого света.

Пришла ночь. И наступил час, когда политрук шепотом сказал:

— Пора!

Он назначил место встречи: за деревней, в лесу. Установил порядок по номерам. Первым номером шел наводчик, за ним Коля, третьим был я, за мной двое артиллеристов, и последним, шестым номером — политрук. Но сначала он пополз сам. Мы затаили дыхание. Прошли долгие минуты. В лазу зашуршало. Политрук спустился в землянку и сказал:

— Все в порядке.

Он пожал руку первому номеру, и наводчик исчез в лазу. Потом так же молча политрук пожал руку Коле. Мы коротко и неудобно обнялись. Колина рука была сухой и горячей.

Он что-то долго возился в этой норе и потом сполз назад.

— Что случилось? — тревожно кинулся к нему политрук.

— Ранец не проходит.

— К черту ранец!

Коля полез без ранца. Мне тоже пришлось бросить свой ранец. Я еще был в этой дыре, еще полз на животе, когда наверху вскинулась тревога, стрельба. Я выскочил и метнулся в сторону от шума. Пули вжикали над ухом, но они не могли попасть в меня — было темно. Я свалился за обломками дзота. В эту минуту один за другим ухнули три, а может, четыре утробных, сдавленных землей взрыва.

В соседнем дворе горели костры — там были немцы. Я скатился через забор по склону в глубину улицы, на шоссе. Упал в кювет и только тут понял, что взрывы были в нашей землянке... Шестой номер. Политрук... Я лежал в кювете на снегу и плакал от бессилия. Потом пополз на животе, опираясь то на локоть, то на винтовку, зажатую в правой руке. Полз и путался в сорванных со столбов проводах. Наверху стреляли.

Обрывки мыслей, предметы, голоса, звуки мешались в пылавшей голове, ломались, вытесняли друг друга.

Я видел это случайно, почти мельком и никогда об этом не вспоминал. А сейчас неизвестно откуда всплыла эта глупая и ненужная сцена. Тихим переулком идет высокая нарядная женщина, за ней, откинув назад кудрявую головку, ревя ревя, крутит педали трехколесного самоката маленький человечек. Женщина идет не оглядываясь, а человечек бешено сучит ножками, крутит и крутит свои педали. Он не хочет туда, куда идет жестокая мама, но, заливаясь слезами, крутит, как заводной, свои педали... Это в Москве. Потом в лагерной палатке поет Коля. Входит взводный и слушает его вместе с нами. Коля замолчал, мы вздох-

нули и ничего не могли сказать. А взводный вскинул театрально руку и сказал:

— Николо Терентини!

Коля угрюмовато буркнул:

— Николай Терентьев, товарищ лейтенант.

— Прошу прощения, курсант Терентьев,—поправился взводный.

Потом встало передо мной железное лицо шестого номера. Я вижу его не улыбающиеся светлые глаза, и мне жутко, что я не знаю ни имени его, ни фамилии... Разбитая легковичка, горящий танк, страшные танки с желтыми крестами. Их уже нет на шоссе, куда-то ушли...

Слезы высохли, я озираюсь на пустынную улицу и бешено ползу по заснеженному кювету.

Вот уже видны крайние домики. Подкрадывается рассвет. Поднимаюсь, бегу, чтобы затемно выскочить из деревни.

— Вер ист да?—Это от крайнего домика.

Падаю снова и жду. Тихо. Это показалось ему, немецкому патрулю.

Снова ползу, работая локтями и винтовкой.

Наконец я могу подняться, деревня позади. Передо мной белое снежное поле, за ним темный с проседью лес, место нашей встречи. Кто-то лежит у черной воды незамерзшего ручья. В зеленой плащ-палатке. Свой. Но я вскидываю винтовку.

— Кто?

— Свой,—стонет солдат.

Я поднимаю раненого. Он обхватывает меня за шею, и мы долго-долго идем через пустое белое поле к лесу. Падает снег, и нет с нами Коли. Может быть, над ним, уже остывшим, порошит сейчас этот снежок сорок первого года?..

— Где наши?—спрашиваю раненого.

— Не знаю...

...До той минуты так далеко, что, кажется, ее и не было вовсе.

Передо мной белый лист бумаги, белое снежное поле под Малооярославцем. За окном — в мирной фиолетовой дымке Москва. И на столе маленькая фотография Коли с пушком на верхней губе.



---

ФЕДОР ЕФИМОВ

★

## ВЕТЕР В ГРУДЬ

Я ввинчивался в армию  
семнадцать лет,  
вращаясь через левое плечо кругом,  
еще не ржав поэтому,  
еще не сед,  
еще могу померяться с любым врагом  
ракетою? — ракетой!  
штыком? — штыком!

В осеннюю распутицу,  
в мороз и в зной  
далекие рассветы я  
в полях встречал;  
и звезды, что получены  
за службу мной,  
легли Большой Медведицей  
на два плеча.

О чем жалеть? Окончилась  
пора невзгод:  
дожди, окоп да пахнувший  
тротилом чай.  
Но маршевая молодость!..  
Но первый взвод!..  
Товарищи да стрельбища!..  
Прощай, прощай!

Грустить бы мне, но времени  
для грусти нет.  
Привал! Переобуемся —  
и снова в путь.  
За эти отгудевшие  
семнадцать лет  
стал тот лишь ветер по сердцу,  
который в грудь.

Брестская область,  
г. Берёза.

---

---

С. ЗАЛЫГИН

★

## ТРОПЫ АЛТАЯ

*Роман \**

### Глава восьмая

**О**днажды утром, еще до завтрака, Вершинин-старший и Рязанцев заспорили о поэзии.

Вершинин-старший очень горячился, доказывал, что в двадцатом веке труд — даже научный труд и научные открытия — стал делом коллективным, поэзия же не может быть коллективным творчеством, и вот она исчезает...

Рязанцев не соглашался, Вершинин-старший нервничал.

— Техника поглощает человека! — говорил он, размахивая кедровой палкой. — Поглощает! И, должно быть, существует закон равновесия между приобретениями и потерями: человек приобретает в чем-то одном, теряет в другом. В технике обогащается, в поэзии беднеет!

Он стал очень серьезным, Вершинин-старший, и повторил:

— Итак — закон! Существует закон!

Онежка раз и другой внимательно посмотрела на Вершинина. Лицо у него было значительным, воодушевленным, видно было — Вершинин-старший доволен собой и ему очень хотелось прочесть кому-нибудь лекцию.

В Лесном институте, когда Онежка слушала диамат, она с недоумением относилась к лектору, который говорил о философах, совершенно ничего не признававших в мире, кроме самих себя. Эти философы считали мир существующим только в их собственном воображении, больше нигде. Но тогда запросто в этом воображении могло и не быть Онежки, Лесного института, самого лектора и всего земного шара. Каким же образом для кого-нибудь — все равно, для кого, — этого могло не быть, если все это было?

И надо же так случиться — на семинарских занятиях ассистент задал ей вопрос об этих же самых философах. Она сказала, что не проработала их. А философы домогались своего: на экзамене снова ей попались. В конце концов Онежка получила тройку — не могла объяснить их точку зрения. Ведь объяснить — это значит понять!

Теперь Онежка подумала, что Вершинин-старший очень похож на тех философов — для него существуют только те законы, которых он хочет, в которых нуждается. Не нужна ему поэзия, и он ее не видит и уже создал свой «закон», по которому ее не должно быть. Пожалуй, теперь она не получила бы тройки по диамату, получила бы четыре.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. 6.

Тем временем Рязанцев спросил у Вершинина:

— Константин Владимирович, обратите внимание во-он на тот камень! Видите?

Вершинин подумал, что противник сдался, хочет перевести разговор на другой первый попавшийся предмет и, великодушно его милуя, спросил:

— Где? Который?

Камень лежал на выжженной солнцем бурой сопке. Это был кусочек степи в горах: кое-где волновался вокруг камня ковыль, то фиолетовым, то лиловым цветом вкрапчивался чабер.

Горб у камня был посередине, и клюв, которым он, казалось, пытался что-то вырвать из земли, и лапа — когтистая, выкинутая далеко вперед. Другая согнута, поджата под туловище. Хвост, как у ящера, покрыт чешуей — огромными, плоскими плитами.

Легко можно было в этом камне увидеть и разбитый бурей корабль.

Несколько дней все видели этот камень, но никто не обращал на него никакого внимания. А в действительности камню нужно было удивляться.

Теперь Вершинин и Рязанцев увидели в нем скифского грифа — причудливого льва с орлиными крыльями, потом китайского дракона — крылатого огнедышащего змея.

«Камень» — это, наверное, неправильное название: там была скала, сложенная из множества камней. Но о том, что на сопке не один, а множество камней, тоже нельзя было сказать: все они соединились в нечто целое — в «него».

Вершинин и Рязанцев сравнивали камень с самыми разными предметами. «Ихтиозавр», говорили они, «посланец космоса», «разрушенный замок». Еще они говорили «странный», «неведомый», «фантастический».

— Видите, Константин Владимирович, — в конце концов сказал Рязанцев, — сколько сравнений нашли мы для одного камня?

— Великое множество! — согласился Вершинин.

— И вот до тех пор пока мы сравниваем что-то с чем-то не по химическому составу и не по физическим свойствам, а по тем впечатлениям и чувствам, которые вызывает у нас окружающий мир, до тех пор вместе с нами будет существовать поэзия...

Вершинин хотел перебить, Рязанцев протянул руку ладонью вперед:

— Минутку!

— Камень вызывает тысячи эпитетов и сравнений, но с чем-то его уже нельзя сравнивать. С чем-то невозможно!

Вершинин не понял. Лицо у него вытянулось, но вместо того чтобы сказать: «Не понял, Николай Иванович!» — он сказал:

— Но-но-но-но, дорогой мой и уважаемый Николай Иванович! Но-но-но!

— И пока я спрашиваю себя, до каких пор этот камень для меня камень, вот это небо — небо, а главное, до каких пор я — это я, для меня необходима поэзия. Один поэт сравнил спутник Земли с пшеничным зерном. Так думал о спутнике тракторист, ночью засевая темное поле зернами пшеницы.

Вершинин снова заговорил было:

— Но-но-но, дорогой...

А Рязанцев снова вытянул руку ладонью вперед.

— Минутку! Поэзия недаром подбирает друг к другу и как бы сравнивает между собой созвучия слов. Неожиданные и красивые созвучия помогают ей найти неожиданные сравнения. Найти и доказать.

Спор стих.

Онежка представила тракториста, который сравнил спутник с пшеничным зерном. Вслед за ним легко было сделать так же и даже смелее: сравнить все небо с пашней, а все звезды с зернами. Вслед за ним... Но ведь человеку нужен свой собственный след.

Онежка редко читала стихи и думала: наверное, это ее порок. Но это был не порок, нет. Попросту она не знала, как среди множества стихов найти свои собственные, пусть написанные кем-то, но для нее. Не знала этого, потому что у нее не было вопросов к стихам. Но вот вопрос появился. И появилось право требовать от стихов, быть может даже указывать поэтам, чего она от них ждет.

Вершинин-старший этого права за собой не чувствовал. Рязанцев, когда открывал книжку со стихами, наверное, считал необходимым им представиться: «Рязанцев Николай Иванович. Старший научный сотрудник. Географ!»

А Онежка, как могла представиться она? «Онежка Коренькова. Студентка»? Поэзия ей ответила бы: «Много вас таких. Всех не запомнишь!» Но в том-то и дело, что у нее не было ни малейшей необходимости раскланываться перед поэзией, рекомендоваться ей.

И в то время как в поэзии могло совсем не оказаться стихов для Вершинина-старшего, могло быть очень немного стихов для Рязанцева, без стихов для Онежки поэзия не могло быть. Поэтому она могла их требовать и требовать, эти стихи, эти слова.

День был нынче как день — с поволокой в самых вершинах гор, с чуть потускневшими зелеными пятнами можжевельника казацкого на склонах, с синим лесом в складках между горами, с коричневыми, фиолетовыми и красноватыми потоками каменных осыпей, застывших в неустойчивом равновесии. На каждой горе словно отпечатана была географическая карта какой-то неведомой страны.

Приглушенными были голоса ручьев, словно они только еще разучивали свои песни, притихшими были деревья и травы, как будто они только-только начинали между собой какую-то беседу, солнце было не ярким, небо еще не синим, и облака едва заметно колебались, вглядываясь в те дали, куда им вот-вот предстоит тронуться. Все в природе нынче ждало прихода затерявшегося где-то дня, все как бы недоумевало из-за этого опоздания, все было наполнено и ожиданием и недоумением.

Онежка всегда разделяла с природой ее настроение. Просыпаясь, выглядывала из палатки, вдыхала росный воздух и в самой себе тотчас открывала что-то такое: такое ощущение, такие чувства, которыми, казалось ей, было наполнено утро.

Позже, днем, когда Онежка работала в лесу, готовила пищу на костре, она это свое настроение ничем не выдавала, всегда в любую погоду, и в самую яркую и в туманную, бывала одинаково спокойной и деловой. У нее был тайный сговор со всем окружающим ее горным миром, сговор, о котором она ни на минуту не забывала, хранила его и даже как-то тихо сама перед собой гордилась им — именно он каждый день вновь и вновь по-разному заставлял звучать для нее слова «истод, адонис, эдельвейс».

Так было с первого дня путешествия и так не было сегодня. Сегодня впервые она не разделила с природой ее утренней судьбы, ее ожидания, царившего нынче замешательства, какой-то нежной и ласковой неуверенности.

Все это она заметила, все ясно увидела вокруг себя, все поняла и ничему не поддавалась.

Она вдруг отказала в каждодневном и безоговорочном союзе всему окружающему, хотя ни одним словом, ни одним едва уловимым чувством этот союз ни в чем не могла бы упрекнуть.

Нынче она должна была не только все видеть, все слышать, но еще и постигнуть: «А я сама, до каких же пор — я?!»

«Жива?» — спросил ее Лопарев на Семинском хребте. Какой раз она об этом вспоминала! И все потому, что тогда это было самое значительное слово для нее, самое необходимое: ей нужно было убедиться, что она действительно жива, и Лопарев ее в этом убедил.

Она тогда еще не ждала такого слова, еще не знала о его существовании и только позже подумала: «Значит, есть такие слова, которые могут выразить тебя всю и приходят тогда, когда они больше всего на свете нужны тебе? Значит, люди устроены таким образом, что они могут угадать в другом то, что для этого другого самое важное?» Она радовалась.

Но вот настала пора услышать что-то новое и еще более важное, чем прежде. В тот раз она услышала, что она жива. Так ведь мало ли, что жива, мало ли кто и что живет на свете! А дальше? «А до каких пор я — это я?»

Никто и ничего ей не говорил об этом. Никто.

Но она уже не верила, что так может продолжаться, ждала день ото дня все сильнее, не обижалась, что все считают ее совсем девчушкой, подростком, которому ничего не надо от людей. Ничего не надо, кроме разве похвалы тощего шофера Владимировгорского: «Критикнем суп? Ничего себе суп — с положительной оценкой!» Она ждала, а тем временем во что-то целое, во что-то огромное складывалось все, что она видела и слышала в мире, с которым у нее был союз. К чему-то она приближалась и никак не могла разглядеть, к чему. Еще одного шага не хватало. Одного-единственного слова, одного ощущения, одной какой-то мысли. Придет это слово, и слышится целая песня. Придет оно, и в тот же миг возникнет неведомое до сих пор осознание всего, к чему до сих пор она прикасалась только взглядом и слухом, и станет ясным, для чего она жива, до каких пор она — это она.

И тут пришло одно странное сравнение: она сравнила Лопарева со всем остальным, что Лопаревым не было.

Очень странным ей вначале это показалось, а потом она стала догадываться: одного слова не хватало ей во всем окружающем ее мире и тоже одного слова — в Лопареве, чтобы его понять. Может быть, даже и в том и в другом не хватало чего-то одного и того же?

Вершинина-старшего и Рязанцева она узнавала каждый день все больше и больше, узнавала по частям — они какие-то дробные были, и каждую их часть можно было узнавать отдельно от других.

Лопарева можно было либо не знать совсем, каждый день видеть его словно в первый раз, либо узнать всего, в одно мгновение и до конца. И еще: когда Онежка видела Лопарева, ей казалось, будто его нельзя узнать, только думая о нем, для этого нужно было что-то сделать. Как-то поступить, что-то совершить.

Может быть, потому, что Лопарев сам говорил мало, а все делал, делал, делал. Возвращался из леса и уже в темноте не унимался: точил топоры и пилы, топорища отстругивал, приносил ветви лиственницы, считал на них шишки.

Казалось, из отряда может уйти каждый — отряд все равно останется, уйдет Лопарев — отряда не будет. И в горы подниматься никто не захочет, и по тропам ходить, и даже слушать споры Вершинина-старшего с Рязанцевым станет неинтересно. Ей казалось, Лопарев очень хорошо знал, зачем спросил ее: «Жива?»

Она оглянулась тогда по сторонам, вздохнула всей грудью после пережитого страха, поглядела на него. «Жива!» И как будто родилась заново. А теперь настала пора еще раз родиться и продолжить разговор.

«. . . . .?» — сказал бы он.

«. . . . .!» — ответила бы она.

И все на свете — и сам Лопарев, и все то, что Лопаревым не было, — все приобрело бы сразу новый смысл.

Онежка знала, что мог бы сказать Лопарев какой-нибудь девушке и что какая-нибудь девушка могла бы ему ответить.

Какая-нибудь... Высокая, стройная, которой все ясно и ничего не надо искать и ждать. Не надо задумываться.

Онежка же Коренькова должна была сказать совсем другое. Небольшая, некрасивая, только недавно повзрослевшая, она должна была сказать Лопареву что-то в тысячу раз большее, что-то обо всем на свете, что-то обо всей жизни.

Онежка ждала, когда к завтраку соберется отряд. Когда Лопарев придет.

Пришла Рита, за нею Реутский. Дорогой Реутский затеял, должно быть, серьезный разговор, а Рита смеялась над ним и называла Доктором медицины. Реутскому всегда хотелось перед кем-нибудь высказаться — и всегда не удавалось, но сегодня он был особенно расстроен своей неудачей. Очень расстроен. Правда, никто этого не заметил, разве только Рита, но и она делала вид, будто тоже не замечает.

Пришел Андрюша. Повесил на палаточные кольца гербарные папки, вынул из-за пояса нож, поглядел, не затупилось ли лезвие, и тут же взглянул на отца, а потом на Рязанцева. Догадался, что снова был спор и снова отец не одержал победы.

Спросил у Онежки глазами: «Было дело?»

Она ответила: «Было, было!»

Часу в двенадцатом сели завтракать. Утром, чтобы не тратить времени, каждый обходился сухим пайком, а теперь был настоящий завтрак, он же — обед.

Онежка все ждала, что кто-нибудь спросит: «А где же Лопарев? Почему нет Михмиха?» Но прежде шофер Владимировский, который в эти дни был в отряде, отхлебнул две-три ложки, посмотрел на солнце и сказал:

— Ничего себе суп. Положительная оценка.

И только спустя еще несколько минут Вершинин-старший заметил:

— Опять Михаил Михайлович опаздывает?

Ему ответил Вершинин-младший:

— Он впереди меня шел и около какого-то пня остановился.

Поели уже, отдохнули с полчаса и стали снова собираться в лес, когда наконец появился Лопарев — притащил огромный ворох ветвей и новые рогульки для костра: старые уже перегорели. Руки у него были в смоле. Он бросил ветви на землю и стал очищать руки о голенища сапог, а потом набрал горсть золы около костра и пошел на ручей отмыть смолу.

Онежка ждала, когда он вернется и попросит «заправки». Михмих ни завтрак, ни обед, ни ужин иначе не называл, как «утренняя заправка», «обеденная заправка» и «заправка на сон грядущий». Вершинин-старший спросил его:

— Что это вы запоздали, Михаил Михайлович? Мы уже второй раз собираемся в лес!

— Напрасно! — сказал Михмих, не оглядываясь. — Погода сейчас испортится, лучше было с утра поработать.

Все поглядели в небо. Верно: утренняя синева в горах обернулась

теперь в какой-то редкий и сизый туман, но туман этот на глазах становился все более бесцветным, серым, самым обыкновенным дождливым туманом. Вот к чему привело то неопределенное ожидание, которым было наполнено утро с самой зари! Все уже поели, отошли от костра, и Онежке тоже было неудобно торчать около Лопарева. Она налила ему миску супа, отрезала большой ломоть хлеба, соль подвинула и горчицу — горчицей Лопарев любил помазать хлеб — и пошла мыть посуду.

Лопарев заправился в какие-нибудь несколько минут и сразу подвинул к себе ветви, которые он принес из леса. Стал обрывать и раскладывать по ящичкам шишки. Онежка присмотрелась — он вел счет нынешним, прошлогодним и позапрошлогодним шишкам и, кроме того, отдельно красношишечной и зеленошишечной формам.

В последнее время Лопарев искал между этими формами различия, хотя Вершинин-старший и говорил, что различий абсолютно никаких нет: ни в биологии, ни в морфологии — ни в чем. Многие ученые их искали, но никто ничего не нашел.

Но Лопарев их искал. Втихомолку. Для себя. Может быть, он и не ставил такой задачи — обязательно различия найти, и только сам, своими глазами, хотел убедиться в том, что их нет.

А может быть, он различия, несмотря ни на что, находил... По каким-то словам Лопарева, по его обрывистым замечаниям Онежка догадывалась, что он ищет не зря: у него получалось, будто бы одна форма листовницы сибирской обладает более толстой корой и поднимается выше в горы, чем другая, что одна плодоносит больше, а другая — меньше.

Онежка смотрела на Лопарева. А вдруг он поделится с нею своими догадками?

Движения у него были быстрые, резкие, в горсть он сразу же набирал десяток шишек и в тот самый момент, когда обрывал их, уже вел им счет. Если были заняты обе руки, а ему нужно было подвинуть или перевернуть ветку, он помогал себе локтями, ногой, даже подбородком, один раз прижал ветвь к груди, покуда обрывал с нее шишки.

Онежка смотрела долго-долго, потом сказала:

— Михаил Михайлович, давайте я вам помогу.

Лопарев заметил, что она увидела, как он ведет счет отдельно красным и отдельно зеленым шишкам.

— Не надо! Обойдусь.

Дождь начал накрапывать. Сквозь этот дождь, еще нечастый, неторопливый, с крупными каплями, Онежка стала разглядывать необыкновенный камень. Тот самый, о котором шел нынче спор между Рязанцевым и Вершининым-старшим. Спор о поэзии.

### Глава девятая

Как-то за полдень Лопарев объявил «перекур».

Вершинин-старший, помолчав, сказал, что и в самом деле пора уже «шабашить», и все расселись на мшистой лужайке.

Рита бросила на влажный мох плаш, легла, ноги согнула в коленях, а голову положила на ладони и стала смотреть вверх.

Доктор Реутский сидел напротив, глядел на нее, а потом не нашел ничего лучшего, как подтолкнуть локтем Вершинина-младшего.

— Смотрите, Андрюша, наша Риточка, наша Биологиня — прямо-таки сфинкс!

Вершинин-младший вытарашил глаза.

— Кто, кто?

— Сфинкс... Вы что же, не знаете сфинксов?

— Мне слышалось, вы сказали «свинкс».

— Ах, право, какой вы! — растерянно зашептал Доктор.

А Вершинин-младший перевернулся на спину, зевнул, потянулся всем телом и сказал:

— Как это вы могли подумать, Доктор, что я вас, зоолога, не пойму?! Сфинкс — это же узконосая обезьяна из рода павианов! Коричневого цвета. Еще она называется пино-пино! Правильно я говорю?

Рита сделала вид, будто не слышала разговора, но простить этого Андрею не могла. Решила отомстить и сравнила его с африканским дикобразом, но забыла название по-латыни и запуталась.

— Если, детка, не знаешь, как назвать, — сказал Андрей, — назови так, как это называется...

Разговор был как между детьми, это Риту особенно злило и обижало. Но еще чаще он выводил ее из себя своим равнодушием. В тот же день у костра Андрей просушивал растения. Рита подняла несколько листов гербария над огнем и спросила:

— Хочешь, сожгу?

Андрей как сидел на земле, ноги крест-накрест, посмотрел одним глазом из-под рваной шляпы, так и не пошевелинулся.

— Ну, Челкаш?

Он молча встал, отвел ее руки от огня и так сжал, так больно, что листья выпали на землю.

— За баловство не то еще будет!

Онежка в это время тоже была у костра, вытаращила глазенки.

— Ты что, Андрюша? Пошутить нельзя? Больно, Риточка?

— Не больно. Нисколько! Вот он каков, твой Челкаш — полюбуйся!

Когда Вершинин-старший осуществлял единоначалие, указывая кому, что и как делать на следующий день, младший молча ухмылялся: ему было десять раз все равно, что толкует отец. Вершинин-старший вдруг требовал коллегиального решения всех вопросов, ставил на обсуждение предстоящие маршруты, а тех, кто молчал, называл саботажниками. Но Андрея никогда не вовлекал в споры. Если же Андрей подавал голос, так всегда одинаково:

— А не все ли равно?

Вершинин-старший тогда вскакивал; бинокль, полевая сумка, записная книжка со штампом Академии наук, перочинный и финский ножи, простой и цветной карандаши — все начинало на нем болтаться, подскакивать и подпрыгивать на ремнях и шнурках, а он еще срывал с головы шляпу.

— Как это понять, Андрей Константинович? Как это «не все ли равно»?

Другое дело, если вдруг затевал спор Лопарев.

— Планируем все... На пользу науки, на пользу отчета.

Тут наступала тишина, потом следовала речь Вершинина-старшего.

— Критикуем? Да? Легко и просто — нашуметь. А что предлагаем? Позитивно? Завтра к обеду совершить великое научное открытие? Не возражаю! Согласен! Санкционирую! Излагайте свой план! Слушаю вас, дорогой Михаил Михайлович!

Но слушать — никого не слушал. Память у него была необычайная. эрудиция — с первого до последнего слова. Он доказывал, что география нынче находится в таком состоянии, когда идет интенсивное накопление фактов, ведутся наблюдения над природой по самым различным и обширным программам, и важнейшая задача сегодня — честно и терпеливо трудиться, эти программы выполнять, не рассчитывая на лавры. И тогда, может быть, уже завтра количество фактов перейдет в качество, будут совершены величайшие открытия и обобщения.

Рязанцев на планерках никогда не спорил, от него можно было ждать возражений разве только на другой день...

Кто и как ведет себя на планерках, Рите было безразлично, но она всякий раз спрашивала себя: когда Андрей молчит, молчит и ничего больше, что он — подчеркивает свое пренебрежение к отцу? Или переживает чувство своего превосходства над всеми? Над всеми сразу?

Она волновалась, она всегда волновалась, угадывая в ком-нибудь себя. Заметила, что Андрей делал какие-то записи на планерках, и подумала, что он чертиков рисует, или карикатуры, или стихи пишет, а когда заглянула однажды, оказалось, он задумчиво набрасывает план своего маршрута на завтра.

— Ты что же это, Челкаш, не поспоришь с отцом или с Михмихом? Ты же специалист? — спросила она.

Вершинин-младший пожал плечами.

— Знаешь, как говорил Наполеон?

— Мало ли, как говорил твой Наполеон!

— ...во главе армии лучше один дурной, чем два умных. А ведь батя — он же не дурной?

Он защищал своего отца! Вершинин-старший Рите нравился. Рита не без иронии к нему относилась — все равно он ей нравился. Но то, что сын его защищает, ей претило. Она хотела бы видеть их в столкновениях: надеялась, что когда-нибудь в споре с отцом Андрей окажется в глупом положении. Вот бы она торжествовала! Еще лучше, если бы она сама сумела это сделать: когда-нибудь поставить Андрея в ужасно глупое положение! Чтобы он растерянно заморгал глазками, чтобы некрасивое лицо его потеряло то уверенное выражение, за которым некрасивость скрывалась!

Она ждала такого случая, сгорала от нетерпения.

И вот на планерке Вершинин-старший вдруг заявил однажды, что он наметил пешие маршруты.

Лопарев и Реутский должны подняться к ледникам. Рязанцев с Кореньковой — перевалить через хребет и двигаться по южному его склону, Вершинин-младший и Плонская — по северному.

В программу маршрутов Вершинин включил работы по таксации и спросил по этому поводу у Лопарева, доволен ли он, удовлетворено ли его производственное самолюбие.

Лопарев сдвинул картуз на затылок и сказал:

— А то нет! Доволен! По крайней мере дело производственное. нужное дело. завтра же может пользу принести!

Рязанцев наклонился к Вершинину-старшему и что-то сказал ему тихо, но Вершинин не преминул его вопрос объявить во всеуслышание.

— Николай Иванович спрашивает: «А удобно ли идти девушкам?» Отвечаю: удобно. Неудобства чаще возникают для них в городских парках и скверах, в тайге же я за двадцать семь лет ни о каких неудобствах не слышал. Послать девиц вдвоем нельзя, а с мужчинами — в самый раз!

Андрюша пожал плечами и сказал:

— Нельзя ли мне с Кореньковой?

— Это почему? — спросил Вершинин-старший.

— Она таежница!

— Так вот и учи Риту! Уму-разуму, вершининской ссоровке!

Это был тот самый случай, который Рита так долго и с таким нетерпением ждала. Кажется, он.

— Уж я тебя, Челкаш, заставлю себя поучить! — сказала она. — Ты со мной понянчишься! Я костер разжигать не умею, ни о какой таксации знать ничего не знаю и на второй день пути обязательно сотру себе

ножку — будешь водить меня по тайге за ручку! Понял?! А я буду висеть у тебя на шее! Тоже понял?!

Вершинин-младший в самом деле рассердился, покраснел, а она громко засмеялась. Хотела показать, что нисколько не испугалась его, сердитого. Онежке показать: вот как она будет обращаться в тайге с ее любимым косоглазым Андрюшкой! Назло пойдет с ним в маршрут, назло заставит его за собой ухаживать!

А вечером, после планерки, Рита всячески избегала встреч с Реутским.

Видела, как он следит за каждым ее шагом, ждет и не дожидается такой минуты, когда она будет одна. Мучается.

Такая минута Рите тоже была нужна, быть может не меньше, чем Реутскому. Только она не хотела, чтобы минута эта наступила по его желанию. Разговор состоится обязательно, но только тогда, когда она захочет. Что она скажет Реутскому, какие слова — добрые, злые, — не знала, но, не зная этого, все больше и больше возбуждалась, все больше чувствовала, как молча она овладевает Реутским, как он готов уже выслушать от нее что угодно, любые упреки, во всем готов ей подчиниться, унизиться перед нею.

Чтобы не выдать себя, свое желание услышать Реутского, Рита была в этот вечер ласкова и внимательна к Онежке, не отходила от нее ни на шаг. Над чем-то они смеялись вместе, а тем временем Рита как будто видела Реутского со слезами на глазах, и это возбуждало ее еще больше, и еще меньше она знала, что скажет ему.

Реутский в отчаянии несколько раз намеревался заговорить с Ритой при всех — она этот момент точно улавливала и останавливала его взглядом.

Он подчинился.

Наконец Вершинин-старший сложил руки трубкой и крикнул:

— Отбой!

Реутский кинулся к Рите, а она, собрав уже последние силы, обняла Онежку за плечи.

— Пойдем, Онега, спать! Завтра нам в путешествие! Чуть свет! Я с Андрюшей с удовольствием прогуляюсь недельку!

Но не спала, слушала, как Реутский ходил около палатки, так же как во время ее болезни, шептал:

— Рита! Вы не спите, Рита? Проснитесь, Рита!

Когда же Реутский на некоторое время уходил к себе, укладывался в спальный мешок, ей начинало казаться, будто он уснул. Ее охватывала дрожь. От обиды.

Так и не спала всю ночь, глаз не сомкнула. То себя упрекала, то Реутского, то завидовала Онежке — какая у нее спокойная, счастливая жизнь, хоть она и курносая! Как она безмятежно спит эту ночь перед маршрутом! Ей все равно, кто с нею пойдет — Реутский, Лопарев, или Андрюшка, или Рязанцев. Онежка одного только Вершинина-старшего, кажется, пугается, ко всем остальным у нее совершенно одинаковая привязанность.

Утром Рита, умываясь на ручье, долго и внимательно гляделась в круглое зеркальце.

А хороша она была! Хороша!

Все идет к красивому лицу, все такое лицо еще и еще красит! Она загорела в последние десять—двенадцать дней, покуда стояла солнечная погода, загар придал ей такой вид, о котором она сама никогда не подозревала: что-то таинственное появилось в выражении лица, чуть-чуть, едва заметно диковатое. У нее был красивый рот — крупный и тоже выразительный. На смуглом лице особенно улыбка выигрывала — маня-

щая, когда губы вдруг делались тоньше и едва заметно вздрагивали. И весь рисунок рта на смуглом лице был словно ярче и виден сразу во всех не уловимых прежде прелестных подробностях. Похудела немного после болезни, и тоже немного, совсем чуть-чуть, выступили и острее стали у нее скулы. Это придавало ей новый облик, что-то восточное, и каждый, кто чувствует восточную красоту, мог это заметить. А кто не чувствует, что же, еще и еще можно было на нее глядеть, глядеть разными глазами в ее темные, всегда устремленные навстречу чужому взгляду глаза и открывать в них такое, что ты больше всего чувствуешь. У нее все было в глазах. Она и сама на себя могла глядеть часами по-разному и разное в себе видеть. Иногда это ее поражало, тревожило: она боялась потерять ощущение себя. Вдруг перестанет понимать, какая она есть на самом деле, независимо от взгляда, которым на нее смотрят?

Тогда она старалась не вглядываться в себя, а вслушиваться, вызывала в себе свое «это» — это особенное, это единственно ей принадлежащее, в которое она верила безраздельно, хотя так и не знала, что оно.

«Это» все разное в ней снова соединяло во что-то одно, и снова совершенно точно она знала, какая она; она овладевала каждым своим взглядом, каждой едва заметной улыбкой, каждой черточкой своего лица и даже всем, что было на ней, — брошкой, косынкой, родинкой на правой щеке, у самого подбородка.

Умывшись в ручье, Рита пошла к палаткам, и так легко, будто совсем не касалась земли.

Одна мысль нарушала ощущение собственной красоты, легкости и легкости едва-едва занявшегося в горах утра: она боялась, что Реутский не ждет ее сейчас за огромным кустом жимолости.

Но он ждал ее там, за этим кустом. Осторожно, робко прикоснулся к ее руке.

— Рита! Что вы делаете? Зачем вы идете с ним в тайгу?!

Бородка у Реутского была в каплях росы, как в слезинках.

Она тоже ласково коснулась его руки.

— О чем вы, Лева?

Реутский стал ее уговаривать, стал умолять, чтобы она отказалась, не ходила с Андреем в маршрут — и все это словами, которые еще вчера безошибочно нашептывало ей ее воображение.

Она слушала, улыбалась, смутно догадываясь о том, какие слова должен был сказать ей Реутский, чтобы добиться своего: «Вы не хотите меня слушать?! Моих советов? Так черт с вами, поступайте, как сами знаете!» Вот что он должен был сказать, если хотел добиться своего: «Как сами знаете!»

А она не знала, почему и зачем так поступает, отправляясь в маршрут с Андрюшей, она испугалась бы своего незнания и осталась в лагере.

Но он просил, что-то лепетал, а она слушала — ей было удивительно приятно, радостно. Она подождала ровно столько, чтобы не стало уже неприятно его слушать, и перебила:

— Вот и я думаю, — сказала ему нежно, — настоящих чувств не существует без волнений!

Всегда так бывало: она понимала, когда люди волнуются, когда сердятся, когда радуются, и тотчас это вызывало в ней совершенно обратное чувство: с сердитыми она становилась доброй, с радостными — грустной, с взволнованными — очень спокойной. Наверно, поэтому труднее всего ей было со спокойными людьми. С Рязанцевым особенно.

Следующие полчаса — час, пока завтракали, поживаясь на утреннем холодке, показались Рите бесконечно долгими. Каждую секунду она решала, что откажется, не пойдет с Андреем, успевая понять, что так

нужно, что так лучше, что она боится Андрея. Но в ту же самую секунду она успевала это понимание и этот страх отбросить, а почувствовать не то гордость, не то отчаяние, которые заставляли ее идти с Андреем. Идти, чтобы Реутский изнывал и терзался, чтобы Онежка переживала, чтобы Андрей потерял с ней неизменное свое спокойствие и уверенность, чтобы потом, когда все кончится, когда все вернутся из маршрута, она не могла бы себя упрекнуть: «Трусиха! Перепугалась какого-то мальчишку с пороссячими глазами!» Очень страшной была возможность такого упрека самой себе!

Когда же Вершинин-старший встал и, как всегда, сложив руки трубкой, крикнул громко: «В поле! По коням!», что значило — в путь, в маршрут! — и Онежка с Рязанцевым шагнули в пойменные кусты, мимо большой, все еще в каплях росы жимолости, Лопарев и Реутский с места двинулись в гору, на подъем, а Рита, глядя в спину Андрея почти невидящими глазами, сделала первые шаги — минувшие полчаса сборов и завтрака показались ей одной-единственной секундой, одним кратким мгновением.

Ничего в это мгновение не успела она сообразить, ничего решить и вот идет теперь, только потому идет куда-то, что кто-то не дал ей хотя бы еще нескольких секунд для размышлений! Мало ли какие доводы могла бы она привести в эти секунды: что у нее болит зуб, болит нога, болит голова, что она просто-напросто не считает для себя возможным идти в такое путешествие с парнем.

Если бы парень был интересный, разумный! Но с таким, как этот, — боже, что за наказание идти с таким! Что за страх!

Шли они по тропинке, которая, хоть и была едва приметна, все-таки указывала путь, вводила куда-то все дальше и дальше. Внизу, в кустах узкой поймы, метался ручей, прятался в зарослях, выпрыгивая на камни, взмахивал белой пеной и снова исчезал.

Вверху громоздились к самому небу скалы, сложенные из громадных угловатых каменных глыб, из которых, казалось, ничего немислимо было сложить. Скалы теснили и сталкивали тропу в ручей, она прыгала с берега на берег, каждый прыжок казался последним — вот-вот тропа совсем исчезнет.

Тропа должна была исчезнуть, ручей заблудиться в кустарниках — это Рита видела, а больше ничего ей не было видно, ничего она не замечала: ни голубого неба, которое откуда-то из-за скал пронизано было солнечным светом, ни далеких облаков, повисших в этом небе. Шла за Андреем — каждый шаг был для нее испытанием.

Будто и не по тропе шла, не по камням, а карабкалась от одного страха к другому, еще более сильному страху.

Пересекли они с Андреем ручей. Андрей перепрыгнул на другую сторону, а для нее выворотил из земли большой трухлявый сук и бросил в воду. Она взглянула ему в лицо, от напряжения налившееся кровью, и так испугалась, что подумала: сейчас умрет.

Не умерла. Ничего не случилось. Шли дальше.

Заметила впереди на тропе большой мшистый камень, весь пестрый, лохматый, вспомнила, как хотела сжечь на костре листы из Андрюшиного гербария и как он схватил ее за руки: «За баловство не то еще будет!» Вспомнила и подумала: вот где ей будет «за баловство» — около этого камня! Отстала... Не хотела к камню приближаться.

Андрей спросил:

— Что ты там нашла интересное? Растение? — и хотел вернуться, а она, зажмурившись, пробежала мимо лохматого камня. Вздохнула: «Хоть бы в бога я верила, что ли?!»

Оттого, что ни на ручье, ни у лохматого камня ничего не случилось,

Рите не было легче. Наоборот, еще страшнее становилось: все-все, что могло бы уже произойти, стать пережитым, испытанным,— все ожидало ее впереди. Иногда она догадывалась, что бояться нечего, что она смешна и глупа в своем страхе, что страх выдуман ею же самой, но от этого она боялась не меньше, а еще больше и как-то безнадежнее: страшно было, что и рассудок не мог ей помочь.

«Боже мой!— думала она.— Как было бы хорошо, как прекрасно, если бы я была, как все, чтобы все у меня было, как у всех, чтобы, если я чувствовала, что мне нельзя, невозможно идти в маршрут с Андреем, так и не ходила бы с ним!»

Она всегда хотела быть не как все, и вот сегодня эти все ей мстят.

Было у нее такое средство, такой талисман — посмотретья в зеркало, залюбоваться собою и в себя поверить. И хотя понимала — сейчас это не ко времени, все-таки вынула из полевой сумки зеркальце. Не узнала ни своих глаз, ничего не узнала, чем любовалась совсем недавно, а вздрогнула вся: сверху, от черного дерева, смотрел на нее Андрей. Зеркальце выпало.

— Ну чего тебе? Чего?

А он молча смотрел, и вот теперь было у него точь-в-точь такое выражение, как тогда, когда он сжал до боли ее руки: «За баловство не то еще будет!»

В конце концов она совсем изнемогла, ходила следом за Андреем и записывала цифры, которые он ей называл: возраст деревьев, их окружность на высоте груди, породный состав. Сначала будто не она записывала, а кто-то другой за нее. Потом она открытие сделала для себя, страшное открытие: скоро уже наступит ночь, наступит тьма, и во тьме они с Андреем снова будут вдвоем. И от страха, должно быть, она стала понимать все цифры, стала чувствовать, что это она их записывает, а не кто-то другой, и хотела теперь, чтобы цифр было как можно больше, бесконечно много, чтобы и вечер длился тоже без конца.

Ночь наступила какая-то пустая. Пустая, и все! Всегда, как бы ни было темно, за темнотой чувствуешь других людей. Если нет людей, чувствуешь стены, деревья, горы, небо... Наконец, луну чувствуешь и звезды.

Но тут ничего не было, пусто было. Днем Рита так устала и видеть и слышать Андрея, что, когда он уснул на кедровых ветвях, под которыми прогрел сначала землю костром, она не смогла сообразить, что случилось: хорошо это, что он спит, или по-прежнему страшно?

Андрей как будто дал ей какой-то срок, какой-то отпуск от себя. И все остальное — леса, горы, небо, сама ночь — тоже отпустило ее от себя. Рита еще долго ощущала вокруг это ничто, прежде чем у нее появились мысли о чем-то.

Она вспомнила себя и еще двух других людей — Реутского и тетку с материнской стороны, которую у них в семье называли длинным неуклюжим именем «Тетя, что такое хорошо и что такое плохо». Только себя и этих двоих. Стала вспоминать, каким образом заместитель декана Реутский вызвал ее к себе в первый раз: лаборанта послал за ней или кого-нибудь из студентов? Так или иначе — она пришла к нему. В первой комнате кафедры, где занимались аспиранты и ассистенты,— никого. Вошла во вторую, где помещались доценты,— никого. Тут она догадалась: Реутский ждал ее в кабинете завкафедрой.

Он спросил ее, чуть смутившись:

— Это вы? — Помолчав, сказал:— Садитесь. Наверно, хотите знать, зачем я вас вызвал?

Как будто она не знала зачем! Хотел приблизить ее к себе, вот и все! Это уже другое дело, каким образом: наверное, собирался предложить ей научную работу под своим руководством.

Мужчины, мужчины! Взрослые, умные, ученые доценты, кандидаты наук, кандидаты в доктора, в члены-корреспонденты и в действительные члены!

Он предложил ей пройти летнюю практику в экспедиции.

— А кем вы там будете?— спросила она.

— Рядовым научным работником. Руководитель экспедиции профессор—доктор Вершинин. Эрудит. Приятель моего отца. Шеф моей докторской работы.

Если бы Реутский не был тогда смешным, он был бы очень интересным: небольшая русая бородка, голубые глаза...

— Я подумаю...— сказала Рита. И тотчас поднялась с кресла.

Как это было для него неожиданно, что она так скоро поднялась! Ей и самой хотелось посидеть здесь, еще на него потарашиться, но через минуту-другую он мог бы заговорить уже другим тоном, с достоинством.

— Когда же вы решите?

— Когда вам будет удобно...— Она задержалась в дверях.— Когда вы снова сможете меня вызвать.

Пусть повторит все сначала: снова найдет такой редкостный момент, когда и она в университете и на кафедре — никого!

После этого Рита забежала в общежитие, переделалась и отправилась на другой конец города к тете «Что такое хорошо и что такое плохо».

И не ошиблась.

Тетя покормила ее пирожками с яблочным вареньем, она — ни слова. Тетя предложила на карманные расходы, она — ни слова. Тетя отчаялась, отдала ей свой билет на премьеру, а потом еще битый час говорила восторженные «хорошо» по поводу Ритиных глаз и прически. Наконец тетя не выдержала:

— Ну, как там, в университете, чувствует себя Левушка Реутский? Надеюсь, хорошо? У тебя не было никакого разговора?

— Так... Мельком.

Тете ничего и не нужно было больше. Она всплеснула руками.

— Это хорошо! Это совсем-совсем неплохо!

Мамина родная сестра, тетя «Что такое хорошо», так же как и мама, еще больше, любила быть причиной всему на свете.

Только у мамы эта страсть за всех все решать была глубже, значительнее. Если у кого-то из близких маминых знакомых была драма, так у них дома драма была еще больше и обязательно приводила к ссоре матери с отцом.

У тети никогда и никаких драм дома не было, потому что она страшно боялась своего мужа, преподавателя логики; детей у нее тоже не было, но тетя без драм не могла, без семейных событий тоже, и все это она очень усердно, талантливо искала и находила среди знакомых и родственников.

Когда Рита бросила Горный институт и приказ не имел даже такой общепринятой формулировки, как «отчислена по состоянию здоровья» или «по семейным обстоятельствам», а лаконично сообщил, что она «отчислена за систематическое непосещение занятий и несдачу экзаменов», когда на руках у Риты не было не то что самой серенькой, а попросту никакой комсомольской характеристики,— мама впала в состояние транса и лежала с примочками на лбу, а тетя немедленно телеграфировала: «Въезжай началу семестра университете относительно факультета договоримся поздравляю днем рождения твоя тетя все будет хорошо».

Рита приехала. Тетя сказала:

— Знаешь, милая, мой Петр Петрович может устроить все. Он на прекрасном счету в университете. Он безусловно самый сильный логик во всем городе. Но мы сделаем по-другому: через профессора Реутского.

У профессора сын Левочка — молодой ученый, заместитель декана, и потом — у него драма...

Этим все было сказано: если «драма» — значит, тетя близка к этой семье, а если она близка — значит, семья милая, а если милая, можно быть уверенной, что члены этой семьи поступят по отношению к Рите тоже очень мило.

Тетя настояла, чтобы они нанесли визит Реутским. Сначала Рита чувствовала себя неловко в сумрачной обстановке старинного профессорского дома и в присутствии своего будущего заместителя декана, которого тетя с материнской нежностью называла Левочкой, вздыхая при этом. Левочка переживал драму: к нему отказалась вернуться невеста. Левочкин папа помог способной девушке устроиться в аспирантуру МГУ, способная девушка защитила диссертацию и раздумала возвращаться в Сибирь — вышла замуж за москвича.

В свете этого события участие Реутских в судьбе Риты было особенно трогательным и благородным. Тетя прослезилась, Рита же довольно быстро освоилась и, кажется, произвела на профессора даже большее впечатление, чем на Левочку.

Все было устроено и с университетом и с общежитием. Рита не хотела жить у тети, опасаясь ее пылких чувств и забот. Опасения оказались напрасными. Тетя сказала:

— Общежитие — это хорошо! Это необходимо. Извини, милая, Петр Петрович нуждается в постоянном отдыхе.

И, уплетая тетины пирожки с яблочным вареньем, предвкушая посещение премьеры, пропуская мимо ушей всяческие тетины «хорошо», Рита переживала тогда в общем-то радостные ощущения и еще догадку, которая осенила ее во время недавнего разговора с заместителем декана.

Далекое же плапы строила тетя, когда вызывала племянницу телеграммой! Давно же решила она, что такое хорошо!

И вот у Риты все чаще и чаще стали возникать представления о том, как они будут с Левочкой Реутским вместе.

Вместе в театре... Вместе в гостях... Вместе на Черном море... Вместе на какой-то не очень еще ясной, но все-таки существующей для них работе. Вместе два красивых человека — молодой способный научный работник, молодая, очень красивая женщина, мимо которой не может пройти, не любясь, ни один человек, — на берегу красивого, яркого моря, куда люди приезжают за радостями. Все трепетало в Рите, когда воображение рисовало ей эту картину. В самом деле, могла ли она оставаться безучастной к такой судьбе, даже если бы эта судьба была не ее, а чья-то чужая? Не завидовать, не желать ее для себя, упрекать в чем-то тетю, которая откуда-то знала, что такое хорошо? Если человек равнодушен к красивому, может ли он быть равнодушен к этому? Разве не было в этом того необыкновенного, чего Рита всегда желала?

Весной Рита сделала так, чтобы Реутский пригласил ее на бал во Дворец культуры. Там их видели вместе свои университетские, политехники.

Тетя тоже видела их и потом — когда снаряжала Риту в экспедицию: шила ей шаровары, маленькую подушечку-думку — произнесла своего рода признание:

— Я счастлива с Петром Петровичем. Он самый сильный логик в городе. Я всю жизнь его уважала, и это хорошо, это логично. Так и должно быть, он, кажется, лучше меня. — Тетя повздыхала. — Но если бы я была лучше его, я заставила бы его уважать себя. А муж, который очень уважает свою жену, всегда такой, каким его хочет видеть жена.

Она увидела на балу больше других: тетя увидела, как в тот вечер Рита окончательно покорила Левушку Реутского.

Но в экспедиции Рита вела себя так, что никто ни о чем ни сном ни духом не догадывался, и Реутского заставила вести себя точно так же. Нужно было проявить выдержку, нужно было, чтобы Реутский в полную меру почувствовал ее характер. Считалось, что, кроме Вершининых, старшего и младшего, в экспедиции все встретились по долгу службы, и это в то время, как университет, политехники — все-все гадали, чем кончится поездка Льва Реутского и Риты Плонской на Алтай. Почему теперь, у костра, сразу из ощущения «ничего», из пустоты этой так страшно и необычно начавшейся ночи воображение вдруг прихотливо унесло ее к прошлому и к будущему, которое обязательно должно было наступить?

Она не задумывалась почему, она почувствовала себя растроганной. Кажется, слезы появились у нее на щеках. Ну да, появились! А страх исчез. Он был странным, ее страх, не настоящим, потому что, когда вешишь в будущее, не боишься никакого настоящего.

Чего ей было бояться мальчишку? Чего ради?!

В первый раз за долгие-долгие ночные часы Рита пошевелила ногами, преодолевая боль, вытянула их. Когда боль утихла, она приподнялась и бросила в прозрачные углы костра сухие ветки.

В черную пустоту стали вступать причудливые, тоже темные изваяния стволов, лохмы ветвей потянулись к огню сверху, но круг, освещенный пламенем, все еще был невелик.

Она подбрасывала ветви еще и еще и наконец в этом круге увидела Андрея: сначала до пояса, потом всего.

Он лежал на кедровых ветвях, под головой — дождевик. С вечера хотел отдать дождевик Рите, она в испуге отмахнулась — ей ничего от него не нужно было, ничего! Спал он умеючи: спокойно, деловито и чутко. Хрустнуть веткой — он проснется, и ни секунды ему не надо будет, чтобы сообразить, где он и что с ним. Как будто и во сне помнил, что дождевик у него под головой, полевая сумка слева, ружье справа. Спал и во сне слушал.

Скуластое лицо, лохматые стариковские брови при свете костра были добродушнее, как-то больше к лицу, и Рита еще раз убедилась, что совсем напрасно боялась днем, что мальчишка этот забавный, немного угрюмый — и больше ничего. Он ее выносливее, он ученый, может запросто спорить с Реутским, с Лопаревым, в ботанике он сильнее своего отца, а она выше его своим женским умом и, если захочет, будет относиться к нему, как ко многим людям, — чуть свысока.

Она любит, любит Реутского, мечтает о будущем и с такой мечтой может смотреть на Андрея, как женщина смотрит на мальчика, хотя бы на очень умного, очень упрямого, очень сильного, но все-таки мальчика.

Вспомнила, как Реутский уговаривал ее, умолял не ходить в маршрут вместе с Андреем, и догадалась: «Вот откуда был этот страх — он не мой, он Левушкин, страх! Левушка мне его внушил!» Удивилась, почему это, когда ей было так страшно с Андреем, она ни разу о Левушке не вспомнила, чувствовала себя такой одинокой? Вдруг решила быть ласковой к Лева, заботливой, стала упрекать себя: маршрут продлится еще с неделю, и всю неделю Лева будет мучиться и терзаться...

Зачем она так сделала? Никогда она себя ни в чем не упрекала, если ей случалось досадить кому-то, а тут почувствовала вдруг смятение. Не то вслух, не то про себя думала: «Милый, милый Левушка! Почему я не вспомнила тебя, когда мне было страшно с Андреем? Как же так? Почему? Почему забыла? Почему не пожалела тебя?»

Она мысленно сказала «милый», и это оказалось не просто ласковое обращение к Лева Реутскому, нет.

На самом деле он был очень милым. Его маленькая русая бородка и большие голубые глаза казались строгими. Казались такими. А на самом деле они были милыми.

Его смущение, с которым он впервые позвал ее к себе на кафедру, с которым весной танцевал с нею на балу во Дворце культуры, было наивным, каким-то детским. На первый взгляд. А если посмотреть без насмешки, он очень мил в смущении.

И послушание, с которым Левушка выполнял в экспедиции ее вздорное требование ни словом, ни жестом не выдавать знакомства между ними, оно тоже было трогательно милым.

Потом, прочувствовав все милое, что было в Реутском, Рита представила, что где-то сейчас, вот так же вдвоем, ночуют в лесу Онежка с Рязанцевым. Все спокойно, все просто между ними, как между детьми.

«Хорошо и просто Онежке,— снова подумала Рита.— Хорошо быть такой простой, несложной, как Онежка. Беззаботной... Быть, как все». Повторила: «Хорошо Онежке! Вот и мне тоже скоро будет хорошо с милым Левушкой. И у меня не будет никаких тревог. Никаких».

Онежку в эту ночь что-то тревожило. Они с Рязанцевым ночевали по другую сторону горного отрога, и тот ручей, который пробежал около их костра, и тот, который слышала Рита, где-то совсем неподалеку друг от друга впадали в одну стремительную, пенистую речку.

Почему-то Онежке давно уже хотелось провести у костра ночь совсем одной. Не в лагере, около палаток, а в лесу — и обязательно одной. Но теперь ей нисколько не мешало присутствие Рязанцева, и желание, кажется, исполнялось.

Положив голову на колени, а колени обхватив руками, она смотрела и смотрела на огонь, когда же от огня улетали куда-то вверх искры, поднимала вслед им глаза.

Это только кажется, будто ночи все одинаковы, если нет ни дождей, ни гроз, ни бурь. Только кажется...

Ночи замышляют, какими должны быть следующие за ними дни. По ночам небо тихо-тихо приближается к земле вместе с облаками, вместе с луной, вместе со звездами, и все это вместе замышляет день. От того, каким они его замыслили, от того, что должно расцвести на следующий день, а что должно завянуть, что должно растаять в горах, а что застынуть, что будет петь, а что молчать, от этого и сами ночи бывают то совсем безмолвны, то они вздыхают от зари до зари, то они спокойны, то тревожны, то они росные и туманные, то наполняются прозрачной тьмой.

Ночи сначала творят день, а потом сами прислушиваются к своему замыслу и, уходя с первыми солнечными лучами, всматриваются в него застенчиво, робко и торопливо.

Когда нынче только стемнелось, что-то потревожило самые верхние хвоинки на вершинах лиственниц и кедров. Это был даже не ветерок, а совсем легкое прикосновение они ощутили чего-то невидимого и неслышимого. Облако их коснулось или лунный свет? Шепотом вершинки спрашивали друг друга об этом всю ночь.

Один раз прозвенел ручей и потом, тоже изредка, повторял свой струйный звон.

В чутком сне потягивалась лесная земля. Стороной, в западинке, едва касаясь трав, полз туман, а в глубине древесных стволов по капиллярам сочилась влага.

Ничто не мешало размышлениям ночи, ее замыслам. Все в них вслушивалось, в эти размышления, все хотело их угадать.

— Николай Иванович,— спросила Онежка,— а что такое жизнь?

Рязанцев лежал на боку, подперев рукою щеку, а другой рукой пошевеливал костер.

— Не знаешь? Не учила в институте? Форма существования белковых веществ — вот что это такое.— И он взглянул на нее, слегка повернув голову.

На лице Онежки вспышки костра отражались теперь чуть заметнее, и тени двух завитушек ее волос двигались на лбу.

— Видишь ли, начало всему — Солнце. В течение суток Солнце, теряя триста шестьдесят миллиардов тонн своей массы, излучает энергию. Одна двухмиллиардная этой энергии попадает на Землю. Земля же достаточно велика, чтобы силой притяжения удерживать вокруг себя атмосферу. Ну, а эта атмосфера предохраняет Землю от губительного воздействия солнечной энергии и в то же время воспринимает ее живительную силу. Взаимодействие между Солнцем и Землей приводит к тому, что на Земле возникает биосфера — вода, воздух, твердая среда, а дальше — никто об этом пока не знает, каким образом возникает органическое вещество. Простейшие и растительность насыщают нашу биосферу кислородом, а это позволяет развиваться более сложным организмам. Должно быть, это так, потому что вес свободного кислорода биосферы соответствует весу всего живого на Земле. Вот и все... Все тебе рассказал.

Снова Онежка сидела неподвижно, глядела в огонь и поднимала голову, когда вверх, к звездам, уносились искры костра. Прислушивалась к чему-то, о чем Рязанцев еще не говорил, но должен был сказать.

Рязанцев приподнялся, опираясь на локоть, свободной рукой пошарил по карманам и достал записную книжку.

— Посвети-ка. Горит ярко, а все-таки посвети-ка еще.

Онежка нашла в полевой сумке электрический фонарик.

— Выписал откуда-то и когда-то.— И он прочел: — «Дмитриева Елизавета Лукинична родилась в 1851 году в Псковской губернии. Очень рано заключила фиктивный брак, уехала за границу, в Женеве была одним из организаторов Русской секции Первого Интернационала, а двенадцати лет была уже как представительница этой секции направлена к Карлу Марксу в Лондон. Карл Маркс направил Дмитриеву в Париж представителем Генерального Совета, и там она основала женскую военную лигу, а в последние дни Парижской коммуны возглавляла отряд женщин, сражавшихся с версальцами на баррикадах. Возвратилась в Россию, вышла замуж за осужденного на поселение, отправилась с ним в Сибирь. В Сибири и умерла...» Это то, о чем ты хотела у меня спросить?

Онежка не ответила и еще раз вдруг спросила:

— Николай Иванович, а что такое смерть?

В мельчайших подробностях Рязанцев помнил и смерть.

В возрасте только чуть за шестьдесят умер его приемный отец, известный в Сибири механик и конструктор Александр Александрович Голвин.

Было это ранним утром, в январе, в самую стужу, и окно больничной палаты покрылось густым, как мех, инеем.

Рязанцеву позвонили из больницы около шести, и когда он вошел в палату, которую оставил всего лишь несколько часов назад, его поразили морщины на лице человека. Незаметные и даже уместные прежде, они вдруг разделили это лицо на отдельные треугольники и квадраты почти правильной геометрической формы. Эта правильность и строгость всех линий профиля заставили Рязанцева подумать, будто человек уже мертв.

Но он не был мертв, и как только Рязанцев остановился в изголовье, показал на стул.

Рязанцев сел.

— Что, Александр Александрович?

Что-то нужно было подать с тумбочки.

На тумбочке лежали тонко и аккуратно зачищенные карандаши, несколько газет и книга, старинные часы с серебряной цепью и еще фотография. На фотографии — два комбайна: один современный и другой музейный, прошлого века, который лошади толкали впереди себя. Рядом с этими машинами было несколько человек: Головин, его сотрудники и Рязанцев. На заднем плане — река, часть похожего на ангар здания машинного музея и светлая полоска дороги.

Кто-то из сотрудников конструкторского бюро только недавно отпечатал летние снимки и переслал в больницу.

Рязанцев притронулся к фотографии: именно она нужна была умирающему. Длинным пожелтевшим пальцем не сразу тот указал на фигуру Рязанцева в белом костюме и в белой же шляпе.

— Да! — Рязанцев кивнул. — Да, да!

Желтые пальцы дрожали, удерживая фотографию: за правый верхний угол, потом выронили ее. Она упала на белую простыню оборотной стороной вверх.

Головин долго лежал недвижимый, а затем показал, как он двигает рукой — немного вверх и снова вниз, — как распрямляет и сгибает руку в локте. Снова показал на тумбочку.

Рязанцев подал карандаш.

Острием карандаша Головин покалывал себя: лицо, левую руку, грудь, а едва заметным шевелением правой стороны лица он показывал — чувствовал укол или не чувствовал.

Левая сторона его туловища, левая рука, левая щека уже не чувствовали ничего. Упал и карандаш.

Он дышал редко и хрипло, но все еще чего-то хотел.

Рязанцев догадался и подал часы.

Правым ухом Головин еще услышал ход: раз-раз, раз-раз, раз-раз! — удары отражались в очертаниях его приоткрытых губ. Одним глазом он видел время — Рязанцев и это понял.

Было без двух минут семь утра. Проскрипел по рельсам трамвай. Минутная стрелка достигла римской цифры XII, часы упали, упала рука...

Вот так это было.

В костре, в самой глубине листовенничного кряжа, сияло что-то, напоминающее яркий и прозрачный сплав.

Онежка сидела все в той же позе, обхватив руками колени.

— А какая ночь необыкновенная, правда, Онежка? — спросил ее Рязанцев.

Онежка вздохнула, подняла лицо к темному небу.

— Правда, правда! — И улыбнулась.

Улыбка Рязанцева успокоила: значит, его рассказ не так уж подействовал на Онежку. «Спокойная девчушка», — подумал он.

## Глава десятая

У Вершинина-старшего была такая поговорка: «Нету на вас Барабы!»

Правда, вслух он произносил эту поговорку редко, но когда спорил с Рязанцевым, не то чтобы про себя ее повторял, а как-то все время чувствовал.

Правильным человеком был Рязанцев потому, что не пережил своей Барабы. А хотел Вершинин, чтобы его неизменный оппонент хватил бы лиха. «Ничего! — думал он о Рязанцеве. — Молодой еще, нет пятидесяти.

Ни забот, ни сомнений, ни поражений в жизни не было. Но жизнь еще успеет его научить... Будет и у него своя Бараба!»

Поговорка эта имела свою историю.

В научном мире ныне известно, что одним из крупнейших знатоков природы Горного Алтая является профессор — доктор географических наук Вершинин.

Уже мало кто помнил Вершинина того времени, когда он занимался природой не только Алтая, но и всей Сибири, всеми ее производительными силами.

А между тем было такое время — начало тридцатых годов.

Вершинин воспитывался на энциклопедистах, таких, как Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович.

Семенов-Тянь-Шанский был географом, статистиком, энтомологом, ботаником, государственным деятелем, а, написав «Этюды по истории нидерландской живописи», стал еще и почетным членом Академии художеств. Семенов-Тянь-Шанский был эрудитом, а кто Вершинина лишил этого права?

Берг Лев Семенович, современник Вершинина, будучи ихтиологом, создал учение о географических ландшафтах, написал «Очерки по истории русских географических открытий» и «Основы климатологии». Вершинину довелось испытать личное обаяние этого человека, и, может быть, именно тогда он впервые пережил страстное желание служить науке энциклопедической. А разве время энциклопедистов прошло? Разве отныне они стали называться дилетантами?

Правда, на глазах Вершинина его однокашники, называя себя географами, занимались не географией, а только поверхностными водами, но не всеми, а только озерами, озерами тоже не всеми, только солеными, в конце же концов не всеми солеными озерами, а только одним-двумя из них. И преуспевали при этом.

Вершинин презирал такую науку о горько-соленом озере Баскунчак или солоновато-пресном озере Чаны.

И он принялся за необыкновенный труд: «Природа и народное хозяйство Сибири (Материалы к пятилетним планам реконструкции и развития)». Труд должен был подчинить себе все народнохозяйственные проблемы Сибири, сделать их «ведомыми» его науки, должен был стать грандиозным слиянием всех познаний о природе со всеми задачами преобразования этой природы.

Прежде всего Вершинин предложил свое, совершенно новое деление Сибири на районы по климату, растительности, почвенным условиям и рельефу. Районирование это было широко признано, создало ему имя. С тех пор и всю свою жизнь Вершинин говорил: «Западная и Восточная Сибирь в моих границах». Он говорил так и до сих пор, хотя давным-давно уже его районирование потеряло значение, хотя он, кажется, понял, что слишком раннее признание в ученом мире только повредило ему. Но в молодости он без этого признания жить не мог, а тех, кто его не признавал, не мог терпеть.

Однажды на диспуте Вершинин громил своего учителя профессора Алпатьева, и профессор спросил его:

— Революция — это творчество. Это открытие. Революция в науке — это новое грандиозное открытие в ней! Что открыли вы?

Вершинин тогда ответил:

— Я открыл новые цели и новые задачи науки! Этим новым целям и новым задачам я заставлю по-новому служить все ваши открытия! Я хочу искоренить науку для науки и заставить ее безоговорочно служить народу!

Он запомнил, как после дискуссии Алпатьев вышел из актового зала и шел коридором совсем один. Шел почему-то очень долго, а он, Вершинин, стоял в окружении студентов, преподавателей, множества каких-то незнакомых людей и глядел ему вслед. Глядел ему вслед даже после того, как Алпатьев свернул на лестницу. «Вот и все! — подумал он тогда. — Прощай, учитель!»

Вершинин снискал известность как теоретик. Его пригласили в СОПС<sup>1</sup>. Ему предлагали кафедру в Казани, позже — в Ленинграде. Он отклонял предложения, не задумываясь: автор «Природы и народного хозяйства Сибири» должен был в Сибири и создавать свой труд.

Он не знал ни отдыха, ни срока. Не жалел ни себя, ни других. Ему не было еще тридцати лет.

В других науках тоже появились ученые — по большей части в том же возрасте, с такой же энергией, которые не столько разрабатывали, сколько выдвигали проблемы.

Их называли в ту пору «проблематиками». В гидротехнике одну проблему грандиознее другой выдвигал инженер под псевдонимом «Анова». Звучало. Напоминало слово «новое», «новизна». И Вершинин тоже стал подумывать над псевдонимом и еще о том, чтобы объединить всех «проблематиков», выступив с инициативой создания «Оргкомитета по координации проблем реконструкции науки». Дело было не в названии — в идее. Но вот как раз идея-то ему вдруг и не далась.

Чтобы приблизиться к идеям и задачам времени, он отбросил первую часть из названия своих трудов, и то, что до сих пор было заключено им в скобки — «Материалы к пятилетним планам реконструкции и развития народного хозяйства Сибири», — стало теперь для него не только единственным названием, но и девизом.

Он так ясно сознавал ведущую роль своих «Материалов», так гордился ими, так доверял, что далеко не сразу заметил, как им отказывают в доверии события, сама жизнь. Менее чем через два года после начала строительства первая очередь Кузнецкого металлургического комбината вступила в строй. Это в то время как он в своих «Материалах» только еще отстаивал Кузнецкий металлургический комбинат, видя в нем проблему, горячо защищал проблему, готовил для нее данные о природе Кузнецкого бассейна. Со своей смелостью, со своей «ведущей» наукой он вдруг остался позади «ведомых» фактов!

Не всегда так было.

В городе Барнауле глухой на оба уха, очень милый инженер-гидротехник Мичков выдвинул проблему орошения Кулундинских степей. Четвертый том «Материалов» Вершинин целиком подчинил этой идее — не хотел отставать от жизни, как это случилось с проблемой КМК. И что же? Идея орошения Кулунды так и не осуществилась. Четвертый том должен был подвергнуться переработке.

Осушение Барабинской низменности и регулирование озера Чаны — тоже оставались только проблемами, а города Сибири, наоборот, обошли все его прогнозы, становились вдвое, втрое больше, чем он предполагал. Новосибирск выдвигался на первое место, а он отводил это место Иркутску. Когда в свое время Сибирский край разделился на Западный и Восточный, это блестяще подтверждало его взгляды. Но вот из Западной Сибири выделились Красноярский край и Омская область, потом Алтайский край, из Восточно-Сибирского — Читинская область. Это было концом «его» границ и «его» районов, контуры которых он видел так часто во сне, то и дело произвольно изображал их на бумаге,

<sup>1</sup> СОПС — Совет по изучению производительных сил Академии наук СССР.

так же как влюбленные изображают черты дорогих лиц, которые он угадывал то в рисунках обоев на стене, то в очертаниях дождевых лужиц на тротуарах, границ и районов, которые создали ему имя и были основой его «Материалов».

И вот уже его «ведущая» наука бывала несказанно счастлива и горда, если ей удавалось оказать мало-мальскую услугу практике, проблемам, которые он все еще называл «ведомыми».

Ботаники, геологи, гидрологи, климатологи — все так или иначе находили связи с проблемами КМК, Кулунды и Барабы, с освоением Севера и развитием Востока. Он со своей наукой «в целом» не успевал ничего.

Ему стало казаться, будто те, другие науки, сделались вдруг «реакционными» и «правыми».

Как было назвать то, что с ним произошло? Если бы однажды его привлекли к суду за саботаж, он, наверное, признал бы себя виновным. Если бы вдруг кто-нибудь объявил его «Материалы» делом гениальным, он и это воспринял бы как должное.

Иногда он думал: не потому ли все это происходит с ним, что он один? Один хотел все начать и все кончить, веря в свои силы, в свои способности. Но тут же он проходил мимо этой мысли. И то ему казалось, будто действительность, во всех ее самых мельчайших проявлениях, безупречна, то вдруг начинал он со злорадством коллекционировать нелепые факты действительности, когда целое разобшало на какие-то нелепые дроби.

Пришлось Вершинину поехать в Омск, в Сельскохозяйственный институт, но он его не застал, не было такого, а на каждом этаже большого красивого здания со следами готики в архитектуре помещалось по одному самостоятельному институту: ИМОХ — Институт молочного хозяйства; Инзеркульт — Институт зерновых культур; СИОТ — Сибирский институт организации территории. Три директора перезванивались с этажа на этаж, делили аудитории, преподавателей, библиотеку, общежития, все, что можно, и все, что нельзя было разделить.

«Вот так же, — с горечью думал Вершинин, — была растерзана и моя наука!»

Однако ИМОХ, Инзеркульт и СИОТ вскоре снова образовали СИСХ — Сибирский институт сельского хозяйства, а «Материалы к пятилетним планам» не могли уже воспрянуть к жизни.

Должно быть, потому, что до сих пор ему совершенно чужды были сомнения, они теперь приходили к нему по любому поводу.

То он видел все окружающее как целое: все являлось ему следствием очевидных причин, все вокруг подчинялось пятилетним планам, люди, казалось, только по какой-то устаревшей привычке что-то еще совершают порознь друг от друга, в то время как на самом деле они все совершают одно и то же — история построила их в ряды, ряды в колонны, и так они все идут к одной цели, к одной судьбе.

То ничего общего он вдруг обнаружить между людьми не мог.

Действительно он знал свою науку или только думал, что знает ее?

Здоров он был или болен? Во сне он переживал смерть, умирая сам по себе; потом его душили, он тонул; кто-то крал у него то руку, то ногу, то голову; кто-то ставил на затылок плотные заклепки многоударным молотком; ввинчивал шурупы с овальной головкой во все грудные позвонки, и, наконец, один из его знакомых, весело ухмыляясь, целился ему в правый глаз из медвежьего пистолета, требуя отгадать калибр.

Калибр был, кажется, двадцать четыре.

Ни один из этих снов не мог повториться дважды, он тогда сразу догадывался, что это сон, и просыпался. Но воображение было изобретательным, оно и во сне почти никогда не повторялось.

И все-таки он сумел в тот раз истолковать все, что с ним произошло: он был на самом переднем крае своей науки и принял на себя все ветры, все удары судьбы, все надежды и потрясения, которые на долю этой науки пришлись. Все-таки он верил в свое время. Время в целом все могло изменить, все вернуть ему сполна.

Инертность была совершенным антиподом этого времени, и покуда время текло, а Вершинин жил, он не мог оставаться где-то за пределами этого течения.

Он решил, что нынче нужны не только мысли о проблемах, которым посвящались томы его «Материалов», а само дело.

И вот уже как рядовой специалист он приступил к одной из практических проблем — к проблеме осушения Барабинской низменности.

Была поздняя осень. Он обследовал систему осушительных каналов, которая в конце прошлого века была построена генерал-лейтенантом корпуса военных топографов И. И. Жилинским.

И тут он вдруг ощутил, как безлика, как бесцветна, как мелочна может быть огромная проблема, когда она осуществляется практически день за днем, каких чудовищно ничтожных размеров она может достигнуть.

Сломался бур, а ему необходимо было взять почвенные пробы на влажность в разных расстояниях от осушительного канала.

Нужно было ехать в районный центр — на станцию железной дороги, чтобы бур сварить, но никто не давал ему лошадь, потому что в колхозе не оказалось хомутов.

Несколько дней сряду по невероятной грязи бесконечно длинной деревенской улицей он ходил к шорнику и уговаривал его починить хомут. И когда шел и когда разговаривал с пьяненьким стариком шорником, никак не мог себе представить, что это он идет, он разговаривает, он — автор «Природы», «Производительных сил Сибири», «Материалов к пятилетним планам»!

Когда же хомут был наконец починен, осенние воды смыли мост через канал, никто не брался везти его на станцию.

Он пошел пешком, шел три дня и еще три ходил по районному центру в поисках слесаря и сварщика. Когда же бур был починен, дожди уже так насытили почву, что пробы на влажность потеряли всякий смысл. Теперь Вершинин должен был возвратиться на канал только для того, чтобы забрать свои полевые дневники, инструмент и кое-какие свои вещи. И он ждал okazji.

Прежде, если погода не благоприятствовала путешествиям, он мог запросто отложить свой маршрут до следующего года, изменить его, сделать остановку в населенном пункте, который чем-нибудь нравился ему.

Никогда в жизни он не был так рабски привязан к незначительному, мелочному делу вроде отбора почвенных проб; никогда не зависел от шорника или от слесаря.

Прежде, где бы Вершинин ни бывал, для всех окружающих он оставался приезжим и ученым человеком — теперь же был совершенно неприметен, никто не проявлял к нему ни обычного любопытства, ни внимания, а все словно подчеркивали безразличие к нему, все как будто считали, что дело, которым он занят, — мелочное дело.

В заезжем доме райцентра он целыми днями валялся на неопрятной кровати, натягивая на голову рваный дождевик, и грезил о палатке, об экспедиционном пайке, о биноклях, о множестве других деталей поход-

ной жизни, которых прежде никогда не замечал и которые теперь казались ему воплощением гордого, возвышенного человеческого существования.

Отсюда, из заезжего дома на маленькой железнодорожной станции, Вершинин как будто слушал ученые споры о том, что такое Бараба.

Слушал и хотел бы ученых-географов уложить на койки заезжего дома, накрыть их рваными дождевиками, а сам вместо них подняться на кафедру блистающего чистотой актового зала и оттуда говорить о Барабе, о том, что она такое.

В своей речи он не сказал бы о чувстве беспомощности, которое пережил в Барабе. Наоборот, он говорил бы, как ее абориген и ее знаток говорит с дилетантами, он отказался бы от всех понятий, известных географии, и пренебрег принципами своих собственных многотомных «Материалов».

Он слушал себя, свою речь...

«Взглянем на Барабу с высоты птичьего полета и еще с высоты наших современных представлений о ландшафтах земного шара! Не будем топиться и, прежде чем вынести свой приговор о том, что такое Бараба, попытаемся установить ее начало и ее конец, ее границы: представление о границах какого-либо явления уже говорит нам о самом явлении. Остановимся лишь на широтных — южных и северных — ее границах, в этом кроется огромный смысл, о котором, однако, я скажу ниже.

Итак, Бараба заключена между Кулундинской степью с юга и Васюганскими болотами с севера.

Степи Кулунды — с пресными и солеными озерами — то идеально плоские, то пересеченные гривами; с мозаично-пестрым почвенным покровом; с тихими и даже недвижимыми в летнюю пору речками, которые текут строго параллельно друг другу почти через одинаковые расстояния, но в разные стороны — одни с северо-востока на юго-запад, другие — с юго-запада на северо-восток; с ароматными сосновыми лесами по долинам этих рек, которые необычайно точно называют здесь, в степи, «ленточными борами» и о которых рассказывают легенды, будто они когда-то, в забытой древности, искусственно созданы людьми, — эти степи, это южное преддверие Барабы уже несет в своем географическом облике такие неповторимые особенности, которые человеку не дано понять ни из книг, ни из рассказов очевидцев. Их можно только подметить собственным взглядом. Это с юга от Барабы.

С севера от нее самое крупное в мире заболоченное пространство — Васюганье, самое безжизненное между пятьдесят седьмой и шестидесятой параллелями северного полушария; самое непроходимое — на нем нет ни одного километра современных сухопутных дорог, а весной истоки всех рек, которые вытекают отсюда на четыре стороны света, образуют одно сплошное пресное море. О Земле Франца-Иосифа или об Антарктиде путешественниками написано в десятки раз больше, чем о Васюганье... Васюганье — вот оно перед вашим взглядом — с темной и сырой елово-пихтовой тайгой, называемой дремучим словом «урман», а урман — это заболоченная тайга с бесцветными сфагновыми торфяниками, обладающими лишь тем минимальным количеством зольных элементов, которое в состоянии доставить атмосферные осадки, поскольку тысячелетние наслоения сфагнума уже давно потеряли всякую связь с подстилающими минеральными грунтами; с серыми тучами мошки; с нарымской ссылкой — это Васюганье замыкает Барабу с севера. И, обратите внимание, не только замыкает, но и является ее продолжением, является результатом множества природных процессов, выводом из суrowой, непреклонной и еще не осознанной человеком логики Земли.

И вот сама Бараба...

В том-то и дело, что мы не в состоянии были установить сколько-нибудь точно ни северных, ни южных ее границ. На протяжении каких-то трехсот километров здесь таинственно сливаются и проникают друг в друга ландшафты Кулунды и Васюганья, и, чтобы представить себе, что это за слияние, мы должны вообразить, будто где-то в средней части Европейской России вдруг соединились степи Нижнего Поволжья с побережьем Белого моря или вдруг Средняя Франция сомкнулась с Северной Швецией. Тщетны будут все наши попытки установить границы Барабы, явление же без границ — явление, не поддающееся научному анализу, аналогиям и обобщениям.

Здесь все возможно, в Барабе: губительные засухи и столь же губительные вымочки, лютая жара и такой же лютый холод, солнечное сияние и бесконечные ненастья, безводья и наводнения... Здесь озеро занимает самую возвышенную часть поверхности, а реки текут в увалах над землей и, так же как в Васюганье, весной сливаются своими истоками.

Бараба — это явление материковое, широтное, это слияние севера с югом, вот почему в начале своего выступления я обратил ваше внимание прежде всего на территории, расположенные с юга и с севера от Барабы. В Барабе — географический центр России, как его определил великий Менделеев. Здесь континентальность климата совершила все, что она только может совершить. Здесь Воейков открыл существование невидимого хребта между севером и югом полушария — это могучая, резко выраженная ось повышенного барометрического давления. Воздушные массы то с севера, то с юга переваливают через него точно так же, как через горные хребты, но иногда еще теснят этот хребет то в одну, то в другую сторону, и Бараба как бы сдвигается тогда на несколько сот километров на север или на юг.

Бараба — это не низменность, потому что реки текут не в нее, а из нее. Она не болото — то и дело мы встречаемся там со степными почвами и степной растительностью. Она не степь, потому что в равной мере в ней присутствуют все атрибуты болота. Она — Бараба! Единственная в мире, неповторимая страна, не сравнимая ни с чем больше!»

Такова была его речь, обращенная ко всем, кто пытался понять, что такое Бараба.

Это была смелая речь, потому что в ней он признавал несостоятельность основных географических понятий; несостоятельность своих собственных трудов, основанных на этих понятиях; несостоятельность науки в целом, потому что не могло ведь быть какой-то отдельной географии Барабы, но в то же время всеобщая география оказывалась бессильной перед лицом Барабы — парадоксальной страны, соединившей в себе неблагоприятные черты севера и юга.

Но что же дальше, за этим смелым признанием? Что должно было за ним последовать?

Вершинин мог произнести какие угодно признания, но ведь он же был еще и ученым, и не только кто-то другой имел право задать ему вопрос, но прежде всего он сам спрашивал у себя: а что же дальше?

Если Бараба не низменность, если она не степь и не заболоченное пространство, как же все-таки должен там жить человек: как в степи, как на низменности, как на заболоченных землях? Что и как человек должен сеять в Барабе, создавать? Ведь наука уже знает, что человек нынче не может не создавать. Наука знает, что нет земли без производительных сил. Нет земли без будущего. Какое же будущее у Барабы?

Когда-то в этой стране жили татары, затем — русские. Они родились здесь, здесь умирали, сеяли неприхотливые злаки и разводили мелко-рослый скот, вступили в тридцатые годы двадцатого столетия, и все это без помощи науки.

Трудно было согласиться науке с тем, что в обетованных широтах, вдоль одной из самых грузонапряженных в мире железных дорог, между двумя крупными городами — Омском и Новосибирском — существует неведомая для нее страна, страна, которая не укладывается ни в одно из понятий ей известных, которую нельзя причислить ни к северу, ни к югу, и даже к тому, что называется средней полосой, — тоже нельзя.

Техника еще проникала сюда — железная дорога связала Барабу с Востоком и Западом, датчанин Рандруп изготавливал в цехах крохотного заводика в Омске, где-то на улице Сиротской или Вдовьей, плуги и сеялки. И только. Но наука, как понимал ее Вершинин, здесь не бывала никогда.

И что же: дальше в тридцатые, в сороковые, в пятидесятые годы нынешнего века так могло продолжаться?

Его признание, разве оно что-нибудь меняло? Он мечтал увенчать лаврами свою науку, а увенчал таким признанием?

И хотя речь, которую Вершинин произнес на койке заезжего дома, лежа под дождевиком, слышал только он один, он вдруг подумал, что теперь для него отрезаны пути возвращения в науку, в ученый мир, в котором он до сих пор жил. Не он в этом был виноват. Быть может, самым несправедливым было то, что именно на его долю выпала поездка в Барабу, открытие Барабы как страны, перед которой отступает наука, на его долю выпало это признание. Для какого-то другого ученого — с меньшим умом, с меньшими знаниями, с более скромными мечтами — все это было бы и легче и справедливее. Но теперь именно он в самом деле должен был поехать в Москву, в самом деле подняться на кафедру, в самом деле произнести свою речь перед учеными, а потом с кафедры сойти... Сойти, вернуться в Барабу, поселиться здесь, ходить по болотам пешком, как он ходил нынче, изучать увалы и займища каждое в отдельности и, быть может, к концу жизни сказать о Барабе свое слово. Скромное, незаметное, очень нужное слово.

Чтобы победить эту страну, нужно претерпеть перед ней унижения; на какое-то время если не потерять дар речи, так потерять дар речей; забыть, что ты — ученый, автор всеобъемлющих «Материалов», а стать техником от науки.

Он знал, что так нужно было сделать. И знал, что так не сделает. Пускаясь в свое путешествие из науки в жизнь, от своих многотомных трудов в Барабу, Вершинин мечтал обогатиться, мечтал о победе, о реванше. Он хотел прийти к практикам и жить среди них как ученый, а потом вернуться в науку и в ученом мире слыть практиком. Хотел там и здесь восстановить свое имя, перешагнуть через печальную известность талантливого, но все-таки неудачника.

Он знал, что после того как он уйдет, убежит из Барабы, уже никогда больше не сможет верить в себя. Второе поражение должно было его надломить. Когда его постигла неудача с «Материалами», он знал, что «Материалы» можно переписать. Самого себя переписать нельзя.

Многое уже знал Вершинин о том, что и как будет, и все-таки сомневался: а вдруг?

Вдруг он поднимется на кафедру актового зала, произнесет речь-признание... и вернется в Барабу. Вдруг?

Чтобы случилось «вдруг» или «не вдруг», должен был появиться кто-то третий, кто рассудил бы его с Барабой, кому можно было бы объяснить, почему он должен покинуть Барабу; мог бы сказать, что не пришло еще время решать проблему Барабы.

Вершинин призвал к себе в собеседники Семенова-Тян-Шанского, но тот молчал. Обратился к Бергу — и тот молчал. Бывало, когда люди су-

дили и осуждали его, он злился отчаянно. Теперь все молчали, даже воображаемые люди. Это было во сто крат хуже осуждения.

Заговорил вдруг с ним генерал-лейтенант корпуса военных топографов Иосиф Ипполитович Жилинский.

У Вершинина всегда было воображение, которое его самого удивляло: он мог целую дискуссию открыть с Марко Поло или с Палласом. Споры бывали со взаимными нападками и эмоциями, так что Вершинин иногда с полгода не брал в руки книг того автора, на которого оказался в обиде.

Спорить с генералом у него не было желания, но тот сам заспорил. И как заспорил!

Началось с журнала «Нива» за тысяча девятьсот третий год, номер сорок один. Вершинин никогда не жаловался на свою память, а в молодые годы память была у него исключительная, и тут она подсказала страницу не то восьмисотую, не то восемьсот двадцать вторую — во всяком случае это была восьмерка с двумя последующими за ней одинаковыми цифрами.

Пятидесятилетие служебной деятельности генерал-лейтенанта И. И. Жилинского отмечалось на этой странице — воспитанника института инженеров путей сообщения, окончившего затем курс Академии генерального штаба по геодезическому отделению. Примечание было: «Портрет на этой странице...»

Усатый, при орденах и регалиях был генерал, с высоким лбом и, должно быть, с изрядной выправкой. Из поляков, вероятно...

«— Время — двадцатый век, советская власть, — сказал генерал Вершинину. — У нас просто были годы от рождества Христова, а у вас — пятилетки?!» Помолчал. «Однако мы в свое темное время не испугались Барабы, не просили отсрочки. Читали, уважаемый, мой отчет?»

Вершинин читал не раз. Помнил:

«Главное Управление Земледелия и Землеустройства.  
Отдел Земельных Улучшений.

Очерк

гидротехнических работ  
в районе сибирской железной дороги  
по обводнению переселенческих участков в Ишимской степи  
и осушению болот в Барабе в 1895—1904 гг.

Составлен генерал-лейтенантом

И. И. Жилинским при участии членов гидротехнической  
партии...

С.-Петербург

1907».

«— То-то, — сказал генерал. — Помнишь?! Помнишь мой отчет?! — Подобрел... Все старики добреют, когда о них вспоминают... — Там у меня в отчете никто из чинов, занятых в работе, не забыт. Помощников, господ инженеров по гидротехнической и путевой части было в Барабе четыре человека. Господ, окончивших курс университета, еще трое. Пространных трудов касательно природы Сибири мы в свое время не писали. О производительных силах дискуссий не вели — не имели понятия. Выражались просто: «С проведением великого Сибирского пути обращено было внимание на необходимость заселения русским элементом местности, прилегающей к полотну железной дороги». Или: «В тысяча восемьсот девяносто пятом году И. И. Жилинским составлен был общий план урегулирования вод в означенной местности для целей водоснабжения и осушения ея».

Тут Вершинин возмущился:

«— Вы мальчишка, генерал! Не возражайте, я вам сейчас же это докажу!»

Каждый мальчишка был в свое время гидротехником, преобразователем природы, когда весной соединял между собой лужи и прокладывал ручейки.

Единственным отличием между мальчишками и вами то, что вы имели в руках нивелир системы «Эго» и теодолит для измерения углов на местности. А может быть, не теодолит — древнегреческую астролябию? Так или иначе, вы могли определить превышение одной точки над другой и провести канал с соответствующим уклоном. Вот и все ваше отличие от мальчишек. На этом оно кончалось.

Придя в Барабу, вы так и сделали: определили превышения и провели каналы. Совершили видимое, осязаемое и простейшее. Вы застали еще то время, когда основоположниками в науке и технике бывали мальчишки: мальчишка Уатт, приметив, как на кипящем чайнике прыгает крышка, задумался о паровой машине!»

Генерал пожал плечами.

«— У каждого времени свои деяния. У каждого деяния свои поиски и сомнения...»

«— И все-таки поймите, генерал, в двадцатом веке наука и даже техника все дальше и дальше удаляются от осязаемого.

Вы отводили в Барабе видимые, поверхностные воды, а мы должны отводить почвенные. Но кто знает, как они появляются в почве, атмосферные это воды или грунтовые? Почему при осушении возникает засоление почв? Поверхностные воды двигаются под уклон в силу закона тяжести. А как двигаются воды почвенные? А мерзлотный режим этих почв? Разве мы знаем его? Перед вами, первым преобразователем Барабы, все эти вопросы не возникали, вы попросту не знали об их существовании. Мы не можем сделать шагу, не поняв их.

«— А скажите, много ли вас решает все эти вопросы?»

«— Бараббюро. Барабпроект. Барабэкспедиция. Минский болотный институт. Омский сельхозинститут».

«— А может быть, и еще кто-нибудь?! Оправдываете ли хлеб свой?»

«— Может быть, и еще кто-нибудь. Но опять-таки поймите, генерал: в наше время подобное начинание — дело общественное. И как таковое оно требует всестороннего общественного согласования: корнями своими оно должно уйти в самые разные отрасли общественного хозяйства, в разные отрасли науки! Вы меня понимаете, генерал?»

Таким был мысленный разговор у Вершинина с генералом Жилинским. Не глуп был генерал царской службы, имел в жизни точку опоры: два с половиной миллиона десятин улучшенных им земель в Полесье, триста тысяч в Барабе, еще сколько-то на юго-востоке России.

Лишь несколько лет спустя Вершинин открыл ироническую сторону этого разговора и был обрадован: значит, он воспринимал тогда свое положение не так уж безнадежно: когда у человека не остается ничего, ирония над самим собой — это уже кое-что!

И он перелистал книги Жилинского — до тех пор ему не хотелось держать эти книги в руках. Книги были деловицы, написаны как бы от лица подотчетного, стремились изложить все, что было, и все, как было.

А было в те времена не так уж много: не так много событий; не так много людей, не так много науки. Чаще всего авторы называли свои труды «отчетами», не задумываясь над тем, что в них главное, а что второстепенное, что подтверждало ту или иную теорию, а что ее опровергало. Инженеры-путейцы, горняки, гидротехники, межевники — почти все именно так и писали тогда, и это особенно было заметно, когда они сталкивались с географией, с природой. Человеку, который когда-то

создал «Природу Сибири», а потом переименовал ее в «Материалы», это бросалось в глаза.

Бросалось в глаза, когда этот человек годы спустя сидел в своем рабочем кабинете и перелистывал «Отчет» генерала И. И. Жилинского.

Но тогда, в Барабе, мысленный разговор с генералом не вызвал в нем ни удивления, ни даже каких-то размышлений, ничего, кроме страстного желания еще каких-то встреч. Кто же должен был рассудить его с генералом? С Барабой? С самим собой? Кто?

Неужели прав Жилинский, который немного знал, ничего не обобщал и многое совершил, а он, Вершинин, который знал многое и все обобщал, так и не совершит ничего?

Но прежде поздно вечером Вершинин стоял однажды в конце деревянной платформы. Было уже совсем темно, ненастно.

Только что примчался поезд, пассажиры не выходили на платформу, даже в окнах вагонов не видно было силуэтов. Чувство ожидания и то покинуло Вершинина, и тогда он вдруг услышал странный звук.

Он закрыл глаза и догадался: в палисаднике перед вросшим в землю серым зданием станции росли чахлые деревца, тополя, кажется. Их было два, они были подрезаны на одинаковой высоте, но у одного ветви были старые-старые, погнутые, черные и трещиноватые, у другого — совсем тонкие. Теперь на ветру одна согнутая, трещиноватая ветвь ударялась о другую. Вот и все. Оказывается, он зрительно мог представить себе каждое дерево здесь, на этой станции, и даже каждую ветвь дерева.

Он был уверен, что, сделав шагов двадцать вперед и чуть приподняв голову, увидит в свете фонаря эти две ветви — с несколькими черными листьями, с тусклыми блестками не то капель, не то льда с подветренной стороны. Вершинин совсем не хотел убеждаться в том, что он прав, а все-таки стал отсчитывать шаги: один, два, три, четыре... И вдруг перед ним возник Алпатьев.

— Василий Григорьевич?!

Как будто прошло всего лишь несколько минут, в течение которых Вершинин едва успел подумать о двух деревьях в палисаднике станции, с тех пор как они с профессором Алпатьевым покинули актовый зал после спора о целях и задачах науки, с тех пор как Вершинин утверждал, что Алпатьев реакционер, что Алпатьев не понимает и, должно быть, никогда не поймет сущности того, чему служит всю свою жизнь.

— Василий Григорьевич, сердитесь? Обижены?!

Алпатьев пожал плечами.

— Вы правы, ученый задумывается не только над фактами своей науки, но и над целями ее...

— А дальше?

— Вы по-прежнему намерены совершать революцию в науке? Тогда я по-прежнему спрашиваю вас: какие научные факты вы открыли, которые совершили бы в ней переворот?

Он все еще не простил, профессор Алпатьев. И ничуть не изменился с тех пор: та же классическая бородка клинышком, то же пенсне... Но даже и эта догадка — что его не простили — была для Вершинина тем, чего ему так не хватало в течение многих дней.

— Хорошо, Василий Григорьевич. Положим, вы правы, я не прав. Тем более вы должны объяснить мне, в чем вы видите цель своей науки, зачем она вам?

Алпатьев кивнул:

— Добывать факты. Добывать, добывать. Без конца.

— А почему вы их добываете? Без конца?

— Вероятно, потому, что я, профессор Алпатьев, тоже факт. И как таковой стремлюсь себя расширить, присоединить что-то к себе и сам

присоединиться к фактам. В нашем мире нет фактов единичных, ничем друг с другом не связанных, нисколько друг к другу не стремящихся.

— Скажите, а зачем вам революция? Новые отношения между людьми? Социальный прогресс?

— Прогресс для меня — это более благоприятные условия для добычания мною фактов.

— Теперь вы должны сказать, что, по-вашему, делаю в науке я, Вершинин.

— Вы?

— Да, я.

— Думаю: лицеуете, окрашиваете и подгоняете друг к другу факты. Чтобы они обращались к людям той стороной, которую вы считаете наилучшей...

— Подождите! вспомните, разве спор со мной прошел для вас тогда даром, не заставил думать так, как прежде вы не думали?

Минуты две, может быть три, оставалось до отхода поезда: глуховатый, донесшийся будто откуда-то из недр Барабы, прозвучал второй звонок. Снова стало слышно, как ветви скрипят в палисаднике.

— Что же, Константин Владимирович, — вдруг ответил вопросом на вопрос Алпатьев, — что же вы делаете в Барабе? Что делаете здесь без фактов, но с девизами, лозунгами и с великолепными идеями?

— Представьте, спорю с генералом Жилинским...

— Вот как? Пытаетесь?

— Спорю.

Не поверил Алпатьев. Не поверил или не понял, только вдруг сказал, как бы подводя итог:

— Преждевременно!

— А вы — вы без лозунгов, без девизов, без идей, но с фактами смогли бы рассудить наш спор?

— Время... Время сможет. Больше — ничто!

Проводник на площадке вагона поднял фонарь, поглядел вниз на платформу.

— Гражданин, займите свое место. — Зевнул, прикрыл рот фонарем.

— Слушайте, Константин Владимирович, вам нужна другая страна... Вы когда-то учились у меня, я знаю, что вам нужно. — Алпатьев поднялся на подножку вагона. — Знаю!

Платформа с желтыми квадратиками света, падавшего из окон, вздрогнула под ногами Вершинина. Вздрогнула еще раз и заскользила.

— Какая? — крикнул Вершинин. — Какая страна?

— Новосибирск... До востребования... Посылаю вам рекомендательное письмо, чтобы вас зачислили в Алтайскую комплексную экспедицию. — И совсем уже откуда-то из тумана, из темноты: — Горный Алтай! Горный Алтай... Горный Алтай...

Даже когда Вершинин выступал с докладами о природе Горного Алтая и потрясал эрудицией своих слушателей и сам ликовал — вдруг приходили к нему не то чтобы воспоминания о Барабе, а как бы ощущение ее...

Вдруг облик профессора Алпатьева возникал перед ним, и он вспоминал, что Алпатьев не только вручил ему Горный Алтай, подарил ему Лукоморье, но еще и заставил его служить той самой описательной науке, против которой он, Вершинин, когда-то так горячо выступал, которая, по его же убеждениям, была наукой конца девятнадцатого века — начала двадцатого, но вторая половина этого века явно уже не мирилась с нею.

Эти воспоминания, это ощущение Барабы, совсем, казалось бы, ушедшей из его жизни, нынче вдруг возникли снова, еще более тревожные, чем прежде...

Вершинин думал: всему виной Рязанцев, правильный человек.

Так, наверное, и было.

И все-таки он снова и снова заглушил бы в себе ту давнюю тревогу, то ощущение неловкости, которое он испытывал, стоило ему услышать это грубое и резкое слово «Бараба», заглушил бы перед самим собой...

А перед Андрюхой?

В последние годы стало слышно, будто в Сибири снова будут восстановлены те границы экономических районов, которые когда-то выдвигал Вершинин, о которых он до сих пор говорил «мои границы».

И когда этот слух до него дошел, он разыскал забытые «Материалы» и стал ловить себя на том, что нет-нет, да и нарисует на клочке бумаги Сибирь в «своих границах».

Но однажды подумал: «А, собственно, какое отношение имеют теперь к нему, геоботанику, границы экономических районов Сибири? Ровно никакого! Ну, и Бараба, значит, тоже не должна иметь к нему никакого отношения. Ни малейшего! Только вот — Андрюха...»

## Глава одиннадцатая

Всю ночь Рита чувствовала, как она спит, и всю ночь знала: лишь только сон чуть-чуть отпустит ее, она сразу же проснется, проснется для того, чтобы узнать, что случилось.

Открыла глаза. Думала, ее встретит раннее утро, может быть рассвет, но сон, настойчивый, цепкий, оказывается, держал ее долго: солнце светило уже совсем ярко, по-дневному, и уже теплым было все вокруг в его красноватых лучах.

Душновато пахли известью теплые стены, полы — охрой, простыня и наволочка — мылом, но сильнее всего пахло травой и теплым лесом.

Из окна веяло дымком, должно быть во дворе топилась печурка. Запах же леса где-то здесь, совсем рядом был. Догадалась: откинула тонкое одеяло, приблизила к лицу сначала одну, потом другую руку, склонила голову сначала к одному, потом к другому плечу — запахи пихты, мхов, кедра, сыроватой хвои стали совсем явственными. Рассыпала волосы по лицу — запахи стали еще сильнее, а солнечный свет блуждал теперь перед глазами множеством разноцветных искр.

Запахи эти она принесла с собой из леса, согрела их своим теплом.

Лес, горы, просторы всегда ее немного пугали, озадачивали, и не потому, что она боялась заблудиться, не потому, что природу не любила, а из-за того, что не любила среди природы оставаться одна, не знала, что с собой делать.

Сейчас она чутко и благодарно вдыхала принесенные с собой запахи леса, какую-то ласку к этому лесу вдруг почувствовала и долго слушала лесной шорох за окном. Но, полежав еще несколько минут, все-таки поняла, что проснулась не от этого, а от какого-то другого ощущения.

После ночи, когда она вдруг так мило подумала о Реутском — о нем и о себе вместе, — она встретила день как человек, наконец-то нашедший трудное решение, и поэтому уже не думала больше о себе. Тем более что как-то незаметно появилась у нее и другая забота: дело.

Рита, если хотела, многое умела делать. Она училась хорошо, но только по тем предметам, которые читали хорошие лекторы, плохих не слушала — на скучных лекциях рисовала чертиков, красавиц и читала Паустовского.

Даже выучив материал, она плохо сдавала тем преподавателям, которые принимали экзамены позевывая. Терпеть не могла сдавать таким.

Зато если экзаменатор с явным интересом начинал ее «прошупывать», откуда что бралось: она отвечала на вопросы, даже если совсем плохо знала их.

Приезжая в праздничные дни к тете, она облачалась в ее халат, заворачивая его на своей талии чуть ли не вдвое, закатывала рукава халата повыше, голову повязывала самой что ни на есть худенькой и старенькой косынкой и, распевая, начинала теснить тетю на кухне.

И Рита не только пела — дело спорилось у нее, будто она весь свой век только и делала, что стряпала пирожки и торты.

Но в заключение обязательно должна была произойти такая сцена: гости приходят, тетя уже приедет, а Рита все еще в тетином халате с зашученными рукавами, и волосы, выбившиеся сквозь драную косынку, припудрены мукой.

В маршруте с Андреем никто на нее не смотрел, никто ею не любовался. Андрей любовался только травами. Увлекать тоже некого было — она сама едва-едва успевала за своим спутником.

Один раз нашла эдельвейс. Обрадовалась. За эдельвейсом, она знала, туристы на Западе совершают многодневные восхождения в Альпы. Эдельвейс и верхняя граница его распространения очень интересовали Вершининых, старшего и младшего, и еще потому Рита обрадовалась, что цветок этот Онежка находила уже несколько раз, ей же не повезло ни разу.

Она даже по-латыни вспомнила название, не очень уверенно, но все-таки крикнула:

— Леантоподиум! Эдельвейс! Ура! Эврика! Эврика!

Подошел Андрей, поглядел.

— Э-э! Ври-ка! Обыкновенный бессмертник!

Он умел иронизировать и уколоть тоже умел с этакой плутоватой и даже саркастической усмешкой лопухого своего лица, но тут был занят делом настолько, что даже не засмеялся. Махнул рукой, и больше ничего.

Она ответила:

— Па-аду-маешь!

Андрей же уселся на поваленный кедр, поковырял кривым ножом еще крепкую кору и сказал:

— Менделеев в своей таблице указал на существование еще не открытых элементов, а ботаник Цингер Николай Васильевич описал растение — торицу-предусмотренную, о которой ничего не знал, но все угадывал. Что главное? Главное — постигнуть систему... Так? А как постигнуть? Интер-ресно?!

И ему было все равно, слышит она его или не слышит, понимает или не понимает. Если бы Риты и вовсе не было, он то же самое и с тем же выражением сказал бы какому-нибудь дереву или камню.

Она все время была рядом с ним, а он был один, но даже себя самого не чувствовал.

Мало того, он и ее тоже заставлял не замечать саму себя, и она двигалась в сумраке тихого хвойного леса, делала записи, жила, а себя не замечала. Это так ново было для нее, так необычно, что сначала она себе не поверила. Могло ли это быть с нею? Могло ли быть с живыми людьми?

Рита всегда, даже во сне, а днем только редкую минуту не чувствовала себя, забывала о своем лице, о своих движениях, о своем голосе. Ни одна мысль, ни одна радость, ни одно несчастье еще не смогли заставить ее забыть себя. Никогда этого не бывало!

И, наверное, если бы она произнесла что-то, такое же умное, как Андрей, если бы так же, как он, раздумывала о какой-то системе, в эти минуты душевного и умственного напряжения она особенно сильно почувствовала бы себя всю: свои глаза, свои руки, свой голос, свое «это».

Рита всегда думала, что чем сильнее у человека мысль, тем больше он чувствует себя.

Должно быть, это было не так. Должно быть, она не знала до сих пор, что можно достигнуть чего-то и в мыслях и в делах, когда твое «это» дремлет, когда ты его покоряешь, уводишь куда-то в сторону.

И на другой и еще на следующий день было так же: она надолго и как-то неожиданно легко и просто забывала о себе. Работала до изнеможения, а себя не чувствовала.

А кончилось это смешно. Для нее, наверное, это и не могло кончиться иначе — она не заметила, как натерла огромную мозоль на ноге, нога покраснела, распухла. Еще в лагере на планерке она в шутку пригрозила Андрею: «Нарочно натру себе в маршруте мозоль, и ты будешь нянчиться. Будешь водить меня по лесу под ручку, а я буду виснуть у тебя на шее!» Так и случилось на самом деле. Они пришли к избушке лесника и пасечника, заночевали. Андрей, должно быть, уже давно, с рассветом, в лесу. Плащ, на котором он спал, лежит в углу, а она всем телом ощущает уют кровати и прячется от солнца под тоненьким одеяльцем. Когда-то, должно быть, одеяльце было красным, но после многих стирок стало едва розовым.

Что же все-таки случилось ночью? Может быть, это о работе она думала во сне? Бонитет, типы леса, подрост, ярусность, растительные сообщества ее тревожили всю ночь, а потом разбудили?

Засмеялась: ладно, она согласна с тем, что работа могла ее занять несколько дней, могла спасти ее от одиночества, которое прежде она всегда испытывала в лесу, но чтобы еще и ночью обо всяких там бонитетах думать, тревожиться — дудки! Такого с ней случиться не может! Она себя как-никак знает!

Что же ее тревожило?

Может быть, вот что: почему это Андрей не обращает на нее никакого внимания? Ни малейшего!

Конечно, это для нее неважно. Рита вернется в лагерь, а тогда она и Реутский скажут всем, кто они друг для друга. И только. Не все ли равно, обращал на нее внимание Андрей в маршруте или нет? И маршрут-то этот она, как только вернется, сразу же забудет, со всеми его страхами и тревогами.

А все-таки? Неужели она для Андрея — нуль?

Трудно было представить себя нулем! Даже спокойного отношения к себе она никогда ни от кого не ждала, ей казалось — ею все должны увлекаться, а если кто не увлекается, тот ненавидит. Ненавидит за то, что боится ею увлечься. Но вот она стала вдруг нулем!

Еще — «кукла». Андрей про себя обязательно ее так называл. Может быть, «пучеглазая кукла». Потом — «свинкс», обезьяна пино-пино! Ужас — вдруг понять, что человек так о тебе думает, в то время как ты до смерти боялась, что он не сумеет совладать с собой, со своей страстью, и где-нибудь на тропе, у лохматого камня это прорвется! Ужас — лежать ночью на пихтовых ветвях, прогретых костром, рядом с человеком, который вот так о тебе думал, а потом взял и спокойно уснул! Наплевать ему на тебя, он вообще никак не хочет о тебе думать, даже очень плохо! Ты — нуль!

И это не все: они вернутся в лагерь, и все увидят, что Андрей еще больше к ней равнодушен, чем раньше, что он действительно ее презирает. Рязанцев первый поймет и улыбнется. Для него все равно, что по-

нять, лишь бы понять, а потом улыбнуться. Лопарев увидит, крикнет, словно скажет: «Ясно!» Онежка увидит и приласкает ее. Она-то знает, как плохо Рита отзывалась об Андрюше! Реутский увидит... «Напрасно я боялся отпускать ее с Андреем! Это только мне она сумела вскружить голову. Андрюша ухом не повел!»

Нет, обязательно надо возненавидеть этого парня и вернуться в лагерь врагами! А тогда — квиты! Чего-то не хватает для настоящей, лютой ненависти к нему?

Нуль!

Но вот вчера она уснула в избе пасечника с каким-то добрым, радостным чувством и от этого же чувства проснулась сегодня. Что это было?

Подумала: нужно уметь дорожить радостными чувствами, если они к тебе приходят. Убеждала себя: «Не виноват тот, к кому радость не приходит, виноват — кто сам проходит мимо радостей! Тебе хорошо — радуйся, и все! Может быть, ни от чего хорошо! Неужели это нужно — обязательно домогаться у себя самой, почему тебе хорошо? Старательно портить себе жизнь? Радостно — и все! Может быть, это от яркого солнца радостно, а может быть, и от самой себя...»

День был светлым, ясным, он, казалось, тоже шептал: «Не торопись, все вспомнишь... вспомнишь скоро...»

И она не торопясь убрала постель и Андреев плащ подняла с полу, переменяла примочку на ноге. Опухоль стала меньше, не такой, как была вчера, только притрагиваться к ней все еще больно. Можно было и совсем не притрагиваться, но рука так и тянулась сама — почесать, ощупать, что там такое на ноге.

Умылась.

Во дворе, около летней печки, хлопотала женщина. Пожилая. Но движениями, озабоченностью, с которой женщина все делала, она сразу же напомнила Рите Онежку.

Рита улыбнулась. Подумала, что даже много лет спустя воспоминания об Онежке будут обязательно вызывать у нее такую улыбку, которую невольно вызывают люди очень простые и даже незадачливые.

— Потеряла чего?

Это женщина заметила рассеянность на лице Риты.

— Нет. Ничего.— И присела на крылечке.

Прямо со двора поднимались в высокое небо лиственницы, и еще одна небольшая ель разбросала свои ветви. В тени лиственниц много что было: поленица дров, груда досок... Бродили в ее тени белые-белые курицы, и розовые поросята лежали кверху брюшками.

Под ветвями ели земля покрыта была слоем коричневой хвои, по хвое разбросаны продолговатые шишки. Ель, казалось, пришла во двор совсем ненадолго со своим кусочком леса и скоро снова уйдет в лес. Ель понравилась Рите.

— Ну, ежели так, то завтракать! — сказала женщина.— Мужиков — и своёго и твоёго — кормила чуть свет, вместе в лес пошли. Сама-то заморилась, ожидавши...

Женщина сказала «своёго», «твоёго» с сильным ударением на «ё», но внимание Риты не это привлекло.

— Ждали? Кого? — спросила она.

— Да ведь тебя...

— Зачем?

Хозяйка выпрямилась, не торопясь вытерла руки о передник, поправила косынку на голове, приготовилась к разговору.

— Не знаешь? Женщины-то в лесу вприглядку. По зимнику еще проезжали тут муж с женой. Три дня жили. С той поры женщины не видели — с марта. С конца месяца. И то была — одно звание что женщина.

— Это как?

— Бездетная. Немолодая, а бездетная. С мужиком, а для чего, объяснить не знает как. Мужиков редкую неделю нет, и два и три раза на неделе ночуют летом. Пойдут осенью белковать — полна изба их будет.

Принесла картошку в огромной чашке, сметану, самовар поставила прямо на землю, рядом с дощатым столиком под лиственницей и сказала:

— Ну вот садись. Трава, примочка помогла ли? Не саднит ли ногу?

— Помогла...

Сели за стол, и хозяйка, не спуская с Риты внимательно жадных глаз, говорила:

— Мы до прошлого году с первыми санями в деревню переезжали. Так я, бывало, девка, зиму-то слушала людей, а лето все загадывала: у кого как случится, как обернется. Нынешний год — в лесу безвыездно. Истосковалась. Мужики, они как? Они про газетку, про спутник, про белку, с ими каждое дело у тебя в курсе. А об жизни? Об жизни — ни слова!

— Ни слова?

— Одного не дожدهшься! Хотя бы мой... Приедет из деревни: «Как там люди-то живут?» — «Чего-то им делается, твоим людям, — живут!» Месяц проходит. Он: «Сватья тебе кланялась. Приветы пересылала. Сына в армию справляет!» Ладно так-то. А то меня же спрашивает: «То ли Верка Беклишева сошлась обратно со своим, то ли уехала от его в Бийск?» — «Сошлась?! Уехала?! Не то она расходилась?!» — «А не то я тебе не говорил, старуха-то, Веркина мать, их еще к празднику развела — по отдельности май справляли!» Так они живут, мужчины, жизнь вроде их не касается, одни дела. О своей жизни тоже слова путного у мужика нет: «ничего» да «помаленьку» — это он о себе знает. Как живет, у жены спрашивай! Понятно ли, большеглазая? — Улыбнулась. — Нет, не было еще на тебя бабьего века!

Молоко, горячая картошка, крупная каменная соль с полынной горчинкой. И в словах женщины как будто тот же привкус. Она называла Риту «девкой», и Рита отчего-то смущалась всякий раз. Не обижалась, а только смущалась. Слушала и слушала, а женщина рассказывала. Два мужа у нее было... Первый вернулся с войны офицером, не один — привез с собой фронтовую жену. Второй вдовцом был и, слава богу, — никого не пришлось ей разводить, и сама не осталась одинокой при живом муже. Теперь дети у них — его, ее и общие, но дети в лесу не живут, учатся в школах, в техникумах, работают. Обзавелись уже своими семьями, самый младший учится в техникуме, в городе Бийске, и начал ухаживать за девушкой.

Жалела очень женщина, почему у нее не родился еще один. Чтобы был теперь при ней. Муж по лесному и охотничьему делу, неделями дома не бывает. Жаль, нет у нее маленького.

Муж — человек хороший, справедливый, и на первого она тоже не жалуется. Жалуется на себя: почему нет маленького. Маленького нет, и людей кругом нет, и нет забот... А ей трудно без забот. Чтобы было легче, день-деньской думает о старших детях. О знакомых.

Рита вспомнила мать, вспомнила тетю — им тоже обязательно нужны были чьи-то «драмы», нужно было знать, кто с кем и как живет. И для них знакомые были чуть ли не то же самое, что весь белый свет.

Они о знакомых без конца друг с другом говорили, и когда Рита стала уже студенткой Горного института, и ей всегда или почти всегда позволялось присутствовать и даже принимать участие в таких беседах — она всякий раз переживала какое-то опьянение от слов, которые там проносились.

Такими были там слова, что они мурлыкать начинали, вместе с серым котом, развалившимся на пуфе.

Удивительно похожи были слова и фразы женщин, собиравшихся в материнной комнате, на все то, что слышала Рита сейчас, сидя за дощатым столом в тени лиственницы. Здесь слова женщины тоже звучали робко, но только от другого — оттого, что не в силах были выразить ее желание забот о ком-нибудь, всю ту ласку, которая в ее глазах светилась. Маленького нужно было ей, пожилой. Лицо у нее было в морщинах. От забот? Или потому, что ей забот не хватало, она томилась по ним?

Сколько раз Рита слушала женщин в материнной комнате и в гостиной тети, когда там отсутствовал тетин муж-логик, но никогда она не почувствовала, будто действительно входит в тот необъяснимо желанный мир женщин, в который она стремилась с самого детства. Оно, это чувство, пришло впервые к ней вот сейчас, вот здесь.

И, должно быть, это не случайно — всякий раз, когда она возвращалась, бывало, от тети в студенческое общежитие, дорогой возникала у нее одна и та же глупая мысль: а не лучше ли было ей родиться мужчиной?

Родиться мужчиной, но только после того, как она уже побывала в гостинице у тети, послушала, что там говорят, когда дядя-логик отсутствует!

Вот когда она, только уже не она, а он — мужчина Рита — стал бы женщин покорять, потрясать их!

Теперь же ей вдруг захотелось надеть на себя темно-зеленую ситцевую кофту хозяйки, рукава на кофте засучить повыше и пуговицы расстегнуть все до одной, покуда нет никого из мужчин, подол так же подоткнуть, обуться в сапоги на босу ногу. Косынкой повязаться. Даже такой же полной ей захотелось быть и такой же сильной.

И еще она подумала: «То, отчего я проснулась сегодня утром, знает эта женщина! — Посидела некоторое время молча. — Нужно, чтобы женщина заговорила обо мне. Тогда я обо всем догадаюсь!»

Если Рита хотела, чтобы говорили о ней, это ей всегда удавалось. Она сказала задумчиво:

— Вот и мне тоже надо бабий век прожить.

Сама себе удивилась: «Какие слова способна произносить!»

Но еще больше удивилась, когда женщина ответила ей:

— Проживешь! Мужик у тебя сурьезный!

— Какой мужик?

— А вот такой — сурьезный. Строгий очень.

Когда Рита поняла, что женщина об Андрюше говорит, о ней и об Андрюше, она долго ничего не могла сказать в ответ, только таращила глаза. Потом ей смешно стало, но прежде чем свою собеседницу разубеждать, она спросила:

— Так, значит, строгий? А почему же это хорошо?

— А то плохо!

— Конечно же, плохо.

— Много ли понимаешь?! Строгий — он сам вольничать не станет и тебе воли не даст.

Снова Рита засмеялась:

— Так почему же это хорошо?

Женщина ответила не сразу:

— Тебе, девка, дать волю — ты сама себе рада не будешь. Точно, не будешь! Не говоря об других. Тебе строгого и нужно. Верно говорят: кто для кого родится, тот в того и влюбится.

— Выдумываете? Правда, нарочно выдумываете?

— Кого выдумывать? Тебя? А зачем? Ты без выдумки вся как-есть на виду. Вот она — ты! — Показала на Риту пальцем.



— Почему вы знаете? Вовсе вы меня не за ту принимаете. Ошибаетесь во мне. Честное слово. Совсем я не вся здесь. Совсем не вся.

— Ну, где ж тебе признаться. Молодая, норовистая. Глазища-то. В кино такие показывают. Чистотелая. Одно слово — прелесть! Вот время и не вышло об себе отмечаться.

— А выйдет?

— Само собой...

— Когда же? Скоро?

— Тебе видней.

— А по-моему, не выйдет. Никогда.

— Выйдет, девка. Ребятишек народишь, мечты на них обернутся... Это пока ты замужняя девка, не более того. Вот по-девичьи и не разучилась об себе думать. А мужик у тебя строгий, рукодельный мужик. Он тебе не позволит долгое время в замужних девках быть. Такие семью уважают. Чтобы все было прочно-крепко. Мой тоже строгий, без баловства. Моего ты и не поглядела, пришел ночью, а чуть свет — снова в лес...

И тут Рита вспомнила, как в кухне хлопнула дверь, раздались тяжелые шаги мужчины. Сильный, несдержанный голос тут же спросил:

— Ты что, в гостях или дома у себя?

Женщина ответила что-то.

— Кто такие? Откуда?

Снова шепот...

— Не ждала, что горницу заняла ими?

Слов женщины совсем не слышно стало, но волнение ее, ее нежность слышались без слов. Мужчина вздохнул громко и негромко сказал:

— Как раз молодым-то здесь постелила бы, а себе — в горнице!

Вот что было ночью! Вот каким был потом у Риты сон: будто она все время слушала этот разговор, но только слушала не слова мужчины и даже не шепот женщины, а то волнение, которое было в этом шепоте.

Хозяйка сидела по-прежнему напротив за столиком, пристально вглядывалась в лицо Риты все с тем же добрым участием, все та же грусть была в ее глазах и та же строгость к самой себе.

Так могло продолжаться еще несколько мгновений, не больше. И в самом деле, недоумение возникло в глазах женщины, сначала в самых краешках глаз, легкое, едва заметное, потом оно, это недоумение, стало единственным выражением лица, и движение руки, когда она сдвинула косынку повыше, тоже было недоуменным. Словно она хотела, но не решалась что-то у Риты спросить, о чем-то почти догадалась, но не догадалась ни о чем.

Рита встала из-за стола.

Стоя хотела сказать женщине все то, о чем та не догадалась, хотела сказать уже от крыльца, хотела из окна горницы крикнуть ей во двор. Не крикнула.

Легла на кровать и подумала: «А если Андрей так сказал в этом доме? Может быть, так действительно нужно было сказать, чтобы нас приняли здесь? Так проще и удобнее было: солгать один раз и все сразу объяснить хозяйке? Может быть, Андрей тоже слышал ночью хозяйина, наверно, даже слышал — он всегда спит чутко, настороженно...»

Что-то ее ошеломило... «А вдруг это игра с его стороны?» — подумала она спустя немного. Вдруг Андрей нарочно так сделал — ее подразнить, в глупое положение захотел ее поставить?

Лишь только эта новая догадка пришла к ней, она преобразилась, воспрянула вся.

Если он игру затеял, если даже нечаянно, но все-таки и ее заставил играть, пусть на себя не няет! Па-а-жалуйста! И еще раз — па-а-жалуйста!

Присела на кровати, шляпу повертела в руках. Косынки не было, она полотенцем повязала голову, на лоб и сбоку над левым ухом выпустила концы — длинные и небрежные.

Юбки у нее тоже с собой не было, она еще другое полотенце повязала вокруг талии поверх шаровар. Кофты не было, была майка-безрукавка и теплая тужурка, она решила, что это, пожалуй, к лучшему — больше ей идет безрукавка.

Конечно, посмотрелась в зеркало — сначала в свое, маленькое, потом в хозяйское.

Нашла новый стиль приемлемым для данного момента. Подумала: «Стряпуха, которая для тетиних гостей готовит пирожки! Когда за плечами есть производственный опыт, это хорошо!» Спела какую-то песенку, которую, кстати, сама не слушала — занята была своей внешностью. Припадая на больную ногу, сделала несколько па. Представилось ей, будто она польку танцует с каким-то очень красивым партнером: тра-та-та-та, тра-та-та-та!

Не хотела даже подумать заранее, как она встретит Андрея, когда он вернется из леса, — какими словами, какими жестами. Само собой все должно было получиться гораздо лучше, чем по обдуманному плану.

Решив так, отправилась к хозяйке, помогала ей мыть поросят, чистила песком страшно закопченный тяжеленный чугунок, кур училась шупать.

Нынешний сон и утро нынешнего дня, когда они сидели вдвоем с женщиной за столиком в тени высоких сосен, ели горячую картошку с холодным молоком, посыпали картошку крупной горьковатой солью и Рита видела себя в зеленой расстегнутой кофте, в косынке, в сапогах — все это чем дальше, тем больше и больше казалось ей исполнением чего-то давным-давно известного, задуманного.

И когда из леса вернулся Андрюша, ей тоже показалось, будто он не в первый раз входит вот в эту калитку и вот так сбрасывает тяжелый рюкзак у крыльца и топор вынимает из-за пояса, небрежным, но точным движением вонзает его в старую колоду — тоже не в первый раз, — все это уже бывало у нее на глазах.

И она его встречает не в первый, а будто в тысячный раз и спрашивает: «Ну как? Притомился?» И даже его удивленный взгляд ощущает на своем лице, на всей своей фигуре, уже привыкнув когда-то и где-то к этому взгляду.

Поглядела и она на Андрея внимательно и снисходительно, как хозяйка утром на нее глядела, и вдруг сменила ласковый тон на строгий:

— Наколи-ка быстренько дровишек! Помельче! Не мешкай!

Андрей всегда для костра рубил хворост как-то очень ловко, одной рукой, не глядя на топор, и сейчас поленца были у него одно к одному. Правой рукой он складывал их на левую, согнутую в локте, а потом охापку отнес к печурке и бросил там на землю.

Она рассердилась:

— Чего разбросался-то! Растопи печурку!

И он снова выполнил приказание, а тогда она велела ему сходить на ручей по воду, а потом загнать поросят в пригончик.

Недоумение постепенно исчезало с его лица. Может быть, он понял и принял ее игру, может быть, у него и не было другого выхода, если он действительно сказал хозяйке то, чего на самом деле не было. Но теперь ни то, ни другое уже не имело для Риты никакого значения. Теперь она с упоением выдумывала для него все новые и новые поручения, а он беспрекословно выполнял их, двигаясь угловато, неуклюже, а работа быстро. Он покорялся всем ее распоряжениям совсем свободно, легко — никто и никогда так ей не покорялся. Никогда у нее еще не было такого

ощущения своей власти! Это ее возбуждало, она все больше погружалась в свою роль и смогла лишь слабо улыбнуться хозяйке, когда та сказала:

— Не жалеешь мужика-то! Ах, не жалеешь!

Но даже эту слабую улыбку она мигом спрятала и сердито велела Андрею поставить на место подворотню, чтобы куры не убежали со двора. Он и это исполнил.

Чем дальше, тем больше ей нужно было. Потому нужно было, что она чувствовала: где-то терпение его иссякнет, легкость, с которой он все, что она говорит, исполняет, исчезнет, он рывкнет на нее, чего доброго, возьмет и толкнет. И чем более несдержанным он рисовался ей, тем сильнее и скорее она хотела этого добиться.

Если бы этого не произошло, она была бы убита самым настоящим отчаянием. Она вся ждала его вспышки, вся-вся — и та, которая сегодня с утра чувствовала себя хозяйкой, женщиной и хлопотливо, без усталости работала по дому, и та, которая была очень красивой, вздорной девчонкой, пережившей в лесу унижительное безразличие к себе этого парня.

Андрей поставил подворотню в пазы, пошел и сел на крыльцо, на самую верхнюю ступеньку, где утром сидела Рита.

Она посмотрела на него — «Сейчас он потеряет спокойствие. Сию секунду!» — и лихорадочно стала придумывать, что бы такое еще заставить его сделать. Но придумать быстро не могла — ощущение близости его вспышки ей мешало.

А он глядел на нее потемневшими глазами, весь был красный, и когда она уже приоткрыла рот, чтобы сказать: «А ну-ка, сбегай в комнату за моей шляпой!», он опередил ее на какое-то мгновение, вытянул ногу вперед и приказал:

— А ну-ка, сними сапог! — Помолчал и повторил: — А ну!

Она никак не могла себе представить, что за этими словами не кроется рокового, поразительного смысла, что речь идет просто-напросто о сапоге и ни о чем больше. Стояла и повторяла про себя: «Сними сапог, сними сапог!»

Он оперся на ступень одной ногой, другую еще дальше вытянул и вдруг крикнул грубо, требовательно, угрожающе:

— Кому говорят?!

Руки у нее страшно дрожали, когда она стаскивала с него сапог. Сняла один — он другую ногу вытянул. Быстро встал, босой, с сапогами и портянками в руках, ушел в дом.

— Правильный мужик! Ты забывайся, да не очень! — Это хозяйка сказала Рите и еще погладила ее жесткой рукой по голове.

Рита же не знала, что случилось. Была это ее победа или ее поражение? Было это горько или радостно? Было это совсем незначительным каким-то случаем или огромным событием?

Кажется, это было чем-то гораздо большим, чем победа или поражение, чем горечь или радость, чем самое большое событие, которое когда-либо в ее жизни происходило. Что же это все-таки было?

Не знала, что теперь делать. А сделать что-то должна была!

Бросилась за Андреем в комнату. Он лежал в углу, на своем дождевике, лицом к стене. Она нагнулась к нему, потом опустилась на колени и совсем легко приподняла его. Схватила обеими руками за голову и поцеловала в губы.

Уже в дверях услышала:

— Дурная!

Дурная — это плохая, скверная, дурная — это глупая, дурная — это взбалмошная, непутевая, дурная — в этом послышалось ей ласковое недоумение, что-то радостно-испуганное.

Хозяйке она сказала, что будет спать сегодня на чердаке. «На воле», — так она сказала хозяйке, ее же словами.

— Да нешто повздорила с мужиком-то! — Женщина охнула, а потом сказала вдруг: — Ты, девка, видать, дурная!

### Глава двенадцатая

Как только вышли из лагеря, Реутский стал объяснять Лопареву, какова цель маршрута и какой в общем-то хороший человек, какой эрудит Вершинин-старший. Лопарев должен благодарить судьбу, что у него такой руководитель, а Реутский мог бы посодействовать тому, чтобы у Михаила Михайловича возникли с Вершининым нормальные отношения, какие должны быть между профессором и аспирантом незадолго до защиты диссертации.

Реутский был уверен, что таких отношений никогда и ни при каких обстоятельствах не будет, но в то же время он искренне считал свое вмешательство делом допустимым, благородным и справедливым. Никому от этого не будет хуже, зато в глазах всех троих он совершил бы благородное дело. В том числе — и в своих глазах.

Лопарев не без внимания выслушал Реутского, потом убил у себя на носу комара, взял его за ножки и сказал:

— Вот стерва! Грызется, ровно волк!

И пошел вперед.

Предстояло перевалить через невысокий хребет, по одной стороне которого шли Рита с Андреем, а по другой — Рязанцев с Онежкой, пересечь неширокую долину и снова подняться к самым ледникам следующего, уже довольно высокого хребта.

Вершинин-старший называл этот маршрут «поперечным геоботаническим ходом». Ход был самый короткий, но и самый сложный: на пути — крутые спуски и подъемы, главное же — здесь явственно сказывалась высотная зональность, и наносить на карту изменения растительности с высотой было делом трудным, оно требовало времени и умения.

В полдень Реутский решил, что пора сделать привал, а Лопарев поглядел на него так, словно тот высказал какую-то совершенно глупую мысль.

— Да что мы, барышни, что ли, днем приваливаться?

Снял картуз и засунул его за пояс в чехол для топора, голову же повязал носовым платком. Он быстро вел абрис и еще успевал отдельно записывать все, что касалось лиственницы — ее возраста, густоты, стояния, травяного и мохового покрова в лиственничном лесу.

К вечеру первого же дня их путешествия Реутский оказался на побегушках у Лопарева, и Лопарев окончательно перешел с ним на «ты»: «Подсчитай-ка, Лев, всходы на метровке!», «Разбей, Лев, делянку десять на десять и опиши подлесок!», «А ну-ка, поищи хорошенько мышиные норы, Лев, много ли их здесь?!»

— Это все мне вовсе не обязательно-делать! — рассердился Реутский. — Да!

— А кто же говорит, что обязательно? — согласился с ним Лопарев. — Никто этого не говорит. Только, если я все буду делать один, так мы с тобой не раньше чем через двенадцать дней вернемся в лагерь. Никак не раньше!

Реутскому не везло. Должно быть, не напрасно ему с самого начала казалось, что в экспедиции далеко не все так, как должно быть, далеко не все устроено.

Ну, что же, он вообще не много встречал на свете людей и дел, которые были бы устроены так, как надо, — вполне разумно и вполне порядочно. Причиной тому были все, все люди, а если все, значит никто. Он же, Лев Реутский, еще меньше других.

У него давно уже выработалась способность предвидеть появление какого-то беспорядка там, где, казалось бы, все устроено как нельзя лучше.

Едва только он побывал в лаборатории Вершинина, посмотрел на Лопарева, как ему уже было совершенно ясно, что Вершинин и Лопарев обязательно поссорятся между собой. Удивительно, как они сами этого не понимали?! Реутский хотел бы, чтобы у профессора поскорее открылись глаза и профессор понял бы наконец, что у него нет и не может быть ничего общего со своим аспирантом.

Реутский искренне желал Вершинину самого лучшего — спокойной судьбы, уверенного продвижения в науке.

Вершинин находился в добрых отношениях с отцом Левы Реутского, тоже профессором, доктором геолого-минералогических наук по специальности кристаллография. Они были однокашниками, и отец нередко говорил, что Костя очень способный человек, что он зрудит и если бы вышел в большие люди, много помог бы молодежи, которой другие не дают ходу.

Лева же Реутский то и дело приходил к мысли, что он как раз из тех, кому не дают ходу. Это его обижало, но как-то не очень. Что поделаешь, такова жизнь!

С Вершининым Лева Реутский был в экспедиции в первый раз и не мог точно объяснить себе, почему именно, но только он все время чувствовал правоту отца: шеф заслуживает того, чтобы выйти в большие люди.

Наблюдения неизменно подтверждали эту первую часть отцовской формулы, и столь же неизменно Лева Реутский все больше утверждался во второй ее части: что он лично обижен, что он сам хоть и молод, но ничуть ни хуже иных докторов наук.

Что-то грустно начинало тогда щемить у Левушки, и он вопреки всем своим правилам в один голос с Вершининым ругал то одного, то другого ученого, потом — всю биологическую науку, а потом — порядок присвоения ученых званий и ученых степеней, при котором путь от кандидата к доктору наук представлял прямо-таки немислимые трудности.

Лопарева Реутский всерьез не принимал — если бы такой вышел в люди, от него никому не было бы житья. Но Реутский знал, что этого не случится, а случится по-другому: профессор Вершинин хоть и с запозданием, но поймет свою ошибку, поймет, что напрасно взял себе такого аспиранта, как Лопарев. После этого Лопареву останется еще год-другой поболтаться при лаборатории, а потом он пойдет туда, откуда пришел, — не то в леспромхоз, не то в лесной трест.

Уйдет Лопарев, спокойнее будет Вершинин-старший. Спокойствие же ученого должно быть превыше всего.

В доме Реутских за самочувствием отца всегда следила мать, она заботилась, чтобы утром муж поднялся с бодрым желанием работать, чтобы днем ничто этому желанию не мешало, чтобы вечером он вовремя лег спать и голова у него на ночь не была забита какими-нибудь мыслями.

Как только Лева стал аспирантом, будущим ученым, он и на себе испытал внимание матери, очень похожее на то, каким был окружен отец. Защитил он диссертацию, и заботы эти возросли. Всему свое время.

Воспитанный в семье, в которой беспредельным уважением пользовался отец-профессор, в которой он и сам это уважение, эти заботы испытал,

Лева Реутский и отношение Вершинина-младшего к старшему воспринимал не иначе, как совершенно необъяснимую дикость. От одного только взгляда исподлобья, которым Андрей несколько раз на день поглядывал на отца, Реутского бросало в дрожь.

В семье Реутских, если случалось что-нибудь неприятное, если у отца появлялось скверное настроение, мать складывала руки на груди и говорила:

— Ах, жизнь, жизнь!

Всякий раз при этом такой жизнью бывало что-то коварное, что упорно мешало науке.

Сама по себе наука, без этого вмешательства, была порядочной, она была по-своему, по-научному, устроенной, и к ней тоже нужно было относиться порядочно: заботиться о ней, посвящать ей свое время и свои силы, понимать ее. А жизнь все время от науки человека отрывает. Жизнь вообще по природе своей никогда не устроена, она только без конца требует своего устройства: забот о деньгах, о детях, об ученых степенях и званиях, о здоровье, о путевках на курорт, об уплате членских взносов в профсоюз.

Не так давно настало время, когда очень часто и в речах, и по радио, и в печати стали говорить: «Связь науки с жизнью».

Лева Реутский, будучи заместителем декана, сам нередко такое выражение употреблял, но всякий раз, прежде чем его произнести, ему приходилось преодолеть то ощущение, которое он с детства привык слышать в тревожном и негодующем шепоте матери: «Ах, жизнь, жизнь!»

Но что поделаешь, такова была эта самая жизнь, что однажды она заставила Леву, хотя и скрепя сердце, а все-таки принять на себя самые хлопотные, самые неблагодарные с точки зрения науки обязанности заместителя декана по студенческим делам. Ничего не скажешь — на пути в науку не обойдешь неблагодарную жизнь! Жизни обязательно нужны были жертвы, и он такую жертву принес. Принес и даже успокоился: чего еще от него можно требовать?

Очень скоро жизню принесла Леве драму: его оставила невеста. Его — красивого, молодого, кандидата наук, заместителя декана!

В Москве во время распределения молодых специалистов по местам работы его бывшая невеста выступала перед выпускниками и рассказывала им, как хороша, как романтична Сибирь и как она сама несчастна: обстоятельства заставляют ее оставаться в столице.

Левушка Реутский не через третье лицо обо всем этом знал — сам слышал. Он ездил в Москву, чтобы окончательно выяснить отношения со своей невестой. И она сказала, что отношения еще не совсем поздно восстановить при условии, что он тоже устроится в Москве, в крайнем случае — под Москвой, в пределах часа-полтора езды на электричке.

Не будь у Левушки кандидатской степени, можно было бы еще раз испытать уже испытанный путь: для начала тоже определиться в аспирантуру. Молодыми же кандидатами наук и в самой Москве и под Москвой можно было пруд прудить.

И однажды в девять двадцать утра на первой платформе Ярославского вокзала они распрощались навсегда. Она плакала, он, кажется, немного тоже. А когда по радио было объявлено, что скорый поезд номер четыре, следующий по маршруту Москва—Владивосток, отправляется через пять минут, и провожающим предложили выйти из вагонов, предварительно проверив, не остались ли у них билеты отъезжающих, они, пренебрегая этими советами, обнялись и вместе вздохнули:

— Ах, жизнь, жизнь!

Вернувшись из Москвы, Лева, несмотря на всю свою занятость, внимательно стал приглядываться к девушкам, преимущественно аспирант-

кам медицинского и педагогического институтов, но тут вскоре жена заведующего кафедрой логики, приятельница Левушкиной матери, очень полная, очень разговорчивая Надежда Эдуардовна как-то за чаем вынула из сумочки маленький портретик девушки и спросила всех присутствующих:

— Моя племянница. Ну? Что здесь можно сказать?

Портретик был выполнен акварелью. Изумительно был выполнен. Лева разглядывал его во всех подробностях, даже на свет и с обратной стороны, а потом так и сказал:

— Великолепный художник!

Надежда Эдуардовна на правах старой знакомой и как жена заведующего кафедрой логики иногда объясняла Левушке некоторые вещи, обращаясь к нему на «ты». Она сказала:

— Голубчик мой! Конечно, художник — тоже человек и тоже не без чувств. Между прочим, это нарисовал преподаватель архитектуры Горного института, в котором учится Риточка. Но, поверь мне, с какой-нибудь образины ни один, даже самый талантливый, художник, даже лауреат, не напишет ничего подобного! Даже лауреат! Поверь, тут должна быть натура!

Натура появилась в доме Реутских через каких-нибудь десять дней и выразила желание перейти из Горного института в университет, на Левушкин биологический факультет. Сначала она появилась у Реутских в сопровождении своей тетушки Надежды Эдуардовны, потом одна. И когда она появлялась, наступало замешательство, какой-то беспорядок и неустраенность: у профессора слезились глаза, и ему переставали помогать глазные капли, Левушкина мама выбивалась из сил, чтобы домашний режим не нарушался, а он все-таки нарушался немислимо — профессор вовремя не уходил отдыхать; Левушка не вовремя играл на рояле.

При этом каждый по-своему без конца возвращался к вопросу о жизни.

Папа говорил:

— Бывает же в жизни... — И пожимал сначала одним, а потом другим плечом. У него была такая привычка.

Мама, как всегда, шептала в растерянности:

— Ах, жизнь, жизнь!

А один университетский приятель, познакомившись как-то у Левушки с Ритой и улучив минуту, спросил его:

— Ты что же, Лева, в самом деле имеешь намерения?

— Самые серьезные!

— Ну, знаешь ли, она даст тебе жизни!

Так или иначе, в семье Реутских о недавней Левушкиной «драме» вспоминали теперь с милыми улыбками и говорили, что нет худа без добра, а незадолго до отъезда Левы и Риты в экспедицию мать сказала ему:

— Друг мой, пожалуйста, держи ее в руках! С самых первых шагов: это очень важно!

Левушка обещал матери, что обязательно так и сделает, но как раз в тот самый день Рита вызвала его с кафедры и сказала, что в экспедиции он должен вести себя так, будто между ними совершенно ничего нет, будто они даже незнакомы.

Он удивился, очень расстроился, растерялся и спросил, для чего ей это нужно, а Рита ответила, что иначе она не поедет ни на какой Горный Алтай, ни с каким профессором Вершининым, и еще спросила, все ли он понял.

Лева ответил, что понял всё.

Но только на Алтае ему стало понятно, для чего ей это было нужно: чтобы он окончательно потерял голову.

Ему было около тридцати, он был заместителем декана, кандидатом наук, как все кругом говорили и как он сам чувствовал, очень перспективным кандидатом. А чем он был занят в экспедиции? Какие мысли, какие проблемы его больше всего волновали? Какие соображения возникали у него?

Нынешней весной, только еще чуть-чуть начинало подтаивать, они возвращались с бала из Дома культуры.

Левушка вел Риту под руку и чувствовал себя потрясенным. Всю жизнь он ощущал вокруг себя множество людей, предметов, каких-то дел, так или иначе связанных с наукой. И вот все это вдруг перестало для него существовать: отец, мать, университет, деканат, диссертация, его прежняя невеста — все это в один миг куда-то исчезло.

Остались двое — Рита и он сам. Вернее, даже не он сам, а только одно его желание — во что бы то ни стало ее поцеловать. Сейчас же! Сию же секунду!

Это возникло еще на балу, когда все на них смотрели, все ими любовались, а Ритины глаза смотрели на него. И это стало единственным смыслом его жизни, когда они шли тихой предрассветной улицей, под ногами хрустывал тонкий ледок, а Рита прятала теплое лицо — он знал, что оно было теплым, — в воротник мягкого коричневого пальто и оттуда снова смотрела и смотрела на него.

Он, как мальчишка, вдруг обернулся на одной ноге, схватил ее... Лицо было проникновенно теплым. Губы — ласковыми и еще бог знает какими.

Это уже позже вспомнилось, что и как было, а тогда он просто не мог выпустить ее из своих рук, да она и не пыталась отстраниться.

Не скоро они пошли дальше.

Он что-то говорил, куда-то смотрел, как-то дышал и все ради того, чтобы минуло несколько минут, а потом все повторилось бы сначала.

Но когда он снова обернулся к ней, она вдруг положила свою правую руку на свое левое плечо, и он почти больно ударился о ее острый локоть.

Она засмеялась.

— Довольно!

— Почему же, Рита?! Почему?

— Не знаю...

Засмеялся он, засмеялся счастливо:

— Ну, вот видите, вы не знаете почему! — И снова к ней наклонился.

Она быстро отступила.

— Я же сказала вам, не знаю! — И еще раз повторила: — Не знаю! — Поглядела на него, улыбнулась, быстро повернула его, взяла под руку и повела. — Идите в ногу: раз-два, раз-два!

Он шел с ней в ногу и, счастливый, повторял:

— Раз-два! Раз-два!

Теперь, на Алтае, это его «раз-два, раз-два!» зазвучало словно проклятье самому себе. Что он сделал тогда?! Как допустил? Еще одного-единственного прикосновения к ее лицу, к ее губам ему не хватало, чтобы обрести спокойствие и почувствовать, как все прочно, как все вечно в твоей жизни! Только одного!

Этого ничтожного еще одного-единственного не было. По его собственной непростительной не то оплошности, не то легкомыслию, не то еще почему-то — не было! А была тоска. Было чувство неуверенности. Было подозрение ко всем.

Онежку он теперь все время подозревал, будто она по вечерам, в палатке, что-то плохое говорит о нем Рите.

Рязанцева — что он обо всем догадывается. Догадывается и еще — удивляется.

Вершинина-старшего — что он о чем-то может догадаться. Догадается, а потом обратится за разъяснениями к нему, Реутскому. А что ему скажешь?

Лопарева подозревал в том, что Рита ему может понравиться.

Вершинина-младшего, что он может Рите понравиться. Вершинина-младшего Реутский вдвойне не переносил: за то, что тот портит жизнь своему отцу, и за то, что не обращает никакого внимания на Риту,— от этого у Риты мог возникнуть к нему интерес.

Это подозрение довело Реутского до изнеможения, когда Рита пошла в маршрут с Андриюхой, когда же он сам отправился вместе с Лопаревым, ему противно было Лопарева видеть и слышать.

Он твердил себе, что Андрей слишком некрасив, слишком груб, молод и вообще он, мальчишка, единственно, что может, так это каким-то словом, просто равнодушием, насмешкой обидеть Риту. И пусть! Это будет к лучшему. Справедливо.

Хотя Реутский неприязненно и недоверчиво относился к жизни, потому что она всегда мешала настоящей науке, это недоверие ничуть не мешало ему запросто судить жизнь, решать, что в ней справедливо, а что нет. Обычно, вынеся чему-то свой приговор или приняв решение, он приобретал и душевное спокойствие. Всегда так бывало. С тех же пор, как он шел по хрустящей тонким ледком улице вместе с Ритой и считал за ней «раз-два, раз-два!», он уже никогда больше не был уверен в своих решениях.

Нынче, когда они с Лопаревым отправились в маршрут, он с первых шагов решил, что один из них должен быть старшим, а другой — младшим, подчиненным. Старший — он, кандидат наук Реутский, а подчиненный и младший — Лопарев. Объективно все было за такое решение: Реутский уже второй год как получил из ВАКа диплом кандидата наук, а Лопарев был аспирантом второго года обучения; Реутский, будучи заместителем декана, имел опыт организационной работы, а Лопареву подобный опыт еще только следовало приобретать.

Еще один довод: в Реутского была влюблена самая красивая во всем университете девушка. Это не каждому дано.

Но не было справедливости, не было! Зато ощущение обиды, горечи, несправедливости с каждым днем все больше охватывало Реутского.

Оно несколько ослабело лишь тогда, когда Лопарев и Реутский вышли к избушке пасечника: наконец-то жилье, наконец-то ночлег не под открытым небом!

Лопарев тотчас познакомился с хозяйкой, протянул ей руку и сказал:

— Миша.

Реутский удивился. Лопарева так и звали в отряде — Лопаревым, иногда Михаилом Михайловичем или Михмихом, но он был еще и Мишей.

— Егорьевна...— ответила женщина, быстро разогрела самовар, принесла картошку, молоко, хлеб, крупную неразмолотую соль в деревянной чашке, все это поставила на грубый дощатый стол прямо во дворе.

— Ну, мужики, садитесь,— позвала она и сама опустилась на табуретку.— Белку, что ли, пугать взялись, ходите, все ходите? Что делаете, кроме что по лесу ходите?

— Карту составляем.— пояснил Лопарев, наливая чай в огромную чашку.— Люблю пошмыркать из такой вот чеплашечки!

— Карту составляете, а без инструмента? Без вешек?

— На готовую наносим, где какие травы, какой лес. Одним словом — всю растительность.

— А потом что, с той карты?

— Напечатаем ее. В типографии, где книги печатают.

— Ну, а потом?

— Планировать будут. Где какое хозяйство вести, какие лесозаготовки.

— Значит, где чего рубить?

Лопарев поставил чашку на стол. Вздохнул и сказал:

— При нас, пожалуй, что и так. Ну, а после нас уже по-другому: где чего сажать.

— Помирать надобно скорее, ежели после нас правильное будет. Так неохота что-то. Не поманивает... — Помолчала. — Тут недавно тоже двое ночевали. По такому же делу ходят в лесу, так же вроде объясняли. Не ваши?

— Молодые? — спросил Реутский.

— Молодые...

— Парень и... девица?

— Муж с женой. Ну, правда, молодые. Народить еще никого не успели.

— Нет, это не наши. — Лопарев махнул рукой. — Не наши! Чайку, что ли, еще плеснуть? Чтобы погорячее? А ваш-то, Егоровна, муж в лесу тоже?

— Из лесу не вылезит. Там ему и дом родной. Сюда он в ночь-полночь заявляется, вроде к любушке какой.

— А ведь неплохо?

— Не жалуюсь. Жалуюсь разве? Ни тебе поссориться время нету, ни поскучать. Разве иной раз только. Дом-то весь на мне, да и пасака. Золовка тут с нами жила, мужнина старшая сестра, так поехала погоститься. Одной-то вовсе не до скуки.

— Это правильно, — подтвердил Лопарев. Отхлебнул из чашки. — Умный человек сказал: чай пить — не дрова рубить!

Лопарев пил чай словно вприкуску с терпким воздухом. Глотнет и вздохнет... Еще сделает глоток и еще вздохнет.

Реутскому же казалось, что, если у Лопарева хорошо на душе, значит у него, у Реутского, должно быть плохо. Все эти дни такое чувство не покидало его: стоило ему загрустить, как он замечал веселую и самодовольную улыбку на лице всегда мрачноватого Лопарева; стоило предаться воспоминаниям о Рите, захотеть тишины, как Лопарев что-то с грохотом начинал рубить; стоило устать, подумать об отдыхе, как Лопарев говорил: «Денек-то — золотой! Только и работать!»

В довершение всего Реутский так и не научился обращаться к Лопареву на «ты», а тот другого обращения словно никогда и не знал. Ладно, пусть все это в лесу. А если Лопарев и в лагере теперь будет «тыкаться»? В присутствии Вершинина-старшего? Риты?

Был восьмой час вечера, солнце ушло за горы; свет его, еще яркий в высоком небе, у самой земли потускнел, тени сгустились; особенно темной, какой-то ночной показалась Реутскому ель, стоявшая во дворе. Она показалась ему неудобной, мрачной, совсем была не к месту здесь.

Реутский жевал картошку с грубой и горькой солью, глотал молоко. Есть ему очень хотелось, но он чувствовал, как давит на желудок грубая пища. И хотя это не совсем справедливо было с его стороны, он, глядя на хозяйку, испытал какое-то чувство раздражения. Зеленая кофта была на ней не очень опрятная и не застегнутая на все пуговицы. «Удивительно, — подумал он, — просто удивительно, что Рита Плонская и эта женщина составляют один тип хордовых, подтип позвоночных,

класс млекопитающих, отряд приматов, семейство гоминад. И, кроме всего, они еще одного пола, они обе — женщины! Уж лучше бы я не был зоологом и совсем не понимал бы этого сходства!»

Неприязнь к женщине Реутский, должно быть, еще потому испытывал, что он все время хотел задать ей один вопрос, но никак не мог решиться это сделать. Боялся ответа. Если бы женщина ответила так, как ему хотелось, он, конечно, тотчас ей все простил бы — и неопрятную кофту и горькую соль с холодным молоком и теплой картошкой. Однако ответ ее мог быть ужасным и особенно нестерпимым в присутствии Лопарева.

Лопарев же беседовал с хозяйкой и время от времени повторял, что умным был человек, который сказал: «Чай пить — не дрова рубить». Но все-таки и он напился чаю, встал, потянулся, вытер полотенцем потное лицо:

— Ну что же, Лев, я так считаю: после хлеба-соли два часа воли! А мы с тобой и все пятьсот минут можем оторвать. Завалимся на вышке часов до четырех — будуар там мировой, — а утречком прямым ходом в лагерь. Нам больше ни абрисов, ни описаний не составлять!

Реутский ответил, что он тоже скоро пойдет спать на чердак, а Лопарев снова уселся и стал продолжать разговор о кедровом орехе, об охоте на белку, о космосе и о спутнике. Он ушел еще очень не скоро, и как только ушел, Реутский спросил:

— Вот что, хозяйшюка, вы не помните ли, как тех двоих звали? Которые ночевали у вас недавно? Молодых?

— Ну как, поди, не помню, — ответила Егорьевна, распрямившись над большим чугуном, который она только что принялась изнутри отмывать тряпичей. — Я-то женщина да такую девку не запомню! Таких и в кино не всякий раз покажут! Ритой ее звали.

— А его?!

— Андреем. Лицом не очень, так мужчину разве с лица ценят? Серьезный, без баловства. С ней строгий.

— Знаете, вы ошиблись. Они вовсе неженатые, эти люди.

— Как это — ошиблась? Сама же их в горнице спатьложила, а теперь — ошиблась? Ты мне про ту девку плохо не говори. Не поверю! Сама видела их семейную жизнь.

— Видели?

— Она-то больно характерная с ним, придурилась, командует: и туда сходи и это принеси. Как с мальчишкой...

— Это очень может быть! Отчего же!

— ...а потом он взъярился на нее: а ну, кричит, сними с меня сапог! Вот тут на крыльце и было.

— А она?

— Сняла небось. Ручонки дрожат, боится. Не свыклась еще.

— Оба?

— Кто — оба?

— Оба сапога?

— Так нешто он в одном спать пойдет?

Сумерки миновали, ночь настала, вот-вот рассвет должен был начаться — Реутский все не смыкал глаз, лежал рядом с Лопаревым на сене и глядел в небо, в квадрат голубоватого лаза. Подушка была у него под головой, настоящая подушка, о которой он так часто вспоминал в эти дни в лесу, одеяло было — они ему только мешали. «Боже мой, — думал он, — хоть то хорошо, что Лопарев ничего не знает!» Но перед рассветом не выдержал и ткнул Лопарева в бок.

— Спите?

Лопарев тотчас повернулся и спросил:

— В чем дело?

— Михаил Михайлович, милый,— прошептал Реутский.

— Что-о-о? Дело-то в чем?

— Андрей и Рита были здесь. Это о них хозяйка говорила — муж и жена...

— Не может быть! Вот влип так влип парень! В жизни не подумал бы!

— А вы думаете, я сам когда-нибудь мог предположить?

— Слушай, Лев, не понимаю: а при чем здесь ты?

— Я... Она моя хорошая знакомая, Рита. Очень хорошая. Невеста.— Реутский накрыл голову подушкой, полежал неподвижно, потом бросил подушку в сторону.— Не удивляйтесь. Она никому об этом не велела говорить. Никому! Ни словом!

— Так ведь по глазам было бы видно?

— Она и глазам велела молчать...

— Сила! Определенно! Знаешь что, ты лучше поспи, Лев. Утром еще хозяйку спросим. Может, это просто цирк. И больше ничего.

— Хозяйка укладывала их в доме.

— Ну и что ж из этого? Что она потом, в шелку подглядывала? Наше дело бродячее. Вон и Онежка где-то ходит с Рязанцевым. Мало ли что...

— Хозяйка видела — Рита снимала с Андрея сапоги. Андрей приказал — она сняла. Оба.

— Факт! — сказал Лопарев.— Факт как таковой! Сила! Не выдумашь.

— Что же делать, Михаил Михайлович?!

— Спать... Спать или ничего не делать. Одно из двух.

Однако Лопарев тоже не засыпал. Спустя некоторое время проговорил:

— Зараза девка! Не дай бог — влюбится! Ее мне не жалко — сама себе хозяйка.— А когда уже светало, предупредил Реутского: — Ты вот что, Лев, старшему Вершинину — ни гу-гу! Я поговорю с Андрюхой, пусть сам отцу расскажет.

В лагерь Лопарев и Реутский шли быстро, без остановок.

— Выше нос, Лев! — повторил несколько раз Лопарев.

Но Реутский молчал.

Поднялись на открытый взгорок, который одним плечом упирался в круглую залесенную вершину, а другим принимал удары шумного, пенистого ручья. От взгорка и ниже по течению этого ручья место было безлесное, только кое-где поросшее кустарником и кедровой молодью. Кедрач наступал с обеих сторон — с востока и с запада, но северные ветры вынуждали его прятаться за камни и выступы, а тем временем из лиственничной куртинки, которая стояла в очень удобной ложбине по ту сторону ручья, эти же ветры приносили сюда ее семена.

Семена лиственницы никак не могли попасть на заветренную сторону камней, укрыться за них, и лиственничная поросль, едва приподнявшись над травой, уже сновагнулась к земле.

Небо здесь, над поляной, было чистым и светлым, светлее, чем над лесом, а солнце — ярче; чуть тянуло ветерком. Дали отсюда открылись — их было видно и прямо на восток и через ручей на север, и они тоже спокойно и как-то вдумчиво глядели с двух сторон на эту поляну: что здесь совершается?

Лопарев, стоя на взгорке, осмотрелся и спросил Реутского:

— Ну, а что она теперь будет делать?..

— Кто? Кто она?

— Я про лиственницу спрашиваю!

— Не знаю. Не знаю, не знаю...

— А вот слушай, Доктор. Лиственница сейчас напрасно рыпается — ей поляной не завладеть. Силы нет. Лет через пятнадцать дело будет другое.

— Может быть...

— Не может быть, а факт. Такой будет факт: кедрач подрастет, а под его защитой лиственница воспрянет. Кедр время потеряет, пока обсеменится, пока кедровка ему поможет семена по закумашкам рассовать, и придется ему поляну с лиственницей поделить... А ты вот что, Лев, взял бы за эту пичку — кедровку. Написал бы о ней вот такую книгу, как эта пичуга кедровые леса создает, какой у нее к этому нрав, какой характер!

— Опоздал. Без меня уже томы написаны.

— Удивись пичуге, тогда и ты напишешь.

— Людям удивляюсь, не пичуге.

— Людям одним, без природы, нельзя оставаться. Противопоказано.

— Вы так думаете?

— Дело не в том, что думаю, — так оно и есть.

Реутский приотстал от Лопарева — не хотел его слушать, смотрел на поляну, на ручей и все видел как будто не своими глазами. Как будто кто-то шел с ним рядом и время от времени объяснял ему: вот здесь подъем, здесь спуск, а вот это ручей, а вот там небо. Сам же он никак не мог и даже не пытался освободиться от охватившей все его существо обиды и видел Риту — смеющейся, с наивно оскорбительным выражением лица. Видел ее глаза такими, как в то раннее утро весной, после бала во Дворце культуры.

Когда Реутский поднялся вслед за Лопаревым на взгорок и остановился там, он тотчас подумал, что эту поляну Рита и Андрей тоже не минуют, возвращаясь в лагерь, может быть, они уже прошли ее, а может быть, еще не прошли... Выйдут из леса, остановятся, возможно на этом же месте, где они сейчас с Лопаревым стоят. Челкаш, в рваной шляпе, Риту — в который уже раз! — обнимет, и она не скажет: «Довольно!» — и не возьмет его под руку, чтобы потом считать «раз-два, раз-два!», а, смеясь, вспомнит, как ухаживал за ней Реутский, как он уговаривал ее поехать с ним в экспедицию, а она заставила его сделать вид, будто между ними совсем ничего нет, никакого знакомства.

Потом она вернется в университет и расскажет обо всем подругам... Сколько будет смеха и веселья, как девчонки будут хитро и лукаво разглядывать заместителя декана на лекциях и практических занятиях!

Челкаш же здесь, на этой поляне, даже не улыбнется, только скорчит гримасу.

Теперь никогда уже Реутскому не забыть проклятого взгорка, этого места, где к нему пришло совершенно реальное видение того, что он не видел и где он навсегда потерял другую, реальную картину своей жизни — Ритины блестящие глаза в глубине мохнатого коричневого воротника, ее теплое лицо и это когда-то радостное, потом тревожное, а теперь уже проклятое «раз-два»! Зачем, зачем он совершил тогда ошибку?! Зачем сегодня Лопарев остановил его на этом взгорке?

И в самом деле — спустя почти сутки Рита и Андрей прошли через эту поляну. В самом деле — они останавливались на взгорке, на том же месте, где стояли Лопарев и Реутский. Андрей долго и молча что-то разглядывал, потом сказал, что Лопареву здесь, наверное, было бы интересно. Сказал и пошел вперед, а Рита — за ним.

После того как они оставили избушку пасечника, Рита лишь несколько раз заметила на себе пристальный взгляд Андрея, больше ничего в нем не изменилось. Она отвечала ему безмолвно: «Ну, да — было... А дальше что?» И знала, что не имеет права даже на этот безмолвный вопрос; с ним ничего не произошло, он остался прежним — что-то произошло с ней.

Она всегда была разной, всегда для самой себя неожиданной. Ее «это» было бесконечным — вчера одним, сегодня другим, а каким оно будет завтра, через год, через много лет, — она никогда не знала и никогда не задумывалась.

Но несмотря на бесконечность «этого» и его неожиданность, никогда у нее не было такого чувства, будто одна часть тебя здесь, а другая — где-то в другом месте, будто что-то в тебе принадлежит одному, а что-то — чему-то другому.

И вдруг ощущение такой раздвоенности к ней пришло.

Что такое?

Была ли она, Рита, молодой, красивой, не просто легкомысленной, как думали все, а в какой-то самой чудесной и неповторимой части души — мятежной своей безмятежностью и своим безрассудством? Той, которая любила Левушку Реутского?

Да, была такая Рита, и осталась такая Рита.

Но появилась еще одна.

Которая вдруг захотела быть точь-в-точь такой же, как пасечница, хозяйка лесной избы, — крупной, сильной, наделенной неистребимым чувством женщины и матери ко всему, что вокруг нее было; захотела одеться в зеленую кофту и сапоги. Это желание было недолгим. Но оно же было?

Которая в смятении, дрожащими руками стаскивала грязные сапоги с лопухого парня. А потом еще бросилась за ним, лопухим, опустилась на колени и, ощущая какую-то небывалую силу в руках, подняла его с пола, посмотрела ему в глаза, поцеловала. Если бы в тот миг тысячи и миллионы людей были там, если бы ее сняли на кинолентку, чтобы потом показывать всему миру и Левушке Реутскому, она точно так же поступила бы!

Это были мгновения, в которые она покорялась, и ощущение своей покорности все еще вызывало в ней восторг, какую-то неистовую радость, какую она не испытывала даже тогда, когда сама покоряла. Ощущение восторга возникло с того времени, когда она, исполняя роль женщины, взяла и выдала себя за жену Андрея. Сыграла роль сначала перед хозяйкой, потом перед Андреем, а когда она сыграла ее для самой себя, не заметила, но именно для себя сыграла и глубже и вдохновеннее, чем для них.

Она хотела в лагерь — скорее, скорее!

С ней не должно было случиться еще что-то, прежде чем она будет в лагере!

Она хотела увидеть Реутского. Быть может, при первом же взгляде на Левушку рассеются ее смутные сомнения и тревоги, что-то совсем исчезнет, а что-то станет тем, что было до сих пор.

Хотела увидеть Онежку, заговорить с ней первой и обязательно об Андрее. Пусть Онежка выслушает Риту, узнает все, что Рита узнала в эти дни о самой себе. Потом, когда она приобщится к Онежке, а через нее — такую простую, такую незатейливую — ко всем людям, потом она ее приголубит. Нежно-нежно, ласково-ласково... «Как умеем это мы... женщины», — сказала себе Рита. И еще она хотела посмотреть на Андрея. Не здесь, не в лесу, а в лагере, при всех.

Они пришли в лагерь в полдень, и палатки показались ей милым домом. И ведра, которые стояли около кострища, и стеклянные банки, вымытые дочиста (значит, Онежка уже здесь!), и топор, воткнутый в колоду (значит, Лопарев тоже здесь!), и ружье Левушки, «зауэр», из которого он бьет мышей и которое висело на сучке рядом с его палаткой (Лева здесь!), — и все-все показалось ей совершенно необходимым для жизни, для того, чтобы и дальше о чем-то думать, что-то решать и чувствовать.

Газик стоял немного поодаль, за палатками, и шофер прохаживался перед ним — значит, Вершинин-старший собирается куда-то поехать, наверное в луговой отряд.

Рита вошла в палатку. В полутьме, под брезентовым пологом, разглядела свой спальный мешок, подушечку-думку — подарок тети, склянку с одеколоном и зажмурила глаза, чтобы еще раз и еще яснее все это увидеть.

Легла. Вытянулась на мягком мешке. Что-то еще предстояло, что-то ждало ее, но сейчас нужен был покой, и она чувствовала — он всю ее охватывал. Кажется, задремала...

И вдруг требовательный, отчаянный голос крикнул рядом с палаткой:

— Рита! — И еще раз: — Рита!

Она моментально села, потом проползла под пологом и вскочила на ноги.

— Что? Что случилось, Константин Владимирович?

Вершинин-старший стоял со шляпой в руке и с каким-то удивлением на нее глядел — на ее косынку, повязанную вокруг шеи, на ее фигурку в черных измятых шароварах, на ее ноги в тапочках и без носков. Он глядел то на нее, то куда-то вверх, словно удивляясь ее моментальному появлению и соображая, откуда она возникла перед ним — из палатки или сверху, из-за деревьев, куда он прокричал ее имя. С ним случилось что-то необычное, неестественное, против чего он протестовал всем существом.

— Собирайся! — крикнул он с тем же отчаянием, но теперь это было еще страшнее, потому что Рита видела его, и он кричал ей в лицо, в самые глаза.

— Куда? Зачем? Что случилось?

— Не твое дело! Собирай шмотки! Живо! Сейчас же поедешь, сию минуту! — И, обернувшись, крикнул Владимирогорскому: — В отряд Свиридовой ее — к бабам!

— Вы меня гоните? За что? — спросила она.

— Собирайся! Марш!

Когда Рита нечаянно прикасалась к вещам Онежки — к Онежкиному мешку, к ее простыне и гребешкам, таким спокойным и прохладным, — она каждый раз при этом закрывала лицо рукой. Онежка тоже вернулась из маршрута с Рязанцевым, уже спала в палатке ночь и сейчас работает в лесу, где-нибудь недалеко и не знает, как нужна она Рите!

А если бы Онежка была здесь, рядом, обязательно что-то было бы по-другому. Она удивленно посмотрела бы на Вершинина и успокоила бы его, смутила... Она пожалела бы Риту, объяснила бы ей, что же происходит.

Несколько раз Рита выглядывала из палатки, хотела убежать куда-нибудь в лес, к Онежке, но сталкивалась с Вершининым-старшим. Он с огромной палкой в руках маршировал около входа в палатку, туда и обратно, туда и обратно, всякий раз перешагивая через свою шляпу, лежавшую на земле.

И Рита старалась миновать Вершинина-старшего взглядом, когда рюкзак ее был наконец набит первыми попавшимися под руку вещами и она выснулась из палатки.

Но тут... Было это или не было — Андрей стоял, облокотившись на капот газика. Точь-в-точь такой же, как в маршруте: в сапогах, чехол с лопаткой-топориком на поясе, в неизменной рваной шляпе.

Он тоже ее увидел, как она стояла на коленях и еще опиралась на землю руками, стараясь быстрее выбраться из палатки. Увидел и сказал:

— Что же ты, Рита? Ехать так ехать!

На этот голос, спокойный, почти равнодушный, мгновенно обернулся Вершинин-старший. Торопливо поднял с земли шляпу. Подошел к Андрею.

— Ты куда это? Куда собрался, шилишпер?

— В отряд к Свиридовой...

— На каком основании?

— Побывать на лугах. Необходимо для дипломной работы.

— Ты нужен здесь. Понятно?

— Понятно. Съезжу и вернусь.

— Это когда же ты вернешься? Завтра?

— Хотя бы и завтра. Когда прикажешь.

— Машина тебя ждать не будет. Отвезет вот ее — и в ту же минуту обратно.

— Вернусь пешком.

— Вот что,— сказал Вершинин-старший шоферу.— Я тебе запрещаю брать в машину лишних людей. Государственный транспорт — не для прогулок. Все!

Андрей пожал плечами, нагнулся, натянул голенище одного сапога, потом другого.

— Ты, Рита, поезжай, а часам к двенадцати ночи и я приду туда...— И поднял с земли свой тощий рюкзак.

У Риты на щеках были слезы, и руки — тоже в слезах, она на ходу смахивала их и вытирала пальцы о шаровары. Подошла к машине, поглядела на Вершинина-старшего смеющимися, ликующими глазами.

— Большое спасибо, Константин Владимирович! Мне так хотелось побывать в отряде Свиридовой!

— Садись! — сказал Рите Андрей. Сказал сердито и торопливо.

— Сию минуту, Андрюшенька! — ответила она и тут же почувствовала, что ее «это» — с нею.

Ничего ни страшного, ни обидного она больше не переживала — «это» было выше всего, а Вершинин-старший стал как будто слышащим, видящим, говорящим предметом, который никак не мог ее чем-то задеть, сколько бы ни старался это сделать.

Увидела Рита и Левушку Реутского — он стоял около своей палатки и обеими руками держал перед глазами очки. Рита взглянула на него и догадалась: Левушка был в избушке пасечника, он что-то знает. Это он сказал о чем-то Вершинину-старшему... Но и Левушка тоже стал вдруг таким же предметом, и он не мог погасить ее ликования. Завтра, еще когда-нибудь она обдумает свою догадку, но, боже мой, какое ей дело до этой догадки сейчас, сию минуту?!

И она взобралась на сиденье газика, потрепала Андрея по голове, чуть приподняв на нем рваную шляпу.

— Так я жду! Приходи! Жду!

Андрей кивнул, снял ее руку со своей головы, надвинул шляпу и пошел вперед.

Заворчала машина.

Вершинин-старший крикнул:

— Сто-ой!

Машина, дрогнувшая уже всем корпусом, замерла. Вершинин-младший продолжал идти вперед, а старший повернулся, сделал несколько шагов и сел на пенек рядом с палаткой Реутского.

Рита громко сказала ему:

— Константин Владимирович, я же не успею к Свиридовой засветло!

Вершинин-старший молчал. Молчал и молчал.

И тут в тишине вдруг стали слышны чьи-то тяжелые и какие-то тревожные шаги. Кто-то спускался к лагерю с горы, по крутой тропинке из леса выкатывались камушки.

Лопарев появился на лагерной поляне, а все уже смотрели на него, ждали. На руках у Лопарева была Онежка.

— Вот,— сказал он, тяжело переводя дыхание, весь в поту, а потом еще раз:— Вот!

Тонкая ручонка Онежки все еще раскачивалась из стороны в сторону в такт его шагам, хотя он стоял теперь неподвижно. В ее светлые волосы, растрепанные по руке и по плечу Лопарева, пробрался ветерок и пошевелил их. Лоб и глаза у Онежки тоже были закрыты волосами, а губы — бледные и совсем тонкие — плотно сжаты.

— Мешки спальные — в машину! — сказал, глубоко вздохнув, Лопарев.

Все его поняли, но никто не двигался с места.

Раньше других Андрей ворвался в свою палатку, схватил мешки и, волоком подтащив их к машине, бросил Рите.

— Расстилай!

Она расстилала в кузове мешки, подушки, пологи, а потом Лопарев положил Онежку и сказал:

— Поедешь. Женщина как-никак. Понадобисься в дороге!

Рита провела рукой по лицу Онежки, по груди, остановила руку на правэм ее боку.

— Неужели здесь? Онежка! Здесь? Неужели это то самое?! Неужели?!

— Сиди! — сказал ей Лопарев.— Держи ее голову на коленях, под спиной придерживай подушку. Вот так! — Потом Лопарев кивнул Вершинину-старшему:— Быстро, Константин Владимирович! Быстро! Устраивать будете в больницу, врача самолетом вызывать!

Вершинин-старший, не говоря ни слова, сел рядом с шофером. Длинное лицо его все больше вытягивалось вниз.

Вскочил в машину и Лопарев. Места было мало, он встал на колени позади шофера. Андрей втиснулся рядом.

Лопарев толкнул шофера.

— Гони! Полный!

Спустя некоторое время из леса вернулся Рязанцев. Остановился в недоумении: одна палатка лежала на земле, другие были распахнуты, а у кострища сидел Реутский, обхватив руками колени и откинув голову назад. Очки лежали рядом с ним в вытопанной травке.

— Что случилось, Лев Иннокентьевич?! Что! С кем? — спросил Рязанцев, нагнувшись к Реутскому.

— Онежка умирает... А может быть, умерла...

— Как? То есть как?

— Точно так, как умирают люди...— Ударив по очкам, Реутский взмахнул рукой.— Ах, жизнь, жизнь!

## Глава тринадцатая

Рязанцев и как-то сразу сникший Доктор медицины, оставшись в лагере вдвоем, отчужденно поглядывали друг на друга. Молчали.

«Точно так, как умирают люди...» — повторял про себя Рязанцев слова Доктора и никак не мог представить, будто они имеют какое-то, хотя бы самое отдаленное отношение к Онежке.

Вернулись Андрей и Рита. Рита, бледная, потрясенная, не говорила ни слова. Андрей же объяснил, что дорогой они встретили вторую машину экспедиции, что отец велел им пересечь, вернуться в лагерь и передать Рязанцеву, чтобы на этой же машине он тотчас ехал в больницу.

Потом Андрюха отвел Рязанцева в сторону и сказал:

— Скверно...

— Ну, все-таки, что ты можешь еще сказать?

— Скверно...

Грузовая машина не могла подойти к лагерю ближе чем километра на три, по узкой извилистой тропе пробирался только газик, и эти три километра Рязанцев бежал под гору, сколько было сил, как будто от него что-то еще зависело в судьбе Онежки.

Сначала и на машине двигались со скоростью пешехода, то и дело царапали диффером и, пятясь, объезжали камни, некоторое время ехали по руслу ручья, вода захлестывала радиатор.

Рязанцев пытался представить себе, какие мученья приняла на этой дороге Онежка. Если только она еще чувствовала боль.

В селе, недоезжая больницы, шофер заметил на деревянном тротуаре переулка высокую растерянную фигуру Вершинина. Вершинин подбежал к машине и тихо, шепотом, словно по секрету, сказал:

— Это ужасно! Подумать только — аппендицит! Гнойный! Запущенный! Третий приступ. Нет, это ужасно: сколько было возможностей избежать всего — и вот...

Рязанцев хотел узнать еще какие-нибудь подробности, услышать, что сказал врач, но получалось так, будто и врач тоже не сказал ничего, кроме того, что это ужасно, что было столько возможностей избежать всего и что это опять-таки ужасно, ужасно, ужасно! Может быть, так и было?

Только один раз Вершинин-старший сам спросил Рязанцева:

— Вы Риту видели? Она — ничего?

— Потрясена...

— В дороге с ней началось что-то вроде истерики!

Вершинин не мог стоять на месте, то и дело уходил по деревянному тротуару в переулок, потом возвращался снова. Лопарев молча сидел на скамейке около ворот и только покачал головой, увидев Рязанцева.

Больница была деревянной, приземистой, почти квадратной и с какой-то странной надстройкой второго этажа в одном углу квадрата. Как раз под этой надстройкой находилась палата, в которую должны были поместить Онежку после операции.

То же квадратное окно выходило в садик, огороженный редким и невысоким штакетником, в нем стояли две скамейки, пахнущие хлороформом, а сразу за штакетником начиналась еловая роща, на опушке которой шумело листвою несколько березок.

Наступила уже темнота, а в этой роще все еще прогуливались больные, у них были длинные шуршащие халаты и веселые голоса. Один женский беззаботный голос вдруг сказал:

— Слышь, Леня,— умершую девчонку привезли. Городскую. С экспедиции. Ма-алюденькая совершенно.

Этому голосу ответил другой, размеренный и басовитый:

— Всяко бывает. Нечего молоденьких-то за собой по горам таскать. Таскают — вот и бывает всяко...

На белых освещенных занавесках углового окна изредка появлялись чьи-то тени, должно быть хирурга или его ассистентов.

У Лопарева и Вершинина-старшего не хватало терпения дежурить у окна, и они бродили вокруг — один по роще, другой — по гулкому деревянному тротуару короткой сельской улочки. Всякий раз, когда кто-нибудь из них заходил в палисадник и спрашивал у Рязанцева: «Что? Как?» — он отвечал: «Ничего...»

Он был, кажется, чуть-чуть сильнее того и другого, чуть спокойнее и рассудительнее. «Чуть» обязывало его быть перед ними еще спокойнее и рассудительнее, чем он был на самом деле. Оно обязывало его что-то им объяснить, и так как он не знал, что и как будет объяснять, старался не говорить ни о чем.

Первым подошел к нему Лопарев, снял кожаный картуз и, зажав его в руке, сказал:

— Уморили девчонку! Уморили! — Надел картуз и вплотную придвинулся к Рязанцеву.— Слушай, педагог, а если девчонка умирает тебе назло? За то, что ты ее никогда не замечал. И мне — назло. И всем нам — назло.

— Видите ли, Михмих, дорогой...

— А без «видите ли»? Без «дорогих»?

— Да-да... видите ли, дорогой... Онежка сидела у ручья, смотрела в небо. Я спросил: «Можешь представить себе ничто?»

— Она?

— Не поняла.

— Была философия?

— ...сказал, что фантазия человека безгранична и может представить все. Только ничто — не может. Что чем больше человек узнает, тем он меньше может смириться со своим уходом в ничто. Позавидовал древним: они провожали умерших не в ничто, а в иной мир.

— Так и объяснили?

— Именно так.

— Порядок! А еще?

— Вы знали профессора Головина?

— Слыхал.

— Однажды рассказывал ей, как умирал профессор.

— Само собой — в деталях?

— Михаил Михайлович, а что, если она сейчас об этом вспомнила? Вот сейчас, сию минуту?

— ...и благодарит вас за науку?

Рязанцев положил руку на плечо Лопарева.

— Вы, Михаил Михайлович, меньше всех виноваты в том, что произошло: вы больше всех нас были заняты делом. Настоящим делом.

Лопарев снял руку с плеча.

— Гастроли кандидатов и докторов наук. Плата за вход слишком высокая! — Перешагнул через штaketник и ушел в рощу.

А Рязанцеву еще предстоял разговор с Вершининым.

И в самом деле вскоре Вершинин подошел к нему переулком, отбивая кедровой палкой неровный такт своим шагам. Палку он оставил у калитки, заложил руки за спину и стал перед Рязанцевым лицом к лицу. Он думал всю эту ночь, Вершинин-старший, и в его уме складывались и складывались слова, которые он хотел бы сказать Рязанцеву.

— Вот,— сказал Вершинин,— вы правильный человек, Николай Иванович, объясните — объясните мне следующее. Бывает смерть по старости. Ну что же, если бы деспоты, монархи не умирали, они давно-давно сжили бы человечество со свету. И уж во всяком случае не пустили бы нас с вами дальше феодализма. Мы искренне жалеем умерших раньше времени великих. Благодарите науку за то, что с открытием атомной энергии она все-таки дотянула до двадцатого века, а не вручила ее ни Ивану Грозному, ни Луи Бонапарту! Благодарите ее — она до сих пор не открыла средств продления жизни! Если бы открыла, этими средствами воспользовались бы прежде всего власть имущие. И знаете, так нам и надо, всем остальным, простым, ординарным, всем-всем! Потому что мы не умеем себя уважать. Вот умирает Онежка... Что же мне остается? Благодарить судьбу, что умирает она, а не я?! Мерзко! Свински! А вывод? Со своим грандиозным умишком человек имеет право мыслить до черты. Живи, верь, что жизнь не беспечельна, что у мысли нет предела, и все это до черты, за которой следует беспечельность и бессмысленность! За которой должно умереть все! Позвольте, так это же не мысль! Это антимысль! Она толкает нас туда, где человек ниже животного: ведь животное не соприкасается с антимыслью! Как вам это нравится?

Вершинин-старший вздохнул и, боясь, что Рязанцев перебьет его, торопливо заговорил снова:

— Покуда мысль не была изощренной, если хотите — была примитивной, и не выдумывала человека, землю населяли Отелло и Яго. Давиды и Бруты, а художниками были Шекспиры и Микеланджело. Пришла изощренная мысль и создала Клима Самгина. Вы что же думаете, Клим был глуп, не домыслил до революции? Он ее перемыслил. Вот так же мы все перемыслим самих себя! Человек в своей эволюции, будучи улиткой, обезьяной, пещерным жителем, много раз стоял на краю гибели, но преодолел все, все силы природы, и стал ее царем. А вместе с тем рабом своей мысли. Какой-нибудь маньяк, помыслив час-другой, нажмет кнопку ракеты — тоже величайшее достижение современной мысли, — и дело обойдется без наших с вами похорон. Но все равно, даже в преддверии этой возможности люди не могут понять друг друга. Да что там говорить, под собственным кровом дети нынче — самые таинственные люди для отцов. Вот она, оборотная сторона мысли! Науки! Человека!

Как будто совершенно ничего не случилось, как будто он был преподавателем, а Вершинин учеником, Рязанцев сказал:

— Помните закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил? По этому закону ни Бонапарт, ни Грозный и не могли иметь в своих руках атомной энергии. Видите, она, наука, объясняет нам наше существование. Не ее вина, что вы не можете или не хотите ее понять!

— Боже мой! — воскликнул Вершинин. — В этот момент и вы говорите, как учебник! Как машина, кибернетическая машина! Есть ли в вас чувства? Можете ли вы говорить просто, как живой человек, когда умирает другой человек?

— Могу.

— Не верю! Не верю, но жду. Жду!

— Вы кто? — спросил Рязанцев.

— То есть?

— Кем вы считаете себя? Прежде всего?

— «Прежде всего» — очень много в каждом из нас.

— Все-таки?

— Вероятно, научным работником. Ученым. Отцом. Просто человеком.

— Не верю...— сказал Рязанцев тихо. И повторил еще раз:— Ничему не верю!

Не сразу лицо Вершинина замерло. Опустились вздернутые кверху брови, медленно сжался рот. Проступили скулы, а тогда лицо стало неподвижным.

— Так!— вздохнул он.— Так, правильный человек Николай Иванович! Служивец! С точки зрения политической — безупречно! Позиция— тоже безупречная: «Утри нос ближнему своему!» И то сказать, для кого такая позиция не имеет значения?!

Вершинин ушел быстро, нервно зашагал по тротуару.

«А ведь хочет быть человеком! — подумал Рязанцев.— Обязательно хочет им быть! И причем — в полном смысле слова!»

Таким он был, Вершинин-старший: мог послать ко всем чертям вселенную, а назавтра погрузиться в искренние заботы и хлопоты по должности заведующего лабораторией, доктора географических наук.

Рязанцев этого не мог. Если бы только однажды ему довелось обругать весь мир, если бы сию минуту Рязанцев разуверился в этом мире, он уже никогда больше не обрел бы чувства своей причастности к нему.

Да, были вопросы, на которые он не мог ответить. Всегда были...

В Бийске, на пути в Горный Алтай, он зашел в парикмахерскую. С улицы три или четыре ступени вели в полуподвальное, насыщенное одеколоном помещение. Он взял стул и в ожидании очереди сел у распахнутой двери. Смотрел на тротуар, на редких прохожих и на все то, что происходило вдоль нешумной улицы с редкими деревцами по обеим сторонам и с неподвижным дорожным катком посреди мостовой.

Может быть, из-за того, что смотрел он снизу вверх, Рязанцев показался себе в этот момент ребенком, любопытным ко всему, что он видит, и преисполненным мечтами о предстоящем путешествии.

И тут же вскоре перед ним появилась совсем еще молодая женщина с мальчуганом на руках. Она была в синем рабочем платке, со светлыми непокрытыми волосами, и мальчуган играл в них ручонками, а играя, твердил только одно слово:

— Мама... мама... мама...

А женщина, торопливо-радостная, отвечала ему всякий раз одним и тем же вопросом:

— Что, деточка? Что, деточка? Что, деточка?

И Рязанцев неожиданно вспомнил себя таким же лепечущим младенцем, так же спрашивающим обо всем, что было вокруг него, одним словом: «Мама? Мама?», а мать, точно так же как эта женщина, отвечала ему на вопрос другим вопросом: «Что, деточка? Что, деточка?»

Мать погибла от тифа в двадцать первом году, в обозе поволжских беженцев, двигавшихся в Сибирь, он ее почти не помнил, но даже не это воспоминание поразило его. Он подумал: «Вот с каких пор к человеку приходят вопросы!»

«Конечно,— думал Рязанцев, вглядываясь в угловое окно больницы и стараясь представить себе, что за ним происходит сейчас,— конечно, по мере развития мышления человек неизбежно будет открывать не только то, что ему помогает жить и мыслить, но и то, что ему мешает. Может быть, чем больше он будет узнавать, тем труднее ему будет мириться с ничем — со смертью. Труднее и труднее...»

На его глазах за последние несколько лет умерли профессор Головин, Сеня Свиридов и вот умирала Онежка. И всякий раз смерть близкого человека поражала его своей логикой и неизбежностью. «Ты считаешь

свою жизнь абсолютно необходимой,— думал Рязанцев,— в то время как твое рождение — дело совершенно случайное, ты мог родиться, а мог бы и не родиться, мог родиться кем-то другим, женщиной например, и тогда тебя как такового не было бы. Зато свою смерть ты, конечно, будешь считать нелепым случаем, в то время как она, безусловно, закономернее и логичнее твоего рождения. Вот человек переносит войны, болезни, жертвы, и все ради самой обыкновенной жизни, а когда она наступает — обыкновенная,— не умеет ее прожить. И получается, будто страдания в самом деле — это самое значительное для него. Природа создала его, тончайший инструмент познания окружающего мира, но в такой же мере познавать самого себя не научила. Этому человек должен научиться сам...»

Из-за гор выплывали облака, еще не проснувшиеся, но уже торопливые. Две-три запоздавшие звезды плыли вместе с ними. Лес на вершинах выбирал себе дневное одеяние из неярких осенних красок пасмурного неба, из приглушенного солнечного света, а сам был ярко-зеленым и синим, а кое-где на склонах, где встречались островки лиственных пород, красным и лунно-желтым. Лес шумел слегка, прислушиваясь к дневным ветрам, а ветры уже доносили откуда-то сыроватый и спелый запах осени.

В тених облаков и в этих еще дремлющих ветрах долина, по которой были разбросаны заиндевевшие крыши домиков, тоже шевельнулась, и тотчас из-за карниза углового окна больницы появились два воробья.

Они почиркали, похлопали крылышками и уселась на открытую форточку. Может быть, кто-то из больных кормил их здесь крошками, и теперь они настойчиво и недоуменно заглядывали в окно.

Заглянули, как будто бы пожалы плечиками, и заглянули снова.

Рязанцев долго смотрел на них, а потом махнул шляпой. Они громко чиркнули и улетели.

Рязанцев посмотрел им вслед и пошел к крыльцу.

На крыльцо вышел доктор. Он был закрыт в белый халат, в белый колпак и в белые туфли. Глаза тоже были прикрыты, и только небольшие рыжеватые усы с проседью и с капельками влаги обратились навстречу Рязанцеву.

Доктор сказал: «Ну, вот...» — и как-то по-воробьиному пожал плечами. Развязал тесемку халата, снова завязал ее, повернулся и ушел обратно.

Чуть спустя появился Вершинин.

— Ужасно, ужасно,— сказал он, отыскивая рукой перекладину крыльца.— Что же? Как же? Свертывать экспедицию?! Ужасно все это! — Отыскав наконец одной рукой перекладину, провел другой по лицу.— Как ужасно... Почему Онежка никому из нас ни слова не сказала о своей болезни? Никому?!

Лопарев стоял молча. Снял картуз, глядел куда-то.

Когда-то каждое утро Онежка ходила в школу через кладбище. Деревянные кресты и памятники, ничем не огороженные, стояли на лесной вырубке, на взгорье, где посуше, и к ним очень легко было привыкнуть, так же как и к деревьям, и к пенькам, и к тропинке, которая каждое утро приводила ее в школу. Напрасно кто-то говорил, будто они страшные. Только когда появлялся новый крест или остроконечный памятник из свежих сосновых, пахнущих смолой досок, крашенный и тоже ароматный, а рядом — веночек из сосновых веток с бумажными цветами и черной лентой, становилось как-то неловко идти по тропинке, и тогда несколько дней она ходила в школу по большой проезжей дороге, высланной полусгнившими бревнами.

Но даже и эту неловкость преодолевало иногда любопытство, особенно, когда оно было грустным, а грустным оно случалось всякий раз, когда не были выучены уроки по арифметике. Тогда ей очень хотелось полежать под крестом вместо кого-нибудь, хотелось, чтобы ее фотография была повешена на кресте в черной рамке, чтобы ее хоронили, ее жалели и о ней плакали.

Вот как давно четырехсотая прикасалась к ней, вот как давно! Только в то время Онежка ничего не знала о ней.

Недавно она заблудилась в тумане, чуть не разбилась, а когда спаслась, испугалась и заплакала. А ничего страшного не было и не могло быть: и скалы не такие высокие, как ей казалось тогда, и туман не такой густой, и туча не такая черная надвинулась на нее. Вспыхнул очень яркий день — вот это было. А яркий свет может погасить человека... Ничего страшного не было тогда на хребте, ничего. После она поднималась и выше, но она уже не боялась — привыкла, а в первый раз все было только для того, чтобы Лопарев предупредил ее: «Живи!»

Нынче она работала в лесу. Пересчитала на квадрате десять на десять метров молодняк лиственницы и стала записывать цифру. Вдруг цифра покачнулась и поплыла куда-то прочь. Она подняла голову. Увлекая за собой облака, лиственницы медленно падали на нее. Онежка зажмурилась в ожидании оглушительного взрыва или удара, но ее окружила странная глухая тишина, и она поняла, что вокруг нее ничего не случилось, а все случилось с ней одной. Это она медленно опускалась на землю от невероятной, все заглушающей и затемняющей боли...

Онежка не испугалась, потому что неподалеку увидела Лопарева, успела крикнуть ему: «Михаил Михай...» — и почувствовала, что он услышал ее.

Когда-то, она помнила, Лопарев спросил у нее, сколько в ней килограммов, засмеялся и сказал: «Уташу — как пить дать!» И с тех пор ей всегда казалось, что он действительно унесет ее куда-то. Поднимет на руки и легко-легко понесет. Ну вот, так и случилось. Онежка редко ошибалась в предчувствиях.

Но вслед за тем, потому что Онежка редко ошибалась, она сразу же вспомнила и тропинку через кладбище, по которой каждый день ходила когда-то в школу, и тот день, когда она заблудилась в тумане, вспомнила, как прикасалась к ней и на тропинке и в горах одна четырехсотая, и сразу же поняла — это снова была она... Которую подсчитывал Рязанцев, когда болела Рита. Это была она, и Онежка почувствовала себя в ее власти.

Онежка догадывалась, что ее везут на машине, а потом ее раздели, и мужчина холодными руками стал делать ей еще больнее, чем было до сих пор.

Она хотела сказать, чтобы к ней позвали женщину, Риту позвали бы, потому что Рита все-все знает, но в это время голос мужчины перебил ее... Где-то очень далеко этот голос произнес что-то о шансах, о бесполезности чего-то. Она знала, о чем голос прозвучал вдалеке: «Четырехсотая...»

Тогда бы и должно было все кончиться, но потом, вскоре или спустя очень долго, вдруг случилось так, будто с нею ничего не случилось...

Так не могло быть. Она лежала в больнице на белой кровати, под потолком светила занавешенная электрическая лампочка, прямо напротив было квадратное окно, до половины задернутое занавеской, с распахнутой форточкой. Сквозь стекла падал на кровать свет — не сильный, блеклый, а через форточку — почти яркий, с какими-то звуками и запахами. Какой-то знакомый свет...

Все это и еще все то, о чем память тотчас подсказала ей — не до конца записанная в полевой дневник цифра, падающие вместе с облаками вер-

шины лиственниц, сильные руки Лопарева и еще чьи-то, слабые, но причиняющие боль, — все говорило ей о случившемся, но она не могла противостать странному ощущению. Будто с нею не случилось ничего. Как могло это ощущение появиться, если здесь, рядом, было другое — была одна четырехсотая, уже покончившая с Онежкой, уже оттолкнувшая Онежку туда, где не было ничего? Для чего происходил этот обман?

И она догадалась, для чего возникло еще что-то после того, как все кончилось, после того, как не то голос Рязанцева, не то чей-то другой произнес вдалеке: «...четырехсотая».

Для того чтобы она увидела, как это происходит. Чтобы она все кончила так, как может кончить.

А тогда случившееся с ней в действительности снова приблизилось как-то сразу, мгновенно, и она, уже не ощущая боли, вспомнила ее. Значит, такая боль могла быть настоящей? Существующей? Такая, с которой невозможно смириться, и ничто живое с ней смириться не может?!

Все уже прошло мимо Онежки, все убереглось от этого, и только она не убереглась, только ей пришлось принять эту боль, этот ужас. Одной за всех.

Если бы кто-нибудь был сейчас рядом с нею! Ей нужен был человек, который видел бы, как она это делает, как принимает все одна!

В лесу, у костра, Рязанцев говорил ей однажды, как это сделал кто-то, какой-то человек, мужчина, ученый, показывая, что в нем еще живет и что уже нет. Она поняла, почему так можно было сделать: потому что рядом был другой, который видел, понимал, чувствовал. И она тоже должна была потребовать кого-то, с нею рядом обязан был быть человек, потребовать громко, так, чтобы никто не имел права ей отказать. Она хотела крикнуть. Но и в этом ей было отказано. Время шло так быстро, что успело куда-то унести ее голос...

Она хотела увидеть кого-нибудь, но никого не увидела — только воробьев на распахнутой наружу форточке. Они смотрели на нее и чирикали. Стекло под ними было яркое-яркое, словно горело, они этого не замечали. Воробей побольше, с коричневой головкой и нагрудником, бочком-бочком теснил серенькую воробиху.

Онежка смотрела на них. Больше не на кого ей было смотреть. Больше некому ей было прошептать: «Истод, адонис, эдельвейс... истод, адонис...»

Онежка хотела быть такой же, какой всегда была до сих пор. Как будто с нею и в самом деле ничего не случилось. Она всегда чего-то желала, а сейчас — оставаться собой. Она хотела иметь желание.

Она знала, что должна была для этого преодолеть страх, проклятия, отчаяние, что-то еще, и еще, и еще. Знала, что труднее всего — это не испугаться себя, себе не изменить.

И не пугалась и не изменяла...

Тень появилась на кровати... Человек? Но это уже было все равно. Онежка смотрела прямо перед собою.

Воробьи на форточке широко и молча разевали свои клювы. Она знала, что это значит, почему молча.

Вдруг воробьи вспорхнули и исчезли...

#### Глава четырнадцатая

После того, что случилось, Рита страшилась минуты, когда кто-нибудь подойдет к ней, схватит ее за руки и крикнет: «А ну, отвечай! Говори! Почему ты молчала? Знала, что Онежка больна и молчала, почему?»

У нее не было сомнений, что кто-то обязательно так сделает. Но никто ничего не говорил, никто не знал того, что она знала.

Только Лопарев спросил:

— Помнишь, когда Онежку везли в больницу, ты все время спрашивала, не болит ли у нее вот здесь? — Он показал глазами где. — Помнишь? Выходит, знала, что Онежка болеет? Она тебе жаловалась?

Рита глянула на Лопарева с надеждой: может быть, он ее толкнет, ударит?

— Одной только тебе известно, — сказал он, — почему ты так делала... Зачем? Почему молчала?

Ответа не дождался и пошел.

Она их боялась всех: и Лопарева, и Рязанцева, и Вершининых, старшего и младшего, но главное было не в этом; свой страх она могла бы, наверное, преодолеть. Главное было в том, что Рита все время боялась и страшилась чувства брезгливого недоумения, которое, ей казалось, она вызывала теперь всем своим видом, своим голосом, просто своим присутствием. Она должна была уйти из лагеря, убежать — все равно куда, но только убежать сейчас же прочь от людей.

Собрав кое-какие свои вещи, она уложила их в рюкзак. Стала ждать, когда погаснет костер, когда все уснут.

Она даже пожалеть не могла себя, не могла жалеть себя отдельно от несчастья, которое вдруг возникло во всем и во всех кругом, такого большого, что перед ним ее жалость совершенно ничего не значила.

Наконец в палатке, прямо над головой, появилось бледное крадущееся отражение луны. Время настало...

Она вышла с белым полотенцем через плечо, как будто перед сном еще раз решила умыться на ручье.

Ночь наступила прохладная и светлая. Сразу же за лагерем вилась тропа, и только спустя час, может быть больше, Рита спросила себя: куда она идет?

Вспомнила, что тропа где-то за небольшим перевалом должна выйти на проселочную дорогу, а дорога — к тракту. На тракте она сядет в первую же машину и уедет в Бийск. Что будет дальше, безразлично. Безразлично даже, идти ли в сторону тракта или в какую-то другую сторону. Ей нужно было ощущать, как с каждым шагом увеличивается расстояние между тобою и людьми, от которых ты уходишь. По мере того как ощущение это приходило к ней, она снова могла о людях подумать. Рядом с ними — не могла.

Ей нужно было, чтобы люди не только ее простили, но и навсегда забыли, что когда-то им довелось прощать ее. Но ведь они никогда не забудут ни ее вины, ни своего прощения, если даже простят? Никогда!

Только один человек способен был это сделать, только к одному она сейчас, сию минуту могла бы прильнуть, выплакаться у него на руках и до конца поверить в его прощение. Этот единственный человек совсем недавно был рядом с нею. Она его погубила.

Если бы она погубила кого-то другого, для раскаяния оставалась бы Онежка. Если бы!

Все, что Рита теперь видела и слышала, все-все это было уже увидено, услышано, пережито и передумано Онежкой, и сколько бы Рита ни просуществовала на свете после нее, она никогда не достигнет понимания чего-то, что понимала эта маленькая девочка.

И Рита шептала Онежке ласковые слова, те слова, которые берегла для нее одной с первой их встречи.

В этом ласковом, тревожном и страстном шепоте сначала не было ничего странного. Они шли вместе, рядом, все в гору, среди огромных камней, чуть-чуть освещенных луной с одной стороны и черных как уголь с другой.

Но потом Рита вдруг поняла, что она одна...

Смысл одиночества был жесток. Стало казаться, будто она одна всю жизнь и всю жизнь стремится неизвестно куда, неизвестно зачем, а на этом бесконечном пути только что случилась первая и последняя встреча — Онежка встретила её. Было такое мгновение, и Рита не успела даже спросить у Онежки, куда она идет, куда ведет тропа.

Вошла в лес.

В лесу она сразу же потеряла бы тропу, но тут была поляна — правильный круг излучал темно-синий свет и казался отверстием в глубь земли. Из отверстия же появилось что-то живое.

Это живое и огромное обернулось на звук Ритиных шагов и застыло: должно быть, рассматривало ее.

Рита не испугалась, протянула руку и оперлась на ствол какого-то дерева. Стала ждать, что случится дальше.

Блестящий фосфорический глаз уставился на нее, слышно было дыхание, скрип зубов, похрапывание.

Потом живое попятилось и заржало — это была лошадь.

Раздался голос:

— Какой человек ходит?

Все стало понятным — на поляне кормилась лошадь, а где-то здесь, рядом, кто-то ночевал.

— Какой человек ходит? — снова спросил голос, и теперь Рита увидела слабый свет тлеющих углей и темную, едва различимую фигуру.

— Человек... — ответила она. — Обыкновенный...

— Баба?

Рита промолчала.

— Девка?

Костер вспыхнул ярче, а перед костром на коленях, в огромной меховой шапке, вся в пестрых бликах, возникла странная фигура.

Рита подошла ближе. У костра сидел старик алтаец — редкие волосы торчали у него на подбородке, из-под лохматой шапки глядели узкие глазки.

— Сопсем живой девчонка! Скажи, откуда взялся, сопсем живой! Садись!

Рита присела на корточки. Старик еще поглядел на нее и сказал:

— Твой палатка четыре штука там стоит? — Показал рукой в сторону, откуда Рита пришла.

Она пожала плечами.

— Должно быть, там...

— Большой дорога бежишь? Бийск бежишь?

— Бийск...

— Ай-ай! Какой-такой начальник? Куда глазам глядит? Ай-ай! Какой начальник — один девка хоронил, другой девка ночью лес бежит! Собрание надо, говорить ему надо, учить надо — вот что!

Помолчав, Рита ответила:

— Он нисколько не виноват, наш начальник. Совсем не виноват. Другие виноваты.

— Ты?

— Что — я?

— Бестолковый девка! Ты виноватый?

Рита не отвечала.

Старик сказал:

— Тогда тебе собрание надо делать... Тебе говорить, зачем ночью лес бежишь? — Еще поглядел на Риту, пошевелил веточкой огонь. — Сам не знает, почто бежит, вот какой умный девка! Почто твой начальник будет отвечать? Ай-ай!

Сердито стал набивать трубку с длинным и тонким мундштуком.

Покуда не говорил ни тот, ни другой, потрескивал костер, как будто тоже вмешиваясь в разговор.

— Ты, значит, дед, здешний? О нашем лагере все знаешь?

— Здешний зачем лес ночевал? Здешний дома спит, избе спит, подушка под голова... Дальний. Шибко дальний я. Чулышман-река слышал? Улаган район слышал? Вот как дальний!

— А про лагерь знаешь? Откуда?

— Не шибко старый еще... Глаза глядят, ухо слышит. Коня сам седлаю, верхом сажусь — пенек не надо. Верхом еду, гляжу, людей слушаю, как не знать? Все знаю...

— Куда же едешь?

— Горный еду.

— Горно-Алтайск?

— Туда... Сына глядеть надо.

— Маленький сын?

— Зачем маленький! Сопсем большой начальник! Радио говорит — все слушают. Район поедет — все знают, все здороваются. Однако отец все равно надо глядеть. Думаешь, нет?

— Надо... Обязательно.

Старик запахнул на себе пеструю потрепанную шубу, прислонился спиной к неуклюжему обгорелому пню, держа обеими руками трубку. Вдохнул.

— Конь ногу портил. Шибко ехать, после коня ферму сдавать, черных лисиц кормить. Жалко — умный конь, хороший конь, который год вместе ездим сына глядеть. Здесь такой конь не найдешь, нет. Такой конь Чулышман живет, давно там живет. От Сартакпая остался.

— Сартакпай кто?

— Человек. Силы было много.

— Герой?

— Зачем — герой. Как надо все делал, сильный. Правый рука видел? — Старик поднял руку. — А?

— Вижу.

— Палец видел? Этот? — Сжал руку в кулак и, внимательно рассматривая ее, как бы ожидая чего-то необыкновенного, медленно разогнул указательный палец. — Тоже видел?

— Тоже.

— Сартакпай палец вот так — борозда делал! — Старик провел пальцем по золе и не остывшим еще углям. — Борозда делал — Чулышман-река побежал...

— Обожжешься, дед.

— Сартакпай левой рукой все равно правильно делал: вот так Башкаус-река побежал! — Еще провел в золе бороздку. — Вот!

— Сказка...

— Правильно делал, какой-то сказка? Сартакпай сына ждал — тоже сильный был. Ушел Катунь-реку делать. Три дня сына ждал. Три дня палец к земле прижимал. Когда поднял палец, там озеро уже. После русские пришли, Телецкое дали имя! По-нашему — Алтын-Коль. Все правильно! Вот! Гляди! — Показал на золу около костра — там были знакомые очертания географической карты Алтая: Чулышман, Башкаус, Телецкое озеро, Бия. — По-другому знаешь, рассказывай, слушать буду!

— Дождался сына? Сартакпай дождался?

— Как можно — не дождался! Они после Бию-реку, Катунь-реку вместе брали, один Обь делали. Далеко Обь-река бежит — ей дорогу тоже делали... В море. Знал, как правильно делать. Сартакпай. Сына учил Сартакпай. Ты знаешь?

— О чем?

— Как правильно делать?

— Не знаю.

— Почто?

— Силы нету...

— Правильно делай — сила будет. Ночью девка лес бежит, как увидит? Услышит как? Дорога куда? Нет дороги! Сопсем худо! Откуда сила?!

— Что же делать, если одна?

— Зачем одна? Ночью? Неправильно. Днем людей гляди, кто учить будет правильно делать! Кто девку бабой к себе возьмет?

— Никто!

— Зачем говоришь? Из бестолковой девка очень хороший баба может получиться!

Она могла только слушать, сказать же, объяснить что-то старику ничего не могла: ни своего удивления — старик этот знал о смерти Онежки и за Ритой сразу же угадал вину; ни своей благодарности — он ее не ругал, не упрекал за то, что она убежала от наказания; ни своей признательности за его доброту не могла высказать, за то, что он верил — она и сейчас еще может вернуться в лагерь...

«Ночью девке дорога куда? Нет дороги».

А она глядела в старческие черты и все сильнее и сильнее охватывало ее такое чувство, будто она уже где-то видела старика, слышала его... Давно-давно. Так давно, что не вспомнишь, когда это было.

Могла вспомнить только одно: всякий раз, когда люди говорили ей что-то необходимое для нее, приходило это ощущение, словно они напоминали ей о чем-то известном, но забытом.

Вот так все повторяется: ведь уже было однажды, что Рита шла по лесу с Андреем, страшно боялась его и только тогда поборола свой страх, когда вспомнила о Левушке — какой он хороший, какой милый.

У такого же костра вспомнила, и ветви тогда над головой такие же были черные, молчаливые.

Сломала о колено сухую ветку и обе ее половинки бросила в огонь. Из темноты к ней приблизились невидимые прежде деревья. Тогда они тоже к ней приближались.

Всего девять дней прошло с тех пор. Только девять. Она еще раз сосчитала и повторила: «Девять, девять»; и обрадовалась: значит, не так уж давно? Значит, не так трудно к недавнему вернуться?!

Гораздо дальше показалось все, что в действительности было еще ближе, всего лишь несколько дней назад: все, что случилось с Онежкой; все, что случилось в избушке пасечника; все, чем смутил ее Андрей и чем она его смутила. Ничего этого будто и не было: Рита как сидела у костра, думала о Левушке, называла его «милым», так и сидит с тех пор, только вот старик еще появился у того же костра. Она же по-прежнему объята ощущением Левушкиной милости. К милому и милостивому она вернется такая, какая есть, и заплачет у него на руках. Пусть он помирит ее со всеми, попросит за нее прощения у всех, объяснит ее всем-всем людям, она же после этого будет чувствовать его сильнее, чем себя, будет такой, какая ему нужна, всегда будет его частью!

Пойти ко всем и пойти к одному Левушке — это казалось ей теперь чем-то неразличимым, совершенно одним и тем же.

На поляне едва заметно вспыхивали и гасли клубочки неяркого света — луна отражалась в травах, словно на поверхности воды.

Лунными бликами громко похрустывала на зубах лошадь, пофыркивала, а иногда затихала, словно изумившись чему-то, куда-то вглядываясь. Наступала вдруг тишина, и Рита тоже прислушивалась тогда к робким лесным шорохам.

Закралось сомнение: а вдруг Левушка ее не спасет? Но это только на какой-то миг, а потом она стала думать, как вернется в лагерь, и первый, кого она там увидит, будет Левушка.

Тихонько приподнялась с рюкзака, на котором сидела.

Старик как будто врос в огромный пенёк. Под этим пнем путники не раз уже разжигали костер, огонь выжжет дупло, и старик весь умещался в нем, положив руки на колени, а голову, чуть склоненную к правому плечу, на руки.

На лицо падали отражения угасающего костра, и первые проблески утра Рита тоже заметила на нем, на его щеках, в неглубоких глазницах. Эти проблески были неяркими, они казались отражением чего-то вдруг вошедшего в ночь, в темное, еще звездное небо, в крепко спящий лес.

— До свидания, старик!

Потом, торопясь и задыхаясь, Рита спускалась вниз по тропе; камни были уже светлыми, они даже показались ей прозрачными.

Она думала о Левушке.

Как-то она расскажет ему о встрече со стариком, как-то он поймет, почувствует и ее и этого старика?

Нынешним утром обязательно должно было последовать какое-то продолжение этой встречи, продолжение чего-то настоящего, спасительного.

Левушка тоже знал, что оно придет, это спасительное, знал и ждал его, потому все время в эти дни он так смотрел на нее умными, красивыми глазами.

Скорее, скорее к Левушке!

И действительно, так было: Реутский то и дело погружался теперь в нелегкие размышления о Рите и о себе.

События, которые произошли в лагере за последние дни, казалось ему, открыли перед ним в Рите все, он всю ее теперь угадывал.

Какие у нее глаза стали вдруг: испуганные, неуверенные, даже мольбу он видел в них. Никогда прежде Реутский не подозревал, что она так может на кого-то смотреть, так взывать! Так волновать... Даже больше, чем в тот час, когда по пустынным улицам они вдвоем возвращались с бала во Дворце культуры.

«Раз-два, раз-два...»

Нет, это воспоминание не вызывало в нем больше ни обиды, ни горечи. Это было, это прошло, а судьба снова привела к нему Риту, теперь уже с мольбой во взгляде, смятенную и покорную.

И вот его дело, дело его одного решить: нужна ли ему Рита такой, какой она стала? Решить сейчас же!

Пройдет время, и Рита справится с нахлынувшим на нее раскаянием, с растерянностью, а тогда уже ни за что не простит ему того, что он не простил ее в трудные, полные отчаяния дни. Пройдет время, и как бы она ни была перед ним виновата, виноватым окажется он. Она не простит нынешней своей готовности покориться, никогда уже не отзовется на его ласку и внимание.

Сейчас, сию минуту или никогда!

Если бы только у него было время — месяц, два месяца, полгода, — для того чтобы привыкнуть к новой Рите! К такой Рите, которой она стала после путешествия с Андреем, о которой ему говорила пасечница в зеленой кофте!

Если бы он мог отложить все это до конца экспедиции, когда не будет свидетелей его унижения! Не будет рядом Лопарева и Вершинина-старшего, которым он сам рассказал, кто для него Рита и как она изменила ему, главное же — не будет лопуухой, невозмутимо нахальной физио-

номии младшего Вершинина, при виде которой Реутского бросало и в жар и в озноб, в горле что-то пересыхало и появлялось такое ощущение, как будто он заболевает жуткой ангиной, даже какая-то злокачественная опухоль, казалось, не позволяла ему свободно дышать.

Стоило ему увидеть Андрея, только услышать его, и воображение рисовало подробности всего того, что происходило между Андреем и Ритой в лесу и в избушке пасечника.

Сейчас или никогда!

А между тем нужен был срок, нужно было время, чтобы остаться с Ритой наедине, чтобы задавать ей вопросы — один, другой, третий, множество вопросов, чтобы, выслушав ее, предаться обидам и горечи, и только после этого Риту понять, простить и наконец полюбить еще раз обновленной его и ее страданиями любовью.

Но такой это был человек — Рита, такая это была женщина, что даже в раскаянии она оставалась жестокой: сейчас или никогда!

Ее можно было раз и навсегда отвергнуть или тоже раз и навсегда покориться ей, но не дай бог при этом улыбнуться снисходительно, хоть словом, хоть взглядом показать, что не она тебя, а ты ее прощаешь!

И никогда ты не будешь иметь права напомнить ей о своем великодушии, о ее падении. Никогда!

Сама она об этом, должно быть, тоже не забудет, станет помнить, станет с тобою ласковее и нежнее, доступнее и покорнее, но не дай бог когда-нибудь в минуту раздражения упрекнуть ее!

А возможно ли это — промолчать всю жизнь?!

Ах, жизнь, жизнь!

Если бы ты был уверен, что время — месяц, два месяца, полгода — позволит заглянуть в отдаленное будущее и увидеть, что же с тобой будет, чего ты сможешь и чего нет. Но и через полгода ты, по-прежнему ничего не понимая, протянешь руки: «Милая...»

Единственно, что он мог себе позволить — еще на один час, на один день отложить разговор с Ритой.

Она мучилась, убежала в горы, там, должно быть, заливалась слезами, и это как-то оправдывало его собственные тревоги, было странной, но все-таки наградой от жизни за все, что он переживал.

Чуть-чуть, самым краешком и очень дорогой ценой, но все-таки жизнь была, кажется, к нему справедлива.

Еще и еще он хотел бы продлить Ритины страдания, но это был безумный риск — ночами он просыпался с уверенностью, что вот сейчас миновала та минута, когда Рита уже справилась со своей растерянностью, с раскаянием, и теперь никогда не простит ему то, что он не простил ее. Никогда!

И Реутский вскакивал, торопливо одевался, дрожа от холода в эти уже по-настоящему осенние часы, и ходил вокруг Ритиной палатки, ожидая, когда же она выйдет, чтобы кинуться к ней, в одно мгновение решив все. Увидев же ее, он с первого взгляда убеждался, что отчаяние Риты стало за ночь еще сильнее. Как она была бледна, как, сжимая губы и опустив лицо, молча взывала к нему!

А почему бы он не мог поступить так, как поступил с нею в лесу Андрюха?! Ведь он же мужчина, заместитель декана, а не какой-нибудь там двадцатилетний сопляк!

Начать с этого, сделать это и забыть, как будто ничего не было, ничего больше его не касается. А потом видно будет, что-то станет яснее и понятнее, в чем-то он почувствует больше уверенности и сил.

Не мог...

Если бы он однажды Риту обнял, только прикоснулся к ней, все в тот же миг решилось бы дальше без его участия.

Вот так же он не мог раз и навсегда обещать себе, что никогда не сделает Рите ни одного упрека, не мог быть таким же нахальным и подлым, как Андрей.

Почему даже в тех случаях, когда жизнь была к нему благосклонна, эта ее благосклонность оказывалась какой-то запретной и тайной?

Реутский часто вспоминал теперь, что нет худа без добра.

Рита изменила ему, обманула... Но именно поэтому она теперь в его власти.

Умерла Онежка. Это всех потрясло, его, Реутского, не меньше, если не больше других. И это потрясло Риту тоже.

А если бы потрясения с ней не случилось, Рита могла бы и не опомниться, могла бы, помахав рукой Вершинину-старшему и ему, Реутскому, уехать в луговой отряд к Свиридовой, а вслед за нею туда пришел бы пешком Андрей. Вот как могло бы все случиться.

Онежка всегда как-то очень снисходительно, без уважения относилась к Реутскому, он это прекрасно видел. Она относилась к нему даже с пренебрежением, но умела делать это так, что никто, кроме него самого, ничего не замечал. Пожалуй, только в этом и проявлялось уважение Онежки к его возрасту, положению, ко всей его личности.

Но долго ли так могло продолжаться, Реутский не знал.

Бывало, каждый вечер перед сном Онежка о чем-то едва слышно перешептывалась с Ритой в палатке. Этот шепот мог быть о чем и о ком угодно, о нем тоже. Разве не могло быть, что свое неуважение к Реутскому Онежка вдруг решила бы внушить и Рите?!

Теперь в палатке Рита жила одна...

Ах, жизнь, жизнь! Вот она какая! Нет худа без добра.

Нынче Реутский спал крепче, чем все другие ночи после смерти Онежки. Вчера Рита была особенно тревожна, вчера ее чем-то обидел невежа Лопарев.

И все-таки Реутский проснулся рано, почувствовав, как сомнения снова подкрадываются к нему. Встал, оделся, со всех сторон обошел Ритину палатку.

В палатке было так тихо, что ему показалось — там никого нет.

Поглядел кругом внимательно: на росной траве нет следов, никто не подходил и не выходил из палатки.

«А вдруг?» — мелькнула мысль, схватив его за горло, и тихо-тихо заставила его приблизиться к палатке Вершининых. Прислушался: громко, на разные лады, похрапывал старший Вершинин, а младший вторил ему легким посапыванием.

Реутский вздохнул, оглянулся кругом, посмотрел в небо.

Солнце не поднялось еще над горами, но откуда-то издалека оно уже освещало множество небольших кудрявых, почти одинакового размера облачков, которые, словно барашки около водопоя, толпились вокруг светло-синего круглого, очень близкого и тоже небольшого неба. Они подталкивали друг друга к этой прозрачной синеве и тут же безмолвно в ней утопали.

Тихо было кругом. Грустно стало Реутскому.

Он знал за собой способность заранее угадывать неприятности в отношениях между людьми еще задолго до того, как они действительно возникали.

Стоило ему однажды увидеть Лопарева, и он уже знал, что Лопарев обязательно и очень крупно поссорится с шефом.

Когда же Лопарев на руках вынес Онежку из леса, ему тоже с первого взгляда стало ясно, что везти Онежку в больницу уже бессмысленно.

Что-то тревожное, как бы далекое-далекое, но все-таки мерцало ему и сейчас... Что за тревога?

Вдруг он подумал, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к Рите и скажет ей все. Именно сегодня! Решение было неожиданностью, но с этой минуты он твердо знал, что не будет больше мучить себя и ее.

И Реутский почувствовал то спокойствие, которого еще не было, но которое он сегодня же обретет. Спокойствие будет счастливым и благородным!

Он снова отошел к своей палатке и снова стал смотреть, как белые кудрявые барашки исчезают в небе, а небо разливается все шире, становится все синее.

Но теперь уже не было грусти. Теперь он даже предчувствовал, что вот-вот к нему приблизится какая-то радость.

Послышалось, будто кто-то тихо позвал его. Он не поверил, подумал, что так показалось.

Зов повторился, это его испугало. Он обернулся, придерживая одной рукой очки, другой — бородку.

Зов повторился снова, сомнений быть не могло — звала Рита.

Реутский сделал несколько шагов, перепрыгнул через узенькую канавку ручейка и увидел ее.

У ног Риты лежал рюкзак, она была в шароварах, в стеганой куртке. Шляпа висела на шнурке за головой, и на фоне светлого круга отчетливо выделялось смуглое лицо.

Лицо побледнело, оно вздрагивало, и огромные, тоже вздрагивающие, глаза смотрели на него — что-то хотели и боялись увидеть.

— Левушка...— сказала Рита.— Подойди же!

А когда он сделал к ней несколько шагов, сказала:

— Подожди, подожди! Ты простишь меня? Скажи сразу?! Ты можешь это?

Реутский молчал, чувствуя, как охватывает его и благородное и безмятежное счастье, то самое, что всего лишь несколько минут назад было его мечтой...

Единственно, в чем он еще дал себе отчет: «Не я первый подошел и позвал вот так! Не я! Первая — она!»

И протянул к ней руки.

— Милая...

*(Окончание следует)*



---

## ИЗ ЧУВАШСКОЙ ПОЭЗИИ

ЯКОВ УХСАЙ

★

### *О лошади*

Как давит, сыростью замучив,  
Пора осенняя — нет сил!  
Вот и сегодня небо в тучах,  
Вот дождь опять заморосил.

Сидеть бы дома, но лентяю  
Все как-то тесно за столом.  
Меня в поля сегодня тянет,  
Разлегшиеся за селом.

Не знаю сам, чего уж ради  
Так разуважили меня,  
Но дали на день мне в бригаде  
Еще не старого коня.

Мой плащ обнюхав не без вздоха,  
Лизнув мне руку, он судить  
Стал обо мне, видать, неплохо,  
Решив, что я не буду бить.

Конь прожил три-четыре лета,  
Не толстый он и не худой.  
В трудах иссохшего поэта  
Прокатит запросто Гнедой!

Мой конь везет меня, ступая  
Там, где посуше.

— Слушай, брат! —

Так говорю я, начиная  
Импровизировать доклад.—

Трудясь на пашне неустанно,  
Отдать все силы до конца  
Готов был предок твой. У хана,  
У шахиншаха и купца

Он тоже был в цене: металла  
Пусть было мало в старину,

И все же золота хватало,  
Чтоб лоб украсить скакуну.

А умирал военачальник,  
Так в час прощанья роковой  
С ним конь делил удел печальный,  
Его товарищ боевой...

Мой друг, ты весел был сначала,  
Ты даже прыгал подо мной!  
С чего же вдруг и прыть пропала,  
И стать не та, и шаг иной?

Брось! О былом почете слыша,  
Подумай сам: что пользы в том?  
Держи-ка голову повыше,  
Маши густым, как сноп, хвостом!

Пусть нынче ты не в моде. Право,  
Неважно: мной ты не забыт,  
И в песнях всех народов слава  
О верной лошади гремит.

Еще не сдан ты в пыль архива,  
Ты жив в поэзии всегда:  
Как «Отче наш», я «конь ретивый»  
Запомнил в давние года.

Коня мы вспоминаем в сказках,  
О нем и в песнях мы поем,  
В них бог, и тот с ним добр и ласков  
В небесном царствии своем.

Издохнет тварь — и что ж чувашин?  
Насадит череп он на жердь,  
И мор любой с ним был не страшен —  
Его сама боялась смерть.

Будь ты с конем — за человека  
Тогда б тебя лишь и почли,  
И замуж девушки от века  
За безлошадного не шли.

Ну что ж, гордись, что ты до этих  
Времен в преданьях дожил, брат.  
И то ведь: кто на белом свете  
Твоей подмоге был не рад?

Ведь сам прославленный Суворов  
Измерил Альпы на коне  
На недоступной и для взоров  
Обледенелой вышине.

Но в наши дни, лихие кони,  
Ваш пал престиж в подлунной. Тут  
На вертолетах от погони  
Теперь агрессоры бегут.

И на селе цена упала  
На сивок. То-то славный вид:  
Теперь в кабине самосвала  
Проехать каждый норовит.

Старуха, та, которой прочат  
Давно могилы тлен и пыль,  
Догнать не молодость ли хочет,  
Спеша залезть в автомобиль?

Мой друг-товарищ бессловесный,  
Пускай не чтут тебя! Пускай!  
А ты гордись работой честной  
И головы не опускай!

Я лошадей люблю. Мальчонкой  
В ночном их пас, бывало, я  
И на заре струю звонкой  
Поил из чистого ручья.

С конем измерил бороною  
Свой клин в длину и в ширину.  
Всегда он добрым был со мною,  
И я его не попрекну.

На масленице брал я вожжи,  
Когда бедовым парнем стал,  
И наших девушек пригожих  
В широких розвальнях катал.

Где годы буйства и отваги?  
Где все, чем память дорожит?  
Нет! Как бывало, по бумаге  
Перо теперь уж не бежит!

«Ах, молодость! Ах, как печально,  
Что я тебя уж не верну!..» —  
Шепчу я, глядя машинально  
Густеющую седину.

Прощаясь с молодостью милой  
И, лошадь, старый друг, с тобой,  
Встречаю я, чуть-чуть унылый,  
Рубеж свой полувековой...

Мой друг-товарищ бессловесный,  
Пускай не в моде ты! Пускай!  
А ты гордись работой честной  
И головы не опускай!

Увы! Ты не успел родиться  
К войне гражданской, смиренный конь,  
Когда на белых мчался птицей  
Твой славный прадед сквозь огонь...

Ведь что ты нынче для солдата?  
Ему ракету подавай!  
Поля взял трактор без возврата,  
Хоть впрямь ложись, околевай!

Твой век прошел, дружок мой милый:  
Пока тебя я запрягу,  
Корабль воздушный белокрылый  
За тучи взмлет на бегу.

Или старик чуваш, к примеру,  
Затопит баню, и как раз  
Ракета, резвая не в меру,  
Прорежет небо в тот же час.

И вот пока, попарив тело,  
Он станет голову скрестит,  
Глядишь — ракета пролетела  
Уже примерно полпути.

Казался, конь, ты мне когда-то  
Сильнее силищи любой.  
Ну а теперь, скажи-ка, атом  
Тягаться станет ли с тобой?

Ну что он, воз твой, друг мой милый.  
Когда машина у людей  
Везет поклажу, что под силу  
Ну разве сотне лошадей?

Коль запрудили даже Волгу,  
Коль вглубь прорыли недра гор,  
Искать тебе пришлось бы долго,  
С кем мог бы выиграть бы спор.

В числе немногих я с тобою  
Доныне в дружбе состою,  
Готовый строчкою люблюю  
Восславить преданность твою.

Но что же стал ты, огорчаясь?  
Встряхнись! Скачи во весь опор —  
История, я все ж ручаюсь,  
Тебя не выметет, как сор.

Когда на Марс мы ездить станем,  
Ну как на станцию Канаш,  
То лошадь, став почти преданьем,  
Как редкость, быт украсит наш...

Ах да! Не хочешь ли ты сена  
Или попить? Как стыдно мне:  
Сам не забыл о плоти брэнной,  
А не подумал о коне!

Мне взять с собою было б надо  
Хоть хлеба, что ли, прозапас.  
Я ж накормил тебя докладом,  
Как это водится подчас.

К тому ж толкал меня лукавый  
Тебя подхлестывать уздой...  
Сверни-ка лучше к дому, право!  
Наддай-ка ходу, друг Гнедой!

*Перевел Борис Иринин.*

### ГЕННАДИЙ АЙГИ



### *Куст сирени в ночном саду*

Как в глыбе ледяной  
Луч света отраженный,  
Сияет под луной  
Сирени куст граненый.

Гроздь — белая гора,  
Пришедшая в движенье.  
В ней сон или игра,  
И рост, и разрушенье.

Соцветья, лепестки,  
Они, как метки мелом, —  
Летающие кружки  
То в голубом, то в белом.

И в синем белый цвет  
Теряется для взгляда,  
Как семафора свет  
Во время снегопада.

Я двери затворю.  
Я встану перед дверью.  
Без памяти смотрю  
На гроздья, кисти, перья.

Так застываешь вдруг  
Когда сойдешь с трамвая,  
В толпе движенье рук  
Знакомых  
узнавая.



## Снег

Рядом со снегом  
Странны цветы на оконце.

Ты улыбнись мне,  
Хотя б потому,  
Что говорить не умею  
Про то, чего сам не пойму,  
А говорю:  
Снег, стул, ресницы и солнце.

Руки мои  
Далёки и просты.  
И оконные рамы  
Словно вырезаны из берёсты.  
И вокруг фонарей,  
Если к ним приглядеться,  
Кружится снег  
С самого нашего детства.

И так будет кружиться, пока фонари горят,  
Пока о тебе вспоминают  
И с тобой говорят.

Я где-то увидел  
Эту кружащуюся пургу,  
И закрыл глаза, и сомкнул ресницы.  
А белые искры  
Продолжают кружиться.

И остановить их  
Я не могу.

*Перевел Д. Самойлов.*

★

## Сказка

На мокрой пойме, у затона,  
С гусями день проходит мой,  
И только в сумерках я сонно  
Бреду меж ветлами домой.

Всхожу на мокрое крылечко,  
Как будто дождик здесь прошел.  
А в доме выбелена печка,  
Сверкает высокобленный пол.

Мать, на огне котел приладив,  
Спать на сундук кладет меня.  
И в сладком полусне, не глядя,  
Я вижу отблески огня.

Гудит огонь, по знакам тайным  
 Нет-нет и шелкнет сук сырой.  
 И мне гусиным гоготаньем  
 Те звуки кажутся порой.

Я вижу: вспыхивают искры —  
 То на котле горит зола.  
 И точки огненные быстро  
 Гурьбой снуют вокруг котла,

Как будто то девчата стаей  
 В лесок по ягоды идут...  
 Нет никого, я это знаю,  
 И только ты со мною тут.

Меж трав проходишь ты, руками  
 По сторонам их разводя,  
 Сквозь сон мой легкими шагами  
 В мою судьбу переходя.



### *Зимние ночи*

Тут считай не считай, а душ двести сполна  
 Только в наше село не вернула война.

Вот хотя б, со старухой оставшись сам-друг,  
 Четверых потерял на чужбине Ярук...

На гулянках, на свадьбах шумит молодежь,  
 Стариков по углам за беседой найдешь.

Чуть разбудишь ты память — и звездами в ней  
 Загорятся глаза тех погибших парней.

И под медленную стариковскую речь  
 Мне и больно и сладко ту память беречь.

Словно вдруг повзрослев, возвращаюсь домой  
 Весь в себе, молчаливее ночи самой...

Силясь нить ухватить, я сижу над строкой.  
 Встав, к окну подхожу, вижу — ночь и покой.

Полосами качается снег над селом,  
 Он валит и валит за туманным стеклом.

И снежинки кружатся и тают во мгле,  
И мерцают сквозь них огоньки на селе.

Вижу — будто мужчины сидят у огня,  
Долетают детей голоса до меня.

Там тепло, и теплее становится здесь,  
Да и сам, очевидно, теплею я весь.

И — глядишь — уже в строки стихов потекло  
Незаметно сердечное это тепло.

*Перевел Борис Ирнин.*



---

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

★

## БАЛЛАДА О ЧЕТВЕРТОЙ ЖЕНЕ

*(Из стихов об Африке)*

У человека три жены,  
Три женщины в его жилище  
Белье стирают, варят пишу,  
Заботами измождены.  
До пояса обнажены,  
Они детей качают обших,  
Мотыжат поле. Но не ропщут  
Три черных мужнинных жены.

Четвертая еще растет,  
Она в хозяйстве будет младшей.  
Был выкуп за нее заплачен,  
Когда ей шел десятый год.  
Но дни бегут, подходит срок.  
В слезах, с прикушенной губою  
Она четвертою рабою  
Перешагнет чужой порог.

А старый обладатель жен,  
Сраженный пальмовою водкой,  
Спит на циновке в позе кроткой —  
Во сне девчонку видит он.  
Глотая по привычке дым,  
В угарной хижине храпит он.  
Пытаясь выкурить москитов,  
Три женщины сидят над ним.

Четвертая еще растет,  
Но все упрямей, все упрямей  
Она доказывает маме,  
Что год не тот и век не тот.  
С ней никакого сладу нет,  
Ее не укротишь, пожалуй.  
На черной шее галстук алый,  
А не старинный амулет.

Отбилась девочка от рук,  
И с ней беседует помногу  
Один из строящих дорогу —  
Мальчишка тонкий, как бамбук.

Таких попробуй разлучи-ка.  
Напрасны уговоры все —  
Она пойдет мостить шоссе,  
Сама вернет проклятый выкуп,  
Она не хочет быть иною  
И все испробует пути,  
Чтоб в дом к любимому войти  
Одной-единственной женою.

У человека три жены.  
В его задымленном жилище  
Они стирают, варят пищу,  
Заботами измождены.  
До пояса обнажены,  
Таскают воду из колодца...  
У человека три жены,  
Но он четвертой не дождется.

1961. Гвинея.



---

В. КАВЕРИН

★

## СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ

*Повесть*

*Поворот все вдруг.*

Морская команда.

1

**С**боев сломал нос, слетев с параллельных брусьев. Горбинка придавала его доброму лицу надменное и даже хищное выражение. Он поступил в Училище имени Фрунзе, с трудом вытянув на первый специальный курс, и привык к дисциплине, хотя должен был считать до пятидесяти, когда ему хотелось возразить преподавателю или «уволиться в окно», вместо того чтобы лечь спать в положенное время. С годами ему удалось довести счет до двадцати пяти. Еще и теперь в минуты раздражения он начинал считать, белея, с медленно бьющимся сердцем.

После трех лет службы на флоте все в нем еще бродило и кипело. Вдруг он начинал вдохновенно врать. Он был прост, прямодушен, а казался себе холодным, расчетливым, дальновидным.

В другое время он с легким сердцем встретил бы необходимость потерять два-три дня на скучную командировку. Но катер отходил в тот вечер, когда оперный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко показывал в Полярном премьеру. Московский театр на Северном флоте — само по себе это было событие. Сбоев собирался на спектакль с Катенькой Арсеньевой — это было событие в квадрате.

Года два-три тому назад он относился к женщинам пренебрежительно, как бы допуская неизбежность, без которой, к сожалению, нельзя обойтись. Теперь он любил их всех или почти всех и, сердясь на себя, думал о них постоянно. В Катеньку он влюбился на днях, и, хотя говорил с нею главным образом о знаменитом путешественнике и писателе Арсеньеве, который приходился ей дальним родственником, в воображении она давно принадлежала ему.

Он стоял на палубе, думая о ней, когда показался Мурманск. Высокая стенка шведского парохода медленно прошла по левому борту. Он взглянул на часы. Восемнадцать тридцать. В Полярном, в Доме флота, оркестр сыграл увертюру, занавес поднимается. Катенька сидит в первом ряду с Шуркой Барвенковым. Этот не станет тратить время на Арсеньева с его «Дерсу Узала»! От пробора до новых ботинок все продумано, приглашено, сияет. «И я знаю этот подлый маневр — весь вечер смотреть на девушку, отвернувшись от сцены».

В Управлении тыла Сбоев узнал, что он командирован на грузовой пароход «Онега» сопровождать оружие для строившегося в районе

Западной Лицы аэродрома. Его команда — два матроса — уже ждала его на пятнадцатом причале, оружие грузилось, и дежурный командир посоветовал Сбоеву поужинать в «Арктике».

— Еще успеете, — любезно сказал он.

В ресторане не было мест, и Сбоев мрачно выпил у прилавка стопку коньяку, закусив ее маленьким дорогим бутербродом. Больше он не думал о Катеньке. Матросы встретили его на причале. Он явился на «Онегу» и представился капитану Миронову, грузному красному человеку в потрепанном кителе с несвежим подворотничком.

— Очень рад. Добро ваше погружено. Опаздываем.

— Почему?

— Пассажиры еще не прибыли, — лениво усмехнувшись, сказал капитан. — Впрочем, вот они.

Сбоев взглянул вслед за ним в иллюминатор, из которого открывалась часть причала, свободная от груза. Там вдоль рельсов выстраивались какие-то плохо одетые люди. Охрана покрикивала на них. В грустном свете незаходящего солнца у них были бледные, усталые лица. Старший охранник в подвязанной куртке, со свистком и пистолетом за поясом командовал, и они быстро и, как показалось Сбоеву, ловко опустили на одно колено. Сторожевые собаки, большие овчарки, сидели смиренно по сторонам колонны. Старший сосчитал людей, они встали и по мосткам, переброшенным с пирса, разговаривая и толкаясь, пошли на «Онегу».

## 2

«Онега» был старый пароход, принадлежавший когда-то Соловецкому монастырю. У монастыря был сухой док в бухте Благополучия, рыболовецкие суда и три парохода — «Вера», «Надежда», «Любовь». Бывшая «Любовь», а нынче «Онега» была пароходом английской постройки 1910 года. Прежде на нем ходили монахи, и, хотя теперь уже трудно было поверить, что на мачтах парохода некогда сверкали кресты, в его крепеньком облике, как это ни странно, сохранилось нечто духовное. Он был флагманом монастырского, приносившего большие выгоды флота.

## 3

Сбоев был вынужден пропустить спектакль в Полярном и сопроводить оружие по той же причине, которая привела на борт «Онеги» команду заключенных, отправлявшихся на строительство аэродрома.

Это произошло потому, что была уже создана и энергично действовала военно-морская группа «Норд» под командованием генерал-адмирала Бёма. Норвежцы, беженцы из Финмарка, рассказывали, что новые самолеты ежедневно прибывают на немецкие аэродромы, а корабли — в базы, находившиеся недалеко от границы. Наши береговые посты и корабли все чаще отмечали перископы неизвестных подводных лодок, и пущенное кем-то словечко «перископомания» уже ходило на Северном флоте.

Многие обо всем этом догадывались, некоторые знали. Догадывался Миронов, знал Сбоев. Но относились они к предстоящей и, по-видимому, неизбежной войне по-разному. Сбоев — с хладнокровной лихостью молодого человека, блестяще решившего на выпускных экзаменах тактическую задачу, с честолюбивым предчувствием перемен, которые, может быть, поставят его в один ряд с Нельсоном и Ушаковым. Ничего, кроме потерь, не ждал от войны капитан Миронов. Он вообще уже почти ничего не ждал. Более того — ему не мешало жить это полное отсутствие ожидания.

Были недели и даже месяцы, когда он не пил; он вспоминал о них с отвращением. За вином он оживлялся, становился очарователен, легок, любезен. Это не было поклонением божеству, нашептывающему темные мысли. Вино было для него принадлежностью спокойствия, веселого настроения, счастья. Он удобно устраивался за столом, смеялся, вкусно рассказывал. И все вокруг становилось неторопливым и вкусным.

Война угрожала этим любимым часам за столом. Конечно, и на войне можно было пить, а иногда даже необходимо. Но это было уже не вино, а лекарство.

Он понимал, что его жизнь катится вниз, и старался, более или менее успешно, не думать об этом. Она долго шла вверх — от кока на парусном судне «Серафима» до капитана дальнего плавания, побывавшего во всех цветных морях: Черном, Желтом, Красном и Белом. По-видимому, это был апогей, которого он не заметил. Теперь жизнь двинулась в обратном направлении и хотя еще не вернула его в камбуз, но уже привела на эту «божественную» «Онегу».

Он был слегка навеселе, когда явился Сбоев, и, хотя время было уже позднее, приказал накрыть в «трапезной» — так он называл салон. Сбоев отказался, попросив лишь накормить матросов. Он не хотел обижать Миронова, хотя этот моряк с выпирающим под кителем животом не понравился ему с первого взгляда. Но, не хотя, он как раз обидел его, и не только потому, что отказался сухо. Миронов на «Онеге» чувствовал себя хозяином дома, и просьба о матросах была, с его точки зрения, бестактностью.

Они пожелали друг другу доброй ночи, и Сбоев ушел наверх, в ответную ему лоцманскую каюту. Он заснул быстро, едва успев подумать о неприятном капитане, с которым ему, слава богу, придется провести только два дня. К утру он будет в Западной Лице, а вечером — обратно.

Но Миронов долго не мог уснуть после его ухода. Сбоев напомнил ему сына, директора консервной фабрики, расчетливого дельца, корректного скучного карьериста. Миронов всегда думал, что жизнь хороша, если ей не мешать. Ему мешала мысль о сыне: «Что за поколение, больше всего на свете уважающее тот факт, что оно соблаговолило появиться на свет? Откуда взялись эти сухие лица, это немногословие, честолюбие, хладнокровное сталкиванье товарища в пропасть? Но, может быть, не они, а мы виноваты? Мы ошибались, запутались, перестали доверять друг другу. Ничто не проходит даром».

## 4

Среди заключенных, расположившихся в трюме, было много так называемых «указников», то есть людей, осужденных за прогул или даже только за то, что они опоздали на работу. Но были и настоящие уголовники, приговоренные к длительным срокам заключения. Почти все они, кроме восьми-девяти, сидевших в мурманской тюрьме, встретились впервые в порту. Но отношения, как всегда бывает в таких обстоятельствах, сложились быстро. Первое место среди заключенных занял Иван Аламасов, сильный усатый человек с толстыми плечами. Он был выбран старостой, но не потому, что заключенные почувствовали к нему доверие, а потому, что ему этого хотелось. За краткие часы погрузки он сумел устроить так, что был выбран именно он. Раздавая кашу на причале, он положил себе вдвое больше. Все это видели, но никто не посмел возразить. Когда располагались на ночь в трюме, кое-кто уже лебезил перед ним.

Иерархия, которая сразу же выстроилась в трюме, была основана на том, что, как бы ни относились заключенные друг к другу, с полной опре-

деленностью подчинения они должны были относиться только к нему. С меньшей — к его помощнику Будкову, с еще меньшей — к тем, кому по разным причинам покровительствовали староста и Будков.

Все это образовалось с необыкновенной быстротой, как будто большая группа заключенных только и ждала минуты, когда можно будет подчиниться старосте и Будкову. И действительно, этот порядок был психологически подготовлен, соответствуя неписаным законам тюрьмы.

Аламасов стал старостой не только потому, что мог взвалить на свои могучие плечи вдвое больше, чем любой заключенный; он был силен тем, что мог легко переступить границу обыкновенных отношений людей друг к другу и вступить с любым из них в нечеловеческие, зверские отношения — ударить, избить и даже убить. Он не боялся того, чего боялись они. Это была одна из причин, по которой почти все заключенные сразу же, еще в порту, стали остерегаться его. Он был осужден за двойное убийство на зимовке, и, когда об этом узнали, исключительность и прочность его положения еще возросли в плавучей камере, которая с минуты на минуту должна была тронуться в путь.

## 5

«Онега» не ушла в эту ночь, потому что артотдел флота вдруг спохватился, что оружие, которое было необходимо для одной из дальних батарей, везут на строившийся аэродром, где оно может пригодиться не сразу. Управление тыла задержало пароход, дожидаясь решения командования, которое было занято другими неотложными делами, и, проснувшись ранним утром, Сбоев нашел себя не в Западной Лице, как он предполагал, а в том же мурманском порту, у стенки пятнадцатого причала. Он позавтракал с Мироновым, который снова не понравился ему — на этот раз тем, что подробно и хвастливо рассказал, как в 1937 году на «Аркосе» сменял зимовщиков и какой это был трудный, удивительный рейс. Рейс был действительно трудный, продолжавшийся долго, больше двух месяцев, изобиловавший сложностями, которые Миронов преодолел с необыкновенной настойчивостью и даже остроумием. И рассказывал он о нем всегда остроумно, не хвастливо, а, напротив, подсмеиваясь над собой. Но на этот раз собеседник «не принимал» его, как зритель не принимает затянувшийся спектакль. Сбоев принужденно улыбался, тянул «н-да» и наконец стал с откровенным нетерпением ждать окончания наскучившего рассказа. Он ушел, оставив капитана недоумевающим, не понимающим, почему он так старался понравиться этому надменному мальчишке, и в сильном желании кого-нибудь немедленно обругать. Выйдя на палубу, он обрушился на второго помощника, не исполнившего какого-то незначительного приказа, о котором сам Миронов давно позабыл.

## 6

Утро Сбоев провел в Управлении тыла, выясняя, надолго ли задержана «Онега», и выяснив лишь, что ему все равно придется сопроводить оружие, пойдет ли оно на аэродром или батарею. Мимоходом он узнал несколько новостей, убедивших его в том, что, по-видимому, ему действительно вскоре представится возможность стать в один ряд с Нельсоном и Ушаковым.

Озабоченный, томимый досадой, что он занимается делом, с которым мог бы справиться любой остопоп, он пошел в «Арктику» и встретился там с Федей Алексеевым, товарищем по Училищу имени Фрунзе. Они пообедали вместе. Федя, добродушный румяный весельчак, разгова-

ривая об одном, думал, по-видимому, о другом, и Сбоев приписал эту не свойственную ему отвлеченность все тому же нервному чувству ожидания, с которым он встретился в Управлении тыла. Он ошибся. Не замечая, что он ест и пьет, Федя думал о жене и маленькой дочке. Дочку пора было купать, и Федя надеялся зайти домой, выгадав полчаса. Ему нравилось смотреть, как купают дочку. С оттенком презрения Сбоев заметил, как Федя засиял, когда после неладившегося разговора на крайне важные государственные темы они дошли до этого более скромного предмета. Он потащил Сбоева к себе, познакомил с женой и, оставшись в тельняшке, стал озабоченно пробовать толстым голым локтем приготовленную в корыте воду. «Чем они гордятся? — с недоумением думал Сбоев, пока Федя с женой, умильно приговаривая, осторожно поливали завернутую в пеленку дочку.— А ведь гордятся! И жена усталая, но счастливая, и ей все равно, что волосы кое-как заколоты на затылке, а под распахивающимся капотом показывается грудь».

Он простился, ушел и оставшиеся полдня бродил по Мурманску, разглядывая встречающихся женщин. «Ну, эта старовата,— подумал он о женщине лет тридцати, принимавшей товар с грузовика, подъехавшего к промтоварному магазину.— А вот эта, да! Подойти, что ли? Впрочем, к чему? Ведь сегодня ухожу. Ну, перекинемся двумя-тремя словами, и только».

Все-таки он заговорил с девушкой, которая, постукивая каблуками, шла перед ним с перекинутым через плечо макинтошем. Она работала в библиотеке, и Сбоев на всякий случай записал ее телефон. Она забавно пожимала плечами, смеялась и была похожа на Катеньку, но еще больше — на всех других девушек и женщин, с которыми он, Сбоев, знал бы, что делать, если бы у него было время. Но времени не было, и, раздосадованный, жалея себя, он вернулся на «Онегу».

## 7

День утомительного безделья, когда Сбоев, не зная, куда себя девать, бродил по Мурманску, был для старосты Аламасова днем напряженной, неутомимой работы. Это была не физическая работа, хотя Управление порта воспользовалось тем, что «Онега» задержалась на сутки, и договорилось, чтобы заключенные грузили другие суда. Узнав, что их отправляют на Западную Лицу, Аламасов придумал план побега, который с каждым часом казался ему все более осуществимым.

Он знал, что дело, по которому он был осужден на десять лет, пересматривается, и боялся, что новые обстоятельства изменят в худшую сторону сравнительно мягкий приговор. А за десятью годами шла высшая мера.

Для побега нужно было осуществить другие, более близкие планы. Это и была работа, которой он занялся с поразительной последовательностью и энергией. Прежде всего он подчинил Будкова, тоже силица и человека с зверской наружностью, но в сущности податливого и психологически слабого. Будков был поездным вором. Он усыплял пассажира и, стащив его чемодан, прыгал с поезда на полном ходу. Иногда ему помогал товарищ. Он хорошо одевался, вежливо беседовал с попутчиками, заботился о женщинах — все это было нетрудно для него, потому что он действительно был добродушен и мягок.

Нарядный, в модном костюме, он вернулся в Мурманск к родным и узнал, что отец второй год разыскивает его по всему Советскому Союзу. Он был поражен. Он сам поехал искать отца и на первом же перегоне стащил чемодан у рассеянного соседа. Борьба с самим собой, которая началась с этой поры, превратила здорового огромного парня в невра-

стеника, готового заплакать от пустячной обиды. Дважды он поступал на работу, заранее отказываясь от командировок. Он лечился у гипнотизера. Все было напрасно.

Наконец его товарищ, прыгнув с поезда, разбился насмерть о Волховский мост — это решило дело. Будков вернулся в Мурманск, поступил на курсы строймастеров, женился. Он больше не воровал — болел, томился, но бросил. Иногда, чтобы отвести душу, он таскал, что придется, в театре или в магазине и швырял в ближайшую урну.

В тюрьму он попал не за воровство, а за незаконный отстрел лося. Это казалось ему несправедливым, тем более что при аресте он почти не сопротивлялся — во всяком случае, никого не убил и не ранил.

Староста овладел Будковым, расположив его к себе своим сочувствием и удивлением по поводу несправедливого приговора. За разговором он поделился с ним табаком, оставив себе меньшую долю. Будков, не куривший несколько дней, чуть не заплакал от признательного волнения. До поры до времени староста решил не говорить ему о своем плане. Но он намекнул на побег, и, как ни странно, именно этот туманный намек произвел на Будкова особенно сильное впечатление. В тюрьме Будков — теперь уже семейный человек — снова стал вором, и побег был для него возобновлением той рискованной жизни, о которой он невольно мечтал.

Возможно, что, если бы староста рассказал ему свой план до конца, он мгновенно отрезвел бы, потому что прекрасно знал расположение окрестных баз и рыболовецких факторий, и ему ничего не стоило доказать Аламасову всю практическую неисполнимость затеи. Но староста не только почти ничего не сказал Будкову, но объяснил, почему до поры до времени приходится молчать, и хотя объяснение было основано лишь на одной неопределенной фразе: «Сам видишь, какая обстановка», — Будков сразу же и охотно согласился. Он не понимал, почему должен был опускать глаза, когда староста смотрел на него в упор своими неестественно черными глазами. Он заметил, что и другие заключенные не выдерживали этого пристального, неутомимого, властного взгляда и так же, как Будков, покорно опускали глаза.

## 8

В конце концов командование все же решило отправить оружие на аэродром.

Сбоев вернулся на «Онегу» в дурном настроении и даже как бы несколько другим человеком, еще более сдержанным и еще менее склонным долго сидеть за столом с толстым опустившимся капитаном. Это Миронов почувствовал сразу, и только чувство хозяина, которому он ни при каких обстоятельствах не мог изменить, задержало неприятный разговор.

— Удобно ли вам в лоцманской? — спросил Миронов. — А то, может быть, перейдете к Алексею Ивановичу? — Алексей Иванович был первый помощник. — У него, правда, диван коротковат, но вам будет в пору, — продолжал он, не заметив, что обидел Сбоева, подумавшего, что капитан намекает на его маленький рост.

— Спасибо, мне хорошо и в лоцманской.

— Насчет ваших матросов я распорядился.

Накануне Сбоев просил, чтобы его матросов кормили вместе с командой.

— Спасибо.

Они помолчали. «Да, повезло», — подумал Сбоев, глядя на грузную фигуру капитана, сложившего руки на животе и в ожидании обеда уютно откинувшегося в вертящемся кресле. К неприятному впечатлению,

которое производил на него Миронов, присоединилась еще и мысль о том, что он как-никак «торгаш», то есть моряк торгового флота. А к «торгашам» Сбоев, как многие военные моряки, относился с пренебрежением. Впрочем, пренебрежение было взаимным: «торгаши» считали, что военные моряки вообще не моряки, потому что сидят на своих базах, не имея понятия о том, что такое море.

Пришли к обеду два помощника капитана и старший механик. «И эти под стать»,— продолжал думать Сбоев, хотя это были люди, ничем не похожие не только на Миронова, но и друг на друга. Впрочем, общее между ними действительно было. Все они были сдержанно-мрачноваты по какой-то причине, о которой не считали нужным говорить с незнакомым, случайно оказавшимся на борту командиром. Причина была в том, что на «Онеге» находилось около ста заключенных, а перевозка заключенных считалась самым неприятным, тяжелым и ответственным делом. На командном мостике в этих случаях ставилась дополнительная вахта, каюты закрывались на ключ, и общее напряжение поддерживалось еще претензиями охраны, казалось, переносившей на экипаж свое грубое отношение к заключенным. В обычную жизнь грузового парохода входила другая, куда более сложная и страшная жизнь: окрики часовых, внезапное появление на палубе заключенных в измятой одежде с приставшими соломинками, то смиренных, как бы сломленных, с погасшими глазами, то наглых, неестественно бодрых.

— По-видимому, мой стол вам не по вкусу,— заметил Миронов, когда Сбоев отставил густую, сильно наперченную солянку.

— Спасибо, я сыт.

— Может быть, вина?

Сбоев выпил, но когда Миронов хотел налить снова, закрыл-рюмку ладонью.

— Тоже не нравится?

— Да, не нравится,— вспылив, ответил Сбоев.

— Приятно, когда человек говорит то, что думает.

— Я всегда говорю то, что думаю.

— Редкий, но поучительный случай,— усмехнувшись, сказал Миронов. Он был пьян, но не очень.— Вот, Алексей Иванович,— обратился он к первому помощнику, скромному молчаливому человеку.— Еще сегодня я думал: вдруг случилось бы чудо, и можно было бы начать жизнь сначала. Согласился бы я или нет? И решил, что нет. Почему?

Помощник что-то пробормотал. Он не любил, когда капитан пускался в отвлеченные рассуждения.

— Потому что тогда пришлось бы существовать среди людей, которые говорят то, что думают. Людей искренних, трезвых и, между прочим, не упускающих случая схватить быка за рога, когда это возможно.

Сбоев с презрением пожал плечами. Обед закончился в молчании.

## 9

Чем больше Аламасов обдумывал свой план, тем реальнее он ему казался. Этому способствовало и то, что «Онега» вышла наконец, и с палубы был виден теперь не порт с его кранами и серыми грудами апатитов, а покачивающаяся под бледным солнцем темно-зеленая, бутылочного цвета, равнина залива.

Он спал недолго, часа два, и проснулся освеженный, с ясной головой, с ощущением острой, готовой в любую минуту распрямиться мускульной силы.

Еще в 1935 году он задумал бежать за границу. Он был тогда начальником полярной станции на одном из отдаленных островов, и все, что он делал, было тайно направлено к этой не открывшейся на процессе цели.

Ему удалось многое. Он подчинил зимовщиков, он заставил их повиноваться беспрекословно и слепо. Он разбогател, ограбив эскимосов. Тогда самое сложное было захватить пароход, который ждали на острове летом 1936 года. Теперь эта возможность явилась без напряжения, без усилий, как бы сама собой.

Окончательная цель — тогда Америка, а теперь Норвегия или Финляндия — рисовалась ему одновременно и ослепительной и неопределенной. Для него ясным было только одно — то, что он должен сделать сейчас, сегодня или, может быть, завтра. А сегодня или, может быть, завтра нужно было захватить пароход.

Он не понимал, что именно эта особенность сознания, способного предвидеть только два-три шага вперед, и была причиной неудачи, едва не погубившей его в 1935 году. Но по складу характера, по направлению ума он должен был ежеминутно действовать в свою пользу — в большом и в малом.

Теперь, после подчинения Будкова, его ближайшей целью стал Николай Иванович Веревкин, бывший военный моряк.

## 10

Это был человек, который — единственный из всей команды заключенных — не только не подчинился старосте, но как бы не замечал, что все другие подчинились ему без возражений. У него была незаметная внешность — лысеющий блондин среднего роста, с аккуратным пробором. Он тщательно следил за чистотой белья и одежды. Со всеми он был равно приветлив, хотя и немногословен.

Случайность привела Веревкина в тюрьму, и хотя он тяжело переносил заключение, оно было счастьем для него, и в самые трудные минуты он неизменно вспоминал об этом: он три недели провел в камере смертников, ожидая расстрела. На Северном флоте он командовал подводной лодкой «Д» и внезапно, без подготовки, был послан обеспечивающим на другую лодку — «щуку». Выйдя из базы, он увидел рыбный траулер, который шел прямо ему навстречу. Он взял к берегу. Взял к берегу и траулер. Веревкин взял еще правее. Траулер — за ним. В двух шагах от высокого скалистого берега невозможно было ни выброститься, ни развернуться. Прежде чем лодка по его команде дала задний ход, траулер ударил в левый борт, в район центрального поста. Через две минуты лодка затонула, а Веревкин, который с двумя командирами стоял на ходовом мостике, оказался в воде. Он обязан был покинуть корабль последним. Но для этого оставалось только нырнуть вслед за ним.

На следствии выяснилось, что командир траулера был пьян, а командир дивизиона не имел права посылать обеспечивающим Веревкина, который до сих пор не ходил на «щуку». Тем не менее трибунал, судивший по законам военного времени, приговорил Веревкина к расстрелу. Верховный Суд заменил расстрел десятью годами.

Он не знал, что хлопоты о нем продолжают и что в то время, как он вместе с другими заключенными плыл на «Онеге» по Кольскому заливу, его жена Антонина Васильевна с несомненными доказательствами его невиновности ехала из Мурманска в Москву.

Он умело устроил свое место, положив солому крест-накрест, чтобы она не быстро слежалась, подложил под голову заплечный мешок и, хотя в трюме было темновато, принялся за чтение, стараясь держать книгу в луче света, падавшего сквозь раздвинувшиеся лючины.

Книги спасли его в тюрьме, когда он как бы раздваивался, с ужасом прислушиваясь к шагам в коридоре и одновременно заставляя себя поверить в невозможность того, что идут за ним. И теперь, после дня тяже-

лой работы, он с уже привычным чувством раздвоенности принялся за чтение. Но раздвоенность была совсем другая. Он запоминал прочитанное, удивляясь или негодуя, и одновременно думал о своей так счастливо начавшейся на флоте и так внезапно трагически оборвавшейся жизни.

## 11

Староста Аламасов узнал о судьбе Веревкина от других заключенных, прежде сидевших с моряком в одной камере мурманской тюрьмы. И то, что он узнал, показалось ему в высшей степени интересным и важным. Во-первых, Веревкин был несправедливо оскорблен и, следовательно, по понятиям старосты, должен был испытывать злобу. Во-вторых, он был военным моряком, командиром подводной лодки и, стало быть, мог оказать неоценимую помощь. Нужно было прежде всего подчинить его себе, а потом воспользоваться его знаниями, опытом, его угадывающейся незаурядной волей. Это было трудно — не потому, что Веревкин относился к Аламасову более чем сдержанно, а потому, что он был человеком совершенно другого, не понятного старосте покроя. Староста увидел это сразу, потому что уже встречался с людьми подобного склада, живущими как бы без определенной цели, но вместе с тем следуя вполне определенному образу мыслей, которому они при любых обстоятельствах отказывались изменить. Именно таких людей, мужа и жену, Аламасову пришлось «убрать» на полярной станции, разумеется не своими руками. Тут, правда, дело было другое. Тут в крайнем случае можно будет «убрать» и своими руками.

## 12

Он начал с того, что подослал к нему Будкова, надеясь, что вор с его добродушием как бы перекинет мост между ними. Он ничего не поручал Будкову, попросив только намекнуть, что староста интересуется, не нужно ли чем-нибудь помочь Веревкину, разумеется так, чтобы другие заключенные об этом не знали.

Встреча состоялась вечером, когда Веревкин расположился немного почитать перед сном, и, на взгляд старосты, которому Будков изложил содержание разговора, удалась в полной мере.

— Я ему, значит, про себя. Так? — рассказывал Будков. — А он про себя. Так? Я ему, значит, про отца и как я, значит, бросил, а все равно тянет. Так? Он — тоже. То есть он про свое. Его за аварию. Я ему говорю: «Значит, люмпен-пролетариат, так?» Про себя. А он говорит: «Зря расстраиваешься». Потом мы с ним Новый год вспомнили. В морклубе. Он не знал, что это я дед-мороз был. Посмеялись. Потом я спросил, не нужно ли чего, так? Говорит, не нужно.

Разговор удался даже в большей мере, чем этого хотелось старосте, потому что Будков инстинктивно почувствовал в моряке ту душевную ясность, которой ему самому так недоставало. Он был запутан, сбит с толку — и тем, что снова попал в заключение, и тем, что его снова могут потянуть к жизни, от которой он навсегда отказался.

Волны плескались о борт, скользящий, булькающий звук гулко отдавался в полутемном трюме. Погода была тихая, но Будкова все-таки стало мутить от этого равномерного плеска. Он думал о старосте, о том, что староста — одно, а Веревкин — совсем другое. О жене и о том, как во время финской он служил в Охране водного района и, когда уходили в море, все время лежал, не переноса качки. Потом отказался идти и двадцать суток просидел на губе. Его всегда вело куда-то. Он не хотел, а его вело. И лосей этих нечего было стрелять. Он знал, что охота запре-

щена, тем более что это вообще было мучение, а не охота. Ох, как его мутило! Будков поднимался на локте, с отвращением оглядываясь во круг, и, когда он видел спокойное лицо спавшего Веревкина, ему почему-то становилось легче.

## 13

Невозможно было не встречаться на маленьком пароходе, а встречаясь, невозможно было вести себя сдержанно, как будто между ними не было вдруг вспыхнувшей острой неприязни. Миронов, который и до этого рейса вел сложную мысленную войну с сухарем сыном, теперь по любому поводу старался уколоть этого маленького надменного артиллериста со сломанным, очевидно в драке, носом. Сбоев был для него представителем всего молодого поколения, поверхностного, избалованного, самодовольного, опытного лишь в ловкости, с которой оно обходило трудности или обращало их в свою пользу.

— Как они будут воевать? — с горечью говорил он первому помощнику. — Как они могут воевать? Ведь такие без позора даже проиграть войну не в состоянии!

И Сбоев, который сначала почти не замечал неприятного капитана, стал мало-помалу валить на него неприятности затягивающейся командировки. Теперь Миронов был виноват и в том, что пришлось пропустить спектакль, и в том, что Сбоев был вынужден так долго не встречаться с Катенькой, которая вспоминалась ему с волнующей, соблазнительной ясностью. Он думал и о том, что, пока он торчит на этом грязном грузовом пароходе, без него происходят важные, интересные события. «Ну как с такими воевать? — думал он, глядя на Миронова, который ругал третьего помощника за то, что тот позволил охране сдать на камбуз сухой паек. — Нажраться водки и завалиться спать — вот и весь несложный смысл существования».

Разговор Миронова с помощником происходил на капитанском мостике, и Сбоев по сдержанным, вполголоса, ответам понял, что помощник помнит, а Миронов забыл, что Сбоев живет в лоцманской каюте, которая обычно пустовала. Но в эту минуту, очевидно, и Миронов вспомнил об этом, потому что, побагровев, он стал выговаривать помощнику еще грубее и громче.

«Я не обязан предоставлять лоцманскую пассажиру. А ты сейчас пассажир, и только. Вот отошлю тебя к третьему, и баста!» — так слышалось Сбоеву, хотя на самом деле Миронов по-прежнему говорил о тесноте в камбузе, охране, пайке.

Он ушел наконец, и Сбоев, стараясь не смотреть на смущенного помощника, вышел на мостик.

## 14

Кустарник горел по берегам залива. Что-то тревожное было в окутанных дымом холмах, на которых лежали тени других холмов, просвечивающие сквозь ползущую пелену, и дым «Онеги», казалось, спешил соединиться с этой тревожной серой пеленой. Но справа были чистые, освещенные солнцем облака с легкой подсветкой дыма, а еще правее — совсем чистые, нежные, курчавые, сидевшие, как дети, взявшись за руки, над четкой линией гор.

Сбоев спустился на палубу и чуть не столкнулся с заключенным, который только что поднялся из трюма и негромко разговаривал с часовым-якутом, плохо понимавшим по-русски. Он не узнал Веревкина в этом заключенном, который был ничуть не похож на того кругленького, плотного офицера, которого он встречал в Полярном.

Все изменилось в небе за те немногие минуты, когда его сознание,

смутно взволнованное этой встречей, ушло в недавнее, но уже далекое прошлое, в ту осень тридцать седьмого года, когда он впервые появился на Северном флоте. Теперь справа, над освещенными снизу обыкновенными облаками, были густые, как будто намазанные бородачи, и в глубине этих бородач стоял застывший тихий пожар. Налево тоже были облака, но летящие, легкие, как будто кто-то кидал их, как стрелы, прямо в каменную отчетливую линию сопок. Сбоев взгляделся и чуть не ахнул — так похожа была эта линия на огромных людей, лежавших на спине с вытянутыми руками. Они медленно исчезали за поворотом. Кусок прорвавшегося света упал на них, и вот они уже стали просто сопками, над которыми летела одинокая чайка.

Сбоев перешел на корму. Он знал залив, как улицу Кирова в Ялте, на которой он вырос. Залив давно надоел ему. Но вот оказалось, что не надоел и что он способен даже любоваться им, может быть потому, что сегодня ему было тревожно и грустно. Он смотрел на дорогу воды за кормой, которая раскидывалась треугольником, выгибая белую спину. Она была, как ртуть. Ее ленты сплетались и расплетались с укачивающей непрерывностью, и Сбоев стал засыпать стоя, прикрыв глаза, видя все и ничего не видя. Вот где-то на Чалм-Пушке блеснуло окно под солнцем — как в полдень, хотя уже близилась полночь. Вот приблизился остров Сальный, похожий на огромный камень, заросший зеленью и валяющийся без присмотра на равнине залива. «Онега» обошла его слева. Вот примчался и умчался с ветром легкий запах гари. Вот Олений остров со своим маяком — этот, как перевернутая чашка. А вот он уже и не чашка, а каменно-зеленая рыба горбуша. Вот летит над заливом самолет, должно быть только что поднялся с аэродрома в Ваенге. «Пойду-ка я спать», — сказал себе Сбоев. Он направился в лоцманскую, надеясь не встретиться с Мироновым, хотя это было почти невозможно. Только что самолет был далеко, там, где застыли над сопками облачные пушистые стрелы, а вот уже рядом. Он пронесся над «Онегой» так низко, что Сбоев успел увидеть летчика. И не только летчика: самолет был немецкий, с черными крестами на крыльях.

## 15

Веревкин узнал Сбоева и с трудом удержался, чтобы не заговорить с лейтенантом. Это было запрещено, часовой закричал бы на него или даже столкнул бы в трюм. Но не это остановило Веревкина. Он мало знал Сбоева и не был уверен в том, что тот не отвернется от него, не смутится, не струсит. Он испугался вдруг представившейся ему неловкой, болезненной сцены. В составе военного суда, приговорившего его к расстрелу, был его лучший друг Дашевский. Из письма жены он знал, что некоторые товарищи по дивизиону отказались хлопотать за него, быть может не из трусости, а по соображениям карьеры. Так чего же было ждать от какого-то лейтенанта, с которым он встречался едва ли три или четыре раза?

Это было ясно, и нечего было перебирать в уме неожиданную встречу. Но избавиться от нее было трудно, хотя она и не состоялась. Думая о Сбоеве, он понял и причину, которая привела военного моряка на «Онегу». В ящиках, лежавших на кормовых рострах, было, очевидно, оружие. Оружие везли на аэродром в районе Западной Лицы, и, чтобы охранять его, на кормовых рострах был наряжен пост и стоял часовой-матрос. Вот об этом как раз стоило подумать.

Веревкин уже давно чувствовал, что в трюме, полутемной плавучей камере, со всех сторон окруженной водой, где на досках и брошенной соломе лежали люди и куда свет проникал только сквозь раздвинувшиеся лючины — толстые доски, снимавшиеся, когда грузили пароход, —

идет какой-то отбор, взвешивание, обсуждение. Он видел, что одни из заключенных принимают участие в этих разговорах, а другие лишь догадываются о них, так же, как он.

Обсуждение шло главным образом у водонепроницаемой переборки, примыкавшей к бункеру, — это было самое теплое место в трюме. Здесь лежали те, кто был так или иначе близок к старосте, потому что ему ничего не стоило прогнать любого заключенного с его места и отдать это место другому. Будков в разговоре с Веревкиным тоже предлагал ему устроиться подле бункера, но Веревкин отказался. Вот там-то, где к плеску воды примешивался иногда шум пересыпаемого угля, и шла эта осторожная, но с каждым часом развертывающаяся работа. Кроме Будкова, в ней принимали участие Вольготнов и Губин, люди, которые, так же как и Будков, несомненно, выиграли от близости с Аламасовым и широко пользовались ею.

Вольготнов был квадратный, коротенький, лысый, с широким лицом, на котором была заметна удивительная обнаженность чувств, быть может ничтожных, но поражающих своей энергией и силой. У него были выбиты зубы, и на левом изуродованном ухе торчала ярко-красная мочка. Веревкину казалось, что Вольготнов всегда думает о том, что с ним сделали, и мучается невозможностью мести.

Губин был сдержанный человек, кажется из сектантов, все время читавший какую-то маленькую книгу, которую он на ночь бережно завязывал в платок и прятал. Его близость к старосте казалась Веревкину странной.

Эти люди чаще всех поднимались на палубу, и, когда часовой, узнавая, не пускал их, они, подождав немного, просились снова и снова. О чем они сообщали старосте, возвращаясь в трюм? Отвесный трап, будка, ставившаяся над люком, когда перевозили заключенных (на «Онеге» она почему-то называлась тамбуча), да уборная в четыре очка — вот, кажется, был единственный путь между трюмом и палубой, между двумя мирами. Но на самом деле этих путей было немало и с каждым часом становилось все больше.

Кроме заключенных, в трюме был груз, уложенный у кормовой переборки. Два раза боцман с матросами спускался, чтобы проверить, все ли в порядке. Невозможно было воздвигнуть стену между заключенными и экипажем, и Веревкин видел старосту или кого-нибудь из его людей всюду, где возникала хотя бы малейшая возможность проникнуть через эту иллюзорную стену.

## 16

Мионов сообщил в Мурманск о пролетевшем фашистском самолете и получил успокоительный ответ:

— Не поддавайтесь провокации. Следуйте по назначению.

Он не был склонен поддаваться провокации хотя бы потому, что, даже если бы это случилось, все, что он мог сделать, это выстрелить в самолет из своего старенького револьвера. Но когда на выходе из Кольского залива над «Онегой» пролетел второй самолет, он снова запросил пароходство. Ответ был:

— Рейс продолжать.

Он не спрашивал, продолжать ли ему рейс, — он понял, что все суда в Кольском заливе сообщили в Мурманск о пролетевших самолетах и все продолжают свои рейсы, как будто ничего не случилось. Между тем что-то случилось или скоро случится. Этого не понимают наверху, и хорошо, если это «наверху» относится только к пароходству.

Он спустился в машинное отделение. Рамовый подшипник грелся, механик считал, что до Западной Лицы не дотянуть и придется зайти в порт Владимир. Полдня Миронов занимался делами, но, подремав после обеда, за которым он снова не пил, он вернулся к самолетам, летавшим так спокойно, как будто под ними был не Кольский залив, а Кильский канал. Он видел свое толстое старое лицо в зеркале, висевшем на стене в простой деревянной раме. Каюта была просторная — два дивана под прямым углом, полочка с книгами, вытертое бархатное кресло, в котором он сидел, и другое, вертящееся, подле овального столика с курительным японским прибором. В стенном шкафу, на нижней полке, стояли три бутылки «Давида Сасунского», армянского коньяка, который он считал высшим достижением двадцатого века. Похоже, что скоро все это кончится — каюта, к которой он привык, берлога, в которую он уполз, когда больше ничего не осталось.

Он был уверен, что, несмотря на многочисленные фотографии пышно отмеченной годовщины финской войны, выиграть новую войну будет несравненно труднее. Ему был непонятен союз с гитлеровской Германией, который, возможно, был необходим по каким-нибудь высшим соображениям, но, по его разумению, мог принести только вред. Он по-прежнему верил в гениальность Сталина, в его непогрешимость, в его дар предсказывать исторические события, в его умение управлять страной с помощью этого дара. Нет сомнения, ошибки — если можно назвать ошибками то, что случилось в 1937 году, — происходят потому, что от Сталина скрывают правду. Когда он ее узнает, виновные будут сурово наказаны, а невинные возвращены. Но как же все-таки он не видит, что дело идет плохо. Он, Миронов, везет на строительство аэродрома, который нужно было построить давным-давно, сотню заключенных. Добрая половина из них приговорена за опоздание на работу. Разве дело идет хорошо? Фашистские самолеты летят, не скрываясь, над Кольским заливом, над штабом Северного морского флота. Разве дело идет хорошо? Главное — не поддаваться провокации, как приказали ему в морском пароходстве.

Миронов знал, что если бы эти мысли, приходившие в голову не только ему, но многим порядочным, не лишенным здравого смысла и любящим свою родину людям, стали известны, он был бы арестован. Он был бы препровожден из уютной берлоги с плюшевыми диванами и коньяком «Давид Сасунский» в шкаф сперва в каталажку, а потому куда-нибудь еще, может быть в трюм той же «Онеги». Так случилось бы, вероятно, даже если бы об этих опасных соображениях узнал, например, его собственный сын.

«А, к черту!» Как всегда, вспомнив о сыне, он болезненно сморщился и, подойдя к шкафчику, налил и быстро выпил рюмку коньяка. Потом выглянул из каюты и сказал пробежавшему матросу:

— Селехов! Скажи лейтенанту Сбоеву, что я прошу его зайти. Живо!

## 17

Миронову так не хотелось говорить с лейтенантом, что, уже послав за ним, он стал торопливо придумывать другой повод для встречи — не тот, который должен был поставить его в положение просителя перед мальчишкой. Это было глупо, потому что он собирался просить не для себя и не пять или десять рублей, а зенитные пулеметы.

Сбоев вошел и спросил:

— В чем дело?

— Мы сегодня говорили о немецких самолетах, — начал Миронов, чувствуя, что он с первого слова впадает в напряженный, неестественный

тон.— И вы сказали, что не сомневаетесь, что на кораблях и батареях приказано встречать их огнем. У меня даже создалось впечатление, что вы знаете об этом приказе.

Он сказал это с полувопросительным выражением. Сбоев промолчал. Он похудел, на сломанном носу стал виден белый бугорок. Он был похож на злого, слепо мигающего орленка.

— Так вот, мне кажется, что этот приказ следовало бы отнести и к торговому флоту. То есть я, разумеется, знаю, что грузовые пароходы не вооружены,— торопливо добавил он, заметив, что Сбоев улыбнулся,— но если бы такая возможность представилась... Короче говоря, не можете ли вы запросить свое командование, нельзя ли распечатать ящики и установить на «Онеге» пару зенитных пулеметов?

Сбоев знал о приказе командующего флотом. Когда второй самолет пролетел над «Онегой», он и сам подумал, что нужно бы установить на верхней палубе пулеметы. Но он только что узнал от старшего помощника, что придется зайти в порт Владимир, хорошо, если на сутки, а может быть, и больше. И хотя Миронова трудно было винить за то, что стал греться рамовый подшипник, Сбоев стал думать о капитане не только с неприязнью, но и с искренним презрением. Он презирал людей, плохо делающих свое дело, особенно если у них есть возможность делать его хорошо. Кроме того, он еще не привык к мысли, что наскучившая командировка снова затягивается и что ему придется еще двое суток провести на этом неприятном «торгаше», который был к тому же плавучей тюрьмой.

Все это соединилось в нем, и, хотя просьба Миронова была естественной и вполне логичной, Сбоев, не задумываясь, ответил отказом.

— К сожалению, не могу, — сказал он.

— Но ведь я не прошу срывать пломбу без разрешения. Запросите командование.

— Какое командование?

— Вам лучше знать. Ничего вашим пулеметам не станет, если они будут стоять без тары.

Сбоев начал считать, быстро дошел до двадцати и сбился, потому что ему захотелось спросить Миронова: «Испугался?» Он снова начал: «Раз, два, три...» — прислушиваясь к торопливо стучащему сердцу. Слово «тара» почему-то особенно задело его.

— Не вижу необходимости, — негромко сказал он.

— Да? — тоже негромко, но с бешенством отозвался Миронов.— Впрочем, я ничего другого и не ожидал.

Сбоев вышел.

Боцман, спускавшийся в трюм, чтобы проверить сохранность грузов, лежавших у кормовой переборки, не заметил, что от некоторых ящиков были оторваны, а потом аккуратно приставлены доски. Но это заметил Веревкин. В ящиках были лопаты, толь, гвозди и другой строительный материал, наборы пожарных инструментов. Из лопаты умелые руки могли сделать нож, а пожарный топорик мог пригодиться не только для тушения пожаров. Веревкин понял, как далеко зашли эти приготовления, когда Вольготнов подсел к нему и без дальних слов показал карту Баренцева моря. Карта была заслуженная, с отметками. Очевидно, ее стащили из штурманской рубки, где обычно хранятся навигационные приборы и куда вход был заказан не только заключенным.

Можно было оценить неукротимую энергию старосты, его сложную игру — не произнося ни единого слова, без ругани и крика, он как бы играл в этого грязно ругающегося, ежеминутно грозящего вожака.

Можно было даже привязаться к Будкову с его огромностью, с его добродушием, с его морской болезнью, на которую он ежеминутно жаловался Веревкину, как ребенок. Но нельзя было без глубокого отвращения смотреть на Вольготнова с его беззубой квадратной физиономией. Такой мог все сделать. Веревкин не раз думал о том, что могло превратить этого человека, каков бы он прежде ни был, в торопливое, всегда возбужденное животное, от которого на десять шагов пахло кровью.

Он говорил отрывисто, подкрепляя каждую фразу движением коротенькой толстой руки, и, слушая, Веревкин почему-то не мог отвести глаз от ярко-красной мочки, торчащей на изуродованном ухе.

— С другой стороны, там ведь тоже не звери. Не съедят. Конечно, пойдем не наобум Лазаря. Скажемся политическими, попросим убежища. Я тебя вообще-то не уговариваю. Но сам понимаешь...

Он действительно не уговаривал. Он просто дал понять чуть заметным движением руки, что, если Веревкин откажется, его дело плохо.

— Алле-валяй, закон — дышло, — усмехнувшись, сказал он и пошел к старосте, который ждал его, спокойно покуривая, сидя, как Будда, со скрещенными ногами.

Веревкин понимал, что среди заключенных многие ужаснулись бы при одной мысли о захвате «Онеги». Не он один видел эту возню вокруг ящиков со строительными инструментами. Не он один прислушивался к разговорам у бункера. Но никому неохота получить нож между лопаток — вот почему все молчат, держатся в стороне. Это случалось — что в трюмах после высадки находили трупы.

## 19

Над скалами неподвижно стоял нагретый воздух, и было странно, что еще недавно с парохода был виден снег, лежавший ровными треугольниками между сопками и доходивший по впадинам, казалось, до самого моря. Это был порт Владимир. «Онега» осторожно вошла в небольшую бухту.

Староста договорился с охраной, чтобы заключенные сварили себе горячее из сухого пайка и пообедали на берегу. Веревкин съел суп и отложил кусок хлеба к вечернему чаю.

Он знал эту маленькую бухту, прикрытую островком, носившим странное название — Еретик. Он знал, что при подходе глубины резко уменьшаются и якорь лучше бросать в середине бухты, где глубина доходит до восемнадцати метров. В юго-западной части тянулась полоса осушающей отмели. Остальные берега были приглубы. Он знал, что, если хочешь попасть в Норвегию, нельзя, выйдя из порта Владимир, заходить далеко в Мотовский залив. Нужно обогнуть полуостров Рыбачий и высадиться в Киркенесе.

Он посмотрел на старосту. Раздав горячее и неторопливо принимаясь за еду, староста остановился, подняв ложку, и долго смотрел на пароход с внезапным жадным вниманием. И Веревкин, вслед за ним взглянув на «Онегу», увидел то, что должно было произойти очень скоро, может быть завтра.

Он увидел пустую ночную палубу под солнцем, ненадолго остановившимся и вот уже снова поднимающимся над кромкой моря, озябшего охранника, привалившегося к тамбуче. Тишина. Все спят, кроме вахтенных. Тишина. Слышен только убаюкивающий шум и дрожание машины. По трапу, босиком, с ножом в руке поднимается Вольготнов или этот сдержанный, немногословный сектант. Ничего не стоит убить часового и столкнуть его в трюм. Через несколько минут сто человек будет на палубе.

Веревкин знал, что, глядя на «Онегу», староста видит этих людей, поднявшихся на палубу и бросившихся — одни по каютам, другие к ящикам с пулеметами.

Но и староста понял, что Веревкин угадал его мысли.

— Понял, почему я тебе подмигнул? — спросил он, когда заключенные вернулись в трюм и устраивались, довольные горячим обедом.

Веревкин не ответил.

— Тебя это, между прочим, не касается.

У старосты был непривычный, почти просительный тон.

— Можешь даже оставаться в трюме.

— А потом?

— Господи! А что потом? — тихо спросил Аламасов. — Хуже не будет.

Всегда он ходил с поднятой головой, хвастливо поглаживая усы, откинув толстые плечи. Теперь, в полумраке трюма, он показался Веревкину очень усталым пожилым человеком с мешками под глазами, с тюремной бледностью, окрасившей толстые старые щеки.

— Но как ты себе представляешь...

— Господи, что я представляю? Я ничего не представляю. Дойдем до Норвегии, там видно будет. Чухляндия хуже. Сволочной народ. Не все ли равно? Что нам терять? — Он говорил почти жалобно, а глаза смотрели холодно, строго. — Скажемся политическими. А кто не захочет — пожалуйте. Пускай возвращается. Герои, спасли пароход.

Это был вздор. Пароход был бы немедленно интернирован.

— А команда?

Староста посмотрел на него в упор, и Веревкин, как другие заключенные, не выдержал этого взгляда и невольно опустил глаза.

— То ли делается, — просто сказал Аламасов.

Это значило: «То ли с нами делают».

Будков, повеселевший на суше, заметил, что Веревкин расстроен, и, подсев к нему, добродушно предложил табаку.

— Вообще-то, почему бы и нет? — сказал он. — Там ведь что? Там подход к человеку совершенно другой. У меня один друг пришел с заграничного плавания — не узнать! Как сумасшедший, одно твердит: живут же люди! Между прочим, ты не того, не расстраивайся. Так? — сердечно добавил он, заметив, что у Веревкина стало напряженное, взволнованное лицо. — Мы еще вообще-то обдумываем. Понимаешь?

## 20

Веревкин ничего не ответил старосте, но он понимал, что ответить придется, и очень скоро. Он не знал, как долго будет отстаиваться «Онега». Так или иначе, у него было время, чтобы предотвратить преступление, и он стал спокойно думать об этом.

Он мог попытаться разубедить старосту: «Даже если удастся захватить «Онегу», ее все равно задержат дозорные суда, прежде чем она доберется до Киркенеса». Допустим даже, что староста действительно поверит ему. Откажется ли он от захвата? Нет. У него нет выхода. Заmeshаны многие, он пойдет на риск.

Веревкин мог ответить отказом — на первый взгляд, это было проще всего. Но тогда «Онега» все-таки была бы захвачена, потому что староста заставил бы под угрозой смерти кого-нибудь другого вести пароход, может быть, самого капитана.

Он мог выдать Аламасова. Попроситься в уборную и на палубе сунуть в руку часового записку. И что же? Его убили бы — не в тюрьме, так

на воле. Начнется следствие, и староста запутает еще два десятка невинных людей. Других запутает, а сам еще и выскочит, пожалуй. Он из таких.

Куда ни кинь, везде клин! Притворяясь, что он спокойно читает, Веревкин чувствовал, что за ним следит не одна пара глаз, и старался справиться с охватившим его чувством беспомощности и страха. «Будьте вы все прокляты! — думал он с отчаянием. — Будь проклят тот день, когда тральщик налетел на меня! И вы, судьи, будьте прокляты. И Женька Дашевский, который лучше всех понимал, что виноват не я, и все-таки голосовал за высшую меру. И командир дивизиона, не имевший права посылать меня обеспечивающим на «щуку». Будь проклят сволочной капитан тральщика, который напился перед рейсом. Еще мало было его расстрелять, сукина сына! Будьте вы прокляты, прокуроры, которые приказали судить меня по законам военного времени, хотя нет еще никакого военного времени и война будет черт знает когда! Теперь все погибло, я пропаду, как собака. И Тоня, Тоня... Я знаю, она не станет жить без меня».

Веревкин часто думал о жене, разговаривал с нею ночами, хотя после этих несбывающихся встреч ему становилось еще тяжелее. Она была на восемь лет моложе, чем он, и ко всему относилась с простотой, которая казалась ему почти опасной. Она любила праздники и за столом так сияла и смеялась, что Веревкин начинал строго смотреть на нее, особенно если это было в присутствии начальства. Но ему сразу же становилось жаль ее, когда она умолкала, пугаясь этого взгляда.

Теперь он увидел ее, похудевшую, как будто сонную, с изменившимися глазами — такой, похоронив мать, она в прошлом году вернулась из Калинина. Ему нужно было поговорить с ней, посоветоваться. И, может быть, проститься, если ничего не удастся придумать: «Видишь, какое дело, Тоня...»

Выход был только один — сломить власть Аламасова, перестать ему подчиняться. Изменить эти отношения, когда староста мог любого из них ударить, обругать, лишить пайка. Перестать повиноваться ему, а напротив — заставить его повиноваться.

Веревкин еще не успел узнать те неписанные законы, по которым жил уголовный мир в тюрьме и на воле. Но он твердо знал, что, если бы ему удалось унизить старосту, смело не подчиниться ему, не испугаться, а потом победить его в драке, Аламасов сразу же и немедленно лишился бы всей своей власти. Тогда, по тому же неписаному закону, старостой стал бы он, Веревкин, а если бы он стал старостой...

## 21

Тоня Веревкина была уже не та самозабвенно веселившаяся за праздничным столом счастливая женщина, которой больше всего нравилось быть гостьей или хозяйкой. Теперь она казалась значительно старше своих двадцати восьми лет. Ее хорошенькое, с нежными мелкими чертами лицо похудело и побледнело. Старательно укладывая по утрам свои прекрасные белокурые волосы, она, как и прежде, думала о том, что надобно сделать за день. Но теперь все это касалось только ее мужа и свалившегося на них несчастья. Она думала об этом и в то утро, когда Николай Иванович, лежа на соломе в трюме «Онеги», мысленно советовался с нею.

Приехав в Москву, Тоня остановилась у Дашевских, в семье, где ее знали с детства и где она познакомилась с будущим мужем. Она знала, что Женя Дашевский не мог голосовать против его расстрела, потому

что приговор, хотя и не вполне предрешенный, должен был отвечать настроению, вызванному нелепой гибелью «щуки». Он мог, конечно, но это было бы принято за поступок либо бессмысленно смелого, либо очень глупого человека. Зная и понимая все это, Тоня не могла тем не менее отказаться от мысли, что Дашевский все-таки обязан был голосовать против и не сделал этого из трусости и еще потому, что его карьера была бы надолго подорвана нерасчетливым шагом.

Но когда расстрел был заменен десятью годами, Дашевский стал осторожно хлопотать за друга. Первая попытка кончилась неудачей. Люди, на которых он рассчитывал, отказались подписать просьбу о пересмотре дела. Он переждал полгода. На Северный флот был назначен новый командующий — молодой человек, всего лишь годом раньше, чем Дашевский, окончивший Училище имени Фрунзе. Он отнесся к делу без малейшей предвзятости, и теперь Тоня Веревкина привезла в Москву письмо, подписанное почти всеми товарищами ее мужа по дивизиону.

Отец Жени был знаком с приятелем наркома, который иногда даже приезжал к нему, чтобы вспомнить старые годы. Теперь этот приятель поговорил с наркомом, и тот сказал, чтобы бумагу, минуя все инстанции, передали лично ему. Тоня должна была прийти в наркомат, позвонить секретарю, и секретарь спустится к ней сам или пришлет кого-нибудь за бумагами.

Она приехала в Москву рано утром. Дашевские встретили ее шумно, с искренней радостью, которая показалась ей слишком шумной и не очень искренней. Она никак не могла привыкнуть к мысли, что иначе Женья поступить не мог. Она умылась с дороги и позавтракала с его отцом, пылким толстяком, в вылупленных глазах которого была написана глупость и честность, и худощавой, образованной, умной сестрой. Веревкина ела, пила, расспрашивала Машу Дашевскую о знакомых, рассказывала о Мурманске, о новостях на флоте — и все это было странным образом соотносено с той минутой, когда она передаст письмо секретарю наркома. Она уже позвонила туда, и он сказал, чтобы Веревкина принесла письмо в четыре часа. Он мог назвать другое время или перенести на завтра. Но он сказал — четыре, и теперь этот час казался Тоне значительным или во всяком случае чем-то не похожим на другие. Он приближался медленно, бесконечно медленнее, чем ей хотелось. Впрочем, она не смотрела на часы. У нее было много дел в Москве. Квартирная хозяйка, больная женщина, просила достать редкое лекарство сульфидин, которое еще не продавалось в аптеках. Дашевские продали фотоаппарат Николая Ивановича, очень хороший, и Тоне нужно было съездить за деньгами. Она все сделала, но до четырех было далеко. На Кузнецком, проходя мимо парикмахерской, она увидела себя в зеркале — кокетливая шляпка, которую заставила ее надеть Маша, криво сидела на голове, глаза были расстроенные, больные.

Было еще только три. Она зашла в ресторан, заказала обед и с ужасом посмотрела на тарелку жирного борща, которую принесла ей почтенная седая официантка. Все же ей удалось проглотить несколько ложек. Нужно есть — она убеждала себя. Нужно есть. И нечего там уж волноваться.

Это произошло очень просто и совсем не так, как она ожидала. Худенький часовой вышел из ниши и остановился за ее спиной. Она обернулась к нему со вздрогнувшим сердцем. Он показал ей на телефон. Она позвонила, и вскоре молодая беременная женщина в белом халате грузно спустилась с лестницы и подошла к Тоне. Похоже было, что она шла вниз по своим делам и секретарь попросил ее заодно взять у Тони письмо.

Все это было редкой удачей, потому что добраться до наркома было

не то что трудно, а невозможно. Тем не менее никто, кроме Тони, не надеялся, что эта почти невероятная удача приведет к тому, что Николай Иванович будет освобожден. Напротив, все думали, что хлопоты безнадежны, а может быть, даже и небезопасны. Эта безнадежность, которую Тоня старалась не замечать, особенно чувствовалась в пылкости, с которой старик Дашевский доказывал, что нарком прикажет пересмотреть дело, потому что он справедливый человек, что бы там ни говорили.

Так бывает — когда близкие стараются помочь больному, прекрасно понимая, что он безнадежен, но что заботы все-таки нужны если не для него, так для них. Заботы были нужны не для Веревкина, а для Тони и в особенности для Жени Дашевского, который мог теперь сказать, что он сделал все возможное и невозможное, добравшись до самого народного комиссара.

Нужно было звонить и справляться, потому что нарком обещал своему приятелю вечером посмотреть дело. Все учреждения работали ночами. Говорили, что Сталин ложится очень поздно, в четыре часа утра, и может в любую минуту потребовать какой-нибудь отчет или справку.

Дашевские всей семьей собрались после ужина у телефона. Тоня позвонила, и секретарь ответил, что нарком еще не приходил. Он попросил позвонить попозже. Бог весть почему, наверное, потому, что у него был мягкий, вежливый голос, у Тони полегчало на сердце.

Неизвестно, что означало это п о п о з ж е, и все стали шумно обсуждать, когда звонить. Через полчаса? Через час? Она позвонила через сорок минут. Нет, еще не пришел. По-прежнему с ней говорили учтиво. Когда же позвонить? Попозже. Теперь все примолкли, у старика все реже вспыхивали огромные черные глаза, и Тоня уговорила его пойти спать. Она молча сидела, думая о чем придется — о Маше, красивой, стареющей, сдержанной, так и не вышедшей замуж, о том, что ночью все кажется страшнее, чем днем. Может быть, многие люди перестали верить друг другу потому, что они работают ночами, когда все кажется страшнее, опаснее, чем днем? Народный комиссар, от которого зависит ее жизнь и счастье, тоже работает ночью. Он прочитает письмо и скажет «да» или «нет».

Она позвонила снова, и секретарь сказал, что он сдает дежурство другому секретарю. Это ничего не значит, все равно пускай она позвонит еще немного попозже.

Теперь была уже глубокая ночь. Тоня стояла у окна, глядя на пустой Настасьинский переулок. «Плохо, что сменили секретарей,— думала она.— Очень плохо». Она уже привыкла к мягкому, с легким армянским акцентом голосу первого. Второй скажет ей, что нарком отказал. Но второй, когда она позвонила в четвертый раз, сказал, что нарком пришел и дело лежит у него на столе. Придется еще раз позвонить, сказал он приветливо и, как показалось Веревкиной, с уважением, но не к ней, а к тому обстоятельству, что дело лежит на столе. Нарком перелистывает.

Она положила трубку. Нарком перелистывает. Значит, прочел письмо и потребовал дело. Она крепко сложила руки на груди. Ей хотелось удержать руками прыгающее сердце. Маша заставила ее принять валерьяновых капель.

Веревкина не знала, что произошло за эти последние полчаса ее ожидания. Но что-то произошло. Самолеты пронесли над Москвой. По Настасьинскому переулку, выхватив светом фар афишный киоск, промчалась танкетка. Никто не ответил, когда она позвонила через полчаса. Она долго слушала особенные, низкие гудки наркомата, положила трубку, опять набрала. Снова никто не ответил. Она все звонила, не плача, придерживая рассыпавшиеся косы.

Два самолета, замеченные с борта «Онеги», так же как и другие, летавшие над Ваенгой, Полярным, Кандалакшей, вели воздушную разведку накануне войны. Наши зенитные батареи обстреливали их. Это и был приказ, о котором узнал Сбоев в Мурманске. Таким образом, война на Крайнем Севере началась за пять дней до того, как она началась на всем фронте от Балтийского до Черного моря. Но на «Онеге», стоявшей в порту Владимир, о ней узнали одновременно со всей страной. Миронов сообщил о нападении Германии на Советский Союз, и, так же как сотни других организаций, подразделений, заводов, экипаж парохода, состоявший из двадцати четырех человек, принял решение сражаться с фашизмом до той минуты, пока последний немецкий солдат останется на русской земле.

Это собрание отличалось от тысяч других тем, что на нем было единогласно принято еще одно важное решение — до высадки на Западной Лице не сообщать заключенным о том, что началась война. Конвой не присутствовал в салоне, но за полчаса до собрания старший охранник договорился об этом с Мироновым, и теперь капитан слово в слово повторил его предложение. Это было разумное предложение, так как неясно было, как заключенные отнесутся к известию о войне и не попытаются ли тем или иным образом нарушить дисциплину. До сих пор они ее соблюдали. И надо надеяться, что никакие нарушения в дальнейшем не произойдут, тем более что заключенными руководит староста Аламазов, на которого вполне можно положиться. Под страхом строгого взыскания никто из экипажа не должен был даже намекнуть кому-либо из заключенных о том, что военные действия уже начались и бомбы сброшены не только на Одессу и Севастополь, как сообщило Информбюро, но и в районе Полярного, в сорока — пятидесяти километрах от порта Владимир. Быть может, впоследствии некоторые заключенные пожелают даже показать свою преданность родине. Но пока необходимо принять меры, и главная из них — держать язык за зубами.

Миронов напомнил, что рейс «Онеги» имеет военное значение.

— К сожалению, мы не имеем возможности вооружить пароход, — сказал Миронов, не глядя на Сбоева, который был приглашен на собрание. — Все, что мы можем сделать, это вести круглосуточное наблюдение за воздухом и водой. Закончим ремонт, доставим грузы и, вернувшись в Мурманск, возьмем обязательства. Каждый исполнит свой долг.

Миронов приказал старпому проверить спасательные средства, поставить дополнительную вахту, охранявшую командный мостик. На палубе появилась дощечка с надписью: «Запретная зона».

Нетрудно было догадаться, что на пароходе стали бояться заключенных, и это ощущение, быстро распространившись среди экипажа, немедленно перекинулось с палубы в трюм. Это произошло бы, без сомнения, даже если бы на палубе не появилась надпись, запрещающая заключенным ходить туда, куда они все равно не ходили. Но почему их стали бояться? Вот вопрос, над которым стоило подумать. Почему старший охранник запретил готовить на берегу? Почему в уборную на четыре очка стали пускать по два человека?

Одни заключенные не придали этим переменам никакого значения. Другие увидели в них общую меру — приказ высшего начальства, касавшийся всех уголовников. Где-нибудь в Магадане случилось чрезвычай-

ное происшествие — стало быть, на всякий случай надо усилить охрану на Крайнем Севере.

Но ничего неопределенного не увидел в этой настороженности Иван Аламасов. Его выдали — вот что произошло, вот чем объясняется эта внезапная перемена, этот страх, и то, что еще вчера можно было готовить на берегу, а сегодня почему-то нельзя, и то, что часовой смотрит зверем, а старший охранник, когда он, Иван, заговорил с ним, отвернулся и ничего не сказал.

Ему уже удалось однажды скрыть, что он собирался бежать за границу, — на процессе, когда он защищался так, что прокурор потом сказал (ему передали): «Какой талант, какая силища! И куда все это направлено, боже мой!» Что ж, если придется играть назад, этот талант еще пригодится. Но играть ли назад?

Он постарался поставить себя на место начальства. Сейчас его взять небезопасно. Мало ли что он может выкинуть, тем более заключенных около ста человек. Да если и взять, куда его посадить? На пароходе нет карцера, а в трюме изолировать его невозможно. Надо ждать высадки на Западной Лице, а оттуда катером особого отдела при первой возможности вернуть его в Мурманск.

Странно было только одно: почему его не снимают в порту Владимир? Может быть, нет дороги? Кто знает. Аламасов знал, что капитан «Онеги» на подходе к Владимиру сообщил в Мурманск о необходимости ремонта. Пароходство запросило, нужна ли помощь, и капитан ответил, что пока не нужна. Повар из заключенных слышал об этом от кока еще вчера, когда было разрешено приготовить обед на суше. Дело серьезное, сказал кок: греется рамовый подшипник, и, чтобы справиться своими силами, как надеется капитан, нужно суток трое работать не покладая рук. А за трое суток...

Но что же сказать своим? Они бы давно спросили. Вольготнов подошел к Ивану, но тот цыкнул, и теперь они сидят и ждут. Что же он им скажет? Заняться Веревкиным, которого надо убрать, — вот что он скажет.

У старосты не было никаких сомнений, что выдал его именно он, Веревкин. Выдали бы те врачи, муж и жена, на полярной станции? Да. Вот выдал и он. Не потому, что ему это было нужно сейчас или потом для какой-нибудь определенной цели, а потому, что он прислушивается к чему-то в самом себе или знает что-то, чего он, Иван, не знает. И это что-то заставляет его поступать именно так, а не иначе. Те врачи, муж и жена, были точно такие же, и их пришлось убрать, потому что с ними тоже нельзя было сговориться.

Но возможно, с другой стороны, продолжал он думать, что Веревкин надеется досрочно выскочить из заключения. Выслуживается, чтобы скостили срок? Нет, не выслуживается. Он знает, что его все равно убьют — в тюрьме или на воле, — как убили ту беленькую девочку с щерцавым загорелым лицом, которая жила с Иваном, когда он работал в дорожной бригаде Облага.

«Так что ж ты, Иван, скажешь своим? Нас не возьмут, — я скажу им, — потому что, если бы это было решено, нас давно уже взяли бы. Время есть, и нужно воспользоваться им, чтобы не промахнуться».

«Так. А тебя мы сегодня пришьем», — подумал он, мельком взглянув в ту сторону, где у цементного ящика, которым была заделана пробойна в обшивке «Онеги», лежал Веревкин. Кто сделает? Вольготнов. Тут суть заключается в том, что, если бы даже Веревкин согласился командовать, мы пришли бы не в Норвегию! Не Рыбачий мы обогнули, бы, а собственную задницу и попали бы, куда Макар телят не гонял! Пароход поведет

тот, кого мы заставим вести пароход. Не капитан. С капитаном, очевидно, не выйдет. Поведет старпом, сопля, потому что с ним похоже, что выйдет.

В бункере возились, и можно было смутно разобрать голоса, обычно заглушавшиеся плеском набегающей на обшивку воды. Этот плеск был слышен все время, даже когда «Онега» была у причала. Но теперь он стал другим — отчетливее, сильнее. Шум машины присоединился к нему, и в трюм передалось движение, которым пароход отвело от пирса.

— Никак пошли? — сказал заключенный, которого звали Лука Трофимович, худощавый человек, похожий на цыгана.

Другой отозвался:

— Смотри-ка, быстро справились! Молодцы.

— Как пошли? — Староста встал, прислушиваясь и хмурясь.

«Онега» набирала ход, и теперь плеск шел уже отовсюду — с носа, с боков, и все темное помещение трюма, послушно вздрагивая, было полно этим шумом рассекаемой воды, плещущей и смыкающейся за кормой.

## 24

Рамовый подшипник грелся, сколько ни лили масла, и только для того, чтобы выяснить причину неполадки, нужно было произвести сложную, требовавшую специальных знаний работу. Но ремонт, который в другое время потребовал бы двое суток, был сделан быстро, без помощи специалистов, потому что началась война.

Было семь часов вечера; маленькая луна осторожно встала спиной к солнцу. Это был бледный ободок, полузатерянный в овале неба и как будто испуганный тем, что происходило в этом огромном раскинувшемся овале. Все казалось неподвижным на небе, и все было в непрерывном плывущем движении.

Перемена погоды на Крайнем Севере необыкновенно чувствительна, ошутима, происходит почти на глазах — она-то и была этим непрерывным движением. Две косматые массы облаков, черная над светлой, застыли справа по ходу «Онеги». Казалось, что им было не до голубизны, протянувшейся над заливом, не до белого блеска пролетевшей чайки. Еще несколько минут — и небо стало, как гроза, которая сейчас ударит. Но гроза не ударила, и небо снова стало меняться. Маленькие облачка, как шары, выкатывались из-за сопки, спеша в размах этих косматых груд, черной и светлой. Теперь они вошли друг в друга и вдалеке пролились ясной, как транспарант, полосой дождя. Он начался, сразу прошел, и теперь на первый план стало выходить не небо, а дикая серо-зеленая земля, как бы составленная из брошенных в беспорядке скал.

Военное выражение «морской театр» как нельзя лучше подходило к этой освещенной солнцем и луной картине. Это был действительно театр, на котором ежеминутно совершались события — бесшумные и величественные, со своими действующими лицами, у которых была своя, то печальная, то фантастически сверкающая судьба.

«Онега», только что вышедшая из порта Владимир, и немецкий самолет, просматривавший побережье Мурмана и возвращающийся на базу, были самыми маленькими, едва заметными участниками этих событий. Летчик должен был выяснить, перебрасывают ли русские свои войска из района Белого моря, и отлично выполнил свою задачу. Он сделал много удачных снимков и был в хорошем настроении. Здесь, на Крайнем Севере, все казалось далеко не таким страшным, как рассказывали преподаватели летной школы в Свинемюнде. Заметив «Онегу», летчик сделал над нею круг, обстрелял и двинулся дальше. Он был голоден, устал и беспокоился — из дому давно не было писем. Все же он вернулся и об-

стрелял «Онегу» еще раз, хотя не мог причинить ей серьезного урона. Не обнаружив других судов, идущих по направлению к Западной Лице, он полетел на свою базу в Петсамо и вскоре обедал и читал письмо, полученное из дома.

Подготовка удара шла энергично. Финляндия закончила мобилизацию. По дороге Гана-фьорд — Киркенес один за другим проходили грузовики. Это были войска и вооружение. На германских оперативных картах Северного фронта стрела через Титовку была направлена к Западной Лице.

## 25

Веревкин был одним из заключенных, почти не заметивших усиления охраны или во всяком случае не придавших этому никакого значения. Он был всецело занят своим решением избить старосту и встать на его место. Это было безумное решение, потому что староста был человеком могучим, а Веревкин, хотя в молодости был хорошим гребцом и пловцом, сильно ослабел в тюрьме и весил теперь не семьдесят восемь килограммов, как прежде, а, дай бог, шестьдесят. Кроме того, он по натуре был миролюбив и даже мальчишески терпеть не мог драться. Однажды, вспыхнув, он ударил товарища по лицу и потом долго не мог отделаться от неприятного чувства, хотя товарищ был виноват. Он даже — это запомнилось — с упреком смотрел тогда на свою руку. Теперь он тоже посмотрел на нее и вздохнул. Как мальчик, готовящийся к драке, он пощупал мускулы. Слабые были мускулы. Он грустно усмехнулся.

Но решение было безумным еще и потому, что оно ничего не изменило бы в плане Ивана. Этот план — уже не один только староста. Это и Вольготнов, и Губин, и еще добрый десяток отпетых воров и убийц. Это приготовления, которые зашли далеко и за которые придется отвечать, если пароход не будет захвачен.

«В Норвегии — немцы, — все с большим волнением продолжал думать Веревкин. — Наши «невраги», как сказал Николенька. В Норвегию — это значит к нашим «неврагам».

Николенька был семилетний племянник Веревкина. Когда был подписан пакт с Германией, он сказал матери:

— Мама, ведь они все-таки не наши друзья. Они просто наши невраги. Да, мама?

«Так что же делать? Может быть, попытаться убедить Аламасова, что немцы выдадут его по требованию Советского правительства? Не поверит. Нет, нужно сделать так, как я решил сначала».

Он давно уже занял очередь в уборную, выстроившуюся у трапа. Теперь очередь подошла. Он встал. Все лежавшие у бункерной перегородки повернули головы, когда он направился к трапу. Но он не стал подниматься. Не особенно торопясь, он подошел к старосте и, опустив голову, остановился подле него.

— Ты что? — тихо спросил староста.

Веревкин не ответил. Один из заключенных окликнул его:

— Николай Иваныч, очередь!

— Все расстраииваешься? — спросил староста.

Веревкин стиснул зубы и ударил его ногой в лицо.

Он не понял, как он оказался внизу, на полу. Должно быть, Иван схватил его за ногу. К ним кинулись. Голова Веревкина была среди шаркающих по настилу сапог. Он душил старосту. Это было очень трудно, руки едва охватывали толстую шею. Он лежал на его огромном теле и душил. Он увидел приоткрывшийся темный рот с усатой губой и

почувствовал с восторгом, как что-то скользнуло под пальцами, хрустнуло, вдавилось.

Будков раздвинул толпу двумя руками, как раздвигают шторы, и оторвал Веревкина от Ивана. Но еще прежде чем он это сделал, темная фигура появилась в люке между раздвинутыми досками. Это был часовой. Он шатался, заслоняя свет. Заключенные подняли головы, и он упал на них, выронив свою винтовку.

Все расступились. Часовой-якут лежал на боку мертвый, неестественно вывернув руки.

## 26

Кроме часового, немецкий летчик застрелил старпома Алексея Ивановича и ранил одного из кочегаров. Кренометр сорвался со стены в каюте Миронова, стекло вылетело, и большая острая щепка, отколовшаяся от письменного стола, ранила капитана в ногу. В штурманской рубке пули разбили секундомер и аккуратно разрежали висевшую на стене навигационную карту.

Алексея Ивановича положили в салоне на клетчатый диван под портретом Сталина в ореховой раме, увитой красной лентой и украшенной бумажными цветами. Здесь был красный уголок, висела полочка с книгами, и на маленьком овальном столе были разбросаны газеты и журналы. Сперва кто-то сложил руки Алексею Ивановичу крестом на груди, потом устроил вдоль тела. У него была прострелена грудь; пули попали в сердце, и на лице, как это часто бывает с людьми, умирающими внезапно, сохранилось удивленное выражение.

Сбоев с матросами разбивал ящики, снимал заводскую смазку с пулеметов. Он был похож на мальчика — в тельняшке, с упавшими на лоб волосами, которые он не поправлял, потому что у него были грязные руки. Он работал молча. «Хорошо же ты начал войну. Не дал вооружить пароход, хотя яснее ясного видел, что это необходимо. Жалкий фанфарон, бахвал! Почему ты грубил Миронову, который сначала был к тебе расположен и даже обрадовался, что в его тяжелой однообразной жизни появился, хоть на несколько дней, молодой человек из другого, интересовавшего его круга? Они все обрадовались — и Алексей Иванович, смотревший на тебя с упреком и отводивший глаза, потому что он знал от Миронова, что ты не разрешил воспользоваться оружием. Что с ним будет теперь? Отправят в Мурманск? Где будет гражданская панихида, на которой ты выслушаешь все, что скажут о нем».

Сбоев установил пулеметы. Матросы не умели из них стрелять, и он учил их, не переставая думать о том, что, если бы все это было сделано раньше, фашистский самолет, может быть, удалось бы отогнать или сбить. Он обошел пароход, проверил, хотя никто его об этом не просил, посты наблюдения и объяснил второму механику, как нужно наблюдать по секторам: шестьдесят градусов по носу и шестьдесят — сто двадцать с правого и левого борта. Механик молча выслушал его. Все это он прекрасно знал.

Миронов, прихрамывая, вышел из своей каюты, и Сбоев, сильно покраснев, спросил его:

— Очень больно?

— Чепуха.

Прежние отношения между ними казались теперь Миронову совершенно ничтожными, и, если бы не эта история с пулеметами, ему было бы, вероятно, даже трудно вспомнить о них. Жизнь стала короткой, а каждый ее отрезок, каждая минута приближения к Западной Лице, сложной высадки, опасного возвращения — необыкновенно длинной. Он чувствовал, что Сбоев раскаивается, сожалеет, потрясен и что он, Миро-

нов, вероятно, ошибся, считая его бездушным человеком. А может быть, и не ошибся? Все это теперь не имело никакого значения.

Сбоев спросил, остались ли у Алексея Ивановича дети.

— Да, трое.

— Я хотел сказать...— начал Сбоев срывающимся голосом и замолчал. У него было странное лицо с быстро перекатывающимися, широко открытыми, чтобы не заплакать, глазами.

Мионов посмотрел на него и заговорил о другом.

— Не понимаю начальника конвоя,— с раздражением сказал он.— Какая еще ему предосторожность нужна? Испугался до смерти, что заключенные узнали о войне. Так что же, прикажете экипажу по-прежнему в молчанку играть? Это теперь-то, когда паролод обстреляли!

— Не может быть! Что за вздор!

— Вот вам и вздор! Грозит ответственностью. Я ему чуть было не сказал, что из этих заключенных девять десятых охотно пошли бы воевать. Да черт с ним!

Он спустился в машинное отделение, а Сбоев пошел в салон к Алексею Ивановичу и сел у его изголовья.

Когда старпом был жив, он не сказал с ним и десяти слов, хотя лоцманская, в которой жил Сбоев, была рядом со штурманской рубкой. Впрочем, однажды Сбоев, соскучившись, зашел в рубку и застал там Алексея Ивановича, склонившегося над картой. Они поговорили, и штурман добродушно сказал, показав рукой на свое хозяйство:

— Кораблевождение времен Христофора Колумба.

Они встречались за обедом, и видно было, что Алексей Иванович не одобрял высокомерной сдержанности Сбоева в салоне. Неодобрение выражалось только в легком поднятии бровей. Но все равно — он осуждал его.

Сбоев передумал многое, сидя у изголовья покойного штурмана. Он не мог отвести глаз от пожелтевшего тонкого лица, прежде скромного, а теперь как бы гордящегося втайне важным спокойствием смерти.

Так началась для Сбоева война: не искусной артиллерийской дуэлью, не сдержанной записью о победе на странице вахтенного журнала, а смертью этого незнакомого человека, который лежал с вытянутыми по швам руками. Не Нельсон, не Ушаков, а мальчишка, наделавший беды,— так чувствовал себя Сбоев. И не этот паролод, который шел восемь узлов, этот «торгаш» с маленькими, тесными каютами и салоном, в котором стол был покрыт рваной клеенкой, казался ему жалким, а он сам казался себе жалким, не только не заслуживающим чести называться лейтенантом, а не заслуживающим права продолжать свою бесполезную жизнь.

План захвата «Онеги» остался нераскрытым. И это было для старосты самым главным в том, что произошло. Положение его почти не пошатнулось. Война как бы нейтрализовала впечатление, которое смелость Веревкина произвела на заключенных. При других обстоятельствах Аламасов был бы вынужден уступить ему свое место. Ему или Будкову, который после этой драки не отходил от Николая Ивановича и прислушивался к каждому его слову.

Староста знал теперь, что усиление охраны было связано с известием о войне. Но это был вовсе не проигрыш, а, напротив того, выигрыш, и немалый. Так он убеждал Губина и других. После обстрела «Онеги» и гибели штурмана экипаж занят войной, только войной! Люди растеряны, подавлены. Сейчас можно взять их голыми руками. Да куда там го-

лыми! Пулеметы в полной готовности стоят в двух шагах от тамбучи. Все поставлено на карту. Надо выиграть, потому что иначе незачем жить.

— Теперь или никогда! — несколько раз повторил он. — Теперь или никогда!

Его слушали, с ним соглашались. Но что-то изменилось в том, как его слушали, как соглашались. Надо было браться, не откладывая, через два часа, а с ним соглашались, как будто можно было начать не через два часа, а через два года.

Так бывало, когда он нанимал рабочих на полярной станции. Люди договаривались о зарплате, кивали, но еще прежде, чем они скрывались из виду, он знал, что они не придут.

И дело было не только в Будкове, который, очевидно, спелся с Вревкиным, и не в Губине, который, охотно согласившись с Иваном, бережно вынул из платка и стал читать свою божественную книгу, бесшумно шевеля губами. Дело было в том, что, если бы он сейчас сказал: «А ну, ребята, айда!» — никто не пошел бы за ним, кроме Вольготнова и еще двух-трех ребят, на которых можно положиться. Они оказались бы на палубе одни. Их застрелили бы, не моргнув. Или сперва переломали бы ребра, а потом застрелили.

## 28

Теперь все заключенные узнали, что идет война, и в трюме думали и говорили только об этом.

Атмосфера, в которой был возможен захват парохода, распалась не потому, что усомнились те, на которых больше всего рассчитывал Иван. То, что казалось ему слабостью, слепотой, на деле было еще неопределенной, но все возрастающей надеждой на свободу, на возможность свободы — не противозаконной, связанной с новыми преступлениями, а открытой и даже, может быть, почетной. Это чувство объединило всех уголовников, в том числе и тех, кто еще вчера мечтал пройти по Осло в новом шикарном костюме, а потом заглянуть к девочкам, которые в Норвегии славятся своей чистотой и красотой. К соблазну побега присоединился оттенок предательства, и они это почувствовали, несмотря на озлобленность и душевную пустоту. Но и другое присоединилось к этому чувству: стремление доказать, что ты не хуже, а может быть, даже и лучше других. Немцы напали на Россию, причем действительно вероломно, поскольку с Гитлером был подписан пакт, да еще «скрепленный кровью», как писали газеты. Так нужно их двинуть, да так, чтобы они запомнили надолго. «Если мы воры и даже, допустим, убийцы, что же мы — не советские люди?» Но были и другие, попавшие в тюрьму за мнимые преступления, невинные люди, почти не связанные с уголовниками, — почти, потому что некоторые из них уже едва ли могли вернуться к честной, дотюремной жизни. Среди «указников» были коммунисты и комсомольцы, которые не стали думать иначе оттого, что их осудили за опоздание на работу. Каковы бы ни были причины неожиданного договора с Германией, фашизм для них оставался фашизмом. Чувство полного равенства с уже сражавшимися или готовыми сражаться свободными людьми — вот что было теперь главным для них. Известие о войне сдвинуло оскорбительные, бессмысленные отношения между ними и свободными людьми, и теперь стали быстро устанавливаться совсем другие отношения, естественные для тех, кто считал себя обязанным и желал драться против фашизма.

Слесарь Экземплярский, смешливый, рыжий, с низким лбом и толстым решительным носом, был приговорен к четырем месяцам за то, что

опоздал на работу на двадцать минут (это приравняли к прогулу, а прогул — к самовольному уходу). Он сказал Веревкину:

— Ну, все! Мало ли какие бывают обиды? Теперь все это надо забыть, тем более что после войны начнется совсем другая жизнь.

Наконец, были и третьи — те, для которых война была вдруг блеснувшей возможностью искупления.

Худошавый, похожий на цыгана заключенный, которого звали Лука Трофимыч, был приговорен к десяти годам за убийство жены. Разговорившись, он рассказал Николаю Ивановичу о том, как это случилось. Жена была хорошенькая, моложе его на пятнадцать лет. Его предупреджали, когда он влюбился, что она добрая и не может устоять, когда за ней начинают очень ухаживать. Но что значит «очень»? Он надеялся, что в замужестве она не позволит ухаживать за собой так уж «очень». Но она позволяла. Он убеждал ее, просил, умолял. Она соглашалась, потому что тоже любила его, и даже больше всех, как она уверяла. Но потом кто-нибудь опять начинал ухаживать — неизвестно, так ли уж «очень», — и начинались новые уговоры и ссоры.

Он задушил ее не в ссоре. Они поехали погулять на Москву-реку, в Рублево, и там, искупавшись и поговорив о спектакле «Таня» — накануне они были в театре, — он это сделал. Он задушил ее «задумчиво» — так он сказал на суде. Самое это слово послужило основанием для сурового приговора.

Он и был человеком задумчивым, всматривающимся, вслушивающимся. Тюрма и все, что было связано с нею, проходило мимо него, почти не касаясь. Он все еще был там, на берегу.

Известие о войне преобразило его. Он побрился осколком стекла (у арестантов отбирали все острое), надел чистую рубашку. Он не только оживился, он стал другим человеком — таким он был до своего несчастья. Глаза заблестели, на худом лице появился румянец. Прежде он все встряхивал головой, как бы отгоняя видение, всегда стоявшее перед его глазами. Теперь тот берег в Рублеве, хорошенькая задушенная жена, удивление и ужас перед тем, что он сделал, — все отошло и встало вдали. Так он сказал Веревкину. Только об одном он беспокоился — возьмут ли его на фронт.

— Конечно, возьмут, — сказал ему Николай Иванович.

Капитан Миронов был прав, утверждая, что девять десятых заключенных охотно пошли бы воевать. Не никто не просил их воевать. Строгости усилились после обстрела «Онеги». У тамбучи стояли теперь двое часовых. Повару из заключенных запрещено было являться на камбуз, и пайки раздавались в трюме под присмотром начальника конвоя.

Все нахлынуло на Веревкина сразу, смешалось, переплелось, закружилось, когда он узнал о войне. Где Гоня? Куда она денется одна, без друзей, которые давно отвернулись от жены опороченного командира? Поедет в Калинин? После смерти геши там осталась родня. Есть у нее деньги? Конечно, нет. Все продано, она всегда легко тратила деньги.

Должно быть, он сказал это вслух. Будков, сидевший на полу возле него, обернулся с вопросительным выражением.

— Ничего, это я так, про себя.

После драки Веревкина со старостой Будков бросил удобное место у бункера и перебрался к Николаю Ивановичу со своей искусно смонтированной постелью.

— На всякий случай, так? — сказал он.

Постель Веревкина, лежавшую, как он выразился, «меж уши», он

переделал на свой лад. Он сторожил Николая Ивановича, и, может быть, не напрасно. Но Веревкин не только не боялся Ивана, но больше ни одной минуты не думал о нем. Он прежде всех почувствовал, что та атмосфера, на которую рассчитывал староста, зашаталась, распалась. Мысль о том, что война может усилить возможность захвата, показалась бы Николаю Ивановичу не страшной, а смешной. Это была вывернутая наизнанку, неестественная мысль, а он мог думать о войне только в ее прямом значении. Весь строй его прежней, дотюремной жизни был связан с этим прямым значением войны, то есть с тем участием, которое должен взять на себя в будущем столкновении флот. Тогда была мирная жизнь, и сам он был человеком мирным, не любящим ссориться, а любящим поесть и поспать и сильно побаивающимся начальства. Теперь, как и должно было случиться, он стал человеком военным, стремящимся сражаться и вполне подготовленным к этой работе. Но нельзя было сражаться, а можно только думать и думать.

Он думал о том, что накануне его ареста было назначено учение и все беспокоились, потому что экипаж впервые проходил торпедные атаки, а лодка после финской кампании нуждалась в ремонте. Тогда без конца говорили о необходимости настоящей судоремонтной базы. Взяться ли за это дело новый командующий флотом?

Он думал о том, как должны действовать немцы: прежде всего они попытаются, без сомнения, захватить Рыбачий и Средний. Карта Крайнего Севера возникла перед его глазами: толстый хвост Кольского полуострова и далее на северо-запад два полуострова — Рыбачий и Средний, связанные узким перешейком. Если немцы овладеют ими, из залива надо уходить, а без Кольского залива Северный флот существовать не может.

И как будто кто-то подслушал его мысли, потому что послышался колокол громкого боя, на палубе закричали, и шум самолета ворвался в привычный сплетающийся шум воды и машины.

Николай Иванович так же ясно представил себе то, что произошло в течение ближайших пяти минут, как если бы он был не в трюме, а среди матросов, встретивших фашистский самолет огнем зенитных пулеметов, или в рубке, командуя пароходом, кидавшимся то влево, то вправо. Он не знал, что от бомбы оторвался стабилизатор и что она падала, кувыркаясь в воздухе, как полено. Но он знал, что она попала в центр по левому борту.

## 30

Бомба взорвалась, пробив спардек, и все, что попало под взрывную волну, полетело, как листки бумаги на сквозняке. Мертвый штурман был выброшен из салона, и когда Сбоев выпутался из обломков мебели, он увидел Алексея Ивановича, лежавшего на палубе в неприятной, странно лихой для покойника позе. Но это было только скользнувшее впечатление, потому что подле штурмана лежал один из матросов, раненый или мертвый, и надо было сбросить с него доски и хоть оттащить в сторону, потому что, пробегая, кто-то нечаянно наступил на него. Но и этого нельзя было сделать, потому что там, где только что была беспорядочная путаница сломанных переборок, там, где под этими переборками лежал — Сбоев вспомнил — груз в бочонках, кажется краска, стало, перебегая, подниматься пламя. Он кинулся помогать матросам, тащившим шланг, и бросил, потому что кто-то сказал, что пожарная магистраль перебита.

Стрелял почему-то только один пулемет, и Сбоев побежал на корму. Матрос был не убит, а отброшен на ростры и старался подняться, крича что-то и показывая на ноги. Он пополз, но Сбоев прежде него добрался до пулемета, перепрыгнув через сорвавшуюся шлюпку. Он стал стрелять,

приноравливаясь к внезапным поворотам парохода. Он угадал ту секунду, когда одновременно с начавшимся падением бомбы «Онега», почти ложась на борт, круто метнулась направо, и послал пули так точно, что, кажется, непременно должен был попасть в самолет. Но не попал, и самолет, сбросив бомбу, упавшую далеко, начал заходить снова. Так было два или три раза, в то время как пожар все разгорался, и Сбоев, не оглядываясь, знал по беготне и крикам, что его нечем гасить. Полная женщина в переднике выскочила на палубу, круглая, растрепанная, с разинутым ртом. Это была тетя Поля, буфетчица, Сбоев не сразу узнал ее. Кто-то, пробегая, ткнул ее, она замолчала и тоже побежала тушить пожар, оттаскивая в сторону сломанную мебель.

Потом самолет ушел, и началось что-то другое или то же самое, но без этого нарастающего гула, и града пуль, и ожидания, пока бомба летела, и облегчения, когда она падала в воду. Больше можно было не стрелять, и теперь все тушили пожар во главе с боцманом, который кидал на огонь роканá и робы, а потом сам падал на них, не давая огню выбиваться из-под одежды.

Но и это короткое время, когда все занимались только пожаром, вдруг кончилось, потому что часовой у тамбучи сорвал винтовку и поставил ее на заключенных, поднимавшихся по трапу. Он закричал: «Стой, убью!» — но заключенные все-таки поднимались, тоже что-то бессвязно крича. Он выстрелил бы, если бы Сбоев не схватил его за руку.

— Вода, вода! — кричали заключенные. Их головы торчали теперь над люком.

Они еще медлили, боялись, но снизу напирала другие, и на палубе стояли уже четверо или пятеро, крича:

— Вода, вода! В трюме вода!

## 31

Когда больше не нужно было уклоняться от бомб и «Онега» могла продолжать свой путь, Миронов передал командование помощнику, а сам спустился на палубу, где еще гасили огонь. Он ходил с трудом. Буфетчица (она же и санитарка) слишком туго перевязала ногу, и нога онемела, может быть, еще и потому, что кусок щепы так и не удалось вытащить из раны.

Огонь перекинулся на корму, и нужно было что-то придумать с боезапасом Сбоева, лежавшим в ящиках на корме. Но прежде Миронов прошел в свою каюту (выглядевшую до странности мирно, если не считать расколотаго стола) и положил в несгораемый ящик судовые документы. Уходя, он сорвал перекосившуюся дверцу стенного шкафа и сунул в карман бутылку коньяку. Нога была уже, как неловко подставленное полено, на которое нужно было ступать, как это ни трудно, а ступая, непременно волочить ее за собой.

Сбоев со своими матросами, один из которых тоже хромотал, не пускали к боезапасу огонь и, может быть, уже не пустили бы, если бы не надо было одновременно отгонять его от повисшей над бортом грузовой машины, на которой тоже лежал боезапас — детонаторы и гранаты. Это было сложно, почти все найтовы оборвались, машина держалась каким-то чудом и при повороте, даже и плавном, непременно упала бы в воду. Но здесь не нужно было командовать, потому что Сбоев сам командовал, кричал и ругался. Он старался отвязать висевший за бортом мокрый брезент и, отвязав, бросил на пылавшую горловину кормового люка. Матросы помогли ему. Машину втащили на руках, и Сбоев, грязный, в разорванном кителе, с раздувающимся азартным носом, радостно завопил, когда ее колеса прочно утвердились на палубе.

Все еще было страшно, что огонь, перебежавший туда и сюда, доберется до ящиков с оружием, и все тушили его с ожесточением, когда часовой, помогавший матросам, побежал к тамбуче, на ходу срывая винтовку. Сбоев не дал ему выстрелить. Головы заключенных торчали над люком, и кто-то, разобравшись, в чем дело, сказал Миронову:

— В трюме вода.

## 32

Был пробит борт ниже ватерлинии. Но, очевидно, немного ниже, потому что вода то бурно заливалась, то опадала. Пробойна была немалая, и необходимо было забить ее чопом, а потом поставить цементный ящик — второй, потому что один уже торчал из обшивки,— тот самый, подле которого обосновался Веревкин. Но прежде следовало откачать воду, и это уже делалось, когда в трюм спустился Миронов.

Он спустился молча и некоторое время стоял, справляясь с тем, что происходило в ноге, на которую невозможно было опираться и еще невозможнее не опираться. В трюме командовал кто-то из заключенных, невысокий, в потертом кителе без нашивок, лысеющий блондин с аккуратным пробором. Он негромко сказал Миронову, что пришлось разбить ящик с пожарным оборудованием. И действительно, заключенные таскали воду в новых, свежескрашенных ведрах.

— Конечно, очень хорошо,— сказал Миронов.

В ящиках были не только ведра, но и огнетушители, которых так не хватало на палубе, и боцман, спустившийся вслед за капитаном, выругался и сказал:

— Кабы знать!

Чоп приташили, и блондин в кителе негромко сказал, уже не заключенным, а боцману, что клинья нужно забивать с тавотом.

— Судя по ходу, мы где-то недалеко от Ара-Губы. Так что зайти придется, очевидно, в Вичаны,— негромким скромным голосом сказал он.— Там, правда, якорная стоянка неудобна, но зайти все-таки можно. Вы заходили?

— Нет,— ответил Миронов. Он чувствовал, что теряет сознание.

Тавот тоже принесли, и этот дельный малый, еще прежде распорядившийся передвинуть груз к левому борту, поставил заключенных выносить воду конвейером, без толкотни, а сам тем временем стал готовить чоп, подгоняя его по размеру пробоины. Здесь дело шло хорошо, и Миронов, взяв с собой нескольких заключенных, пошел в кочегарку, где дело, напротив того, шло очень плохо. Прежде чем спуститься в кочегарку, он постоял, трогая рукой коньяк в кармане и думая, что если бы удалось глотнуть, ему сразу стало бы легче. Но бутылка была не открыта, а отбивать горлышко не хотелось.

Волной воздуха сорвало вентиляторы машинной шахты, и в кочегарке не хватало воздуха, и пар не держался на марке, хотя кочегары выбивались из сил. Здесь тоже надо было наладить конвейер, и его, очевидно, уже наладили, когда Миронов пришел. В кочегарке работали не кочегары, а второй и третий механики и Сбоев с матросом, а кочегары лежали на палубе с бледно-грязными лицами и тяжело дышали. Оставив на работу заключенных, Миронов поднялся на палубу. Светлые фигуры облаков были как бы вырезаны из бумаги на раскачивающемся небе. Дым путался в зелени, пробираясь между сопками — как на войне, как во сне. Немцы подождли кустарник. Он достал коньяк и отбил горлышко бутылки. Он сидел на палубе среди расколотых досок ипил коньяк, вытянув ногу и чувствуя с наслаждением, что ее боль-

ше нет и что можно пить коньяк, не думая об этой сволочи, которая онемела от слишком тугой повязки или, может быть, потому, что кусок щепы так и не удалось вытащить из раны.

## 33

Теперь мертвых, считая Алексея Ивановича, было шесть человек, в том числе начальник конвоя. Их уже нельзя было устроить в красном уголке, потому что красного уголка больше не было, как и самого салона. Они лежали на полубаке, подле брашпиля, под ветерком — еще неизвестно было, когда удастся их похоронить, и для них было лучше устроиться под ветерком. Радист был убит, а потом обгорел. Он был самый страшный из покойников, и Миронов велел закрыть его простыней.

Раненых тоже было много. Кок жаловался на сильную боль в боку и невозможность вздохнуть.

Миронов ходил, опираясь на костыль, который сделал ему один заключенный. Он отобрал из них плотников, и те расчистили палубу, отложив в сторону годный материал. Слесари починили пожарную магистраль, и теперь воду выкачивали не только из левого отсека, но и из бункера, где ее оказалось тоже немало. Надо было восстановить освещение, и электрики энергично принялись за работу.

Среди заключенных были люди разных специальностей, но ни одного радиста. Возможно, что он был и не нужен, потому что рация сильно пострадала, но все-таки радисту, может быть, удалось бы наладить связь, а теперь рассчитывать на это не приходилось.

## 34

Миронов попросил Веревкина заменить покойного штурмана, и Николай Иванович привел пароход в Вичаны. Так он волновался только в тот памятный, все решивший день, когда он ждал Тоню на Марсовом поле и вдруг хлынул проливной летний, бешеный дождь, мгновенно промочивший его насквозь, и Тоня, необычайно серьезная, бледная, в новом платье, ахнула, увидев его, и заплакала, и засмеялась.

Он знал, что нужно ориентироваться по приметному островку Блюдце, который можно было обходить с севера и юга. Проход между островами Западный и Восточный Вичаны мелководен, и он, чувствуя, что сердце бьется уже где-то в горле, не сразу нашел другой, безопасный проход. Но все-таки нашел. Обойдя Блюдце, он пошел на середину входа в Губу и, добравшись до траверза южной оконечности Западный Вичаны, стал выбирать якорное место.

## 35

Иван Аламасов больше не был старостой, потому что рухнула та стена, за которой он командовал другими заключенными, и вместе с ней рухнула та иерархия, согласно которой они обязаны были ему подчиняться. Когда Миронов приказал, чтобы заключенным выдавали питание из двухнедельного судового НЗ, Иван попытался вмешаться, распорядиться, но кто-то ткнул его, едва он поднял голос, и он покорно умолк.

Он был теперь как все. Но он не был как все, потому что еще вчера хотел захватить пароход. Казалось бы, сейчас, когда начальник конвоя был убит, а экипаж, не считая раненых, потерял пять человек, не было ничего легче, как осуществить этот план. Все перемешались. Больше нет никаких запретных зон, и даже повар из заключенных обосновался в камбузе, потому что судово́й кок совсем расхворался и слег. Но чем легче было захватить пароход — тем труднее. Чем легче фактически — тем

труднее в том значении, без которого ничто фактическое не могло произойти, несмотря на всю кажущуюся легкость. Нет, он думал о другом: все знают о его затее, его продадут — вот о чем он думал. Он дрался, отнимал паек. Он заставил одного парня стащить с себя сапоги, просто чтобы показать свою власть. Теперь они ему это припомнят.

Иван лежал с открытыми глазами — не спалось. У него был нож. Он лежал у холодной стены бункера, холодной потому, что машина стояла, и прислушивался. Он должен был, не теряя времени, действовать в свою пользу, ежеминутно, в большом и в малом, а теперь ему нечего было делать — только остерегаться и думать, что его могут убить. А может быть, выгоднее выдать, чем убить?

Он лежал и прислушивался. Все спали — Веревкин, Вольготнов, Будков,— не спал только тот белобрысый парень, которого он заставил стащить с себя сапоги...

## 36

Почти все каюты сгорели, и Миронов приказал поставить на палубе домик. Кроме Веревкина и электриков, которые занялись вентиляционным устройством, все строили этот домик — и заключенные и команда. Может быть, именно поэтому работа шла весело, спорилась. Уже к концу первого дня обшили стойки и приладили стропила. Заключенные работали всегда, в Мурманске их каждый день водили в порт или на рытье котлованов. Но тогда была одна работа и жизнь, а теперь — совсем другая.

## 37

Николаю Ивановичу давно хотелось поговорить со Сбоевым, но до сих пор не было возможности, потому что Сбоев был занят — он распечатывал и устанавливал новые зенитные пулеметы. Освободившись, он несколько раз проходил мимо Веревкина и наконец остановился в двух шагах от него.

— Извините,— сказал Николай Иванович. Сбоев обернулся.— Мне хотелось поговорить с вами.

— Я и сам все собирался,— протягивая руку, радостно сказал Сбоев.— Я потом вспомнил, что мы встречались в Полярном.

— Ну, как там, в Полярном?.. Не знаю, с чего начать.

— Вы все спрашивайте, что хотите.

Как во время единственного свидания с женой, когда невозможно было выбрать главное, о чем хотелось узнать прежде всего, Веревкин произнес несколько бессвязных слов и замолчал, волнуясь. И Сбоев, почувствовав это, стал сразу же поспешно рассказывать сам — о чем придется и обо всем сразу. Он начал с истории подводной лодки «Д-2», которую командовал знакомый Николая Ивановича — капитан-лейтенант Зеленский. Лодка погрузилась и не всплыла. Ее искали целую неделю. Командующему флотом был объявлен строгий выговор и приказано: «Больше рабочей глубины подводным лодкам в море не погружаться».

— Подумайте, какая чепуха! В Баренцевом глубины повсюду больше, чем рабочие. Стало быть, вовсе не погружаться?

— И как же поступили?

— Как? Новый комфлота сделал вид, что приказа не было.

Сбоев говорил о командующем с тем оттенком хвастовства, с которым мальчишки рассказывают об отцах или старших братьях. Он упомянул капитана второго ранга Вольского, и Николай Иванович обрадовался, узнав, что Вольский назначен командиром бригады подводных лодок.

— Давно пора.

— Теперь пойдет дело, правда? — по-мальчишески спросил Сбоев.

Надо было торопиться, а Веревкин еще не сказал о Тоне.

— Простите. У меня к вам просьба. Я ничего не знаю о жене. Она живет в Мурманске. Если вам нетрудно... Вы вернетесь в Полярный?

— Да, но это ничего. Я буду в Мурманске, непременно. Вы хотите ей что-нибудь передать?

— Да. Не думаю, что она уехала. Разве если эвакуация... Она хлопотала обо мне. Я знаю, что ей было легче, что мы как-никак в одном городе... даже близко. Расскажите ей, как мы встретились, и передайте, пожалуйста, это письмо.

— Конечно. Непременно,— с жаром ответил Сбоев. Он взял письмо и бережно положил в бумажник.

— Вот уж не было бы счастья, да несчастье помогло,— сказал Николай Иванович.

— Все сделаю. Все сделаю,— не зная, как передать ему, что он чувствует, повторял Сбоев.

Он все говорил, и все об интересном, важном. Между тем на «Онеге» готовились к похоронам. Мертвые лежали на носилках, и матросы спустили на воду шлюпки, чтобы отвезти их на берег. Миронов, бледный, с отеками лицом, опираясь на костыль, вышел на палубу.

## 38

Нельзя было вырыть могилы и пришлось выбрать углубление между скалами, чтобы положить убитых и завалить их камнями. Для Алексея Ивановича нашлось в изложине немного земли, и ему устроили настоящую могилу — даже украсили ее ветками березы. Хорошая береза была южнее, а здесь только жалкие кустики, попадавшиеся вдоль быстрого, с перепадами ручейка.

Неподалеку была отдельная, похожая на столб скала, приметная с берега, но Миронов приказал сложить еще и гурий — груды камней с острой вершиной. Небольшая толпа моряков, обнажив головы, окружила могилы. Миронов сказал несколько слов. Еще постояли молча, потом пошли к шлюпкам.

При неярком солнце, медленно склонявшемся к горизонту, был еще заметен в спокойном небе нежный ободок луны. Пройдет еще час, и, так и не склонившись, не скрывшись, солнце начнет подниматься. Полярный день! Светлое пятно на круглой, гладкой прикрутости берега померкло и вновь стало медленно разгораться. Ручеек с перепадами прислушался к лету — так называют в здешних местах южный ветер — и, обогнув могилы моряков, побежал дальше как ни в чем не бывало.

## 39

Теперь у «Онеги» был странный вид: на палубе стоял домик, покрытый толем, который нашелся среди грузов, предназначенных для аэродрома. Но домик был хоть куда, с окнами, дверьми и трубой, из которой скоро повалил дым — печник, который тоже нашелся, сделал временку. Внутри домик обставили мебелью — обгорелой, но еще приличной.

В трюме было сыро, вода просачивалась сквозь сдвинувшиеся листы обшивки старого парохода, и заключенные разместились на палубе, устроив себе укрытие из сломанных переборок. В каюте Миронова лежали раненые, за которыми ухаживала буфетчица, а капитан, почему-то не считавшийся раненым, устроился в лоцманской, где прежде жил Сбоев. С вечера он ставил на ногу теплый коньячный компресс — жалел коньяк, но ставил.

Было раннее утро, когда, выйдя из бухты, «Онега» легла курсом на Титовку. Несмотря на полный пар, она делала теперь не восемь, как ей

полагалось, а едва ли пять узлов. Но до Западной Лицы было недалеко, а там, выгрузившись, Миронов думал, не торопясь, сделать ремонт.

Он не знал, что немецкие егерские дивизии перешли в наступление, наши войска отходят мелкими разрозненными группами, Титовка сдана и бои идут в районе Западной Лицы.

## 40

*«Только один батальон подошел к заливу под командованием офицера; причем этот офицер имеет более десяти ран. Я видел его и поразился тому, как он сумел дойти. Еще более удивительно несоответствие его физического состояния — человек едва держался на ногах — с его волей. К сожалению, не запомнил его фамилии».*

А. Г. Головки. «Вместе с флотом».

Курков был ранен и по временам не то что терял сознание, но как будто находил себя после длинного или короткого перерыва. Однажды он нашел себя вспоминающим задачу, в другой раз — оглянувшись, ставшимся разглядеть очертания какого-то парохода, который, очевидно, уже давно обогнул островок, лежавший посередине Губы.

Курков посмотрел в бинокль: пароход был старомодный, с круто выгнутым носом. У него не было ни фок-мачты, ни грот-мачты и вообще почти ничего, кроме командного мостика и косо торчавшей стрелы. Зато на корме стоял домик, не рубленый, как на плотках, а дощатый, с окнами и черной крышей.

У пароходика был нелепый, не внушающий надежды вид, и Курков, отвернувшись, стал снова смотреть туда, где осколки гранита взлетали то волнообразно, то фонтанчиком, то как одинокие, медленно летящие стрелы.

До войны, неделю тому назад, у Куркова не было никаких желаний, кроме желания занять первое место в полковом шахматном турнире. Он и в армии-то остался после действительной потому, что ему казалось, что в армии начальство все обдумает и решит за тебя. Служба была для него наиболее простой возможностью существования. Он жил не сопротивляясь.

Между тем в течение последних дней он только и делал, что сопротивлялся и с бешенством, без тени отчаяния, с холодным расчетом. Цепляясь за каждую скалу, без дорог, через тундровые болота, он прошел с боями десятки километров. Третьего дня он командовал взводом, вчера — ротой, а сегодня — батальоном, который должен был занять выгодную позицию вдоль воложки — так называется пролив между речками, устья которых сливаются, впадая в море. Должен был занять, но не занял, потому что часть батальона осталась на той стороне, за речками, и немцы не давали ей перейти. Теперь наконец у него появилось желание. Более того, теперь он как бы сам стал этим желанием, которое непременно должно было исполниться и как можно скорее. Оно заключалось в том, чтобы задержать немцев, пока переберутся наши. Но исполниться оно не могло, потому что у него было мало людей. «Имею остаток всего ничего», — накануне сообщил он командиру полка. Теперь он имел остаток остатка.

С крутизны, на которой он засел, картина была видна, как на рельефной карте: вдалеке — светлые расширяющиеся треугольники, бегущие вверх и сливающиеся с поперечной волнистой полоской, — это был снег, лежавший между сопками и опушивший их до самого неба. Потом —

темно-прозрачные тени, лежавшие на других сопках, пониже. Здесь были немцы. Потом — кусок зеленого пустого пространства — кустарник, над которым ходили дымки. За ним, по-над берегом — обрывающиеся бурые утесы с выходом к заливу, который ему, Куркову, надо было закрыть. Воложка вела к этому выходу, и немцы уже шли вдоль нее, готовясь форсировать речку.

Он снова оглянулся, хотя ему было некогда, и увидел, что на пароходик с моря заходят два самолета. Это значило, что и немцы заметили его, причем они-то, без сомнения, гораздо раньше, чем Курков. Удивительно и даже необыкновенно было совсем другое. Пароходик замедлил ход, как будто поджидая, когда самолеты подойдут поближе, и, когда они подошли, открыл такой огонь, как будто это был не маленький странный «торгайт», а по меньшей мере эскадренный миноносец. «Не меньше шести-семи пулеметов», — подумал Курков.

— Господи! Если бы... Ох, если бы... — сказал он вслух.

Люди, лежавшие рядом с ним в скалах выше и ниже, бросили стрелять и, оживленно переговариваясь, стали смотреть на этот неравный бой. Курков строго окликнул их. Но невозможно было не оглядываться. Теперь пароходик не медлил, а вертелся во все стороны — то давал полный вперед, то стопорил, то круто брал направо и налево. Самолеты по очереди пикировали на него, но он все увертывался среди разрывов, не переставая стрелять. Это продолжалось долго, и Курков еще раз, а может быть, еще сто раз сказал: «О господи! Если бы...»

Его снова повело куда-то, но он справился и продолжал смотреть, хотя надо было командовать боем. Загибаев, о котором в роте говорили, что он «загибает», вдруг вскочил, закричал. И все другие, лежавшие выше и ниже, заговорили, закричали, вскочили.

— Попал! Подбил! Попал! Ух, молодцы! Мать честная! Попал!

Один из самолетов потянул к берегу, дрожа, но не дотянул и свалился в воду, второй сбросил еще одну бомбу, не попал и ушел. Теперь можно было разобрать в бинокль название — «Онега». И эта «Онега» с нелепым домиком на корме больше не стреляла и не крутилась. Очевидно, нельзя было подойти к берегу прямо, и, осторожно обогнув невидимое препятствие, она направилась к причалу.

Куркова все-таки увело, потому что он увидел себя на берегу пруда, в своей деревне. Он пускал бумажные кораблики, они размокали и тонули, но один не утонул, поплыл. Земля была еще взъерошенная, неприбранная, только что вылезшая из-под снега. Но солнце уже грело, сияло, и кораблик плыл в чистой освещенной струе. Коряга встретила на его пути, он остановился, задрожал. Мальчишки закричали: «Ну, все!» Но это было еще далеко не все. Он скользнул вдоль черных мокрых сучьев и помчался дальше, сверкая на солнце, как сверкало все — даже прошлогодняя, оставшаяся зеленой под снегом трава, даже погибшие, потемневшие дубовые листья...

На этот раз перерыв продолжался долго, потому что когда он кончился, «Онега» уже ошвартовалась; много каких-то невоенных людей спустилось по сходням, другие выгружались. Стрела ходила вперед и назад, опуская на берег мешки и ящики, а потом подцепила и осторожно поднесла к берегу грузовую машину. Высокий толстый моряк на костыле, с перевязанной согнутой ногой ходил вдоль палубы, распоряжаясь. Машина встала на берег и сразу двинулась задним ходом — ее опробовали.

Люди были не обмундированы, и это нисколько не удивило Куркова — из вчерашнего подкрепления многих тоже не успели одеть. Но они не торопились — вот что было страшно. Они видели с моря, что идет бой, но не знали, что надо сразу же бежать туда, где речки сливаются у выхода к заливу. По-одному через разлог, где мины рвутся среди при-

брежных скал, а потом круто повернуть и ударить справа. Он заскрипел зубами, чтобы не дать себе уйти на пруд в деревню, где мальчишки катались на коньках. Да, справа. Слева хуже — помешают утесы.

Он прогнал пруд и этот холод зимы и стал думать, кого послать. Не врача ли? Врач воевал хорошо и мог объяснить. Но все-таки он послал Загибаева, а вслед — Сундукова.

Немцы шли вдоль воложки, то показываясь в мелком березовом кустарнике, то исчезая. Лучше было не смотреть на них. Загибаев добрался первый. Он бежал почти напрямик. Невысокий командир в морской форме встретил его у причала и сразу же бросился к тому толстому с перевязанной ногой, который стоял на палубе, командуя разгрузкой. Теперь добежал и Сундуков. Матрос топором разбил ящики. Раздавали оружие. Роздали. Побежали по одному через тот разлог. Так. А теперь направо.

...На этот раз он увидел себя катающимся на коньках. Шел снег, водоросли, замерзшие в странных положениях, были видны сквозь тонкий прозрачный лед пруда. Ему стало холодно, и он пошел в избу, где мать только что вынула хлеб из печки и теперь пекла для него корокы. Из печки пахло вкусным теплом, а в глубине, на поду, еще перебежали искры...

## 41

«Семь пар нечистых», как называл свою команду Сбоев, собиравшийся, подобно Нельсону и Ушакову, побеждать, командуя эскадрой, не позволили немцам выйти к морю и отбросили их за воложку. Батальон Куркова успел занять оборону, действительно выгодную, потому что ему удалось продержаться на ней до прихода армейских частей и отрядов морской пехоты. Они обороняли этот рубеж в течение трех лет, а потом, перейдя в наступление, разбили немцев и освободили норвежскую область Финмарк.

Бывшая команда заключенных получила обмундирование и другого начальника, вместо Сбоева, вернувшегося на флот. Теперь это было обыкновенное подразделение, занимавшее небольшой участок приморского фронта и воевавшее не лучше и не хуже других.

Никто не помнил о старосте Аламасове, который был убит в первые дни. «Онега» своим ходом вернулась в Мурманск, была отремонтирована и всю войну ходила, перевозя раненых и выдерживая, как ни трудно этому поверить, рейсовое расписание. Веревкин осенью 1941 года был реабилитирован и получил подводную лодку. Жена приехала к нему в Полярное.

Из трюмных пассажиров Будков стал широко известен: он попал в диверсионную группу, ходившую в тыл противника, и отличился в пикшеувской операции. Статьи о нем в газетах Северного флота называются: «Будков рассказывает» и «Слава бесстрашным».

1961.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

И. ДУБИНСКИЙ

★

## СЛАВНЫЕ ИМЕНА, СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ

*«Вечно будет жить слава о доблестных сынах и дочерях нашего народа, которые пролили кровь, отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость Родины...»*

Н. С. Хрущев.

**Т**ысяча девятьсот тридцать второй год... Мне хорошо помнится происходившее тогда, тридцать лет тому назад, заседание Совнаркома Украины, где обсуждались некоторые военные вопросы. Речь зашла и о книгах, посвященных гражданской войне. Интересные мысли высказали В. Я. Чубарь, С. В. Косиор, В. П. Затонский, Ю. М. Коцюбинский, И. Э. Якир. Я был тогда военным секретарем Совнаркома Украины. Особенно хорошо запомнилось мне то, о чем говорил Якир.

«Писатель мог бы хорошо показать гражданскую войну,— сказал Иона Эммануэлович,— если бы он хоть на часок залез в нашу шкуру, в шкуру тех, кому партия поручила такой сложный, такой трудный участок... А кто нам помогал? Нас вдохновляли ленинские идеи, вера в правоту своего дела, верность партии, народу, сознание, долг. Совесть коммуниста вела нас в бой. Все это так... Но было кое-что еще...

Возьмем девятнадцатый год, рейд нашей Южной группы. Мы идем из-под Одессы к Киеву. С запада наступают петлюровцы, с востока — Деникин. Зашевелились бандитские атаманы. Лютый враг напирает сзади, жмет спереди, лезет с боков. И гайдамак далеко не таков, каким его высмеивал на агитплакатах дядя Кондрат. Петлюровцы воюют за родные хутора. Не бегут от первого выстрела. Правда, есть среди самостийников и много обманутых.

У врага много оружия — английского, французского... Но наши чудо-богатыри из 45-й и 58-й дивизий, босые и голодные, и в успехах и при неудачах до последней капли крови были преданы своему вождю — Ленину. Помните тот плакат — «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!». Я и мои товарищи по походу — Гамарник, Затонский и все наши коммунисты знали, что Южная группа — это несокрушимая сила... Нужно было выводить ее из-под удара и в то же время наносить удары врагу. Я крепко верил в наших людей, в преданность и стойкость своих помощников — Федько, Гарькавого, Котовского, верил в себя как в коммуниста. Но я ведь был и командующим, притом далеко еще не зрелым командующим, против которого действовали опытные генералы, полковники, генштабисты.

И вот, в пылу сражений меня словно окружали тени славных народных вожаков. Неотступно следуя за мной, они повторяли: «Мы пахари, кузнецы, рядовые солдаты, казаки били генералов, полковников. Верь в себя и... сим победиши!» Да, пример Спартака, Разина, Пугачева, пример бывших санкюлотов-капралов меня воодушевлял, давал силы. И мне, и другим! Фрунзе, Блюхер, Егоров, Тухачевский, Уборевич, Кивкидзе, Примаков, Котовский,— все они прекрасно знали прошлое, и оно так же, как и мне, помогало им...

Я вспомнил об этом интересном высказывании Якира, когда прочел вышедшие сравнительно недавно две книжки о бурном времени тех лет — «Полководцы граждан-

ской войны» (издана «Молодой гвардией») и «От солдата до маршала» (издана Госполитиздатом). Одна содержит литературные портреты тринадцати выдающихся героев гражданской войны. Другая подробно описывает военную деятельность В. К. Блюхера. Эти работы частично заполняют обидный пробел в нашей исторической литературе. Отраднее сознавать, что полузабытые подвиги народа, связанные с яркими именами ленинских полководцев, станут известны и нашим современникам и нашим потомкам.

Якир сказал то, о чем думали многие. Давно не было в живых Степана Разина, Емельяна Пугачева, его славных сподвижников — Чики-Зарубина, Шигаева, Подурова, вожаков трудовой Украины — Максима Кривоноса, Ивана Богуна, не было в живых отчаянно смелых полководцев Великой французской революции — сыновей трактирщиков, бочаров, учителей, но пример всех этих героев воодушевлял советских воинов и полководцев на полях сражений гражданской войны. Молодые начдивы и командармы хорошо знали, что вожаки-солдаты и вожаки-капралы, опираясь на революционный энтузиазм масс, били опытных бригадиров царицы Екатерины, генералов-роялистов и их друзей — генералов-пруссаков. И уж если они били, так нам-то «сам бог велел».

### ЗАКОНОМЕРНОЕ «ЧУДО»

И впрямь — на полях сражений гражданской войны в течение ряда лет одно «чудо» свершалось за другим. Вчерашний статистик земского союза, мечтавший в революционные годы возглавить полк, тридцатичетырехлетний Фрунзе во главе группы армий уничтожил в бассейне Камы мощные колчаковские корпуса, которыми командовали опытные генералы Ханжин, Бакич, Каппель. Героические советские полки, выполняя волю партии и Ленина, под водительством большевика Фрунзе вписали в книгу побед советского народа ярчайшую ее страницу под названием «Перекоп».

Бывший царский солдат, двадцатидевятилетний Василий Блюхер под Челябинском громит войска генерала Дутова. Совершает героический полуторамесячный рейд по тылам врага от Оренбурга к Верхне-Уральску, а оттуда к Уфе. После ряда удачных боев выводит войска Южно-Уральской группы к Кунгуру на соединение с регулярными частями Красной Армии. Под Каховкой советские войска под командованием бывшего солдата Блюхера разбили опытного белогвардейского генерала Слащева, под Волочаевской — генерала Молчанова, под Нанкином — генерала-милитариста У Пей-фу, под Хасаном — генералов японского микадо. В. К. Блюхер первым в Советской республике был награжден высокой боевой наградой — орденом Красного Знамени, а затем еще четырьмя такими же орденами.

Двадцатидвухлетний Якир летом 1918 года ликвидирует восстание Сахарова в Балашове и получает за боевое мастерство и личную отвагу орден Красного Знамени № 2. Спустя год выводит окруженные войска Южной группы из-под Одессы к Житомиру. Летом 1920 года гонит легионы генералов Ромера и Ивашкевича к львовским укреплениям. Осенью того же года треплет петлюровского главнокомандующего генерал-хорунжего Омеляновича-Павленко.

С. М. Буденный, бывший вахмистр, становится сначала вожаком революционной донской молодежи, а затем во главе Первой Конной армии — ударного кулака Красной Армии — громит вместе с 42-й шахтерской дивизией Гая конные корпуса Шкуро, Мамонтова, Покровского. Под Сквирой наносит сокрушительный удар армиям Пилсудского. Вместе со Второй Конной армией Миронова, латышской дивизией, сибирскими полками Блюхера довершает разгром Врангеля в Крыму.

Бывший полкаторжанин двадцатилетний Виталий Примаков во главе червонных казаков вместе с латышской дивизией громит под Орлом гвардейцев генерала Кутелова, ликвидирует в апреле 1920 года под Перекопом офицерский десант генерала Витковского, летом того же года совершает рейды на Проскуров, на Стрый, осенью крошит гайдамаков железной дивизии генерал-хорунжего Удовиченко.

Помню, весной 1920 года под Перекопом, на знаменитой высоте 9,3 собрались начдивы Нестерович, Калнин, Козицкий, Эйдеман, Примаков.

— Горячий будет нынче денечек. И особо жарко придется, Виталий, твоим червоным казакам, — сказал Эйдеман, обращаясь к Примакову.

— Да! — согласился Примаков. — Буря, нынче грянет буря.

На полях сражений мне довелось видеть многих наших начдивов, знавших суровую прозу гражданской войны. Но эти двое, мужественный сын Латвии и внук крепостного черниговца, тонко чувствовали также ее светлую поэзию.

Солдат Котовский клал на обе лопатки денкинских полководцев Шиллинга, Стеселя, петлюровских генералов Янчевского и Тютюнника.

А блестящая плеяда советских военачальников, вышедшая из офицерских низов! О прапорщиках в старой армии говорили: «Курица — не птица, прапорщик — не офицер». Но сколько вышло настоящих советских полководцев именно из среды прапорщиков и поручиков, достигших офицерского звания не в силу своей именитости, а благодаря знаниям и личной отваге!

Двадцатипятилетний командующий фронтом, бывший поручик Михаил Тухачевский наносил сокрушительные удары по войскам генералов Колчака и Гайды на Востоке, полчищам генерала Пилсудского и его советника французского генерала Вейгана на Западе.

Неизменно колотил генерала Кутепова, Май-Маевского, белопольского генерала Ромера бывший поручик Уборевич.

Тридцатитрехлетний Вострецов бил седых колчаковских генералов, сумел перехитрить и захватить в плен белогвардейского атамана Пепеляева вместе с его войском, не пролив и капли крови.

Кубанский казак Ковтюх, увековеченный Серафимовичем в «Железном потоке», дослужившийся за личную храбрость до штабс-капитана, бил кубанского генерала Покровского, колотил десант Улагая.

Прапорщик Чапаев неоднократно громил дутовского генерала Толстова, бил самого Дутова. Прапорщик Щорс рассеял в Чернигове войска генерала Терешковича. Прапорщик Сизьерс еще в феврале 1918 года разбил на Дону генеральские своры Каледина, освободил Ростов, Таганрог.

Добавлю еще, что на Украине Василий Киквидзе разгромил со своими фронтовиками петлюровского атамана Оскилко. Трудящиеся Правобережной Украины, горя ненавистью к немецким оккупантам и их прислужникам — петлюровским гайдамакам, шли добровольно в отряд Киквидзе. Под его командой вместе с другими революционными отрядами обороняли Бахмач, Полтаву, Харьков. В огне боев рос авторитет молодого советского командира. Дивизия Киквидзе стала грозой для белоказачьих банд. Недаром донской атаман Краснов назначил награду в двадцать пять тысяч рублей золотом за голову Киквидзе. К слову сказать, некоторые историки приписывают роль таких военных деятелей, которые, как, например, Киквидзе, были склонны к партизанщине, к местничеству. Нет спора, все это было. Но настоящий историк, описывая героев гражданской войны, прежде всего отметит не это, а ту пользу, которую они принесли народу.

...В тот памятный день все слушавшие Якира согласились с ним. Действительно, вожаки народных масс — и Разин, и Пугачев, и Богун, и Спартак, и полководцы Великой французской революции — своим примером внесли какую-то лепту в дело разгрома белогвардейцев и интервентов, начиная с донского атамана Каледина в 1918 году и кончая головным атаманом Украины Петлюрой в 1920-м.

Белогвардейские генералы жаловались — трудно, мол, бороться с противником, который воюет не по правилам. Такие жалобы были на Киквидзе, Гая, Буденного, Примакова, Котовского и многих других. Придерживавшиеся уставов, «яко слепый стены», белые генералы рассматривали действия этих военачальников как нарушение незыблемых военных канонов. Что ж, это не ново. Подобные нарекания были и со стороны роялистов, когда революционные генералы, увидев рождение чувства собственного достоинства воина-гражданина, стали вести атаки не в линейных порядках, легко уязвимых метким огнем, а разомкнутой цепью, немислимой для прежнего сто раз битого шпицрутенами и драного-передранного лозой солдата-наемника.

Новые социальные отношения породили новую тактику, новые правила и способы ведения войны, превосходившие все то, что было известно раньше.

«Ни один класс в истории,— писал В. И. Ленин,— не достигал господства, если он не выдвигал своих политических вождей, своих передовых представителей, способных организовать движение и руководить им»<sup>1</sup>. Эта глубокая ленинская мысль верна и по отношению к военным руководителям. Партия с этой проблемой блестяще справилась в гражданскую войну. Справилась она с этой нелегкой задачей и в Великую Отечественную войну, хотя здесь и были свои, особенные трудности.

Образцом пролетарского полководца-большевика, разумного стратега и тонкого политика, скромного человека и отзывчивого товарища был Михаил Васильевич Фрунзе. Его почитала вся Красная Армия, весь народ. Впервые мне пришлось увидеть М. В. Фрунзе на больших осенних маневрах 1921 года на Подоллии, под Каменец-Подольском. Он прекрасно сидел в седле, мчась на своем стройном коне вслед за нашей стремительной лавой. Когда он благодарил наш полк за хорошо проведенное казачье учение, нам казалось, что к нам обращается не старший начальник, а родной отец.

Вспоминается и такой случай. Нас, новых слушателей Военной академии (это было осенью 1924 года), вызвали на примерку обмундирования на Воздвиженку. Спустя четверть часа в мастерскую военторга без сопровождающих, без адъютантов вошел М. В. Фрунзе. Закройщики оставили было нас и кинулись к наркому. Но Михаил Васильевич, присев на стул, сказал: «Продолжайте, продолжайте, я обожду».

Осенью 1924 года вся армия почувствовала, что на место мастера пустых словесных фейерверков пришел человек настоящего дела. Чувствовалось это и в академии, которую возглавил друг и соратник Фрунзе — Роберт Петрович Эйдеман.

Фрунзе знал цену настоящим военным знаниям. Сразу же после гражданской войны вступив в ожесточенный теоретический спор с Троцким по основным вопросам строительства Красной Армии, он перевернул все вверх дном в академии. Преодолев сопротивление рутинеров, он заставил основную кафедру надолго распротиться с Юлием Цезарем, направив внимание профессуры на изучение военных трудов В. И. Ленина, на мастерство Брусилова, Макензена, Блюхера, Буденного, Примакова и Вострцова. Вместо цизальпинских походов стали штудировать сражение в Карпатах, на Ипре, при Камбре, под Касторной, Кромами — Орлом, Каховкой, Перекопом.

Волею партии Военная академия, радикально перестроенная Михаилом Васильевичем Фрунзе, подготовила из многих сотен участников гражданской войны прекрасных полководцев и штабистов — «фрунзенцев», которые в годы Великой Отечественной войны справились и с тяжелым отступлением к Волге и с блестящим маршем на Берлин, Бону, Прагу, Будапешт и Белград.

В те тяжелые годы советские полководцы могли потребовать от солдата-гражданина то, чего не мог ждать белый генерал от солдата-неволяника, о котором пелось еще в старину: «Унтера их батогами поколачивают, офицеры матерщиной поворачивают».

В огне боев, в дыму сражений вместе с новым человеком рождалась победоносная тактика молодой, полной свежих сил Красной Армии. Советский рассыпной строй, открывающий неограниченный простор для проявления инициативы, советский удар по флангам и тылу, смелые рейды конницы, новаторское использование тачанки — все это оказалось во много раз жизненней и сильнее, нежели приемы и правила, по которым велась первая мировая война и которых слепо придерживались вожак контрреволюции.

Сибиряки говорят: «Кинь в мальчика шапку. Ежели устоит, значит гош на любую работу». В молодую республику, испытывая ее крепость, «кидали» не шапки; ее пытались сокрушить заговорами, мятежами, восстаниями, интервенцией. И все же не сбились. Устояла!

Нашим полководцам надо воздать должное не только за славные победы советского оружия, но и за то, что они сумели великолепные качества советского воина

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. 4, стр. 345.

положить в основу новой, советской тактики, нового победоносного оперативного искусства, новой стратегии.

В тяжкую для народа годину, во время священной войны воюют живые и мертвые, воюет настоящее и прошлое. Подобно тому как над полями сражений гражданской войны витал боевой дух великих крестьянских войн в России, над суровыми плацдармами Отечественной войны — на Волге, под Москвой, на Курской дуге и другим! — витал окрыляющий дух Орловско-Кромского сражения, Касторной, Перекопа, Волочаевки... Неотделимы от этого победоносного духа вечно живые имена славных полководцев гражданской войны.

Малиновский и Рокоссовский, Василевский и Толбухин, Говоров и Чуйков и многие другие не год и не два проходили высшую школу ленинского военного искусства у таких видных учителей, как Тухачевский, Егоров, Блюхер, Якир, Уборевич, Эйдеман, Корк. Без этой школы невозможна была бы победа над таким опытным и сильным врагом, каким был вооруженный до зубов немецкий фашизм.

### ПО ВОЛЕ ПАРТИИ

Книга «Полководцы гражданской войны» рассказывает о тринадцати выдающихся советских военных деятелях — М. В. Фрунзе, С. С. Каменеве, А. И. Егорове, В. К. Блюхере, Я. Ф. Фабрициусе, С. С. Вострецове, Г. И. Котовском, Е. И. Ковтюхе, В. И. Киквидзе, Н. А. Щорсе, В. М. Азине, О. И. Городовикове, Р. Ф. Сиверсе. Своими делами и героическими подвигами все они заслужили того, чтобы вечно жить в памяти советских людей.

Начало сделано. Нужно рассказать народу и о других полководцах и героях гражданской войны — о М. Н. Тухачевском, И. И. Вацетисе, В. А. Антонове-Овсеенко, И. П. Уборевиче, И. Э. Якире, А. И. Корке, В. М. Примакове, Р. П. Эйдемани, И. П. Белове, В. К. Путне, И. Н. Дубовом, Г. К. Гае, Д. П. Жлобе, Н. Д. Каширине, Н. Г. Крапивянском, Ю. В. Саблине, А. И. Тодорском, Бетале Калмыкове и других.

И эта задача будет успешно решена лишь в том случае, если авторы, рассказывая о полководцах и героях гражданской войны, сумеют показать титаническую работу партии, которая в огне боев и сражений ковала свои пролетарские командные кадры. Мне вспоминается в связи с этим написанная с большой душевной теплотой книга Ф. Голикова «Красные орлы». Очевидец и участник многих боев, автор подчеркивает величайшую роль партии в сплочении народа и армии. Шаг за шагом показывает он, как по воле партии из небольшой искры разгорелось огромное незатухающее пламя, как из толщи народа, из его глубин выросли первые незначительные красногвардейские отрядики, превратившиеся в огне боев в мощные пролетарские полки и дивизии, в непобедимых красных орлов, громивших превосходящего их по численности врага.

Наши полководческие кадры создавались в трудной обстановке. Еще мутили головы эсеры, меньшевики, анархисты. Большевики требовали дисциплины, а демагоги кричали: «Возвращается старый режим!» Введена была красноармейская звезда, а бузотеры шумели: «Обратно заводят кокарды!» Используя колебания некоторых социальных прослоек, контрреволюция устраивала бунты, мятежи. До зарезу нужны были авторитетные вожаки вооруженных масс, и Ленин, партия знали, что вожаки будут, что их выдвинет из своей среды сам восставший народ.

Сейчас военные кадры — это не проблема. У нас достаточно военных специалистов. А в начале гражданской войны большинство полковников и генералов, крупные военспецы с большим теоретическим багажом и богатым опытом находились в стане наших врагов. У нас были прапорщики, унтер-офицеры. Их диапазон — взвод, рота, а развертывались дивизии, армии, фронты.

И вот главнокомандующим сразу же после октябрьского переворота становится прапорщик-большевик Крыленко. В Петрограде, под руководством Ленина штурмуя оплот Керенского, командуют Красной гвардией тоже прапорщики — Подвойский, Антонов-Овсеенко, Коцюбинский.

Партия, ведя борьбу за влияние на солдатские массы, еще летом 1917 года направила в армию большую группу товарищей. Большевики Киева послали в солдатский строй Примакова, большевики Самары — Блюхера. В напряженной повседневной борьбе коммунисты развенчивают эсеровских демагогов, становятся вожаками солдатских масс, вожаками советских полков. К их голосу прислушиваются массы трудящихся, по их зову идут на борьбу с врагом, создавая все новые и новые формирования. Они не только полководцы, но и полкотворцы в полном смысле этого слова.

И все свое влияние эти верные сыны партии используют только в интересах партии, а не в своих личных своекорыстных целях.

Как много народной крови было бы сохранено, если бы всегда это было так. Но мы помним черные дни муравьевщины, сорокинщины, махновщины, григорьевщины. В числе тех, кому советская власть, остро нуждавшаяся в военных кадрах, доверила командование крупными соединениями, оказались и авантюристы и пройдохи.

Эти люди, добившись тех или иных боевых успехов, закичились, стали утверждать, что без них советская власть не победила бы, в то время когда без советской власти они сами не просуществовали бы и дня. Муравьев, Махно, Григорьев, Сорокин, забыв, что вожак, пошедший против своего народа, уже ничто, взбунтовались. Вместо того чтоб быть слугами народа, они задумали превратить народ в своего послушного слугу. И все они начинали с одного — с убийства своих комиссаров, осуществлявших руководство ленинской партии.

Пигмен, возомнившие себя Наполеонами, погибли. Исполни-народ и его партия выстояли. Живут и будут жить в памяти народа те полководцы, которые боролись во имя торжества ленинских идей, во имя победы народного дела.

Буржуазные военные специалисты утверждали, что история армии — это история ее начальников. Пусть этот субъективизм останется на их совести. Мы же твердо знаем: история Советской Армии — это история партии. Без партии не было бы полков, а без полков не было бы полководцев.

Тот, кто, забыв это, начинал воображать, что своими победами на фронте партия обязана ему, а не он партии, делал первый шаг к отступничеству. За первым шагом следовал второй: авантюра; за вторым — третий: предательство.

Советская власть сумела сильной рукой покарать изменников и сильным словом образумить заблуждавшихся. И это не такая уж простая задача: добродетели легче бороться со злом, нежели с заблуждениями.

### «ПРАВО», ОТНЯТОЕ НАРОДОМ

Тринадцать очерков книги «Полководцы гражданской войны» написаны с разной силой убеждения и с неодинаковым литературным мастерством. Но все они добросовестно показывают основные вехи жизни и борьбы крупнейших военных работников того времени. Кто не знал, в какой сложной обстановке зарождались наши славные вооруженные силы, тот почерпнет из этой книги многое.

Но хотелось бы найти на ее страницах не только сухие энциклопедические протоколы, но и яркие портреты. К сожалению, их почти нет. И даже Паустовский, начавший очерк о Блюхере в своей теплой, задушевной манере, перешел на общий почерк сборника. Самым человечным документом в этой книге представляется мне сердечный рассказ покойного А. Гарри о своем легендарном командире. Но волнующее повествование бывшего адъютанта Котовского поневоле принимаешь с оговорками из-за ряда серьезных погрешностей, которые настораживают читателя в отношении всего текста. Не говорю уже о мелких неточностях. Но как можно утверждать, что преследуемый бригадой Котовского петлюровский главком Омелянович-Павленко утонул во время переправы в Збруче, когда известно, что он и поныне живет в США и пишет свои нескончаемые мемуары? Как могли, далее, Котовский и его адъютант Гарри попасть к обеденному столу Петлюры? Ведь вагон Петлюры находился не в Волочиске, а за Збручем, на белопольской стороне.

Автор пишет, что в задачу 8-й кавдивизии червоного казачества входило «захватить город Проскуров, где, по данным разведки, сосредоточилось несколько штабов и белоказачья бригада есаула Яковлева. Но Котовский опередил Примакова, который заночевал в каком-то местечке на полпути между Жмеринкой и Проскуровом». В действительности же Котовский только потому и сумел продвинуться к Проскурову, что Примаков свернул на Деражню, чтобы ударить по соединению Яковлева, которое именно там находилось, а не в Проскурове, как пишет автор.

С. Голубов в своем очерке дал ценный справочный материал о крупнейшем и талантливом полководце ленинской эпохи М. В. Фрунзе. Много интересных сведений находит читатель в очерках А. Тодорского (Сергей Каменев), К. Паустовского (Василий Блюхер), И. Мухомерца (Александр Егоров), Гайры Веселой (Владимир Азин), И. Обертаса (Ока Городовиков), Н. Кондратьева (Ян Фабрициус), А. Мельчина (Степан Вострецов), М. Паланта (Епифан Ковтюх и Рудольф Сиверс), К. Еремина (Василий Киквидзе), Л. Островера (Николай Щорс).

Авторы сборника, без сомнения, проделали большой труд. Нелегко было собрать такой обильный фактический материал после целого ряда драматических событий.

В. Душенькин в книге «От солдата до маршала» рассказывает, как во время первой мировой войны госпитальный врач в Белой Церкви дважды спас Блюхера. Санитары, принимавшие тяжело раненного солдата Блюхера за мертвеца, дважды уносили его в морг. «Воскресив» Блюхера, медики сделали для нашего народа, для наших вооруженных сил большое и доброе дело. Такое же доброе дело совершили авторы сборника, вернув из забвения многие заслуженные имена, которыми будет гордиться не одно поколение советских людей. За то им низкий поклон и сердечное спасибо.

Не могу не заметить, однако, что некоторые авторы, возможно сами того не замечая, делают то, что художники называют смещением перспективы: дальней становится ближним, ближнее дальним, фон превращается в авансцену, авансцена в фон. К сожалению, это часто присуще описаниям подвигов героических личностей.

Представим себе архитектора, который захотел бы выделить одну из восьми колонн фронтального портика Большого театра. Для этого он разрушает все колонны, кроме одной, им выбранной. Задача решена «блестяще». Но как это отразится на эстетике? На рабочих функциях сооружения? Очевидно, единственная оставшаяся колонна рухнет под непосильной тяжестью. Удивительно, что подобное не происходит с некоторыми нашими историческими произведениями. Не потому ли, что бумага все терпит?

Фрунзе сам по себе значителен и велик. Так зачем же при описании разгрома Колчака умалчивать о С. С. Каменеве, командующем Восточным фронтом, тем более что сам Фрунзе отдает должное роли этого крупного полководца гражданской войны?

Читая очерк о маршале Егорове, у которого очень много полководческих заслуг, можно сделать ложный вывод, что он один заботился о техническом перевооружении Красной Армии. А забота об этом Центрального Комитета нашей партии! Весной 1936 года автору этих строк довелось читать адресованную Тухачевским в ЦК партии докладную записку, в которой содержался ряд конкретных предложений по техническому перевооружению наших вооруженных сил в связи с возросшей агрессивностью гитлеровской Германии. Партия готовила страну к обороне. В том-то наша сила и наша особенность, что все преобразования, вызванные новой обстановкой, совершались по решению Центрального Комитета нашей партии. И если, нарушая эти ленинские традиции, кто-либо и пытался решать жизненно важные вопросы в одиночку, то это был не маршал Егоров.

Допускает автор и некоторые исторические неточности. Он пишет: «На Юго-Западный фронт срочно перебрасываются лучшие соединения Красной Армии, в том числе Первая Конная С. М. Буденного и знаменитая бригада легендарного Г. И. Котовского». Бригада Котовского никуда не перебрасывалась, она все время была на Юго-Западном фронте. Перебросили туда из-под Перекопа 8-ю червоно-казачью дивизию Примакова (3000 сабель), прославившуюся своими рейдами по тылам денкинцев.

Описываются дела знаменитой сибирской 27-й дивизии. Тут везде фигурирует один из комбригов — Степан Вострецов. Но если речь идет о дивизии, то она прославилась и

в Сибири и на белопольском фронте под командованием талантливого начдива Витовта Путна. А о нем ни слова. Путна был создателем и вожаком 27-й дивизии, что отнюдь не лишает Вострецова заслуженной им славы одного из первых четырехжды краснознаменцев.

Особенно рьяно искажается истина при описании подвига Ковтюха и легендарного похода Таманской армии. Беллетристам прощается многое. Серафимович назвал своего героя именем Кожуха для того, чтобы иметь свободу действий и право вольного обращения с фактами. Так поступил художник. Но почему же историки, не изменяя подлинных имен, свободно обращаются с фактами? Безусловно легендарен Ковтюх, но не менее легендарен отважный и одаренный вожак черноморских моряков Иван Матвеев — командующий всей Таманской армией.

Не умаляя подвига Ковтюха, шедшего с головной колонной таманцев, следует говорить и о подвигах двух других колонн, предводимых главкомом Матвеевым. Теперь уж на многих биографиях наслаивается немало постороннего, но еще в 1933 году видный политический работник Красной Армии Л. С. Дегтярев писал в своей книге «Шагают миллионы», что в реввоенсовете Таманской армии «все, кроме Полуяна, голосовали за расстрел, но и Полуян не нашел мужества властью председателя изменить тяжкую участь Матвеева. Так решилась судьба вождя Таманской армии, который своим бесстрашием, умением вести за собой массу и природным умом сумел за короткий двухмесячный срок завоевать сердца многих десятков тысяч бойцов и командиров Таманской армии...»

А расправились с Матвеевым только потому, что он возражал против авантюристического плана Сорокина и выдвигал свой, казавшийся ему более жизненным. И расстреляли человека — подумать только, за что? — чтобы поддержать авторитет главкома Северного Кавказа Сорокина. Потом этот авантюрист зверски убил тех, кто, болея о его авторитете, голосовал за расстрел прекрасного пролетарского боевого вожака — матроса Матвеева.

Елифан Иович Ковтюх был яркой, значительной фигурой, талантливым самородком, вышедшим из казачьих низов. Он понимал, что не партия ему, а он партии обязан легендарным подвигом Таманской армии. Не менее колоритна фигура и главкома Таманской армии матроса Ивана Матвеева. И правдивый историк, рассказывая о тех неповторимых днях, обязан каждому воздать по его делам.

Прочитав очерк Л. Островера о Щорсе, начинаешь думать: каковы же были силы Петлюры и Галицийской армии, если Щорс одной своей дивизией сумел разгромить их и освободить все Правобережье Украины? Тут особенно заметно смещение перспективы. Известно, что у Петлюры и «галицийского диктатора» Петрушевича было до двадцати пяти дивизий. А явившиеся по зову Петлюры «спасти» Украину тридцать дивизий кайзера Вильгельма, боевой флот и десанты англо-греко-французов, три армии (2-я, 3-я и 6-я) Пилсудского? Неужели со всеми этими силами могла справиться одна дивизия Щорса? Иной, особенно молодой, читатель подумает, что на священную борьбу с Петлюрой и его союзниками поднялась лишь горстка украинского народа — та самая, что стала под знамена Щорса. И эта горстка благодаря какой-то чудодейственной силе их вожака успешно справилась с несметными полчищами врага.

Понятно стремление автора ярче написать о Щорсе. Но писатель ничуть не умалил бы заслуг полководца, когда хотя бы кратко сказал также и о тех героях, которые плечом к плечу со Щорсом сражались за освобождение Украины.

И хотелось бы в связи с этим напомнить некоторым литераторам меткие слова Н. С. Хрущева: «...Народ отнял у писателя не только право плохо писать, но прежде всего писать неверно».

### ОНИ ДОСТОЙНЫ ПАНТЕОНА СЛАВЫ

Когда я думаю о замечательнейшем полководце и герое гражданской войны мытищинском слесаре Блюхере, то вспоминаю некоторые его приказы, характеризующие их автора не только как крупного военачальника, но и как страстного коммуниста, беззаветно преданного делу партии.

Незыблемый авторитет Блюхера зиждется не на его начдивовских регалиях и мандате. Этот авторитет принесли ему мастерство полководца, личная отвага и товарищеское отношение к бойцам. При таком положении властный приказ мог решать многое. Многое, но не все. И большевик Блюхер прекрасно понимал это. Рядом со строгими пунктами приказа мы находим слова, которые адресуются к гражданскому долгу, к патриотическому чувству бойца.

Может, кое-кто и считал, что можно добиться многого, воздействуя на страх война, а ленинский полководец Блюхер знал, что страх — это временно действующий фактор. Более действенное начало — гражданское сознание война. И Блюхер, не опасаясь быть докучливым, перед каждым серьезным делом адресует к этому высокому чувству советского бойца.

Он не только полководец, но и политический деятель. «Как старший начальник приказываю и как старший коммунист перед вашей коммунистической совестью объявляю...», — писал он в одном из своих приказов, на Каховском плацдарме.

Сердца советских полководцев бились в унисон с сердцами всех советских воинов. Вот в чем секрет их побед!

Раскрывая свою сущность большевика, ленинца, настоящего человека, Блюхер находит доброе слово и в адрес обманутых солдат врага. Перед штурмом Перекопа он обращается к ним: «От имени Советской власти и русского народа объявляю полное забвение и прощение прежней вины всем добровольно перешедшим на сторону Красной Армии».

А перед Волочаевкой он пишет генералу Молчанову — марионетке японцев: «Какое же солнце предпочитаете Вы видеть на Дальнем Востоке?.. Я — солдат революции и хочу говорить с Вами, прежде чем начать последний разговор на языке пушек. На этих сопках и без того много могил...»

Проявить такую ленинскую человечность, такое величие русской души мог только наш, советский полководец. В бою он ведет свою линию до полного разгрома врага. Но он гуманист, избегающий бессмысленного кровопролития. И это не являлось особенностью одного Блюхера. Вострецов, готовый ежеминутно вступить в бой с белогвардейцами на Аяне, пишет генералу Пепеляеву: «Пролитая кровь будет на вашей совести, а не на моей, так как настоящее письмо пишу от всего сердца и совести».

Петлюровским солдатам внушалось, что они защищают национальную честь и свободу Украины. Для околпаченных гайдамаков нужны были особые слова. Их находил большевик-черниговец Виталий Примаков, зять украинского писателя Михаила Коцюбинского. Перед нами лежит пожелтевшая от времени листовка-письмо к «вильным козакам» Петлюры. Эта листовка написана в 1920 году при ближайшем участии Примакова. Стараясь избежать лишнего кровопролития, червонные казаки писали: «Одумайтесь, казаки, пока не поздно!.. Есть еще время одуматься и вспомнить слова великого поэта Тараса Шевченко: «Схаменіться, будьте люде, бо лихо вам буде...» Вместе возьмемся за мирный труд для добра всего рабочего люда нашей славной свободной социалистической советской Украины...»

И это дало свои результаты. Не только одиночками, но и целыми полками переходили в Красную Армию обманутые. Сергей Байло, перешедший со своим гайдамацким полком, стал в Красной Армии комбригом и дважды краснознаменцем.

Показать не только героизм наших бойцов и командиров, но также их высокую идейность, подлинный гуманизм — благородная и благодарная задача литераторов.

Что такое дивизия в период гражданской войны? Это партийная организация, рабочий класс, трудящиеся того или иного края, той или иной губернии. В основе 30-й и 51-й дивизий лежит история красногвардейских отрядов Урала и Сибири. История 45-й дивизии — это история борьбы одесских и молдавских партизан с румынскими боярами, петлюровскими гайдамаками, 58-й — это история борьбы за советскую власть на Херсонщине и в Таврии и т. д. и т. д.

Рассказать о подвигах соединений, созданных во время гражданской войны, значит рассказать о борьбе партии, рабочего класса, всего народа за молодую Советскую республику.

Не раз во время читательских конференций я спрашивал молодых офицеров, кто были Ожеро, Удино, Гош, Массена, Ней. Многие знали, что это полководцы французской революции, ставшие впоследствии маршалами Наполеона. Но кто были Федько, Азин, Уборевич, Тухачевский, Примаков, Эйдеман, Дыбенко — наша молодежь не знает. Не обидно ли это?

Богатства, хранящиеся в сейфах,— это ценности. А ценности, найденные в земле,— это уже клад. После исторических решений XX съезда партии советскому народу вернули много засыпанных толстым слоем земли драгоценных кладов-имен.

По-инному стали выглядеть и новые тома «Истории гражданской войны СССР», которая до этого времени со всей шепетильностью перечисляла имена всех деникинских начдивов и перезабыла имена наших командармов, успешно громивших и Деникина, и Колчака, и прочих вожakov белогвардейщины. Мы снова услышали имена наших полководцев, имена героев гражданской войны, которых ценила партия, которых выдвинул и любил народ, которых выбрал Ленин.

С высокой трибуны XXII съезда партии на весь мир прозвучали эти дорогие нашему сердцу имена. «Жертвами репрессий стали такие видные военачальники, как Тухачевский, Якир, Уборевич, Кокк, Егоров, Эйдеман и другие. Это были заслуженные люди нашей армии, особенно Тухачевский, Якир и Уборевич, они были видными полководцами. А позже были репрессированы Блюхер и другие видные военачальники» (Н. С. Хрущев).

В брошюре «Сталин и Красная Армия», созданной на потребу культа личности, Сталин незаслуженно был возведен в ранг победоносного полководца, мудрого стратега, создателя Красной Армии.

Но истина в огне не горит, в воде не тонет. С ликвидацией культа личности был ликвидирован и этот миф. Истина своими золотыми устами сказала: творцом Красной Армии, ее замечательных кадров, ее сокрушительной стратегии, ее побед и триумфов был великий Ленин. И верными ленинцами были Тухачевский, Якир, Уборевич, Блюхер и другие прославленные полководцы и герои гражданской войны. «...Пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу» (Н. С. Хрущев).

Поддержав инициативу старых большевиков, первый секретарь ЦК нашей партии выразил мнение всех делегатов XXII съезда, когда сказал, что новому составу Центрального Комитета следует положительно решить вопрос о сооружении памятника жертвам сталинского произвола.

Да, все, что дает жизнь, само смертно. Но не все уходит из жизни, не оставляя следа. Вспоминается Рига с ее необыкновенным Братским кладбищем. Там хранит суровое молчание человек и красноречиво говорит камень. И этот «говорящий» камень с воплощенными в нем символами прекраснее всего выражает преклонение живых перед подвигом павших.

Мы должны своим полководцам и героям гражданской войны создать заслуженный ими Пантеон — пусть не из камня, а из хороших, правдивых книг об их ратных подвигах во имя народа, во имя партии, во имя победы коммунизма.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВЛАДИМИР РУДНЫЙ

★

## В ЦЕНТРЕ ЦИКЛОНА

1

**В**ремя, годы по витку, по ниточке распутывают клубок человеческих судеб, скрученных и перекрученных минувшей войной. Каждый наступающий день вытягивает из этого клубка то внезапный обрыв, то нить бесконечно длинную и долгую, сплетенную в узлы и узелочки с десятками ей подобных, и на могиле Неизвестного солдата проступают новые имена. Горькая это работа, но благодарная, и нет большей награды за терпеливые поиски, чем проясненная десятилетия спустя правда об ушедших на войну.

Несколько лет назад в статье о стойкости военных моряков, помещенной в «Литературной газете» к военно-морскому празднику, я между прочими фактами упомянул и о подвиге защитников балтийского острова Осмуссаар в дни XXIV годовщины Октября.

Спустя короткое время ко мне пришли два незнакомых старых человека, муж и жена, каждому за семьдесят лет, справиться о судьбе своего единственного сына, военного инженера третьего ранга, назначенного еще до войны на Осмуссаар, — название столь редкое и необычное, что его не спутаешь с другим. На этом острове родилась его дочка — единственная внучка стариков. В июле сорок первого он отправил оттуда жену и дочь морем в тыл. В августе он писал старикам о том, как странно и жутко на тихом острове в пятидесяти милях к западу от Таллина услышать по радио о боях под Смоленском, но там, под Смоленском, немцев бьют, и это хорошо, скорее бы кончилось затишье и здесь. В сентябре он жаловался, что положение все еще неопределенное: кругом бои, а на острове изматывающая тишина, но бой будет, и живого немцам его не одолеть. Потом письма, отрывистые и редкие, письма-записки, посланные скорее всего с попутчиками, стали приходить беспорядочно, поступали они и в сорок втором году, с датами и без дат, но все помеченные Осмуссааром. Когда сдали противнику этот остров и сдавали ли его вообще, старикам неизвестно, поскольку в газетах про него не упоминали, а Маркуша, их восторженный и талантливый мальчик, который к пятнадцати годам уже окончил школу, а к двадцати — высшее техническое училище, где получил прекрасную и совсем мирную специальность, но, мечтая о баррикадах Мадрида и ненавидя фашизм, выбрал иную дорогу и вот стал военным инженером, — Маркуша им писал, что враг на остров не пройдет, и старики не могут поверить, что это было не так.

Тяжело огорчать людей, которые надеются и ждут. Но что поделаешь, коль Осмуссаар был оставлен нами в сорок первом, а почта с понятным в те времена опозданием доставляла родителям письма сына, наверно уже погибшего. Я знал, что островитяне уходили на восток на разных кораблях. Катера-охотники и тральщик «Гафель» с небольшой частью гарнизона благополучно прибыли в Кронштадт.

Но турбозлектроход, на котором находились остальные островитяне, подорвался на минах в районе Порккала-Удда и был захвачен врагом. Те, кого не удалось снять с этого корабля на тральщики и сторожевики конвоя, или погибли, или оказались в плену. Кого спасли и доставили в Кронштадт, те тогда же объявились знакомым и родным. Кто выжил в фашистской неволе, давно подал о себе весть после войны. А кого нет, того не воскресить. Во всяком случае про Марка Липшица я ничего не слышал, но обещал его родителям разыскать бывшего командира гарнизона и навести справку у него.

Евгения Кондратьевича Вержбицкого я встречал еще на полуострове Ханко, в штабном подземелье на западном побережье, в пору мрачных и невнятных сводок с фронтов, когда любой, самый незначительный успех радовал нас, словно большая победа. В ту безрадостную пору и артиллеристы Эзеля, прижатые в боях к морю, и матросы стиснутого в Кронштадте флота, только что перенесшего трагический прорыв из Таллина через захваченный врагом Финский залив и теперь штурмуемого сотнями самолетов с неба и дальнобойными батареями с суши, и все жители блокированного Ленинграда — вся живая, воюющая, истекающая кровью Балтика с жадной надеждой следила за борьбой гарнизона, осажденного в далеком тылу противника, за десантами матросов капитана Гранина в шхеры Ботнического залива, где хоть и на крошечном участке войны, но зато с первого ее часа наши солдаты и матросы не отступали, а наступали. Никто, конечно, не знал — да и какое это имело тогда значение, — что дерзкие планы этих десантов, все карты и схемы разрабатывал капитан Вержбицкий, очечь сдержанный, интеллигентный, всегда бритый наголо и, пожалуй, слишком для такого времени выutoженный морской артиллерист, который при первом знакомстве показался мне олицетворением довольного своим местом штабника. А на самом деле его тяготила служба в штабе, хотя и в тылу противника, но все же в штабе, а не на передовой; я вскоре узнал, что он подавал рапорт за рапортом, добиваясь назначения в десант, в небывалой смелости рейд, о котором мечтали тогда все гангутцы, — в рейд на тот берег Балтики, в их порты, в их Германию, чтобы их самих напоить горечью военной беды, входящей в дом; но вместо Германии его вдруг послали наводить порядок на Осмуссаар — ничтожнейший из балтийских островков возле оккупированного немцами эстонского побережья северо-восточнее Эзеля, Даго и Воррси, где в то время нарастали трудные бои против непрерывных десантов противника. Назначение огорчило Вержбицкого: он еще не понимал, что удержать этот островок хотя бы до зимы важнее, чем пойти с десантом к немцам в тыл; он тогда не знал, что наша разведка предупредила штаб флота о движении германской эскадры во главе с линкором «Тирпиц» и тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» из южной Балтики на восток и что командующий решил в связи с этим укрепить у входа в Финский залив минно-артиллерийскую и лодочную позицию Ханко — Осмуссаар. В середине сентября Вержбицкий ушел на Осмуссаар, и сразу же оттуда стали поступать раненые в подземный госпиталь на полуостров (ближе некуда было их отправлять). Через раненых дошел до Ханко слух о новом командире, при котором на островке стало беспокойно жить, о том, как изо дня в день этот командир навязывает противнику бой и как он сам под обстрелом бросился на грузенную взрывчаткой и охваченную огнем шхуну, чтобы спасти необходимый для отражения десантов прожектор. Люди спорили о том, должен ли командир сам лезть в огонь и что же такое личный пример в бою, но в общем храбрость, пусть даже безрассудная, всегда людям по душе. А уж если в госпитале хвалят командира, который принес на тихий островок тревоги и беспокойную жизнь, значит его признал передний край. Потом матросская молва разнесла по Балтике легенду о Красном знамени в годовщину Октября над маячной башней Осмуссаара, и эта легенда, необыкновенная даже для того необыкновенного года, затмила отдельные имена; она возвысила в нашем воображении загерянный в море островок до масштабов романтического гранитного утеса, штурмуемого волнами, огнем, сталью и полчищами егерей с фашистской армады; замороженные самой легендой, мы забыли

про ее героев: я знал только, что капитан Вержбицкий жив, после Осмуссаара воевал под Ленинградом, а потом под Либавой и что в Заполярье после войны его постигла какая-то служебная беда. Какая беда, я не мог никак припомнить, потому что чужие горести скользят подчас мимо нас, как ветер, и мы вспоминаем о них слишком поздно, когда наши сочувствия и вздохи уже никого не греют.

Так или иначе, но искать Вержбицкого следовало через морскую артиллерию, и я написал о нем знакомым артиллеристам на разные флоты.

Ответ пришел неожиданный — из полтавского села Берестяги от самого Евгения Кондратьевича, полковника в отставке, которому друзья сообщили о моих поисках. В Берестягах он, очевидно, обосновался надолго, поскольку просил помочь ему выписать туда «Огонек» с приложениями и некоторые подписные издания Гослитиздата. Почему он, коренной ленинградец, образованный офицер, блестяще знающий высшую математику, астрономию и другие точные науки, оказался на родине своего бывшего подчиненного — флотского старшины, да еще бригадиром полеводческой бригады, то разговор особый; возможно, его потянуло туда после долгих и бурных скитаний, а может быть, ему не по душе и не по характеру пришлась жизнь военного пенсионера в сорок с хвостиком лет, или другая, сугубо личная, причина толкнула его на этот путь еще в начале пятидесятых годов — сейчас важно не это, важно, что он отыскался и с жаром, не погашенным годами, заговорил о забытой легенде.

Каждый из нас многое повидал на войне. Но прежде всего и с наибольшей тревогой мы возвращаемся к году потрясений, ошибок и мужества — к сорок первому году. Все в тот год становилось на свои места, и человеческое в человеке выверялось не фразой и позой, а поступками. Всех нас и каждого из нас опасность рассчитала по местам: кто в строй фронта и тыла, а кого на задворки жизни, в обоз. Фронтовики дорожат той трагической и удивительно чистой порой. Потому и Евгений Кондратьевич, в полную меру знающий войну, об Осмуссааре заговорил встревоженно и нежно, как вспоминают прожившие бурную жизнь люди свою трудную, но чистую юность. В первых же письмах он писал и про парусно-моторную «Вегу» с ее парадным ходом в шесть узлов, на которой в штормовую осеннюю ночь он вместе с прокурором и председателем трибунала прибыл на Осмуссаар наводить порядок; и про многоликие «дары моря» на пляжах острова; об апатии, безделье и духе отступления; о боевом труде, целеустремленности и духе борьбы; о неожиданном саморазоблачении однокашника по училищу со странной фамилией Щепенюк; об опознанном почерке предателя Хараксина и его тайном письме; об отражении ночных и дневных десантов; о пролетарском батальоне Петра Ивановича Сошнева и, наконец, об «оранжевой роте» Марка Абрамовича Липшица, который строил оборону и воевал в районе маяка.

Меня, конечно, заинтересовало все, но особенно «дары моря», тайное письмо, пролетарский батальон и «рота оранжевых». Круг тем и вопросов нашей переписки ширился, рос и круг адресатов. Вержбицкий вспоминал все новые и новые имена. Где-то служит Гаврила Кудрявцев, теперь, кажется, генерал, а тогда он был капитаном и начальником штаба на острове. Живы и командиры батарей Клещенко и Панов, но потеряна с ними связь. А в Москве должен быть и Николай Иванович Соболев, бывший инженер Мосэнерго, призванный на Осмуссаар строить батареи вместе с Марком Липшицем, — возможно, он точнее может рассказать старикам о судьбе их сына. Я посылал письмо за письмом, встречался с людьми, получал снимки, схемы, воспоминания, советы, новые адреса, раздобыл морскую карту довольно крупного масштаба — только на такой карте и найдешь Осмуссаар, в прошлом называвшийся Оденсхольмом, расположенный в восточной части Балтийского моря всего в шести милях от эстонского берега и в тридцати от финского, почти на одном меридиане с островом Руссарэ у входа в Финский залив, на 59° 18,2' северной широты и на 23° 21,7' восточной долготы от Гринвича.

Старики Липшицы, разумеется, были в курсе всего, они регулярно звонили, приходили, подталкивали, просто-напросто водили моей подчас ленивой рукой. Со-

противляясь и борясь за право заниматься чем-то другим, очень скоро я как бы оказался в плену настойчивой и безутешной родительской любви, понятной всем, кто кого-либо потерял на войне: влез по уши в этот материал и наконец завел папку, увенчанную заглавием этих заметок, эпиграфом из Морского словаря — «В центре циклона — тишина, или глаз бури» — и выпиской из вечернего сообщения Советского Информбюро от 19 ноября 1941 года: «Береговые батареи Балтийского флота отразили попытку немцев высадить десант на остров О. Метким огнем советские артиллеристы потопили 6 катеров с солдатами противника».

Естественно, что меня потянуло на Балтику, на маяк, в створе которого я не раз проходил по пути из Балтийска и Либавы в Палдиски и в Таллин или в Порккала-Удд под Хельсинки, но так и не догадался заглянуть туда, на остров Осмуссаар.

В путь я отправился в самое неподходящее для Балтики время — в октябре, когда выход каждой лайбы трижды на дню назначают и отменяют и надо, терпеливо выжидая штилевое окошечко, не упустить редкую оказию.

Она случилась, как всегда, внезапно. Ранним утром за мной в таллинскую гостиницу заехал знакомый по войне артиллерист Григорий Иосифович Барбакадзе и на все про все — на сборы, завтрак и дорогу до порта — дал полчаса. Через полчаса, минута в минуту, он доставил меня в гавань, чтобы отправить на подчиненный ему остров. Но десантный корабль, проще говоря, груженная дровами да провиантом приплюснутая самоходная баржа, похожая на камбалу, уже отошла от причала.

Насколько это невероятно, поймет каждый, хоть отдаленно знакомый с флотом. Когда я спешу на пирс, я всегда помню про два поразительных случая: на Балтике в разгар войны наша подводная лодка пошла в водах противника на срочное погружение, и ее командир, на секунду опоздав прыгнуть с мостика в люк, остался за бортом, был подобран врагами и два года пробыл в гитлеровских концлагерях; на Черном море после войны командир одного корабля перед выходом в плавание надумал съездить накоротке в Ялту, провел лишние полчаса в ресторанчике у Байдар и остался на берегу навсегда — корабль ушел в море без него.

Мои часы могли врать. Но не мог врать артиллерийский хронометр полковника Барбакадзе, по которому он два года, изо дня в день, будил немцев под осажденным Ленинградом к «утренней молитве богу войны».

Барбакадзе взглянул на дежурного ОВПС — отдела вспомогательных плавучих средств флота — столь выразительно, что тот молча признал свою вину: он действительно малость поспешил вытолкнуть баржу в море, боясь оставить островитян еще на несколько суток без провианта и дров.

Не говоря ни слова, только опалив меня взглядом, дежурный кивком указал на посыльный катер, и через несколько минут, уже возле боновых заграждений гавани, я перепрыгнул с катера на ют баржи.

За бонами сразу стало пронзительно холодно. Осеннее солнце несколько не согревало. Даже при солнце Балтика блещет тускло, словно политая мазутом. Волны, тягучие и густые, шлепали то о борта, то о скулы носа, баржа переваливалась, как телега по бездорожью, и я понял, почему так спешили вытолкнуть ее из гавани: для нормального корабля четыре-пять баллов — не такой уж большой накат, а для этой колымаги, вместительной и удобной, но тихоходной и плоскодонной, малейшее волнение в море уже делает плавание трудным и опасным.

Пассажиры попрытались по трюмам и в тесном, с низким подволоком кубрике; когда кто-нибудь откидывал крышку люка, оттуда доносился стук костяшек и пряный дух настоящего флотского камбуза, напоминающий всем нам, что на барже есть люди, для которых и эта посуда — родной дом.

На юте нас осталось всего пятеро: помимо меня, долговязый парень из команды баржи в линялом берете и парусиновых штанах, выглядывающих из-под бушлата подобно кальсонам, двое пассажиров-военных и еще один, штатский, в бобриковом с проседью полупальто, с коричневым чемоданчиком, который он не вы-

пускал из рук, будто хранил в нем по меньшей мере золото, подчеркнуто сдержанный и молчаливый — я сразу определил, что это не иначе как вооруженец с Н-ского завода или, как теперь принято говорить, «из почтового ящика».

Лейтенант-артиллерист в легкой армейской шинелишке, ежась от холода, проворчал:

— Какого только дьявола оперативный нас выпустил...

«Вооруженец из почтового ящика» ничего не ответил, он только крепче вцепился в свой спортивный чемоданчик с лихими футболистами, тисненными на крышке.

Третий пассажир, в бескозырке, надвинутой на синие уши, охотно подхватил разговор и, захлебываясь от досады, сказал, что, чем, мол, чапать в такую мерзкую погоду по морю, лучше бы вечером закатиться с приятной девочкой в киношку, ну хотя бы на «Сестер».

Долговязый парень в парусиновых штанах ехидно вставил:

— Ох, служажки! Не торопитесь вы с Таллином прощаться.

— Куда спешить! — обрадовался разговорчивый матросик с посиневшими ушами. — Ваш лапоть-сороход тоже не жалуется нашу треклятую плешь. Задует ветряга — будете целую неделю кланяться нам на якорю...

Так завязываются дорожные диалоги. Последовали ленивые любезности в адрес «треклятой плещи», «сморчкового пупа», «балтийской Камчатки», «всефлотской гауптвахты» и прочее в этом роде из арсенала обитателей неуютных земель и богом проклятых дыр, которые молодым людям приходится годами обживать и охранять. Словом, ребята досыта не нагулялись на материке; за короткий срок увольнения всем не надышишься, случай снова попасть в Таллин представляется не скоро, а радость впереди одна: от побудки и до отбоя служба. Я слышал такое не впервые и знаю: очень часто за подобной болтовней скрыта и резнивая преданность, даже привязанность к захолустью, где так трудно служить, и обида на то, что эта трудная долготелая служба, особенно тяжкая на одиноких островах, скалах, маяках, никем как следует не оценена.

Но в тот час я был начисто лишен чувства юмора и всякой снисходительности. Я шел на остров за романтической мечтой. Для меня впереди был тот остров, легендарный и полузабытый, виденный много лет назад в сумерках или ночью, потому что днем было опасно по нему ходить, памятью запечатленный смутно — воображение само нарисовало его фантастический пейзаж. Почему же этот юноша так небрежен к славе отцов, неужели скудость и неудобства островной жизни затмили перед ним историю земли, на которой он служит?! Все это и многое другое я высказал раздраженно и горячась, называя Осмуссаар то утесом, то несокрушимой цитаделью, выпалил все слышанное о далеком прошлом этого острова, не позабыл щегольнуть и сведениями из архивов о германском крейсере «Магдебург», потопленном здесь в первую мировую войну русскими моряками, захватившими при этом у противника секретный код...

Ветер задул с борта, порывами, небо опускалось и кренилось, в море через нас скатывались косматые облака, становилось невыносимо тесно, и в этой тесноте волны выглядели непомерно большими. Стало еще холоднее: долговязый парень в парусиновой робе смотрел на нас, вольных от вахты, с презрением, как на сухопутных людей, не умеющих пользоваться временем: разглагольствуют тут на юте, когда можно укрыться под палубой и отдохнуть.

Волна за волной захлестывали ют; быть может, поэтому мои спутники откликнулись вяло на поток громких слов. Штатский, тот равнодушно молчал как сугубо засекреченный человек, время от времени он старательно обтирал платком лихих футболистов на своем коричневом чемоданчике; молодой лейтенант в ответ на все мои речи пробурчал, что не мне, мол, тут служить, хорошо, конечно, сюда прийти и уйти, особенно летом, за рыбой и по землянику; а матрос с синими ушами, соглашаясь, что в прошлые войны, возможно, тут так оно и было, заявил, что в атомный век все это ни к чему, и полез искать место посуше, в люк тесного кубрика.

Мы подходили к Осмуссаару засветло, но уже на пределе дня, когда все в мире безнадежно тускнеет и только зоркий глаз способен различить над рифами красно-бело-черные шесты с метелками того же цвета на вершине, похожими на рюмки — то раструбами вместе, то врозь, то опрокинутые в одиночку, то поднятые, будто в тосте, ввысь; читаешь в который раз эти сигналы моря, оставляемые к норду или к зюйду за бортом, и всякий раз вздрагивает и колотится сердце, встревоженное древним, как парус, языком походов и бурь. Взлетали, чтобы тотчас потонуть в суеде волн, проблески негаснущих буев, еще не был зажжен для ночи маяк, а ночь стала ощутимо близка. Но все великое множество рассыпанных вдоль фарватера бед мореход должен помнить наизусть. Мы обошли с юга окруженный опасностями островок, и настало мгновение, вечное для всех мореплавателей: население баржи оказалось наверху, стихло все, кроме рокота двигателей и шелеста расталкиваемого моря, и все, даже старожилы флота и этих мест, молча ждали встречи с землей.

Я тоже ждал этой встречи и, признаться, был смущен от того, что увидел: перед нами была узкая и ничемная полоска земли. Она едва-едва возвышалась над водой. Похожая на нашу расплюснутую баржу, она словно застряла на мели. Километрах в четырех от нас, на северо-западе, как рубка над полубаком, торчала черно-белая башня маяка. А здесь, на южной стороне, не было ни одной приличной постройки. Неужели вон та ветхая, вросшая в берег дощатая развалина под битым шифером и есть знаменитый спасательный сарай из просмоленного теса, в котором стояли быстроходный вельбот лоцманской службы и две старинные, заряжаемые с дула пушки, превращенные в сорок первом в противокатерную батарею?! Даже вблизи, вплотную, остров просматривался насквозь, от воды до воды; наверно, в шторм волны перекатываются через него, и море если и не поглощает его целиком, то рассекает проливами на клочки.

По узкой мелководной бухточке мы проползли мимо причала на сваях и ткнулись в пологий берег.

Баржа откинула нос, как крышку люка, и в ее тупое рыло вошли матросы-грузчики. Кто-то с берега кричал, не привезли ли какому-то Николаю Ивановичу новую челюсть. Кто-то кого-то уже тискал в объятиях, требуя немедленно трофеев под астраханскую селедочку — очевидно, раскулачивал отпускника. Кто-то зверски ругался, что баржа не завернула в Палдиски за почтарем и островитяне остались без почты. Мой таинственный спутник в бобриковом полупальто уже спрыгнул со своими драгоценными футболистами на берег, его тут же усадили в кабину полуторки и отправили куда-то в глубь острова. Остальные разбрелись кто куда — и все успокоилось, как на глухом полустанке.

Я сошел на унылый берег и через хилую рощицу и полузатопленные ложбинки поплелся по единственной проселочной дороге в сторону маяка.

Вечером в сыром и мрачном зале, если можно так по-материковому назвать полусарай-полуклуб с низким потолком, островитяне собрались послушать приезжего с Большой земли. Перед сценой на грубых скамьях без спинок сидели несколько женщин с детьми на руках, матросы с маяка, батарейцы и свободные от вахты моряки из команд баржи и прибывшего за нею следом из Палдиски гидробота с почтарем — обе посудыны укрылись тут на якоре до лучшей погоды.

Замполит, небольшого росточка щупленький и подвижной офицер из матросов войны, обрадованный неожиданному случаю, словно свалившемуся с неба, но крайне смущенный от непривычки общения с человеком штатским да к тому же без тезисов, усадил меня за красный стол, налил из графина полный граненый стакан воды и без промедления категорически объявил собравшимся, что я буду рассказывать про боевое прошлое Осмуссаара.

Подавленный только что виденным, я не знал, с чего начать. Бормоча те ватные слова, которые, повисая в полумраке, всегда грозят отделить рассказчика от слушателей непроницаемым туманом, я обежал взглядом первые ряды и наткнулся на вызывающую усмешку знакомого матроса с синими ушами. Он будто пред-

лагал мне продолжить нелепый спор: а ну, мол, что скажешь ты теперь про гранитный утес и неприступную цитадель?! Я запнулся на полуслове, мгновение молчал и внезапно для всех, да и для самого себя, подражая бессознательно и тону и голосу московского диктора военных времен, прочел по памяти строки сообщения Советского Информбюро и спросил:

— Знаете ли вы на Балтийском море другой остров на букву «О», кроме острова Осмуссаар?

Мне показалось, что в глазах знакомого матроса вспыхнуло удивление. И мне самому все, что я знал об этом острове, вдруг представилось в ином свете: мне вспомнился необъятный и путаный фронт сорок первого года, бесконечная россыпь Малых земель перед ним и этот островок, затерянный в море так же, как теряется одна даже прописная буква среди миллионов строк о войне. Так как же это произошло, что в год, когда немцы захватили все побережье до Ленинграда, всю Белоруссию, всю Украину, сотни городов России и обложили фронтами даже Москву, как случилось, что они споткнулись о клочок болотистой, полузатопленной земли?

## 2

Такой же вопрос задавал себе и капитан Вержбицкий в ноябрьское утро сорок первого года, когда трое отпущенных немцами пленных матросов доставили на шлюпке с оккупированного материка пергаментный свиток от главнокомандующего фашистской военно-морской группой «Норд» генерал-адмирала Карлса. Отдавая должное мужеству гарнизона, угрожая ему истреблением и подчеркивая бессмысленность дальнейшей борьбы, фашистский генерал-адмирал предлагал через сорок восемь часов, то есть в канун Октябрьской годовщины вывесить над маяком белый флаг, сложить все оружие в одном месте, собраться в южной части острова и либо сдать в почетный плен, либо покинуть Осмуссаар и беспрепятственно уйти на плотках в нейтральную страну. Почему же враг, уничтожающий без пощады население городов и целых стран, все сжигающий и истребляющий на своем пути, с привычным языком огня и стали перешел на язык лести и уговоров, почему вообще он не сколупнул этот малюсенький островок с лица земли, а оставил его позади, «на потом», и вот теперь прибегает к ультиматумам на пергаменте, взывает к разуму и гуманности, ищет обходные пути, дабы сломить сопротивление горстки островитян?

Балтийские матросы пришли на Осмуссаар за год до войны, когда в Эстонии пало фашистское правительство и установилась советская власть. Остров до этого был мало обитаем. Им управлял старый фельдфебель из шведов, смотритель маяка, прозванный «губернатором». В деревушке возле кирхи жили его «подданные» — рыбаки-шведы; на зиму они заколачивали свои хижины и церковь и уходили на материк; а по ночам, пока Балтика не замерзала, «губернатор острова» встречал баркасы контрабандистов с плавучими бочонками спирта на буксире — на один такой закопанный в песок бочонок наткнулись наши матросы, строя дзот в районе маяка. Маяк был прежде соединен телефоном с Таллином и Хаапсалу по кабелю, пролегающему под водой в узком проливе к мысу Шпитхами; только во время войны конец этого кабеля на острове был заглушен. Была на острове и лощманская станция: рыбаки иногда подряжались на проводку горговых судов в Палдиски и в пролив Мухувэйн — к Моонзундскому архипелагу; от этой станции остались спасательный сарай, две старинные пушки и быстроходный вельбот.

Возле острова и в старину располагалась передовая минно-артиллерийская позиция русского флота — об этом напоминали ржавые останки «Магдебурга» на отмели в трех кабельтовых к юго-западу от маяка, кресты и обелиск на могилах кайзеровских матросов на берегу. Сама природа поставила Осмуссаар возле эстонского побережья часовым у входа в Финский залив. От него до острова Руссаэр по другую сторону залива всего тридцать миль — расстояние, легко перекрываемое огнем современной дальнобойной артиллерии. Выходят ли корабли из Рижского

залива через Мухувэйн, следуют ли они из южной Балтики или от Аландских островов, они, направляясь на восток, неизбежно должны пройти эту позицию: Руссарэ — Осмуссаар. Было решено Осмуссаар вооружить, построить на нем такие батареи, которые в случае войны во взаимодействии с островом Руссарэ, отошедшим к нам в аренду по мирному договору с белофиннами, закроют врагу путь с запада на восток.

Из Москвы и Ленинграда призвали опытных военных строителей, среди которых оказался и сын стариков Липшицов, ленинградские заводы направили на остров мастеров по артиллерийскому вооружению, техников, инженеров; транспорты доставили сюда множество автомашин, тракторов, механизмов, цемента и взрывчатки. леса и стали; зимой, когда мелководье возле острова покрылось льдом, подрывники взорвали прибрежные валуны, добывая для железобетона щебенку и гранит. Строили даже ночью, хотя трудно было строить глубокие снарядные погреба и всевозможные подземелья на затопляемой земле ниже уровня моря; ночью наивно освещали стройку синими лампами, чтобы ярким светом не привлечь чужих глаз, но их было достаточно вокруг — мимо острова шли и шли в Финляндию германские транспорты с танками и войсками. Работали с перенапряжением, сверх всяких сил, и все же срок, отпущенный историей, был слишком мал: война началась прежде, чем успели все построить и вооружить, и главный калибр — могучие стовосьмидесятимиллиметровые башенные установки — пришлось достраивать и оснащать уже во время боев. На материке и на море начались сражения, а на острове еще не успели пристрелять только что поставленные орудия, в бетонных блоках башенной батареи рядом с молодыми комендорами работали мастера-вооруженцы с заводов, монтажники приборов и систем управления огнем.

Как всякая пусковая стройка, остров был перенаселен. Военные соседствовали с гражданскими, причем гражданских было больше, чем военных, и каждый ревностно отстаивал свою независимость и подчиненность своему начальству на материке.

А с материка шли противоречивые, сбивающие с толку вести. Не поймешь, где фронт, где тыл, где прорыв, где окружение, где немецкий десант разбит, где преслед, — все шло не так, как должно, как предполагали, как готовились на учениях и в штабных военных играх. Война углублялась не в их, а в нашу землю, в сводках внезапно объявились направления, настолько далекие от острова, что островитяне должны были почувствовать себя в глубоком тылу врага. Были оставлены Либава, Рига и даже Палдиски, где размещался штаб береговой обороны, которому подчинялся Осмуссаар. Штабы, управления, конторы, тресты откатились неизвестно куда, и чтобы выяснить, кто же находится рядом на материке, на мысе Шпитхами — свои или немцы, островитянам пришлось высаживать туда разведчиков и понести первые потери. На Шпитхами уже стояли батареи врага, а на фронтальной стороне — на западе, севере и востоке от острова — шли воздушные и морские бои. Соляр, словно корабельная кровь, золотистой пленкой затянул море. Горели самолеты и корабли. На рифах возле ржавых ребер «Магдебурга» росло корабельное кладбище, терпели бедствие матросы из корабельных экипажей, беженцы из приграничных городов, солдаты разбитых гарнизонов, скитальцы войны, а то и дезертиры, в панике забывшие, где запад, где восток, и помнящие только одно: вода — это смерть, суша — спасение. Вместе с обломками переборок, шлюпок, плотов, подбитыми самолетами и полузатонувшими баркасами волны выбрасывали на пляжи Осмуссаара мертвых и живых, едко прозванных здесь «дарами моря».

«Дары моря» охотно оседали в тишине, столь неожиданной среди бушующего огня, селились где попало, потрясенные такой странной возможностью после всего пережитого безмятежно собирать зрелую землянику и глушенную бомбами рыбу. Их нанесло сюда столько, что островитяне потеряли им счет, и маленький, все еще разрозненный и плохо организованный гарнизон растворялся среди дичающих пришельцев. Достаточно было одной или двух крупных бомб, чтобы весь

этот табор превратить в кладбище. Но фашистские летчики, гоняясь в ту пору за одиноким пловцом в море, почему-то пренебрегали Осмуссааром даже как запасной целью. Фашистские артиллеристы вели по нему только редкий пристрелочный огонь, и остров оказался и в центре войны и вне ее. Враг будто знал, что такое зыбкое благополучие и пассивность в разгар всеобщей битвы для боеспособности островитян страшнее самого беспощадного огня. Враг рвался вперед, торопился, спешил, пытаясь то в Рижском заливе, то в Таллине захлопнуть и уничтожить наш флот, взять с ходу Ленинград, Кронштадт, а уже потом подчистить все, милостиво принять капитуляцию всякой мелкоты, оставленной позади. Остров, подобно кораблю, остался во враждебном море один: только на корабле есть командир, слаженный экипаж и в экипаже — люди, убежденные, что страшнее поражения смерти нет; а на острове в час испытания не оказалось единоначальника, не было твердой руки, чтобы пресечь многовластие и разброд и всех собрать в единый экипаж.

Обязан был это сделать капитан Щепенюк, недавно назначенный во вновь формируемый дивизион береговой артиллерии.

Когда его назначали сюда, на материке все находилось на своих местах: зенитчиками управлял из Таллина штаб ПВО, у связистов был в Палдиски свой район СНиС, у маячников — гидрорайон, а рабочих предполагалось по окончании командировки вернуть по домам. Приказа подчинить себе и маячников с погашенного войной маяка, и зенитчиков, и строителей, и всех других, способных носить оружие, с материка не поступало. А действовать на свой риск и страх Щепенюк не привык. Боялся. Мало кто на острове знал, что вскоре после окончания училища он по ложному оговору был арестован, но быстро вышел из беды и с тех пор никому и ни в чем не доверял, ничего самостоятельно не решал и охотно уповал в любом деле на мудрость старших. По службе он продвигался ровно и даже быстро, сльвя служакой благонадежным и дисциплинированным, и никто не подозревал, как стремительно развиваются в нем угодливость и малодушие. Больше всего в военном деле он ценил то, что всегда есть начальство, которое укажет, прикажет, разрешит или запретит. А раз начальство исчезло и даже не дало о себе знать, то пусть каждый отвечает за себя — достаточно с Щепенюка и двух батарей, только что вводимых в строй и еще не обученных действиям по противнику, которому, согласно всем наставлениям, следовало появиться вовсе не с суши, а с моря.

Его уставной обязанностью была подготовка острова к обороне, но решил он эту задачу в полном соответствии со своими взглядами на жизнь: поменьше отвечать за других. Двенадцать километров берегового обвода Щепенюк раздробил по числу воинских частей и ведомств на мелкие участки обороны, выделив клочок берега под ответственность и команде маяка, и лазарету, и даже военторгу. Что касается гражданских и «даров моря», тут Щепенюк заявлял, что он не военкомат и не трибунал. У каждого из рабочих на руках военкоматская броня и право на первоочередную эвакуацию в Ленинград. А «дары моря» — бог знает кто они и откуда, вылезшие из воды в чем мать родила, без званий и документов, без личных дел. У некоторых, как утверждает замполит, вдруг произведенный в комиссары, есть даже партийный билет. Но и комиссар не хочет поручиться, что это подлинные партбилеты — немцы тоже могут сфабриковать документы и снабдить ими лазугчиков. Настанет время, судьбой пришельцев займется особый отдел, а пока Щепенюк, убежденный, что чужая душа — потемки и доверять никому нельзя, взял всех под подозрение и запретил «дарам моря» доступ на подчиненные ему батареи. Что же касается военных действий, ход событий окончательно деморализовал Щепенюка.

Психология малодушных такова, что даже в душе они боятся смотреть правде в глаза. Трусость они предпочитают обрядить в маску разумности и целесообразности, щеголяя притом даже фразой о храбрости и подо все подводя базу теоретическую — о гибкости, о выдержке, о сохранении сил для удобного момента продвижения, который так никогда и не наступит. На войне такие теоретики легко, а впрочем, может быть, с муками и терзаниями, становятся пораженцами и предателями,

но в том-то и горе, что не так просто их сразу раскусить. Щепенюк видел: все страшное, о чем болтают эти подозрительные «дары моря», пока проходит стороной. Конечно, они со страху, а возможно и с умыслом, преувеличивают и сеют панику, но до чего быстро продвигаются немцы! Они не трогают Осмуссаар, не зная, наверно, о его новых батареях. Значит, надо держать противника в заблуждении, не обнаруживать себя. Морская батарея для того и построена, чтобы вести огонь по кораблям. Никто не приказывал повернуть орудия на материк. Надо не терять выдержки и ждать. Зачем раньше времени вызывать огонь на себя? Война — это циклон. А в центре циклона — тишина, или глаз бури, где могут отстаиваться корабли!..

Щепенюк, наверно, обрадовался, найдя столь афористичную формулировку. Как здорово: в центре циклона — тишина! Отстоимся, сохраним силы и, когда надо будет, так вдарим!..

Начальник штаба капитан Кудрявцев настаивает на высадке разведывательных групп для определения целей на берегу — Щепенюк противится, объявляя это нелепым донкихотством. Командир батареи капитан Панов требует открыть огонь по немецким катерам на горизонте — Щепенюк доказывает, что бессмысленно тратить силы на малотоннажные корабли. Капитан Клещенко хочет пристреливать башенные установки по позициям немцев на материке — Щепенюк призывает экономить снаряды: их действительно очень мало в погребах башенной батареи. Не разрешая навязывать противнику боя, Щепенюк утверждал, что он сохраняет и силы и жизнь людей. Все-таки приятнее чувствовать себя стратегом и тактиком, чем трусом.

А пока возле маяка стоял в готовности с трехсуточным запасом воды и продовольствия катерок, и любой матрос на острове понимал, что этот катерок сможет взять на борт не больше трех-четырёх человек.

Но что же люди, ведь были же и в разрозненном гарнизоне, и среди потерпевших бедствие в море, и среди гражданских бойцы честные, коммунисты, командиры, политические работники, у которых сердце сжималось от горя и тревоги за Родину, люди не только готовые идти в бой, но жаждущие боя, измученные бездельем в тяжелый для страны час?!

Окажись эти люди в тылу врага, каждый, это уже доказано историей, нашел бы по своей совести и убеждению место в борьбе, нашлось бы и оружие и командиры, способные увлечь и сплотить других и повести в бой за советскую власть. Но в том-то и дело, что власть советскую никто на острове не сокрушал и не отменял, ее должен был осуществлять командир. А плох он или хорош, кто вправе и кто возьмет на себя смелость это самостоятельно решать, когда рядом враг?

Это обязан был сделать комиссар, если бы он понимал, ради чего партия надеялась на эту осень революционными правами комиссара. Но на острове эту должность исполнял равнодушный и недалекий человек, призванный из запаса и столь же необдуманно назначенный в дивизион, как и Щепенюк. Дело не только в том, что он, в прошлом портной, до военной службы управлял где-то райпромкомбинатом и был полным профаном в военных науках. Будь он сердечным и умным человеком, он, возможно, разобрался бы и в артиллерии и в окружающих его людях. Но он был человеком черствым и недобрым, на всех смотрел с эдаким прищуром, перед командирами робел, а подчиненным не доверял, он их только воспитывал и поучал. Подобно тем недалеким людям, которые считают, будто есть разные правды на свете — для командиров и для рядовых, он боялся откровенно разговаривать с рядовыми. Политрукам он внушал, что политинформацию следует ограничивать рамками сообщений Совинформбюро, матросам разъяснять, что все идет по плану, что же касается оставления Палдиски и Таллина, то раз это не подтверждено Информбюро, эту тему следует обходить. Когда же положение настолько ухудшилось, что это невозможно стало скрывать, комиссар перестал настаивать политруков, собирать коммунистов, появляться на батареях среди матросов, он даже перестал распространять радиосводки из последних известий, решив, подоб-

но Щепенюку, выжидать. Вспомнив о своем прошлом ремесле, он засел на командном пункте и стал шить шинель.

В сентябре сигнальщики засекли фашистский конвой, следующий на северовосток. Начальник штаба капитан Кудрявцев приказал батареям открыть огонь. Щепенюк немедленно этот приказ отменил. Конечно, он не сказал, что боится ответного огня с материка. Он только выразил сомнение: правильно ли опознаны корабли? Туман, видимость плохая, а вдруг без оповещения идут свои?.. Только комиссар имел право оспорить решение командира. Но он промолчал. Начальник штаба не мог нарушить запрета. Он проследил, чтобы писарь точно занес все происшедшее в боевой журнал и чтобы об этом конвое немедленно узнало старшее командование.

Такое чрезвычайное происшествие не могло пройти безнаказанно даже в обстановке сорок первого года. Фашистский конвой перехватили самолеты с Гангута, а на Осмуссаар отправились комиссар Гангута и офицеры штаба, которые убедились, что Щепенюка и его комиссара надо немедленно с острова убрать.

Вот тогда-то капитан Вержбицкий и лектор ханковского политотдела батальонный комиссар Гусев на тихоходной «Вега» пришли на Осмуссаар.

Никто, кроме Кудрявцева, «Вега» не встретил, и Вержбицкий с тяжелым сердцем шел по незнакомому острову на командный пункт. Ему неприятна была предстоящая встреча с однокашником по училищу, которого он много лет не видел и о котором помнил лишь то, что его любимая поговорка была: «Солдат спит, а служба идет». После долгой разлуки прийти к человеку с прокурором и трибунальцами, которые прибыли судить каких-то мародеров, и с приказом о снятии — не веселая штука. Но все оказалось проще, чем представлял себе Евгений Кондратьевич. В огромном, почти квадратном бетонном подземелье, освещенном потолочной лампочкой в сетке, в мутном желтом воздухе волнами ходил храп писарей и всех тех, кому лень строить для себя блиндажи и укрытия и кто охотно лезет в уже готовые убежища. За столом посреди этого общежития возле двух телефонов и мерцающей «летучей мыши» дремал оперативный дежурный, а рядом в сиреневой майке, без кителя, польсевший и обрюзгший, сидел Щепенюк и решал в старом журнале кроссворд. Он не встретил приезжих не по злобе или обиде, а просто по лени и безразличию или по нежеланию лишний раз высовываться на волю. Приказ о смещении он прочел равнодушно, заметив, что дальше Осмуссаара воевать не пошлют. Списка бойцов и офицеров у него не нашлось, а по памяти он смог только сказать, что на острове людей за тысячу или больше. Вержбицкий понял, что толку от него не добьешься и никакой «сдачи-приемки» устраивать нет смысла. Решив, что нечего тянуть, он молча переглянулся с Гусевым, приказал разбудить кого-нибудь из писарей и продиктовал приказ о том, что с этой минуты он и комиссар вступают в командование гарнизоном. Щепенюку он сообщил, что «Вега», погрузив раненых, должна уйти до рассвета, поскольку против самолетов она ничем не вооружена. Щепенюк обрадовался этой возможности, он разбудил своего комиссара, и перед рассветом оба покинули остров.

Десять дней дало командование Вержбицкому и Гусеву на то, чтобы искоренить дух Щепенюка и привести в боевую готовность Осмуссаар. Уйма времени — десять дней: можно оставить за десять дней врагу тысячи квадратных километров земли; можно за десять дней и судьбу мира изменить на века. Только пройди по острову, увидев хаотически разбросанные машины, строительные механизмы, неукрытый боезапас, не укрепленный против десантов болотистый берег и мрачных, небритых, подавленных людей, не понимающих, зачем они здесь, без дела, без цели, когда на фронте дорог каждый человек, — Вержбицкий почувствовал, до чего же мал назначенный ему срок. Надо было не только заново пересчитать все население (а ведь море выбрасывало «диких» каждый день, пока не закончились бои за Моонзундский архипелаг), всех мобилизовать, вооружить, одеть, укрыть от огня, дать каждому боевую задачу и объяснить, кто кому подчинен, продумать и осуществить план обороны, учесть и распределить все ресурсы в расчете на дли-

тельную борьбу; надо было еще и переговорить, познакомиться с каждым командиром, каждому взглянуть в глаза и составить о нем твердое представление без помощи бумажной подноготной, пропавшей в канцеляриях на материке. Но прежде всего и он и Никита Федорович Гусев должны были вернуть людям веру в себя и объяснить, что борьба на острове необходима и возможна.

Комиссар Гусев занялся обыденным делом, которое разбудило и разбредило дремлющую совесть десятков людей. Гусев проводил собрания коммунистов, на которых многие впервые встретились со своими товарищами как с коммунистами. Это были откровенные собрания. Гусев добивался, чтобы каждый коммунист почувствовал, что с него за все особый спрос, понял если не вину, то ответственность за то, в каком состоянии боеспособность острова. Кто-то предложил свести членов партии в ударный коммунистический отряд. Гусев не стал этого делать. Пусть в каждой шеренге коммунист почувствует себя коммунистом. Пусть не тешит себя иллюзией, что во всем виноват Щепенюк. Перед лицом смертельной опасности в общем строю пусть каждый спросит себя и решит, зачем он вступил в партию, зачем избрал путь, который вел старших на каторгу и эшафот, — за тем ли, чтобы в благополучное время пожинать завоевания других, или за тем, чтобы здесь, на передовом рубеже, защищать советскую власть своей кровью, быть первым среди товарищей в бою.

Гусев не только не боялся «бредить раны», но считал нужным рассказать матросам про самое горькое, что он знал о положении на фронтах, и про все героическое о борьбе батарейцев на Эзеле и Даго, о стойкости защитников Ханко, не скрывая и не сглаживая всего трудного и страшного, что выпало на долю этих гарнизонов и с чем еще доведется столкнуться и островитянам.

А Вержбицкий торопился взять в руки, собрать под единое командование весь разрозненный гарнизон. Одни встретили его сдержанно и недоверчиво; другие сразу потребовали назвать срок, когда им дадут возможность вернуться к станкам и к семьям в Ленинград; третьи яростно отстаивали свою автономию — самым строптивым оказался старший лейтенант Сырма, сутулый, бледнолицый юноша в шапке-ушанке и дубленом полудубке, нелепых в этих широтах в сентябре; всем, даже своим внешним видом, он старался показать, что его зенитная батарея, расположенная ближе других к матерiku, на юге, возле спасательного сарая, и потому страдающая больше других от немецкого огня, морякам подчинена только оперативно, прикрывает их с воздуха, по берегу и катерам огня не ведет — словом, является вполне самостоятельной боевой единицей. Встреча с Сырмой произошла сразу же в ночь прихода «Веги»; Вержбицкий понял, что о его разговоре с зенитчиком утром будет знать весь гарнизон; Сырма вежливо, но непреклонно сказал, что поверять батарею могут лишь его прямые начальники из ПВО, пока, правда, неизвестно где находящиеся. Вержбицкий решил не спорить с ним, он только спросил, кто снабжает зенитчиков горючим и продовольствием и обязана ли пекарня дивизиона обеспечивать хлебом еще и оперативно подчиненные части, быть может, лучше выдать на батарею муку?.. Так был найден общий язык и с командиром зенитной батареи, ставшей одной из самых дисциплинированных и боевых единиц Осмуссаара.

На свой риск и страх командир и комиссар отменяли броню военкоматов и призывали всех штатских в военно-морской флот. Вержбицкий сам назначал и переставлял и рядовых и командиров, потому что обстановка требовала быстрых и самостоятельных решений и невозможно было ждать, пока ответит далекий штаб. Пожилых мастеров, всю жизнь строящих батареи, разумнее было поставить к орудиям и приборам в башнях, а молодых комендоров переместить к пулеметам и в дзоты, спешно воздвигаемые вдоль берега. Не сам он это придумал, это ему подсказали те «штатские», в которых не верил Щепенюк. А «даров моря» и всех болтающихся возле батарей без дела Вержбицкий объединил вместе с военными и штатскими строителями в противодесантный батальон, поставив командиром батальона инженера Сошнева, а командирами рот подчиненных ему инженеро-строителей. Этот батальон сам строил себе и блиндажи, и огневые точки, и запас-

ные рубежи, он был пролетарским и по своему составу, и по вложенному в строительство обороны труду, и по внешнему красногвардейскому облику.

Никто и не предполагал, что на маленьком острове окажется столь многочисленное войско, поэтому вновь призванных, как и потерпевших бедствие на море, не во что было одеть. Роздали все, что нашли на складах военторга и гражданского спецторга. Черное или коричневое пальто, перепоясанное солдатским или матросским ремнем, стало формой бойца из пролетарского батальона. Но уже дули осенние морские ветры, наступали холода, от них нечем было защититься. На складе военторга сохранился белый шелк, предназначенный командирам флота на кашне. Его хватило на шарфы для маневренного взвода Николая Нижника — особого звзда матросов-диверсантов при командире гарнизона. Зато в спецторге разыскали запас разноцветного крепдешина, неведомо зачем доставленного на Осмуссаар, где почти не было женщин. Крепдешин роздали по ротам пролетарского батальона. Чтобы не было путаницы — каждой роте ее цвет. Так возникли «рота синих» под командой Нестеренко на участке зенитной батареи Сырмы в Южной бухте и «оранжевая рота» Марка Липшица перед фронтом батареи капитана Панова на Северном мысу у маяка. Эти роты в случае десанта должны были принять первый удар на себя.

Не спокойствие и благополучие, а тревогу и опасности принесли на остров командир и комиссар. Жить стало невыносимо трудно. В дневные часы рискованно ходить, потому что батареи Клещенко, Панова и Сырмы, навязав противнику артиллерийский бой, вызывали круглосуточный ответный огонь по всей территории Осмуссаара. Противник бил по причалам, по тылам батарей, жег все на острове, но люди чувствовали себя в бою лучше, чем в прежней тишине: строили убежища, пулеметные гнезда, придумывали мудреные заграждения под электрическим током на подступах к берегу прямо в воде, устраивали хитроумные минные поля, конструировали оружие, зенитные снаряды превращали в чудо-фугасы и минные ловушки, делали мины из разрезанных чугунных труб, одевали тракторы в броню и устанавливали на них самодельные огнеметы конструкции неистощимого выдумщика матроса-подрывника Жоры Вдовинского, который до войны подрывал вокруг острова валуны, добывая гранит; даже из двух старинных пушек — спастельной и сигнальной, — заряжаемых с дула и стреляющих деревянным ядром на тросе, этот матрос с помощью рабочих завода смог соорудить легкую противокатерную батарею, приданную все тому же Сырме, и позже, когда начались вражеские десанты, она вела по противнику огонь и имела боевой успех. Я знаю: это звучит примерно так, как применение самолета «ПО-2» для транспортировки ракет в наш космический век. Но в том-то и суть, что при любом уровне техники успех решает прежде всего воля человека, его ярость и убеждение в правоте того дела, за которое он идет в бой.

Настали темные, осенние ночи. Вержбицкий понимал, что после овладения Эзелем и Даго, в сравнении с которыми Осмуссаар — ничтожный пятачок, немцы обрушат все силы на него. Десанта следует ждать со всех сторон. Ночью подходы к острову надо освещать. Но чем? Прожектора нет, а самодельные установки из автомобильных фар на аккумуляторах, смастеренные матросами, могли осветить противника только у самого берега. До Кронштадта больше двухсот миль, единственно, кто мог прислать прожектор, это гарнизон Ханко.

Ночью должен был прийти с Ханко старый эстонский транспорт «Вохи» с прожектором на палубе и взрывчаткой в трюме. Об этом островитянка своевременно предупредила шифровка. «Рота синих» под командой Нестеренко дежурила у южного причала, чтобы к рассвету транспорт разгрузить. Но «Вохи» пришел не ночью, а под утро, когда кораблям было запрещено появляться в Южной бухте, просматриваемой фашистами с материка. Вопреки запрету капитан «Вохи» пошел к южному причалу и попал под прямой артиллерийский огонь.

Первый же снаряд зажег носовые каюты транспорта. Его команда во главе с капитаном бросила корабль. На горящем пороховом погребе — в корме транспорта находился грузженный минами, гранатами и тротилом трюм — остались старый

эстонец-механик, двое машинистов и какой-то попутчик, командир с двумя кубиками на петлицах. Вержбицкий называл его во время борьбы с пожаром «доктором», и только позже стало известно, что это зубной техник Чемоданов, зачем-то командированный из госпиталя на остров и попутно назначенный ответственным за груз. Трое эстонцев, лавируя и увертываясь от снарядов, продолжали вести «Вохи» к берегу, а зубной техник Чемоданов метался по палубе, стараясь то топором, то багром преградить огню путь в корму.

Попади в корму снаряд — взлетит на воздух не только транспорт, но и пирс, к которому он медленно шел. Любои начальник осудит Вержбицкого, если он пошлет людей в огонь и случится беда. Но нельзя было не выгрузить то, что с таким трудом оторвал от себя в пользу товарищей такой же осажденный гарнизон. Посланные к пирсу матросы продвигались медленно, залегая перед сплошной стеной разрывов. Никакая команда не в силах была поднять людей с земли. Тогда Вержбицкий сам побежал вперед. Он звал за собой коммунистов и комсомольцев, и за ним пошли все.

Вержбицкий стал у трюма, Гусев — у трапа, а зубной техник — на причале. Один взвод спустился в корму, в пороховой погреб. Другой принимал груз наверху и сквозь огонь перекидывал его на берег. А флегматичный лейтенант Кайк, начхим-эстонец, прозванный в честь одной из башен Вышгорода «длинным Германом», которому, как и всем начхимам, обычно нечего было на войне делать и он ходил в постоянных оперативных дежурных, лейтенант Кайк развил вдруг такую деятельность и выдал над бухтой такой дым, что у немцев буквально потемнело в глазах и они продолжали вести огонь наугад.

Шхуну разгрузили, потеряв шестерых убитыми и четверых ранеными. Пятым раненым был сам Вержбицкий, но он это заметил позже, когда шифровальщик принес ему шифровку с полуострова: «Как чувствует себя командир и что предпринять для его срочной эвакуации в госпиталь?»

Когда весь груз и прожектор перенесли на берег и укрыли, шхуну «Вохи» оттолкнули от пирса, и она догорела на мели. Теперь гарнизон знал, что командир умеет не только наводить порядок, но и воевать.

К тому времени германская эскадра в составе «Тирпица», «Адмирала Шеера», легких крейсеров, эсминцев и сторожевиков сосредоточилась в Або-Аландских шхерах возле нейтральной Швеции и в либавском порту. Теперь известно, что Гитлер держал морские силы в засаде, рассчитывая после взятия Ленинграда и Кронштадта перехватить наш Балтийский флот, если он попытается прорваться в море. Штаб Балтфлота был озабочен тем, чтобы не допустить немецкую эскадру в Финский залив. На передовую позицию командующий флотом выдвинул подводные лодки, на Ханко были посланы торпедные катера, а Осмуссаар приказано было во что бы то ни стало удержать до зимы. Когда немцы почувствовали, что Осмуссаар жив, воюет, действует, они обрушили на него весь свой гнев. Уже не две-три, а десяток батарей день и ночь били по острову, и не сорок — пятьдесят, а три тысячи снарядов в сутки выворачивали его наизнанку.

Если это подготовка к десанту, то почему враг медлит и приучает островитян к жизни под огнем? Ведь и противник, наверно, понимал, что при решимости выстоять можно выдержать любой огонь, и все же он боялся использовать свое преимущество и пойти на штурм. А островитяне и жестокий огонь сумели использовать себе на благо: они учились быстро залечивать раны под таким огнем, ввели дежурства аварийных команд, возле уязвимых пунктов и дорог держали наготове запасы восстановительных материалов, не теряли присутствия духа, понимая, что может быть еще труднее, когда одновременно с обстрелом начнется штурм с воздуха или с моря. Такой обстрел продолжался и в октябре и в ноябре, люди утешали себя тем, что они заставляют противника растрчивать здесь, в столь мало-значительном пункте, силы и облегчают борьбу на фронтах там, под Ленинградом и Москвой.

Был канун годовщины Октября. Никто из островитян не мог знать, доживет ли он до этого праздника, будет ли в Москве парад и состоится ли торжественное

заседание в Большом театре, — все-таки Москва живет под бомбами и на линии фронта. Привычные, как всякий ритуал, обстоятельства празднования в тот год приобрели особое значение: для одних с этим были связаны воспоминания юности или память о родном городе; другие ждали их как знака своеобразного горизонта — сбудется или не сбудется: если отменят — тяжело, если состоится — победа близка; но главное, пожалуй, для всех было — узнать истинное положение вещей, правду о фронте, потому что сводки Информбюро были столь скупы, что о многом приходилось догадываться и читать их подчас как шифровку. Фронтowej карты не было, ее составляли сами по тем внезапно публикуемым пунктам, западнее или восточнее которых идут бои. А противник еще более запутывал, разбрасывая фальшивые карты, и хорошо, если политработник не крутил и не вертел, а говорил только то, что знает, хотя и сам он плохо знал истинное положение вещей; да и от кого было скрывать, оставлен или нет тот или иной город, людям на фронте нужна была только правда, самая горькая и прямая.

Перед праздником немцы внезапно прекратили обстрел. Стояли морозные, ясные дни. В море не было ни одного корабля, и на остров не падало ни одного снаряда. Странное это было и зловещее затишье. Вот тогда-то и появилась шлюпка с той стороны с тремя русскими матросами, взятыми в плен на Даго и посланными на остров с пергаментным свитком от генерал-адмирала Карлса.

Ультиматум был написан от руки, каллиграфическим почерком. На Осмуссааре сразу опознали руку предателя, рыжего инженера Харасина, писавшего под диктовку немцев: он приходил весной на остров проверять работу строителей и оставил след — акт, написанный таким же каллиграфическим почерком. О нем говорили, будто он героически погиб на Даго, а вот, оказывается, каков «герой». Значит, это он, зная расположение осмуссааровских батарей, направлял на них огонь. Он знал всех офицеров на острове и рассчитывал по-фашистски их перессорить и разобщить. Помимо посулов и угроз, помимо игры в средневековое рыцарство и призывов к гуманности, помимо лжи, будто в Москве и Ленинграде назначен парад германских войск, враг прибег в ультиматуме к примитивной черной провокации: пообещав почетный плен всем, кроме евреев и коммунистов, он командира величал не Кондратьевичем, а Конрадовичем, намекая то ли на польское, то ли на немецкое происхождение его предков и, очевидно, надеясь внушить и ему самому и всем его подчиненным мысль, будто он не кровный сын советскому народу, а приемный пасынок.

На войне на ультиматум врага командир отвечает сам, не обсуждая его в частях. Но Вержбицкий считал, что идти в решающий и, возможно, последний бой нельзя, не доверяя бойцам. Парламентеров отправили на полуостров, а ультиматум решили огласить на собраниях островитян.

Командир и комиссар ходили из башни в башню, из блиндажа в блиндаж, читали фашистское послание, уверенные в ответе островитян: не белый флаг, а Красное знамя будет поднято над Осмуссааром.

Никаких запасов красного материала не могло хватить на знамя, какое хотел бы поднять над маяком каждый матрос и солдат.

«Рота оранжевых» сняла свои живописные шарфы. Из красных уголков и ленинских кают был содран весь кумач. Все красное, кумачовое несли в первую башню, к младшему лейтенанту Митрофанову, самому пожилomu из командиров запаса, худому сутулому инженеру, похожему в своих очках в металлической оправе на сельского учителя; в эти дни он вступил кандидатом в члены партии. В башне Митрофанова сидели питерские рабочие в черных и коричневых, опоясанных ремнями пальто и шили огромный Октябрьский стяг.

Его подняли над маяком в ночь на седьмое ноября.

А в утренний час, когда включенные по приказу командира боевые рации настроились на волну станции имени Коминтерна и донесли звуки «Интернационала» и праздничного парада из Москвы, нашего парада, парада Красной Армии, когда мимо Мавзолея прошагали защитники столицы с Красной площади прямо

на фронт, здесь, на бастионах Осмуссаара, возобновился бой. Красное знамя над маяком вызвало огонь на себя.

В море начался шторм, и на какое-то время холодные могучие волны стали союзниками островитян: фашисты не решались идти с десангом в такой шторм. Но и в шторм не затихал артиллерийский огонь.

Утром одиннадцатого ноября, когда шторм затих и только что кончился очередной налет немецкой артиллерии, Вержбицкий и Гусев были на вышке у капитана Клещенко. Уже полностью рассвело, и хотя над проливом еще струились остатки тумана, весь ближний материк хорошо просматривался до большой глубины. На нем не было ни души. После артиллерийских налетов и ночных бдений утренние часы считались самыми мирными и свободными: вряд ли в ясный день немцы сунутся штурмовать. Вержбицкий приказал объявить отбой и перевести гарнизон на обычную готовность. Он пригласил Гусева и Клещенко на командный пункт к традиционному военно-морскому столу. Но в это утро застольная беседа в кают-компании была прервана боевой тревогой. Вержбицкий и Гусев выскочили в дежурку, и оперативный доложил, что с маяка наблюдатели доносят о появлении флотилии катеров противника — восемнадцать вымпелов кильватерной колонной, пеленг сто тридцать градусов, дистанция девяносто кабельтов, курс зюйд-вест. Каждое слово доклада рисовало перед Вержбицким географическую карту и картинку на море: ясно — восемнадцать катеров идут из Палдиски в пролив.

Когда он с Гусевым снова поднялся на вышку, гарнизон уже был готов к бою — это успел проделать Кудрявцев, способный удивительно быстро ориентироваться и действовать.

Катера цепочкой втягивались в пролив, и можно было подумать, что они рассчитывают нагло и беспечно под носом у Осмуссаара пройти в открытую Балтику. В другое время Вержбицкий приказал бы открыть по ним на предельной дистанции огонь, чтобы до выхода в море накрыть снарядами. Но в другое время не молчали бы и немецкие батареи, заранее подавляя действия осмуссааровских артиллеристов. Сейчас выжидали обе стороны. И сердцем военного человека, день и ночь думающего об одном и том же, Вержбицкий почувствовал, что это и есть тот самый давно ожидаемый час. Решающий час, когда все остальное поблекло и на карте — будущее. Нельзя ни опаздывать, ни спешить. И расчет и интуиция — всего вровень.

Он приказал батареям приготовиться к отражению десанта.

На дистанции около семидесяти кабельтовых катера повернули «все вдруг» и тремя группами по шесть вымпелов рванулись к острову. Каждая группа мчалась строем фронта, все три создавали клин. Вержбицкий продиктовал радиogramму командующему, добавив в конце: «К бою готов. Помощи не прошу». Он распределил цели между батареями: правая группа — Панову, левая — Сырме, середина — капитану Клещенко; приказал всем дать десять залпов по средней группе, а затем каждому перейти к своей.

Пока дальномерщики уточняли дистанцию, пока офицеры штаба вычерчивали путь немцев на своих планшетах, слышали, внесли поправки, готовили данные для точного и продолжительного огня, Вержбицкий успел не только разглядеть состав флотилии, но и определил весь объем десантной угрозы. На каждом из вместительных деревянных мотоботов — пятьдесят егерей в полном вооружении, не считая команды. Итого девятьсот штыков. Не так уж страшно, как может показаться. Надо подпустить их поближе и накрыть наверняка.

Гусев нервничал, не понимая, почему командир медлит с открытием огня. Вержбицкий объяснил ему суть замысла и, внезапно осененный, предложил: а что, если ударить всеми орудиями только по фланговым группам, а среднюю подпустить к острову, дать этим трем сотням егерей высадиться и тут истребить их всех, до одного? И пулеметчикам тренировка и маневренному взводу испытание, а опасности никакой!..

Смелый план, но такое решение похоже на тренировку в настоящем бою. Конечно, все триста егерей будут истреблены. Но сколько погибнет наших? И это тогда, когда можно избежать потерь, можно потопить немцев на подходе или обратить в бегство!.. Гусев понимал, что командир, начиная бой, всегда жертвует людьми, людьми близкими, ближе которых для него нет на свете, знает, что кто-то в этом бою неизбежно погибнет. И когда Щепенюк, избегая встреч с противником, ссылаясь при этом на жалость к людям, он лицемерил и прикрывал свою мнимой жалостливостью трусость и боязнь за свою шкуру. Вержбицкий, если немцы высадутся, наверняка сам, как это ни безрассудно для командира, полезет в бой. Но все же в том, что он предложил, было ухарство, и Гусев осторожно спросил его: а не думает ли командир, что противник выдвинул только первый эшелон? Островитяне свяжут себя боем с тремя сотнями, а немцы подкинут на других мотоботах свежие силы?

Вержбицкий даже покраснел: этот лектор из политотдела, которого он еще не видел в бою, рассуждал трезвее, чем он, штабной офицер. Какая нелепая мысль — заманивать противника на берег, рискуя жизнью своих бойцов! Бой на берегу вызовет лишние жертвы. Точнее, неоправданные жертвы — лишних смертей не бывает. Он подтянулся, стер, смахнул все постороннее. Бой. Предстоит бой. И оттого, что приказы отдавались тихо и отрывисто, все кругом перешло на этот торжественно тихий тон, сильно накаляющий воздух. Каждое слово и жест командира подхватывали и понимали именно те, кому положено было их понимать, одушевлять действием, передавать в ту или иную часть взаимосвязанной и взаимодействующей машины, в которую превратился в час боя гарнизон. Стоило командиру произнести слово, и тотчас в четырех километрах от него дальномержники Сырмы стали отсчитывать и репетировать на другие батареи дистанцию; стоило ему махнуть рукой, и у подножья маяка блеснуло желтое пламя залпа, маяк задрожал, заколебался и весь маленький островок, а на море началась кутерьма, в которой разбирались только наводчики орудий и наблюдатели, с удивительной точностью отличавшие всплеск своего снаряда от снаряда соседа.

Четкий строй немцев спутался, а у людей, превращающих порядок в самоцель, это всегда вызывает растерянность и смятение. Над катерами рвалась шрапнель, в гуще немецкой каши методично вздымались море фугасы главного калибра; какие-то из катеров бросались под огонь и обвалы в самую толщу разрывов, очевидно к тонущему собрату на помощь; какие-то еще старались прорваться вперед, оторваться от строя и огня и хоть часть десанта выбросить на берег, а другие распускали шлейфы дыма, и на море, и без того черном от разрывов снарядов грех батарей, стало совсем темно. На остров накатывались волны, поднятые всем этим ералашем, и вместе с волнами в безветрие послышался такой свист ветра, словно начинался шторм. Немцы с материка открыли по Осмуссаару огонь, и чем сильнее, яростнее становился этот огонь, тем веселее было на душе у каждого из островитян. Люди и сами видели и поняли по этой немецкой ярости, что десант отбит, что победа на нашей стороне. Бесятся — значит, им плохо. Бьют по хорошо защищенному и неуязвимому главному калибру — значит, не в силах скрыть злобы на неудачу и тратят боезапас для оправдательной отчетности перед начальством. Батареи перенесли огонь на материк — не по орудийным позициям немцев, а по их «глазам», где бесится немец-командир: успокоишь его — успокоится и вся братия.

Дым рассеивался, на море догорало шесть катеров, остальные ковыляли к берегу. Тут же пришла шифровка от командующего с требованием доносить о ходе боя и сообщением о вылете авиации. «Ишачки» уже были над островом, помахали крылышками, спикировали на катера, покрутились и ушли — мало бензина, а летежь далеко. А батарейцы, разгромив наблюдательные посты на материке, снова перенесли огонь на море, заставили часть удирающих катеров свернуть с курса на Палдиски к несудоходным местам, выброситься на камни, что предпочтительнее гибели в открытом море. И хотя Вержбицкий понимал, что

дюжина потерянных мотоботов ничего не значит для фашистского флота в сложившейся на Балтике обстановке, все же он был счастлив и готов считать эту победу выигрышем морского сражения. Дело же не в том, сколько сил противник потерял; дело в факте, в том, что немцев бьют, дело в вере в себя, в свои силы и возможности, в вере, которая поможет людям мужественно перенести и те горькие разочарования, что ждут их впереди.

Но чтобы победа стала силой, ее не нужно раздувать. Пусть сознание победы теплится внутри и пусть чувство уверенности в своей силе обернется деловитостью. Самообольщение и самолюбование необходимы только слабодушным. А сильные своей силой не хвастают. Сильные знают, что завтра надо быть еще сильнее, и потому лучше поговорить с островитянами не о своей силе, а о подсчетах противника. Таково было твердое убеждение Вержбицкого. Он послал командующему скромное донесение о результатах боя, то самое, которое и попало в сводку Советского Информбюро, доложил, что с нашей стороны осколком снаряда убит один левый наводчик на орудии батареи Панова, и пригласил командиров на обычный разбор.

Двое суток после этого с материка по острову молотили десять батарей. Двое суток они лупили по каждому пятачку, по лучу прожектора, по колокольне кирхи, пока она не рухнула, по маяку, по рогаткам с ключей проволокой у берега, и Вдовинскому ночью приходилось лезть в ледяную воду и восстанавливать заграждения. А на третьи сутки немцы повторили попытку десанта, но уже не днем, а ночью.

Так продолжалось до самой зимы, до приказа ставки эвакуировать остров. Ни один егерь на берег Осмуссаара не ступил. Ни один островитянин не оставил рубеж до декабря, пока не пришли корабли, чтобы снять гарнизон и перебросить на Ленинградский фронт.

В одну из тех грозных ночей Вержбицкий сказал Гусеву:

— Вот и ответ на то, что всегда казалось мне загадкой: почему они заискивают, почему не сколупнут нас с географической карты? Мы не сдадимся, это одно. И когда я говорю матросам, что наш остров будет стоять в море как гранитный утес, я в это верю. Но я знаю: физической неприступности не существует. Для современной техники и современных средств ведения войн нет несокрушимых крепостей. И все же они, оказывается, возникают. Так в чем же дело? В том, что у нас с ними в корне различные представления о жизни и смерти, о войне, о человеке, обо всем на свете. Они исходят из отрицания нас как людей вообще и при этом все измеряют по меркам своей психологии. Для них понятна и приемлема позиция отсиживания — это им ясно: ориентируясь на трусость, они могут спокойно оставлять очаги, подобные нашему, на потом, хотя раньше они могли взять наш остров за здорово живешь. Но зачем брать, когда никто на островке не рыпается и он сам собою падет после успехов в более важных пунктах. А теперь мы стали им поперек горла. Они встревожились — островок сам не сдается, хотя теоретически он обречен. Им надо проходить флотом дальше, а мы покусываем. Хотели нас расколоть, деморализовать, перессорить, сломать без боя — не вышло. Теперь будут нас зверски лупить, штурмовать, полезут со всех сторон. Но ресурсы на нас не запланированы. Я же штабной работник, знаю, что такое план и лимит. Если на каждый такой клочок земли тратить силы сверх разработанного на поход плана, проторгуешься. Никакой Европы на это дело не хватит. Вот они и проторгуются. Потому что таких клочков пылающей на их путях земли — легион. Отсюда, комиссар мой, вывод вполне оптимистический: пусть мы все тут погибнем. Но они не пройдут. Они проползут, протянут ноги, захлебнутся в крови. И крышка им.

...Я еще не знаю в точности, что сказал в ту ночь Вержбицкому Гусев и о чем они продолжали разговор. Возможно, не все в деталях было именно так, как я рассказывал молодым матросам в полутемном сарае острова Осмуссаар спустя много лет после событий; говорят, что ультиматум доставили не четвертого, а

второго и будто флаг был поднят не на маяке, а на кирхе; но другие утверждают, что шпиль кирхи еще раньше был срезан снарядом и флагштоком мог стать только маяк; а что до даты ультиматума и подъема флага, то это был Октябрьский флаг и подняли его именно в Октябрьскую годовщину, которая в сорок первом году не была похожа ни на одну из предшествующих и последующих годовщин, потому что именно в том году решалась для всего человечества судьба Октября.

Но это все частности, не в точности дана правда, которая нам дорога. Правда в том, что люди выстояли, выстояли тогда, когда могли и должны были сдаться или умереть. Правда еще и в том, что если рождается одна, другая, и третья, и даже сотая и тысячная Малая земля, то, значит, есть у этих людей очень большая Большая земля.

### 3

В зале, как всегда, возникла пауза, во время которой замполит смущенно, но настойчиво повторял:

— Будут ли вопросы к товарищу писателю?

Самым храбрым оказался юноша ленинградец, высокий и худой; он встал и, нервничая, спросил мнение приезжего об итальянском неореализме — эта тема тогда была в некоторых газетах и журналах модной и считалась острой. Я пытался отшутиться, сказав, что как только в зале гаснет свет и на экране появляются «Полицейские и воры» или герои других любимых мною итальянских фильмов, я тут же забываю про все на свете, смеюсь, волнуясь, негодую, плачу, ерзаю на месте и не задумываюсь, не анализирую, каким же это путем довели меня до подобного восприятия правдивого и остроумного произведения искусства. Юноша готов был вступить в спор, до службы он учился в художественном училище и был не прочь иногда проявить свою причастность к искусству; но матросы на него зашикали, такое умничанье им показалось сейчас ни к чему; спеша исправить неловкость, они стали расспрашивать, конечно, про «дальнейшую судьбу героев»: где Вержбицкий, что случилось с Щепенюком, почему я, упомянув про какое-то тайное письмо, забыл о нем рассказать, не встречал ли я хитрого матроса Вдовинского, выжил ли кто из «оранжевых» и «синих» и не думаю ли я, что после истории с ультиматумом маневренный взвод отказался носить белые шарфы?..

Я объяснил, что уже на полуострове у одного из матросов-парламентеров нашли за подкладкой бушлата личное письмо предателя Хараксина командиру одной из батарей, о чем Вержбицкого известили шифровкой, упрекнув в потере бдительности — надо было внимательнее обыскать парламентеров на месте, но это тема особая — о вражеской провокации, о праве на доверие и о невольной обиде, нанесенной хорошему человеку, — коротко всего не расскажешь, об этом я еще напишу. Про Щепенюка я ничего не смог сообщить, кроме того, что суда он избежал и продолжал служить на маленькой должности в береговой обороне полуострова. Никого из слушателей не удивило, что Вержбицкий пошел работать в колхоз, я бы сказал, что это даже расположило всех к нему, и объяснять что да почему мне не пришлось, да я и не стал бы этого объяснять, потому что к тому времени из редкостного случая такой переезд отставника на село стал в стране движением. Я рассказал еще про Жору Вдовинского, которого отыскал в Москве через «Союзвзрывпром», и все согласились, что только в организациях, поднимающих планету дыбом, и следует искать заслуженного матроса-подрывника в мирные дни; каждое словечко про судьбу защитников Осмуссаара слушали так, что появившись, кажется, один из них сейчас здесь, его пронесли бы по острову на руках.

Было уже поздно, замполит беспокойно поглядывал на часы, поскольку распорядок дня в армии свят; он пообещал завести в клубе стенд боевой славы, вы-

весить на этом стенде все, что он успел сейчас записать и что удастся в будущем заполучить, и попросил собравшихся разойтись.

В зале я столкнулся лицом к лицу с таинственным штабским в бобриковом полупальто. На этот раз он был без своего драгоценного чемоданчика, и я удивился, услышав впервые его голос.

— Чемоданов,— произнес он, протягивая руку застенчиво и виновато, и я с трудом подавил внезапный и неуместный смехок.

— Чемоданов? — глупо повторил я, не в силах преодолеть назойливое впечатление совместного путешествия и осознать, что его фамилию я сам только что с трибуны произносил.— Вы Чемоданов?

— Точно. Врач-протезист.

— Мастер на все руки: плечибы, челюсти, коронки, рвет классно, без боли,— развязно выпалил словоохотливый матрос с синими ушами, подошедший вместе с мнимым «вооруженцем из почтового ящика».

— Боже мой, какая удача! — Я обрадовался, поняв наконец, с кем свел меня случай.— Вы тут тоже впервые после войны?

— Нет, что вы. Я здесь принимаю регулярно. Первого и пятнадцатого. Если погода позволяет...

— Значит, регулярно,— пробормотал я и увидел, что словоохотливый матросик тоже смотрит на Чемоданова ошарашенно.

Чемоданов замаялся, смущенный не меньше, чем мы.

— Неудобно, знаете ли, рассказывать про себя. А потом...— он мучительно подбирал слова, чувствуя, сколь слабо это оправдание, и обрадовался, словно находке: — со стороны виднее. Мы вроде бы привыкли. Стали подзабывать. Да и дел невпроворот...

Ночь я провел на барже, в кубрике под низким подволоком. Мы долго сидели за столом, исхлестанным ножами и костяшками домино, при зыбком аккумуляторном свете, потому что не все из команды побывали на берегу и многое пришлось повторять. Я ловил себя на том, что даю волю воображению и, рассказывая, ищу новые краски под впечатлением встречи с островом, шторма за бортом и жадного внимания людей, которых не балует жизнь. Их тоже удивило, что протезист, частый пассажир баржи, был, оказывается, в юности бесшабашным и лихим, а теперь дрожит вот над своим чемоданчиком. Отсюда пошел разговор о жизни, о сгранностях, которые случаются с людьми, о том, где лучше служить — на острове этом или на тесной барже,— все же баржа не только болтается по захолустным бухточкам и заливам, но и заходит в большие гавани, плавая почти весь год.

Спать меня уложили на узкой банке с бортами, чтобы не сбросило с непривычки при ударе волны; шинелей и бушлатов подо мной оказалось столько, словно тут была не малочисленная команда, а корабельный экипаж.

Утром баржу все еще не выпускали в море. Я снова прошел по острову. Погода стояла мерзкая, но облака уже взбирались вверх по синему перевалу неба, с каждым часом в мире становилось просторнее и выше, и теперь волны, все еще могучие и шумные, не казались такими громоздкими, как при вчерашней тесноте. Возможно, к полудню удастся уйти, а пока я бродил по заросшим руинам, и остров не казался мне таким унылым, как накануне. Островитяне были заняты своим ремеслом, но мне то здесь, то там попадался навстречу матрос и подсказывал, где затянуло болотом орудийный ствол, где завалился пулеметный окоп; иногда в подсказке этой звучал скрытый вопрос, иногда желанье услышать подтверждение догадки, молчаливые люди заново вглядывались в хорошо знакомую им неласковую землю, на которой не так уж уютно жить и служить, но о которой лестно будет потом вспоминать и тосковать.

Прошел уже после того путешествия срок. Возник и выкристаллизовался замысел, который так хочется осуществить. Долгий это и нелегкий процесс — вырастить задуманное, когда напирают все новые факты, случаи, биографии и хо-

чется отдать дань всем — ведь все, каждый из тех, кто там воевал, заслужил доброе слово, но как трудно найти такое слово, которое сказало бы одновременно и о каждом и обо всех.

А что же все-таки мне ответить старикам, которые толкнули меня на этот поиск, что произошло с командиром «оранжевой роты», какова его судьба?

Сын писал старикам правду, что враг на остров не пройдет, пока там будет хоть один советский человек. С острова уходили по приказанию командования, когда подошла зима. В ночь на первое декабря большая часть островитян была переброшена на полуостров и там погружена на корабли, перевозившие в Кронштадт девятый эшелон гарнизонов Ханко, Осмуссаара и остатки гарнизонов Эзеля и Даго. Марк Липшиц был на турбоэлектрободе «И. Сталин».

На Осмуссааре оставалось еще триста человек. В ночь на второе декабря они сели вместе с командиром на тральщики. Перед погрузкой забили последних лошадей, забрали с собой запас мяса и муки в голодный Ленинград. Вержбицкий приказал Вдовинскому и трем подрывникам остаться на острове еще на сутки. Он оставил им фляжку спирта, пачку махорки и противень студня из конины и обещал к 23.00 второго декабря прислать за ними катер-охотник — красной ракетой катер даст о себе знать.

Остров опустел. Выпал снег. Беспорядочно падали немецкие снаряды. Подрывники провели на командном пункте бессонную ночь. Ждали десанта. Всю ночь выходили по очереди на волю, освещали фонариком подходы к КП. С рассветом сели в полуторку, объехали весь остров, проверили заряды. После полудня начали взрывать.

До самой ночи гремели взрывы в башнях и погребах, в блиндажах и дзотах. Пыхтели пожары, горел сложенный в штабеля лес, завезенный на стройку еще до войны.

В назначенный час катер к причалу не подошел. Все четверо собрались возле полуторки у маяка. По причалам били батареи с материка.

Ровно в полночь над морем в стороне от острова взвилась красная ракета. К берегу «охотник» подойти не смог. Тогда Вдовинский вспомнил о пробитом осколками старом спасательном вельботе в сарае возле южного пирса. На этом вельботе подрывники поочередно перебрались к «охотнику». Вдовинский уходил последним, он еще сжег полуторку и взорвал маяк. Когда он добрался до борта «охотника» и ухватился за леера, дырявый вельбот, полный воды, тут же ушел из-под ног и затонул.

Но на Гогланд Вдовинский попал раньше, чем командир.

Вержбицкий шел на «Гафеле» в строю кораблей, эвакуирующих девятый — последний — эшелон с Гангута. Восемь эшелонов на различных мелких шхунах, катерах, тральщиках, небольших пассажирских судах, сторожевиках, минных заградителях и эскадренных миноносцах, посланных в течение ноября Балтфлотом за двести с лишним миль в тыл противника, форсировали начиненный минами Финский залив и с небольшими потерями прорвались в Кронштадт. Девятый эшелон был самым многочисленным. Пришлось до последнего момента держать на боевом рубеже большие силы, а потом сразу всех погрузить на корабли. Погрузка прошла удачно, но беда настигла в пути. Пассажирский турбоэлектрободе «И. Сталин» с его гражданской командой принял на борт пять с половиной тысяч человек, столько же пассажиров находилось на боевых кораблях. В самом узком месте залива под наведенными орудиями береговых батарей противника турбоэлектрободе подорвался на минах и стал тонуть. Тральщики, и в их числе «Гафель», бросились на помощь. Всю ночь спасали матросов и солдат, шторм не позволял пристать к борту обреченного корабля; тральщики принимали пассажиров на ходу, кто успевал прыгнуть на палубу, пока тральщик был на волне, тот был спасен, кто на секунду опаздывал, — погибал в море; снять удалось только две тысячи человек. Судьба остальных была неизвестна до конца войны.

Все годы войны их судьба волновала балтийцев. Много трагического и печального слышали мы о турбоэлектрободе еще тогда, когда о подобных вещах

говорили мало и вполголоса, много было смутного и неясного. Я помню разговор с катерником на острове Лавенсаари в сорок втором году — тогда это был наш самый западный рубеж в Финском заливе. Я привез на остров несколько номеров «Правды» с пьесой Корнейчука «Фронт», и мы вдвоем с мало знакомым соседом по каюте стали читать в очередь сцену за сценой вслух. Волнуясь, примеряя все к своему, только что пережитому на войне, мы сравнивали с Горловым нам известных таких же горловых на Балтике и называли своих Огневых, которых выдвинули трудные бои. И вот тогда мало знакомый мне человек, командир торпедного катера, рассказал историю, которую можно было доверить только на фронте и от которой меня бросило в дрожь.

До одного командира дошел слух, будто над потерявшим ход пассажирским транспортом поднят белый флаг, и командир этот, не колеблясь, приказал катернику выйти в море, найти корабль и, если слух подтвердится, потопить его. Но катерник, подойдя на торпедный выстрел к турбозлектроходу, белого флага не обнаружил.

Году в сорок третьем мне в руки попал немецкий листок с фотографией турбозлектрохода на плаву. Не верилось этой фотографии. Уж слишком красиво выглядел турбозлектроход.

Все оказалось ложью: и листок этот, и фотография корабля, взятая немцами из довоенных архивов; и слух о капитуляции героев; к концу войны я видел возле Палдиски ржавые останки турбозлектрохода, изрешеченные и разорванные — их тут же разрезали на металл.

Но мы еще не знали, что произошло на мертвом пассажирском судне, когда люди потеряли надежду на помощь и на горизонте показались немецкие катера. Картина эта прояснилась постепенно, с годами.

В таллинских архивах я нашел фашистские газеты на эстонском языке. Просмотрев все номера за сорок первый — сорок второй годы, я наткнулся в них на свидетельства самих фашистов о «фанатичном поведении русских на турбозлектроходе». Борьбу обреченных матросов и солдат фашисты называли «сумасшедшей борьбой». Русские, спасаясь от плена, бросались в море. «Большинство из них замерзло, прежде чем достигало берега, — писали фашисты. — А те, кто берега достигал, попадали в плен. Некоторые пытались тут же бежать, но это им не удавалось».

Художник Пророков тоже уходил с Ханко на турбозлектроходе, но был с него снят тральщиком. Рассказывая про ту декабрьскую ночь, он всегда вспоминает об одной девушке, медицинской сестре, которую так и не удалось уговорить покинуть корабль: там оставался ее Леша, электрик из команды, который обеспечивал пассажиров светом и водой. А недавно дошли вести из Эстонии, что Леша и его девушка живы, они работают в Таллине. Несколько писем Пророков получил из Предуралья от учителя Черткова, бывшего солдата, который познал судьбу корабля до конца. Да, было, по свидетельству Черткова, мгновение, когда над обледенелым кораблем болталась белая простыня, но в следующий миг ее изрешетили и сорвали, а предателя, который поднял эту тряпку, бросили за борт. Корабль кренило на левый борт, несло к берегу на отмель; люди переходили с борта на борт, выправляя крен. В одном из писем Чертков вспоминает сержанта Аверченкова, своего отделенного командира. Когда раздались первые взрывы, Чертков и его товарищи сидели в трюме на мешках с мукой. «В трюм хлынула вода. Суматоха. Все кинулись к выходу. В это время отделенный командир сержант Аверченков приказал небольшой группе бойцов навести порядок на выходе. Им это удалось, правда не без автомата. Сам же он схватил мешок и бросился к пробойне. Он пытался остановить течь, но струя воды была сильнее человека, она опрокинула сержанта, и он, мокрый до ниточки, поднявшись и собрав свое отделение, снова мешком и своим телом закрыл течь. Ему помогли другие. И так до тех пор, пока люди выходили на палубу. Когда в трюме осталось несколько десятков человек, сержант приказал выходить на палубу всем, а сам остался внизу. Там и погиб».

Приходил ко мне московский инженер Карасик, бывший командир противотанкового орудия, сержант. Он служил на Ханко вместе с братом-близнецом, оба артиллеристы, брат был рядовым в другом расчете. Рядовой ушел на сторожевике и уже в Кронштадте от очевидцев услышал, будто его брат сержант Карасик погиб. А сержант был на электроходе, выжил, три года провел в плену — сначала в Таллине, потом на полуострове Ханко, где белофинны создали лагеря для военнопленных. Сержант Карасик вспоминает, что в то утро, когда море вынесло турбоэлектроход на отмель возле эстонского берега, на палубе возник стихийный митинг. Речь произнес капитан Шпал, бывший начальник полковой школы, в которой Карасик получил звание сержанта; капитан призывал всех набрать побольше оружия, гранат, высадиться на берег десантом и воевать. Но на турбоэлектроходе не нашлось ни одной исправной шлюпки. Из сорванных дверей и переборок кают пассажиры вязали плоты, пытались с оружием в руках добраться до берега. Но море смывало людей с плотов, одни погибали, других немцы вылавливали из ледяной воды арканами и «кошачьями»; лишь немногим удавалось добраться до суши, но там их подстерегали фашисты. Лишь после жестокой борьбы немцам удалось подняться на изуродованный, разорванный минами транспорт, застрявший на мели.

Я показал Карасику фотографию Марка Липшица, спросил, не встречал ли он в лагере людей с Осмуссаара. Карасик называл имена людей, которых он помнит, но Марка Липшица не встречал.

Тяжело сообщать родителям, что их сын погиб, если никто не видел его смерти. Вот же нашлись «очевидцы» гибели сержанта Карасика, а он воскрес три года спустя... Но прошло уже двадцать лет. Полковник Вержбицкий и все другие осмуссааровцы, которых я спрашивал, считают, что командир «оранжевой роты» погиб на турбоэлектроходе. «Дочери вашего сына можег смело сказать, — написал Вержбицкий старикам, — что ее отец отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины, стойко боролся и врага победил — ведь врагу не удалось сломить нас и захватить остров. А вас я, как бывший командир, могу поблагодарить, что воспитали хорошего сына».

Так время распутывает еще один запутанный минувшей войной клубок, проясняя правду об ушедших на войну.



---

# К 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина

ЭММА ГЕРШТЕЙН

★

## ВОКРУГ ГИБЕЛИ ПУШКИНА

(По новым материалам)

**Н**ачиная с того трагического дня, когда, по выражению современника, солнце нашей поэзии закатилось, историки русской литературы стремятся воссоздать полную и достоверную картину последних дней жизни Пушкина сложную совокупность обстоятельств, приведших его к роковой гибели. И тогда еще, в февральские дни 1837 года, многие понимали, что ни дуэль с Дантесом ни гибель Пушкина не были случайностью. Передававшееся из рук в руки стихотворение двадцатидвухлетнего Лермонтова недвусмысленно указывало на истинных виновников смерти национального гения — на «наперсников разврата», «жадную толпой» окруживших царя. Но до тех пор, пока эти строки не получили документального подтверждения, они могли расцениваться как поэтическая метафора, как возможная догадка, но не как достоверное свидетельство современника.

Сложность изучения этого вопроса состояла в том, что после гибели Пушкина царское правительство запретило упоминать в печати о дуэли поэта с Дантесом. Только значительно позже, когда многие современники сошли в могилу, стало возможным публичное обсуждение обстоятельств, приведших к трагическому финалу. Но дореволюционные историки литературы сосредоточили свое внимание лишь на семейной драме Пушкина, игнорируя уже проскальзывавшие в напечатанных мемуарах и письмах намеки на гораздо большую сложность положения поэта в последний год его жизни в Петербурге. Только советские историки смогли развернуть работы по подробному изучению истории гибели Пушкина (Б. В. Казанский, Ю. Г. Оксман, П. Е. Рейнбол, М. А. Цявловский, П. Е. Щеголев...). Но даже сегодня, когда в нашем распоряжении имеются полное академическое собрание сочинений поэта, мемуары и дневники современников, когда ученые получили доступ в секретные и семейные архивы, — даже сегодня не умолкают споры, и история дуэли и мотивы поведения ее участников все еще остаются не до конца проясненными. Вот почему каждая новая подробность о жизни и смерти Пушкина до сих пор полна для нас неоценимого интереса. Появление материалов, лежащих как бы на периферии научной проблемы, заставляет подчас по-иному взглянуть на как будто уже установленные факты, в одних случаях подтверждая их, в других ставя под сомнение. Только привлечение свежих материалов или новое прочтение уже известных документов может помочь разобраться в возникающих противоречиях.

К числу недостаточно обследованных материалов принадлежит рукописная коллекция библиотеки бывшего Зимнего дворца и личные фонды Романовых (хранятся в Москве, в Центральном государственном историческом архиве). В частности, не использованы еще пушкинистами дневники жены Николая I, те самые, о которых со страстной заинтересованностью историка упоминал в своих записях сам Пушкин. В дневнике

императрицы мы встретили ряд неизвестных упоминаний о поэте и об участниках его предсмертной драмы. Но они написаны конспективно и отрывисто, без соблюдения синтаксических правил, сокращенными словами. Оно и понятно. Меньше всего царица заботилась о том, чтобы быть понятой непосвященными. Урожденная пруссачка, Александра Федоровна вела свой дневник по-немецки, перемежая родной язык отдельными французскими, иногда английскими и русскими словами. Ее записки — это регулярная хроника всех событий дня начиная от пробуждения и кончая отходом ко сну, в монотонный поток которой нередко вкраплены драгоценные для нас имена: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Глинка...

Крайний лаконизм этих записей делал бы их зачастую непонятными, если бы неожиданно в том же Центральном государственном историческом архиве к ним не нашелся надежный комментарий. Это письма императрицы к своей ближайшей и интимнейшей подруге — графине Софье Александровне Бобринской. Каждый, кто внимательно читал дневник и переписку Пушкина, вспомнит, что встречи поэта и его жены с царем и царицей нередко происходили в доме Бобринских, что члены этой семьи играли большую роль в сношениях Пушкина с двором. Понятно, с каким интересом мы обратились к новонайденным документам, еще ни разу не привлекавшим внимания исследователей.

Сотни записочек с 1824 по 1860 год, написанных по-французски и перемешанных внутри каждого года в полном хронологическом беспорядке, с трудом поддаются прочтению. Чаще всего записочки императрицы не датированы и небрежно набросаны торопливым почерком в промежутке между двумя встречами. Иногда это продолжение оборвавшейся беседы, иногда обмен мнениями по поводу публичного торжества, на котором корреспондентки оказались разъединенными придворным этикетом. К тому же у царицы и ее фаворитки были свои секреты, которые они ревниво и предусмотрительно оберегали от чужих глаз. Соблюдая величайшую осторожность, они ограничивались в своей переписке мимолетными намеками, заменяли имена и фамилии кличками или каким-нибудь условным знаком. Внимательное ознакомление показывает, что в письмах тридцатых годов играли особую роль три персонажа: Белый (Blanc), Маска (Masque) и Бархат (Velours). Немало усилий понадобилось, чтобы выяснить, кто скрывается за этими интимными прозвищами. Сделать же это было тем важнее, что именно эти лица оказались причастными к интриге, которая велась против Пушкина и которая вызвала его гибель. В результате анализа удалось обнаружить тесную связь Дантеса с ближайшим окружением императрицы и ввести в число участников враждебной Пушкину придворной интриги целый ряд новых лиц. Впрочем, предоставляем читателю самому убедиться в правильности этих выводов.

## ПУШКИН В ПИСЬМАХ И ДНЕВНИКАХ ИМПЕРАТРИЦЫ

*1834 год*

Из дневника

1. 14 января... представлялась красавица Пушкина.
2. 28 февраля... в 1/2 10 поехали к Фикельмонам, там у Долли переоделась в белое с лилиями, очень красиво... мои лилии цвели недолго, Дантес долго смотрел. Был красивый бал, тоска, но все же... Французская кадрили, мазурка с Вас[илием] Алексеевичем Перовским], который был безумно печален, уютно говорили о Шиллере. 1/2 5 уехали.
3. 1 марта... К обеду Орлов и Раух. Захотелось в маскарад. Сперва в французский театр. Клотильда; ужинали; из ложи смотрели. Около часу уехали, но опять вернулись с Софьей Бобринской и Катрин [Тизенгаузен]. Немного интриговали, Дантес, здравствуй, моя милашка (bonj. m. gentille), но не так красиво, как в прошлом году.
4. 4 марта... Дантес г л а с с е н.

5. 14 марта... Вечером только Раух, Виельгорский, Васи[лий Перовский?], старая Бобринская, Сесиль [Фредерикс]. Обе смеялись... чтение повести] «Пиковая дама» Виельгорским, до 12. Приятный вечер. Никс в Петергофе.

Перевод с немецкого. Центральный государственный исторический архив в Москве, фонд 672, опись 1, № 413, лл. 57, 59, 59 об., 60.

*1836 год*

**Из дневника**

6. 26 апреля.. нас катали мимо Эрмитажа с детьми и тремя фрейлинами.. На Дантеса напал смех.
7. 12 июля... парад, ветер, много приказов.. дома завтракали с Сашей и тремя девочками и с Катрин, также Павл[овский?]. Скар[ятин], Дантес дежурные, первый верхом...

Перевод с немецкого. Там же, № 414, лл. 36, 42.

**Из письма к С. А. Бобринской**

8. [Без даты] На днях мне принесли вашу записку в Ораниенбаум, когда я одевалась, и я не знаю почему, мне вдруг показалось, что посыльным был Бархат; но нет, я знаю, что нет! ...нужно, чтобы когда-нибудь Бархат передал одно из ваших писем, надеюсь, что он его не испачкает, как записку кн. Барятинской, он вам рассказывал об этом? Он и Геккерн на днях кружили вокруг коттеджа. Я иногда боюсь для него общества этого «новорожденного».

Перевод с французского. Там же, фонд 851, № 13, лл. 21—22.

**Из дневника**

9. 19 ноября... Веч[ером] Софи Б[обринская] и Сесиль о женитьбе Дантеса.

Перевод с немецкого. Там же, фонд 672, № 415, л. 12 об.

**Из писем к С. А. Бобринской**

10. [23 ноября] ...Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет.
11. [Без даты] ...Сегодня понедельник — вчера было воскресенье и у нас был бал, если вы об этом не знаете, и некая Софи не пришла, не предупредив, что внушало ложные надежды ее друзьям, которые, говоря себе, что она не придет, в глубине души все-таки хранили надежду. Я так боялась, что этот бал не удастся, что он навеет на меня столько воспоминаний. Но все шло лучше, чем я могла думать.— Было как будто весело. Пушкина казалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье.— Но не было той сладостной поэзии, как на Елагином. Вишнякова очень красива, молодая Барятинская и Мария Трубецкая привлекали своими высокими фигурами, стройные и гибкие. У Аннет Бенкендорф, белой как алебастр, нет, мне кажется, столько обаяния, сколько у маленькой Белосельской, которая своими прекрасными глазами и очаровательной меланхолией больше привлекает мужчин, чем ее сестра. Бархат держал себя безукоризненно, следил за каждым своим движением, не приближаясь к недостижимой для него звезде, и заслуживает ваших всяческих похвал.

Перевод с французского. Там же, фонд 851, № 13, лл. 59 и 34—35 об.

1837 год

## Из дневника

12. 27 января... Во время раздевания известие о смерти старого великого герцога Шверинского и мне Никс сказал о дуэли между Пушкиным и Дантесом, бросило в дрожь.
13. 28 января. Плохо спала, разговор с Бенкендорфом, полностью за Дантеса, который, мне кажется, вел себя как бедный рыцарь, Пушкин, по словам Загряжской, как грубиян (wie ein grober Kerl).

Перевод с немецкого. Там же, фонд 672, № 415, лл. 15 об.— 16.

## Письмо к С. А. Бобринской

14. [28 января] Нет, нет, Софи, какой конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом. Один ранен, другой умирает. Что вы скажете? Когда вы узнали? Мне сказали в полночь, я не могла заснуть до 3 часов, мне все время представлялась эта дуэль, две рыдающие сестры, одна жена убийцы другого.— Это ужасно, это страшнее, чем все ужасы модных романов. Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну, не оставя ему возможности избежать дуэли.— С его любовью в сердце стрелять в мужа той, которую он любит, убить его,— согласитесь, что это положение превосходит все, что может подсказать воображение о человеческих страданиях. Его страсть должна была быть глубокой, настоящей.— Сегодня вечером, если вы придете на спектакль, какие мы будем отсутствующие и рассеянные...

Перевод с французского. Там же, фонд 651, № 14, лл. 28—29.

## Из дневника

15. 29 января... Н[икс] и К[арл] в Царское, я хорошо, гораздо меньше кашляла, выехали на прогулку. Загряжская, Пушкин еще жив. Умер 1/2 3. Катр[ин] восторженно о нем, целый день спор за и против.
16. 30 января... Загряжская о смерти Пушкина и о состоянии бедной жены.

Перевод с немецкого. Там же, фонд 672, № 415, л. 16.

## Письмо к С. А. Бобринской

17. 30 января. Ваша вчерашняя записка! Такая взволнованная, вызванная потребностью поделиться со мной, потому что мы понимаем друг друга, а когда сердце содрогается, мы думаем одна о другой. Этот только что угасший Гений, трагический конец гения истинно русского, однако ж иногда и сатанинского, как Байрон.— Эта молодая женщина возле гроба, как Ангел смерти, бледная как мрамор, обвиняющая себя в этой кровавой кончине, и, кто знает, не испытывает ли она рядом с угрызениями совести, помимо своей воли, и другое чувство, которое увеличивает ее страдания.— Бедный Жорж, как он должен был страдать, узнав, что его противник испустил последний вздох. После этого, как ужасный контраст, я должна вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра, я вас предупреждаю об этом, чтобы Бархат не пропустил и чтобы вы тоже пришли к вечеру.

Перевод с французского. Там же, фонд 651, № 14, лл. 154—155.

## Из писем к С. А. Бобринской

18. [4 февраля]<sup>1</sup> Итак, длинный разговор с Бархатом о Жорже. Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын.— Я знаю теперь все анонимное письмо, под лое и вме-

<sup>1</sup> Дата устанавливается на основании упоминания в этом письме о предстоящей в этот день раздаче шифров выпускницам Патристического института. В дневниках императрицы отмечено, что эта церемония состоялась 4 февраля 1837 года.

сте с тем отчасти верное. Я бы очень хотела иметь с вами по поводу всего этого длительный разговор.

19. [19—20 марта] Вчера я забыла вам сказать, что суд над Жоржем уже окончен — разжалован — высылается, как простой солдат на Кавказ, но как иностранец отправляется запросто с фельдъегерем до границы, и *finis est.* — Это все-таки лучшее, что могло, с ним случиться, и вот он за границей, избавленный от всякого другого наказания.

Перевод с французского. Там же, № 14, лл. 31 об., 146.

1838 год

20. 21 июля [из-за границы] ...Как вы поживаете на ваших Островах? Кто вас навещает, кто верен вашим предвечерним собраниям? Я вспоминаю бедного Дантеса, как он бродил перед вашим домом. Не удивляйтесь, что я об нем думаю, но я читала описание дуэли в поэме Пушкина *Онегин*, это мне так напомнило ту печальную историю. Одно место меня поразило своей правдивостью, напомнив о Бархате:

В красавиц он уж не влюблялся  
И волочился как-нибудь;  
Откажут — мигом утешался,  
Изменят — рад был отдохнуть,  
Он их искал без упоенья  
И оставлял без сожаленья.

Перевод с французского. Там же, № 15, л. 13 об.

1843 год

21. [Без даты] Очень многолюдный, очень парадный бал, украшенный отборными красавицами, среди которых Ольга и вдова Пушкина, сияли, как небесные светила. Аврора и Матильда Демидовы очень хороши. Я хотела бы видеть их всех в согласии.

Перевод с французского. Там же, № 20, л. 28.

\* \* \*

1

Итак, «партия» покровителей Дантеса, а следовательно врагов Пушкина, увеличивается еще двумя лицами, до сих пор остававшимися в тени. Это императрица Александра Федоровна и ее приближенная Бобринская. Дантес для них просто Жорж, они серьезно озабочены его судьбой. Впрочем, назвав двух лиц, мы не совсем точны. Есть еще некий Бархат. Совещания с ним становятся необходимым звеном в обсуждении участи убийцы Пушкина.

Александра Федоровна отзывается об эфигированной страсти Дантеса к Наталье Николаевне Пушкиной в том же духе, как и все великосветские барыни, — с мелодраматическим пафосом. Даже над гробом национального поэта все ее сочувствие на стороне убийцы, а не жертвы.

Но вот 4 февраля ее тон по отношению к Геккерлям меняется. Она хочет, чтобы голландский посланник был отозван, она не желает больше видеть Жоржа в Петербурге (№ 18). Небрежно она сообщает подруге о судебном приговоре (№ 19). Несколько оправдывающаяся интонация («это все-таки лучшее, что могло с ним случиться») позволяет догадываться, что отъезд Дантеса был для Бобринской огорчителен. Но о нем больше не вспоминают. И когда через полтора года гениальные строки Пушкина по глупой ассоциации возрождают в памяти императрицы фигуру Дантеса, она считает нужным сделать оговорку по поводу этого неожиданного поворота мысли (№ 20).

Причину резкого охлаждения к тому, кто еще несколько дней назад казался императрице страдающим рыцарем, искать недалеко. Объяснение мы находим в том же письме от 4 февраля (№ 18): императрица впервые узнала полный текст гнусного «диплома», посланного Пушкину. «...Я знаю теперь все анонимное письмо...» — подчеркивает она.

Перед нами редкий случай блестящего документального подтверждения гипотезы исследователей. Она подробно изложена в известной книге П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина».

До похорон Пушкина Николай I совершенно оправдывал Геккернов. Но 3 февраля он написал два письма: одно к брату Михаилу Павловичу, другое к сестре, жене наследного принца Вильгельма Оранского. В первом он назвал голландского посланника «гнусным канальей», во втором добавлял: «Пожалуйста, скажи Вильгельму, что я обнимаю его и на этих днях пишу ему, мне надо много сообщить ему об одном трагическом событии, которое положило конец жизни весьма известного Пушкина, поэта; но это не терпит любопытства почты»<sup>1</sup>.

Еще накануне Геккерн, до тех пор уверенный в своей безнаказанности, тоже направил своему королю ходатайство о переводе его из Петербурга. Что-то случилось. Советские исследователи пришли к убеждению, что все дело было в подломе «диплома», то есть в заключенном в нем намеке на самого Николая Павловича. Как выразился А. И. Тургенев, Пушкин был назван в анонимном письме «первым рогоносцем после Нарышкина». Д. Л. Нарышкин был мужем известной многолетней фаворитки Александра I, следовательно, негодян дразнили Пушкина тем, что его жена — фаворитка Николая I.

Двадцать первого ноября 1836 года Пушкин, как известно, написал письмо к Бенкендорфу. Поэт сообщал шефу жандармов о получении им подметных писем, о своем вызове Дантесу и о том, что дуэль отменена после того, как его противник сделал предложение Екатерине Гончаровой, сестре Натальи Николаевны. Но главным ударом письма Пушкина было указание на автора подлого документа: он «удостоверился», что анонимное письмо писал голландский посланник барон Геккерн.

Бенкендорф доложил о письме Пушкина Николаю Павловичу, и 23 ноября царь дал поэту аудиенцию. На этом свидании было решено держать все дело в секрете, и с Пушкина было взято слово, что он ничего больше не будет предпринимать без ведома царя. Когда Пушкин послал 25 января 1837 года вторичное оскорбительное письмо Геккерну, Николай счел себя обиженным. Указание же на автора анонимного письма очень мало встревожило монарха: очевидно, о содержании пасквиля никто не осмелился ему доложить.

После кончины Пушкина Николай потребовал все документы по истории дуэли. Он прочел анонимное письмо, узнал о намеке «по царственной линии», и тут-то и поколебалась дипломатическая карьера голландского посланника. Случилось это 2—3 февраля.

Таковы были предположения, но они не могли быть доказаны, тем более что письмо Николая I к принцу Оранскому, действительно посланное с курьером 22 февраля, до сих пор не обнаружено.

Записка императрицы к Бобринской от 4 февраля является первым документом, подтверждающим эту гипотезу. Да, верно: полное содержание «диплома» стало известно «царям» только после смерти Пушкина.

Николай Павлович был очень откровенен со своей женой. 22 ноября он рассказал ей о письме Пушкина к Бенкендорфу. «Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женьтой Дантеса, но это секрет», — пишет Александра Федоровна Бобринской накануне Екатерининного дня, то есть 23 ноября (№ 10). До тех пор она вместе со всеми дамами «большого света» терялась в догадках, что послужило причиной несурзкой помолвки красавца кавалергарда с немолодой и некрасивой Екатериной Гончаровой. (Помолвка была объявлена 17 ноября.) «Я так хотела бы узнать у вас подробности

<sup>1</sup> См. П. Е. Щеголев Дуэль и смерть Пушкина. ГИЗ. М.—Л. 1928. Все документы, не оговоренные в специальном примечании, смотреть в дальнейшем по этому изданию.

невероятной женитьбы Дантеса, — писала она в известной записке к Е. Ф. Тизенгаузен. — Неужели причиной является анонимное письмо? Что это — великодушие или жертва? Мне кажется — бесполезно, слишком поздно! 19 ноября она обсуждала ту же светскую новость со своими подругами: «Вечером Софи Бобринская и Сесиль о женитьбе Дантеса» (№ 9). Знали ли обе эти дамы о вызове Пушкина и о том, что предложение Дантеса было вынужденным? Об этом мы судить не можем. Но о содержании анонимного письма, которое было известно всему городу, они так или иначе предпочли умолчать.

Что же можно было в нем скрывать, если в общих чертах императрица о письме уже знала? В тексте «диплома» нельзя найти ни одного слова, «не достойного» слуха императрицы, кроме того, что Пушкин издевательски избирается помощником председателя ордена рогоносцев «достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина».

Узнав об этом 3 февраля, императрица была очень взволнована. Был вызван Бархат, с вехом Бобринской с ним был долгий разговор об участии Жоржа, причем императрица высказала твердое желание об удалении обоих Геккернов. Больше того, история с «дипломом» вызвала настоятельную потребность императрицы иметь «обо всем этом длительный разговор» с Бобринской. Это поведение Александры Федоровны совершенно совпадает с реакцией Николая Павловича. Царю надо было «много сообщить» зятю, и сообщения эти были такого характера, что они «не терпели любопытства почты». Очевидно, дело об анонимном «дипломе» затронуло семейные интересы царствующей четы.

Если у кого-нибудь еще оставались сомнения в правильности анализа советских исследователей, то теперь они должны быть отброшены.

Императрица признала, что в гнусном «дипломе» есть доля истины. Прочитав полностью весь текст анонимного письма, она нашла его «подлым», но «отчасти верным». Как это понимать?

В дореволюционной бесцензурной печати не раз описывались растленные нравы двора Николая I. Рассказывали, что императрица как «добрая» помещица выдавала замуж фрейлин, имевших счастье заслужить благосклонность императора. Утверждали, что императрица «благословила» связь своего супруга с В. А. Неллидовой. Но скептики, обманутые внешней чопорностью придворного круга при Николае I, считали подобные толки преувеличенными, письма же императрицы к Бобринской подтверждают их.

Все это надо иметь в виду, оценивая отзыв императрицы Александры Федоровны о намеках безыменного «диплома».

В записках императрицы открывается гораздо большая близость Дантеса ко двору, чем это предполагалось до сих пор. Для тех, кто хранит преувеличенное представление о строгостях придворного этикета, будет неожиданностью узнать, что на балу у Фикельмонов Дантес не сводил глаз с императрицы, и совсем уже невероятным покажется им неслышанно фамильярное обращение француза к замаскированной императрице: «...здравствуй, моя милашка». Однако это правда, удостоверенная самой героиней.

После упоминания об этом имя Дантеса совершенно исчезает со страниц дневника Александры Федоровны, чтобы вдруг выскочить снова в 1836 году. Теперь он вместе с кавалергардом Скарятинным дежурит при ее «особе»; сопровождает ее на катанье в Петергофе. Хотя усыновление Геккерном Дантеса шокирует царицу, она не теряет к нему своего расположения. Но мы нигде не встречали, чтобы она называла кого-нибудь из молодых людей просто по имени. Очевидно, это происходит из-за близости Дантеса к Бобринской. А это прокладывает уже новую тропинку к той стороне придворной интриги, о которой до сих пор биографы Пушкина не подозревали.

<sup>1</sup> Н. В. Измайлов. Пушкин и Е. М. Хитрово. В книге «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово». Л. 1927, стр. 200.

## 2

Тридцатого января 1837 года Геккерн писал голландскому министру иностранных дел Верстолюку: «Нахожусь пока в неизвестности относительно судьбы моего сына. Знаю только, что император, сообщая эту роковую весть императрице, выразил уверенность, что барон Геккерн был не в состоянии поступить иначе». Откуда же мог знать посланник на следующий же день после смерти Пушкина, что сказал царь своей жене, сообщая ей о дуэли? Теперь источник информации дипломата открылся: он узнал о словах Николая Павловича от С. А. Бобринской, которая на следующее утро после дуэли получила письмо от императрицы (№ 14). Очевидно, Бобринская была тесно связана не только с Жоржем, но и с его приемным отцом. Вспомним две загадочные записки голландского посланника, на которые теперь проливается новый свет. Одна из них, очень странная по содержанию и потому полученная в специальной литературе наименование «воровской», заканчивается такой фразой: «Мадам де Н. и графиня Софья Б. передают тебе всяческие приветы. Они обе горячо интересуются нами»<sup>1</sup>. Это письмо к Дантесу не имеет даты, но, по-видимому, написано уже после дуэли, когда убийца Пушкина находился под судом.

Первого марта в оправдательном письме к вице-канцлеру Нессельроде Геккерн опять ссылается на своих двух покровительниц. Защищаясь от обвинений в сводничестве Дантеса с Н. Н. Пушкиной, посланник пишет: «...я обращусь к свидетельству двух особ, двух дам, высокопоставленных и бывших поверенными всех моих тревог, которым я день за днем давал отчет во всех моих усилиях порвать эту несчастную связь».

«Мадам де Н.» раскрывается исследователями как графиня М. Д. Нессельроде. Это не вызывает возражений: пагубная роль этой опасной и властолюбивой интриганки в судьбе Пушкина достаточно выяснена. Но до сих пор оставалась в тени вторая «дама». По ряду косвенных признаков исследователи склонны были назвать ее графиней Софьей Борх. Теперь мы можем с уверенностью их поправить: несомненно, это была графиня Софья Александровна Бобринская, в салоне которой, кстати сказать, постоянно бывал вице-канцлер Нессельроде.

Французский реакционный политический деятель А. Фаллу, приезжавший в 1836 году в Петербург и подружившийся там с Дантесом и некоторыми его однополчанами, восторженно называл рядом с именем графини Нессельроде имя графини Бобринской. По его словам, она отличалась «умом проникательным и твердым» и держала в своих руках «жезл правления петербургскими салонами». Как главенствовала Бобринская в придворных гостиных, мы не видим, но из писем императрицы выясняется, что эта тонкая дипломатка совершенно подчинила себе духовно свою коронованную подругу.

Софья Александровна Бобринская (урожденная Самойлова) была моложе императрицы на год — она родилась в 1799 году. Когда она была фрейлиной императрицы Марьи Федоровны, она вышла замуж за внука Екатерины II, графа А. А. Бобринского. В 1834 году он был назначен церемониймейстером — вот почему «старая» Бобринская и ее сын нередко выручали Пушкина, когда он нарушал правила дворцового этикета. На этом основании Бобринские считаются расположенными к великому поэту. Так ли это, увидим позднее.

«Молодая» Бобринская любила, внешне оставаясь в тени, руководить тем, что называлось на великосветском языке «общественной жизнью». Свадьбы, помолвки, пожалование придворных должностей, маленькие амнистии царя «нашатавшимся» молодым людям — вот видный круг ее постоянных забот.

Еще в начале двадцатых годов московская барыня Римская-Корсакова, описывая переипетии драматической любви своей дочери к брату Бобринской, Н. А. Самойлову, сетовала, что графиня Бобринская «всех фельдъсгерей выдумала»<sup>2</sup>. И действительно, Самойлов по настоянию родных женился не на любимой им Корсаковой, а на богатой

<sup>1</sup> А. С. Поляков. О смерти Пушкина. Госиздат. Пг. 1922, стр. 17—18. В переводе автора с французского допущена ошибка, принятая П. Е. Щеголевым, но исправленная В. В. Казанским. Мы принимаем перевод последнего.

<sup>2</sup> М. Гершензон. Грибоедовская Москва. М. 1928, стр. 147.

наследнице своего опекуна. Как видим, будучи еще совсем молодой, С. А. Бобринская уже проявила себя энергичной свахой.

Таковой она осталась и через пятнадцать лет. «К гр. Бобринской (Самойл.) с нею... об Авроре: она уладила дело с Демид[овым]. Поведение Авроры и Демидова. Бобринская) отказала за нее...» и т. д. — записывает А. И. Тургенев в дневнике 28 декабря 1836 года. Софья Александровна отказывается от имени красавицы Авроры Шернваль жениху, затем устраивает ее брак, получает на это, как видно из письма императрицы, разрешение Николая I.

«Мария Ст[ольпина] сказала мне, что вы водворяете мир в доме Трубецких»<sup>1</sup>, — пишет императрица подруге в 1839 году. С. Бобринская была необходимым лицом во всех семейных затруднениях.

Были у нее и другие функции. «Что мне исключительно неприятно, это то, что вашим дом был и слыл местом свиданий. Я вас понимаю и не упрекаю, но, боюсь, что чрезмерным участием к другим вы компрометируете нашу дружбу»<sup>2</sup>, — пишет ей императрица в 1834 году по поводу открывшейся беременности одной из ее фрейлин. Как видим, Бобринская не брезговала и сводничеством.

«Вы могли бы сделать кое-какие замечания Бархату, со всей возможной мягкостью и как будто бы от своего имени, — пишет ей императрица 22 марта 1837 года. — Если мы опять поедем на Елагин... нужно будет соблюдать особую осторожность»<sup>3</sup>. После прогулки в Петергоф, где все «ухаживанья протекали вдали от императора, но на глазах у Бенкендорфа», императрица пишет: «Я вам говорила, что это Бенкендорф, Орлов и Раух составили союз против этих бедных молодых людей, которые вели себя безукоризненно...» Результат этого враждебного «союза» не заставил себя ждать. «Все это было замечено, добавлено наблюдениями, сделанными на Елагином, и вылилось наружу, — в смятиении рассказывает Александра Федоровна. — Император со мной говорил от своего имени и от имени других. Чтобы вас успокоить, я должна начать с того, чтобы вам сказать, что был назван не он один, но, к счастью, два брата тоже, потому что все трое окружали мать и дочь в играх»<sup>4</sup>. Совершенно очевидно, что «кроткая» и «миловидная» (по отзыву современника) Бобринская добровольно взяла на себя беспокойные обязанности высочайшей сводни.

Вот какой женщине Геккерн-посланник «изо дня в день давал отчет» о взаимоотношениях Дантеса с Натальей Николаевной. Можно быть уверенными, что Бобринская не была пассивной слушательницей. Ясно, что она была одним из директоров или соучастников «гниусной интриги» Геккернов против Пушкиных. Какие же цели она преследовала?

### 3

Осторожная глухая записка императрицы к Бобринской. Самое главное заключено в первой и последней фразах. Прочтем ее целиком:

«Да здравствует дипломатия! Вы незаменимы, моя красавица, при выполнении самых трудных и шекотливых поручений.

Вот вы уложены в постель на два дня, бедная Софи. Я в расстройстве из-за переезда в Зимний дворец. Каждый раз в этих случаях я благодарю бога, когда в конце пребывания там все мои, большие и малые, остаются живы и здоровы. Чем больше детей, тем больше тревожишься, чем больше счастья, тем больше боишься его потерять.

Мой фаворит и покровитель старик Строганов с сегодняшнего дня обер-шенк, о чем, вероятно, вы узнали еще раньше меня»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Письма к С. А. Бобринской. Перевод с французского. Центральный государственный исторический архив в Москве, фонд 851, № 16, л. 168.

<sup>2</sup> Там же, № 11, л. 19.

<sup>3</sup> Там же, № 14, л. 97 об.

<sup>4</sup> Там же, № 15, л. 31—31 об., 33—33 об.

<sup>5</sup> Там же, № 14, л. 1—1 об. Эта записка ошибочно отнесена владельцами архива к 1837 году. Но написана она 5 декабря 1836 года — в этот день Г. А. Строганову был пожалован новый придворный чин. В тот же день обер-гофмейстер Нарышкин получил извещение о том, что императрица дала разрешение на брак своей фрейлины Екатерины Гончаровой с Дантесом. Не связаны ли оба эти события?

«Старик Строганов!» У каждого, кто помнит биографию Пушкина, при этом имени промелькнет образ старомодного вельможи, кочующий по всем романам и пьесам, посвященным гибели поэта. В молодости знаменитый донжуан, даже упомянутый в этом качестве под собственным именем в поэме Байрона, русский посол в Испании и Португалии так нашумел своими любовными приключениями, что заслужил кличку «дьябл Строганов». В старости он уважаемый в Петербурге царедворец, покровительствующий сестрам Гончаровым. Связанный с ними дальним родством (он двоюродный брат матери Натальи Николаевны), Строганов принимает деятельное участие в жизни семейства Пушкиных. Он предостерегает поэта от политических неприятностей, указав, что в статье иностранного журнала Пушкин назван представителем оппозиции; он безуспешно пытается примирить Пушкина с Дантесом после женитьбы последнего на Екатерине Гончаровой; он берет на себя хлопоты по устройству похорон убитого Пушкина, назначен опекуном его детей. Все эти поступки позволили некоторым исследователям и их интерпретаторам в художественной литературе отвести Г. А. Строганову «голубую» роль миротворца.

Теперь нам открываются новые штрихи для его характеристики. Оказывается, Строганов был фаворитом императрицы и, что еще для нас важнее, подопечным хлопотуны Бобринской: она даже узнала о новой «милости» царя Строганову еще раньше императрицы. Почему же?

Не было обращено внимания на то, что покровитель Натальи Николаевны Пушкиной состоял в близком родстве с Бобринскими. С. А. Бобринская приходилась родной племянницей первой жене Строганова. Близкие родственные связи были поддержаны тесной дружбой, связывающей оба семейства.

Достоин внимания также и то, что далеко не все в пушкинском кругу симпатизировали Строганову. Так, в одном из неопубликованных писем П. А. Вяземского, написанных вскоре после смерти Пушкина, мы находим такие иронические отзывы о Строганове, как «старый метрдельник» или «французский *outschitel*». Еще резче и гораздо обоснованнее отзывался о Строганове А. И. Тургенев. 6 декабря 1836 года он записывает в своем дневнике: «Жуковский журил за Строган[ова]: но позвольте не обвинять убийц братьев моих, хотя бы они назывались и вашими друзьями и приятелями!»

А. И. Тургенев, по-видимому, не захотел поздравить царского фаворита с новой «милостью». Брат декабриста, заочно приговоренного к вечной каторге, не забывал об особых «заслугах» Строганова перед престолом: в день 14 декабря он оставался верным Николаю Павловичу, а потом был назначен членом Верховного суда, приговорившего декабристов к казням, каторге и ссылкам.

Александр Иванович Тургенев скептически относился к дружбе «убийцы» Строганова с Жуковским и Пушкиным. Последуем его примеру.

Г. А. Строганов был непосредственным виновником кровавой развязки ссоры Пушкина с Геккернами. Когда голландский посланник получил 25 января последнее письмо поэта, он, как рассказывал Данзас, «бросился к Строганову». Сам Геккерн писал об этом своему министру, желая прикрыться авторитетом «почтенного» царедворца: «Я не хотел опереться только на мое личное мнение и посоветовался с графом Строгановым, моим другом. Так как он согласился со мною, то я показал письмо сыну, и вызов господину Пушкину был послан».

Друг Геккерна и Пушкина (?!) был бластителем условных законов дворянской чести,— толкую этот поступок Строганова некоторые исследователи. Между тем этот поступок не был единственным доказательством принадлежности попечительного родственника Натальи Николаевны к «партии» Геккернов. Все семейство Строганова — и он сам, и его вторая жена, и взрослые сыновья от первого брака были яростными врагами Пушкина. Вспомним поведение среднего сына этого вельможи, который «после поединка ездил в дом раненого Пушкина, но увидел там такие разбойнические лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить туда»<sup>1</sup>. Так отзывался о почитателях гения Пушкина А. Г. Строганов. От него не отставала и его мачеха, графиня

<sup>1</sup> Русский архив. 1911. г. I, стр. 176.

Юлия Строганова. Известно, что в траурные пушкинские дни она «возмутила негодование друзей поэта», послав из квартиры Пушкина записку к Бенкендорфу с требованием «присылки жандармских чиновников якобы в охранение вдовы от беспрестанно приходящих... студентов»<sup>1</sup>. А 17 февраля 1837 года А. И. Тургенев записал в своем дневнике: «...Жук[овский] о шпюнах, о гр[афине] Юлии Строг[ановой], о 3—5 пакетах, вынесенных из кабинета П[ушкина] Жук[овским]. Подозрения. Графиня Нессельроде...»

И так же как в случае с запиской о «двух высокопоставленных дамах», внимание исследователей было обращено только на графиню Нессельроде, а роль Юлии Строгановой осталась неосвоенной. Между тем к числу злейших личных врагов Пушкина принадлежала еще и ее незаконнорожденная дочь — известная Идалия Полетка. Это она компрометировала Наталью Николаевну, от нее исходили злостные и клеветнические слухи о семейной жизни Пушкиных.

Нет ничего удивительного, что вечер 27 января Строгановы провели не у постели смертельно раненного поэта, а в доме его убицы. «Если что-нибудь может облегчить мое горе, то только те знаки внимания и сочувствия, которые я получаю от всего петербургского общества,— писал Геккерн Верстолку в том же письме 30 января.— В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде, так же как и граф и графиня Строгановы, оставили мой дом голью в час пополуночи».

Это известие было воспринято как лишнее свидетельство солидарности Нессельродов с Геккернами, а роль Строгановых осталась недооцененной. Как будто бы один красивый жест богача, давшего денег на похороны Пушкина, может затмить зловещее содержание его письма к голландскому посланнику после высылки Дантеса за границу! Строганов просил Геккерна передать его приемному сыну, что он, Строганов, хранит память «о благородном и лояльном поведении, которым отмечены последние месяцы пребывания в России» убицы Пушкина. «Если наказанный преступник является примером для толпы,— добавлял Строганов,— то невинно осужденный, без надежды на восстановление имени, имеет право на сочувствие всех честных людей».

Более яркого выражения принадлежности к «партии» Дантеса, кажется, нельзя придумать. К этой «партии» принадлежали все те, кто присутствовал на бракосочетании Дантеса 10 января 1837 года: Нессельроде, Строгановы, ли Бутера, кавалергард Бетанкур... Все они, как видно из новонайденных писем, окружали императрицу. Однако никто из них не был так близок к Александре Федоровне, как Бобринская и ее дядя Г. А. Строганов.

Мы помним, что императрица назвала его не только своим «фаворитом», но и «покровителем». Чем объяснить это кокетливое самоуничижение «императрицы всея Руси»? Очевидно, все дело было в его младшем сыне, кавалергарде Валентине Строганове, умершем в 1833 году. Уже через шесть лет после его смерти стареющая императрица пишет Бобринской: «Я бы так хотела вместе с вами рассматривать альбом Валентина,— это навевает столько общих воспоминаний». Через несколько дней Бобринская присылает ей известную миниатюру — соколовский портрет Валентина Строганова. «Для меня,— пишет императрица,— настоящее никогда не может затмить прошлое. Портрет в аш его брата произвел на меня впечатление, как будто он сам явился предо мною». «Подчас,— продолжает она,— в него было столько очарования, что-то такое соблазнительное вокруг рта, его взгляд (конечно, без очков) имел нечто столь неотразимое, проникающее в самое сердце, что я буквально страшилась этой обволакивающей атмосферы, которая, казалось, окружала его, когда ему было 26 лет»<sup>2</sup>.

Александра Федоровна вспоминает здесь 1827 год — начало своего увлечения Валентином Строгановым. Роман этот окончился только с его смертью. 4 ноября 1833 года императрица записывает в дневнике: «Писала. От Софьи Бобринской известие о смерти Валентина, плакала. В старом ландо в Патриотический институт со всеми фрейлинами, я печальна. К обеду 12 человек...»<sup>3</sup>. «Я нашла ваши ноябрьские письма 1833 года,— пи-

<sup>1</sup> Русский архив, 1892, т. II, стр. 358.

<sup>2</sup> Письма..., № 16, лл. 27, 170 об.—171.

<sup>3</sup> Дневники императрицы Александры Федоровны. Центральный государственный исторический архив в Москве, фонд 672, № 413, л. 79 об.

шет она Бобринской,— эпохи смерти Валентина... Я была так взволнована, перечитывая их сегодня утром, вспоминая мои тогдашние переживания, к несчастью столь похожие на мои теперешние в ноябре 35-го»<sup>1</sup>.

И действительно, в ближайшие последующие годы переживания императрицы остались теми же. Другие имена, другие герои, но положение то же: Софья Александровна по-прежнему играет роль первой наперсницы, и Александра Федоровна не выходит из сферы влияния родственного союза Бобринских и Строгановых.

## 4

После смерти Валентина Строганова внимание императрицы было обращено на его старшего брата, известного московского попечителя Сергея Григорьевича Строганова. 13 мая 1835 года она пишет Бобринской из Москвы: «В нашем обществе наиболее мне приятен Сергей Строганов. Я всегда его любила, но с примесью почтительного чувства и восхищения его добродетелью и нравственными качествами. Но у меня всегда была мысль, что я ему не нравлюсь.— Мы очень сблизились в это пребывание в Москве, и оказалось, что мы хорошо понимаем друг друга и что поэтичность его характера отвечает моему. Он мечтателен, он любит немецкую литературу, и все это возвышает его душу, облагораживает его сердце и делает его для меня особенно интересным. Кокетство не производит на него никакого действия, и я так боюсь, чтобы он не заподозрил меня в желании его увлечь, что держу себя особенно просто, и беседы наши от этого протекают легко и непринужденно»<sup>2</sup>.

Поклонение урожденной прусской принцессы отечественной литературе известно, но это было такой же показной стороной ее интересов, как и всё при дворе Николая I. Александра Федоровна постоянно держала у себя на столе сочинения Шиллера и Гёте, но запоем читала французские романы. Каждая новая прочитанная книга или премьера из французского театра вызывала ее мелодраматические возгласы и панвые отклики на переживания действующих лиц. Об уровне ее понятий и вкусов мы уже могли судить по характеристике «сатанинского» направления творчества Пушкина. А «энциклопедия русской жизни» — «Евгений Онегин» — послужила ей только поводом для меланхолических размышлений о ветреном Бархате.

Александра Федоровна систематически устраивала у себя литературные чтения и музыкальные вечера, но самую «сладостную поэзию» находила в прогулках на Елагин остров.

Она любила великолепную роскошь и строгость придворных балов, но «безумно интересными» казались ей только маскарады.

Она вела сентиментальные разговоры о Шиллере с В. А. Перовским и С. Г. Строгановым, но все ее помыслы были заняты «юным птенцом», дерзким кавалергардом, именуемым Бархатом.

В том же 1835 году она пишет: «Бархатные глаза (будем раз навсегда говорить обо всем бархат, так удобнее) могут рассказать вам о бале.— Они словно грустили из-за участи брата, но постоянно останавливались на мне и задерживались возле двери, у которой я провожала общество, чтобы перехватить мой последний взгляд, который между тем был не для него»<sup>3</sup>.

В письмах к Бобринской императрица ни разу не назвала своего героя по имени. Это было удобно обеим корреспонденткам, но очень неудобно нам, ибо Бархат обязательно должен быть раскрыт: он играет важную роль в обсуждении участи Дантеса, его присутствие было необходимо императрице в день смерти Пушкина, с ним она говорила о подметном письме, он «кружил» с Дантесом возле царского коттеджа в Петергофе...

Поискем его среди известных нам приятелей Дантеса. Вспомним их:

Б е т а н к у р — его шафер. Он упоминается как близкий знакомый в письме новобрачной из Петербурга в Тильзит, когда Дантес был уже выслан.

<sup>1</sup> Письма..., № 12, т. 114.

<sup>2</sup> Там же, л. 74 об.— 75.

<sup>3</sup> Там же, л. 92.

Куракин, тоже пославший письмо за границу к Дантесу. «Если, дорогой друг,— писал он,— Вам тяжело было покидать нас, то поверьте, что и мы были глубоко удручены злосчастным исходом Вашего дела. Тот способ, которым Вы были высланы из Петербурга, не заключает в себе ничего нового для нас, привычных к высылкам такого рода, но тем не менее огорчение, которое мы испытали, и особенно я, от того, что не могли с Вами проститься перед Вашим отъездом, было чрезвычайно велико. Я надеюсь, что Вы не сомневаетесь в моей дружбе, дорогой Жорж».

Третий короткий приятель Дантеса в полку — Трубецкой. Он жил вместе с Дантесом в одной избе на маневрах в Новой Деревне; он, кн. А. И. Бярятинский и Дантес гостеприимно принимали в Петербурге уже упоминавшегося А. Фаллу. А когда, выслушав в Париже рассказ секунданта Дантеса о дуэли, Фаллу поспешил послать убийце Пушкина письмо в Петербург, он писал: «Г. д'Аршиак передал мне вчера письмо от Александра Трубецкого, скажите ему, что оно мне доставило невыразимое удовольствие. Доказательство памяти обо мне вас обоих, поверьте, всегда будет трогать меня до глубины души». Тесная дружба Трубецкого с Дантесом не подлежит сомнению.

Куракин и Трубецкой принадлежали к числу тех «красных», которые, по свидетельству П. А. Вяземского, «покрыли себя позором» после смерти Пушкина. «Они имели дерзость сделать из этой истории дело партии, дело полка,— объясняет Вяземский.— Они оклеветали Пушкина, и его память, и его жену, чтобы защитить того, кто, после того как убил его морально, кончил тем, что стал его фактическим убийцей».

Партией «красных» в узком светском кружке, к которому принадлежали Вяземский и его корреспондентка графиня Э. К. Мусина-Пушкина, назывались по цвету их парадной формы офицеры кавалергардского полка. Но в только что цитированном письме от 16 февраля 1837 года Вяземский упоминает не только «красных», но и «Красное море» («все ваши протезы «красные» и ваше «Красное море» покрыли себя позором»). Эта кличка не могла быть раскрыта исследователями, потому что было опубликовано только одно письмо Вяземского к Мусиной-Пушкиной.

Между тем в нашем распоряжении имеются и остальные — неизданные. Из них выясняется, что под «красными» Вяземский подразумевал отнюдь не весь кавалергардский полк, а только избранный кружок его офицеров. В письмах к Мусиной-Пушкиной «красные» раскрываются Вяземским персонально. «Le rouge par excellence» — князь Александр Трубецкой, «L'honneur rouge» — князь Александр Куракин, просто «Le rouge» — князь Петр Урусов. Что касается «Красного моря», то Вяземский, страстный каламбурист, называл так мать братьев Трубецких, то есть «мать красных», или «красная мама» (по-французски слова, обозначающие «море» и «мать», звучат одинаково: la mer и la mère).

Итак, дом Трубецких был тем гнездом, куда слетались короткие приятели Дантеса. Это тот дом, где Николай I на балу выговаривал Наталье Николаевне за то, что Пушкин пренебрег приглашением в Аничков (см. дневник Пушкина от 26 января 1834 года); это тот дом, где красавица дочь была любимой фрейлиной императрицы и фавориткой наследника; тот дом, где главенствовал, как пишет Вяземский, В. А. Перовский — личный друг Бобринской и императрицы Александры Федоровны.

Не надо забывать, что императрица была шефом кавалергардского полка. Она очень серьезно относилась к этому роду своих обязанностей. С восторгом отзывается она о парадах и смотрах, на которых красуется верхом перед своим полком в своеобразном красном мундире. Но особенно она выделяет из общего числа кавалергардских офицеров своих четырех дежурных. Она называет их «мои четыре кавалергарда».

«Рассказывал ли вам Бархат, что вчера утром он танцевал у меня? — пишет она в начале 1837 года.— Это была неловкость, которую совершил мой брат. Мои 4 кавалергарда сопровождали полковой оркестр. С ума сойти!»<sup>1</sup> Бархат — в числе «четырех», но гостящий в Петербурге прусский принц Карл не понимает его роли при императрице и некстати приглашает во дворец.

<sup>1</sup> Письма..., № 14, л. 124 об.

Полистает еще записочки Александры Федоровны.

Вот рассказ о гулянье на Елагинном: «Долго катались на салазках... придумали новую игру — бросаться снежками в лицо друг другу. Маска и Бархат, как всегда, в нашем хвосте, следя, чтобы мы не опрокинулись. После обеда — на гору, Маска всегда на переднем месте, чтобы подать мне руку, Бархат только один раз, по обыкновению помогая другим дамам садиться в санки. Вы знаете: обычно чтобы я не утомлялась, мои казаки вносят меня на гору — но вот Бетанкур и Маска занимают их места и несут своего шефа — потом переодевание, обед, музыка, тирольские песни, игры. Комплот моих 4 кавалергардов со мной против Орлова, чтобы помешать ему меня схватить»<sup>1</sup>.

Находим в дневнике императрицы от 14 марта 1837 года описание поездки на Елагин, совпадающей по деталям с описанным в письме. К нашему удовольствию, «четыре кавалергарда» названы здесь по именам: «Сейчас же салазки, даже солнце напоследок выглянуло... играли в снежки... тирольские песни... Орлов на корде, безумный, я прямо против него, 4 кавалергарда: Бетанкур, Куракин, Скарятин, Трубецкой...»<sup>2</sup>

Бетанкур, Куракин, Скарятин, Трубецкой... Вот откуда полетели прощальные приветствия вдогонку Дантесу — из самого дворца!

Но кто же из «четырех» Маска, а кто Бархат?

В 1835 году в письме из Калиша императрица описывает Бобринской торжественную встречу русских и прусских войск под командованием короля Фридриха-Вильгельма III: «Верхом со своими кавалергардами я дефилировала перед моим отцом (добавлю в скобках, рядом с Маской)»<sup>3</sup>. Из «Истории кавалергардов» С. Панчулидзева узнаем, что в Калиш были посланы от кавалергардского полка «А. А. Бетанкур — командиром гвардейского сводно-кирасирского эскадрона и взвод под командой Г. Я. Скарятин и А. М. Олсуфьева»<sup>4</sup>. Так как Бетанкур упоминается рядом с Маской и Бархатом в письме от 14 марта, а Олсуфьева среди «четырех кавалергардов» вообще нет, ясно, что под кличкой Маска скрывается Г. Я. Скарятин. Он постоянный платонический обожатель императрицы. «Маска меня занимает и даже вызывает жалость, когда мне это кажется слишком серьезным», — пишет она в том же письме из Калиша

Двенадцатого июля 1836 года Дантес дежурил вместе с Маской во дворце. А 27 января 1837 года Скарятин первый сообщил А. И. Тургеневу о свершившейся дуэли Пушкина с Дантесом.

Теперь на роль Бархата осталось только два кандидата: Куракин и Трубецкой, и оба — приятели Дантеса.

Прочтем еще одно письмо, от 26 октября 1836 года: «Вчерашний день был довольно занятным. Пироги у дяди удались. Он был так рад, видя меня у себя, угощая меня... Остальная часть семьи тоже казалась довольной. Тетя играла на фортепиано серьезные пьесы, Бархат попросил вальс, и я сделала один тур, с кем бы вы думали? — совсем не с сыном, а с *Père la Rose*»<sup>5</sup>. Далее следует описание маленького вечернего бала. Александра Федоровна подробно описывает свой наряд — «тюрган и соответствующее платье олалиски», а затем переходит к описанию танцев: «Вечером, когда я танцевала с Бархатом, со мной произошла очень, очень неприятная вещь: я почувствовала — пусть не думают об этом дурно — что у меня спадает... пришлось убежать в другую комнату, и хотя все произошло в мгновение ока, меня мучил стыд из-за фатальности этого происшествия. Скажите, что он вам говорил об этом? Что он подумал? Мне так стыдно».

Не может быть, чтобы в своем педагогичном дневнике императрица не упомянула неловкий эпизод во время вальсирования с Бархатом. Не названы ли там действующие лица по именам? Находим запись от 25 октября, и наши поиски, как говорится, «увенчались успехом»:

<sup>1</sup> Письма..., № 14, л. 94—94 об.

<sup>2</sup> Дневники..., № 415, л. 20 об.

<sup>3</sup> Письма..., № 12, л. 95 об.

<sup>4</sup> История кавалергардов. Сост. С. Панчулидзева. т. IV. СПб. 1912, стр. 261.

<sup>5</sup> Письма..., № 13, л. 43—43 об.

«К Трубецким, ее рождение. «Père la Rose» и все дети. Завтрак сервирован для старых и молодых, фортепиано. Вечером... я в тюрбане и соответствующем платье. Во время вальса потеряла подвязку, как раз с Труб[ецким]!»<sup>1</sup>

Наконец-то Бархат пойман с поличным! Мы уже давно догадывались по его короткости с «красивой Софи», что возлюбленным императрицы был автор знаменитого «Рассказа об отношениях Пушкина к Дантесу» — князь Александр Васильевич Трубецкой. Теперь этому найдено прямое доказательство. Вот почему двадцатидвухлетний кавалергард ежедневно встречается с графиней Бобринской. Ведь он тоже ее двоюродный брат, а его отец — ее родной дядя по материнской линии. Бобринские, Строгановы, Трубецкие — большой клан, плотным кольцом окруживший императрицу. Верные испытанной придворной традиции, эти три семейства нашли кратчайший путь к ее уму и воле — путь альковных интриг. И Геккерн с Дантесом, поддержанные этими «наперсниками разврата», чувствовали себя в безопасности, осуществляя свой «дьявольский» план компрометации Натальи Николаевны Пушкиной.

## 5

В «Рассказе об отношениях Пушкина к Дантесу» кн. А. В. Трубецкой с похвальной скромностью умолчал о своих собственных отношениях к императрице. Поэтому несколько эпизодов и фраз этого «Рассказа» оставались до сих пор непонятными.

Трубецкой, между прочим, отозвался о Дантесе, что он «относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские... требовательнее, если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе». Но Трубецкой и сам отличался беспримерной наглостью. Доказательство этому мы находим в тех строках дневника и писем императрицы, которые посвящены ее старшей дочери, восемнадцатилетней великой княжне Марии Николаевне. Оказывается, если Бархат «при солнечном свете мечтает» об императрице, то «при свечах о Мэри». Александра Федоровна откровенно описывает многочисленные сцены, напоминающие игру Хлестакова с женой и дочерью гоголевского городничего.

Приходится ли удивляться после этого, что Трубецкой мог назвать гнусный «диплом», посланный Пушкину, простой «шуткой»?

В его «Рассказе» читаем: «В то время несколько шалунов из молодежи, — между прочим, Урусов, Опочинин, Строганов, мой кузен, — стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин. В другое время он не обратил бы внимания на подобную шутку и, во всяком случае, отнесся бы к ней, как к шутке, быть может, заклеил бы ее эпиграммой».

Фактические неточности не затушевывают психологической правды этого циничного заявления. Правды, конечно, не для Пушкина, а для самого Трубецкого. П. Е. Щеголев справедливо заметил: «Характерно в этом сообщении то, что автор не видит ничего особенного в действиях шалунов из молодежи, что ему представляется рассылка пасквилей по мужьям-рогоносцам делом обыкновенным, в порядке вещей. Какой же низкий моральный уровень современного Пушкину света зафиксирован свидетелем князя Трубецкого!» Удивление исследователя возросло бы еще более, если бы он знал, что одним из названных «шалунов» был фаворит императрицы, а рассказывал о его проделках следующий фаворит влюбчивой Александры Федоровны. Фамильярных парней из императорской гвардии не смущало, что в числе рогоносцев был сам царь. А ведь оба, и Трубецкой и Строганов, действовали под руководством своей двоюродной сестры — С. А. Бобринской. Чему же в таком случае могла учить эта опытная и умелая сводня Дантеса?!

Прямо ответить на этот вопрос еще трудно, потому что наши сведения о взаимоотношениях Бобринской с Дантесом пока исчерпаны. Но не имея возможности следовать шаг за шагом за всеми этапами этой сложной интриги, мы можем установить ее общее направление и догадываться о ее цели.

Александр Карамзин, пораженный открытиями о поведении обоих Геккернов, которые он сделал уже после смерти Пушкина, писал 13 марта 1837 года брату Андрею:

<sup>1</sup> Дневники ... № 415, л. 10 об.

«Эти два человека, не знаю, с какими дьявольскими намерениями, стали преследовать госпожу Пушкину с таким упорством и настойчивостью, что, пользуясь недалекостью ума этой женщины и ужасной глупостью ее сестры Екатерины, в один год достигли того, что почти свели ее с ума и повредили ее репутации во всеобщем мнении». Это письмо Карамзина подрывает легенду о непреодолимой страсти Дантеса к жене Пушкина. «Он меня обманул красивыми словами,— пишет Карамзин,— и заставил меня видеть самоотвержение, высокие чувства там, где была лишь гнусная интрига»<sup>1</sup>. Теперь мы узнали, что сознательная компрометация Пушкина, систематическое разрушение семейной жизни поэта велись Геккернами в тесном содружестве с целым кланом придворных интриганов. Может быть, голландский посланник действовал в своих интересах, но в данном случае для нас важно, что они встречали поддержку в домах Строганова и его ближайшей родни.

Когда в 1834 году Пушкин с горечью писал в дневнике о своем камер-юнкерстве, он объяснил эту «милость» тем, что «двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове». Теперь мы можем легко представить себе, какие ассоциации возникли у Пушкина, когда он занес в дневник эту скупую фразу. «Представление Наташи ко двору прошло с огромным успехом,— писала мать поэта 26 января 1834 года,— только о ней и говорят. На балу у Бобринских император танцевал с ней, а за ужином он сидел рядом с нею. Говорят, что на Аничковом балу она была восхитительна. И так, наш Александр, не думав об этом никогда, оказался камер-юнкером»<sup>2</sup>. Сейчас, когда мы знаем, какими приемами Строгановы и Бобринские добивались своего влияния во дворце, мы понимаем, что, взявшись опекать красавицу Наталью Николаевну, они имели на нее свои виды. Ценою своей жизни Пушкин защитил честь своей жены и честь своего имени. Но и после гибели поэта домогательства двора продолжались.

В дневниках и мемуарах современников уже мелькали указания на то, что после второго замужества Натальи Николаевны Николай I оказывал ей особое покровительство. Настойчиво намекает на это М. А. Корф. Но оказывается, что в подлиннике его дневника, хранящемся в коллекции бывшей библиотеки Зимнего дворца, заключены более определенные сведения.

Двадцать восьмого мая 1844 года Корф записывает: «Мария Луиза осквернила ложе Наполеона браком своим с Неем. После семи лет вдовства вдова Пушкина выходит за генерала Ланского... В свете тоже спрашивают: «Что вы скажете об этом браке?», но совсем в другом смысле: ни у Пушкиной, ни у Ланского нет ничего, и свет дивится только этому союзу голода с жаждою. Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда своим посещением. Недель шесть тому назад он тоже был у нее, и вследствие этого визита или просто случайно, только Ланской вслед за этим назначен командиром конногвардейского полка, что по крайней мере временно обеспечивает их существование, потому что, кроме квартиры, дров, экипажа и проч., полк, как все говорят, дает тысяч до тридцати годового дохода». «Ланской был прежде флигель-адъютантом в кавалергардском полку и только недавно произведен в генералы,— приписывает Корф в особом примечании.— Злоязычная молва утверждала, что он жил в очень близкой связи с женою другого кавалергардского полковника Полетики. Теперь говорят, что он бросил политику и обратился к поэзии»<sup>3</sup>. Таким образом, для роли покладистого мужа Натальи Николаевны был избран человек из того же «строгановского» круга.

В. А. Соллогуб утверждал, что Пушкин в лице Дантеса искал или смерти, или расправы с целым светским обществом. Горестное значение этих слов осведомленного современника только теперь предстает перед нами в его истинном свете. Догадки советских исследователей подтверждаются.

<sup>1</sup> Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 гг. М.—Л. АН СССР. 1960, стр. 190, 192.

<sup>2</sup> Литературное наследство, т. 16—18, стр. 784.

<sup>3</sup> Центральный государственный исторический архив в Москве, фонд 728, опись 1, часть 2, № 1817, часть 7, лл. 263—264.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. МОТЫЛЕВА



## НАД СТРАНИЦАМИ ТОМАСА МАННА

**Т**омас Манн, один из наиболее значительных, сложных и самобытных мастеров западноевропейской художественной прозы, давно уже получил широчайшее всемирное признание. Он вошел в мировую литературу не только как автор замечательных романов и новелл, но и как глубокий и тонкий мыслитель-гуманист.

Выход нового десятитомного собрания сочинений Томаса Манна на русском языке — радостное событие в нашей культурной жизни. Это событие дает повод заново задуматься и над самим творчеством Томаса Манна и над тем, что сделано у нас для изучения его наследия.

### 1

В новом собрании сочинений Томас Манн представлен по-русски полнее, чем когда-либо. Сюда вошла почти вся художественная проза (единственный существенный пробел — то, что в это собрание не включена тетралогия на библейскую тему «Иосиф и его братья», которая тоже, надо надеяться, будет со временем издана у нас); сюда вошли и основные литературно-критические и автобиографические этюды и очерки. Любопытно сопоставить цифры. Шеститомное собрание сочинений Т. Манна печаталось перед войной тиражами в восемь—десять тысяч экземпляров; тома нового издания разошлись тиражами в сто сорок—сто пятьдесят тысяч. Так расширяется круг читателей художественной литературы у нас в стране.

Новое собрание сочинений — результат многолетней работы видных советских переводчиков. Томас Манн туго поддается передаче на русский язык. Его «многоэтажная», типично немецкая структура фразы, с при-

хотливыми нагромождениями придаточных предложений и медлительным внутренним ритмом, плохо укладывается в рамки русского синтаксиса; его словарь, исключительно богатый и многосоставный, включающий в себя лексику разных эпох и терминологию многих научных дисциплин — от физиологии до музыковедения, — требует от переводчиков незаурядной эрудиции; в позднем творчестве Манна все сильнее сказывается склонность к стилизации, к искусственному и серьезному, а подчас иронически-пародийному воспроизведению чужого строя речи — авторский текст растворяется то в разговорах образованных бюргеров начала прошлого столетия («Лотта в Веймаре»), то в наивно-архаической манере средневекового летописца («Избранник»). Переводчики (назовем в первую очередь Н. Ман, В. Станевич, С. Апта) с честью преодолели эти трудности. Такие, например, страницы нового издания, как диалог Ганса Касторпа с Клавдией Шоша в середине «Волшебной горы» или внутренний монолог Гёте из «Лотты в Веймаре», как беседа композитора Адриана Леверкюна с чертом, или финальная сцена безумия Леверкюна («Доктор Фаустус»), или сатирический монолог-автохарактеристика музыкального дельца Саула Фиттельберга из того же романа, представляют яркие образцы современного русского переводческого искусства<sup>1</sup>.

Томас Манн — писатель нелегкий не толь-

<sup>1</sup> В таком сложном деле не обошлось и без некоторых огрехов. В новом издании Томаса Манна в целом плодотворно применен общий принцип советской переводческой школы: отказ от буквализма, от мелочного копирования, стремление к творческому воссозданию оригинала. Однако иногда при чтении текстов Томаса Манна возникает желание поспорить о границах до-

ко для перевода, но и для чтения. Не будем обольщаться размахом нового издания — оно еще не освоено читателями полностью и не может быть освоено в короткий срок. Библиотекари рассказывают, что иные читатели возвращают «Волшебную гору» или «Доктора Фаустуса», не добравшись до середины: трудно. Вот где нужно разъясняющее слово критика!

Редакторы нового собрания сочинений являются в то же время и исследователями Томаса Манна. Давно и плодотворно занимается Т. Манном Н. Вильмонт. Его статьи, опубликованные в журналах, а затем в виде предисловий и послесловий к отдельным изданиям романов «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», «Признания авантюри-

пустимой свободы перевода. В «Лотте в Веймаре» шутивно-ласковое прозвище, которое старый Гёте дает невесте своего сына Оттилии фон Погвиш — «das Persöhnchen», передано словом «амазончика». Вольность? Да, но вольность оправданная, соответствующая духу подлинника. Отступления от буквы оригинала иногда действительно нужны, особенно в прямой речи, для того, чтобы она получилась естественной. В «Будденброках» много диалогов, и они звучат в переводе живо и непринужденно. Однако нас коробит, когда мы читаем, как разговаривает Тони Будденброк со своим братом Христианом: «До свиданья, бабник-похабник! До свиданья, старый хрыч!» Такие слова не вяжутся с благопристойно-бюргерским обликом Тони, которая всю жизнь тянулась в «благородной» светской жизни и даже с мужем разошлась из-за грубого слова. (В подлиннике выражения гораздо более безобидные: «Minnesänger! Mädchenfänger! Altes Schaf!») Вряд ли уместна в устах Тони и не предусмотренная автором цитата из «Тараса Бульбы» — «...есть еще порох в пороховницах!» В «Докторе Фаустусе» переводчики бережно сохраняют ученую лексику подлинника — так и надо. Но такие мудреные неологизмы, как «необальгорненный» или «гласпаластный», отнюдь не обогащают русский язык. Встречаются и смысловые потери — мелкие, но досадные. Одно из принципиально наиболее важных мест в «Докторе Фаустусе» звучит в переводе так: «Тут меня не поймут те, кто не изведал родственности эстетизма и варварства, кто собственным сердцем не ощутил эстетизма как распространителя варварства». В подлиннике конец фразы звучит несколько иначе: «...кто в собственной душе не ощутил, как эстетизм пролагает пути варварству...» (Разрядка моя. — Г. М.) Эта мысль — итог мучительных исканий, трудных самокритических раздумий великого писателя, и полная точность в передаче всех оттенков смысла здесь необходима.

ста Феликса Круля», явились первыми серьезными советскими работами о Томасе Манне. Н. Вильмонту принадлежит и статья о Т. Манне — литературном критике, завершающая собрание сочинений. Предисловие Б. Сучкова к первому тому собрания дает сжатую общую характеристику писателя, знакомит с основными этапами его идейно-творческого развития.

Показательно, что книга В. Адмони и Т. Сильман «Томас Манн. Очерк творчества» (Ленинград, 1960) полностью разошлась в самый короткий срок. Она очень полезна не только потому, что это первая русская книга о Томасе Манне, но и потому, что она как «очерк творчества» хорошо отвечает своему назначению. Общедоступность изложения не идет в ущерб ее научному уровню; сравнительно небольшой объем не мешает авторам осветить все основные произведения писателя и показать логику его пути; горячая любовь к изучаемому художнику совмещается с трезвым пониманием его противоречий. Удачна краткая характеристика, открывающая книгу: «Поразигелен и вместе с тем закономерен путь Томаса Манна. Человек, далекий от политики, — он становится виднейшим антифашистским писателем. Буржуазный консерватор по своему духовному складу — он проникается глубочайшим уважением к социализму и революционному пролетариату и приходит к убеждению, что антикоммунизм — это величайшая глупость нашей эпохи. Художник, причастный к искусству буржуазного декаданса на рубеже XX века, — он, пожалуй, больше, чем какой-либо другой писатель на Западе, доказал обреченность и трагизм декаданса. Писатель, направивший свой взгляд во внутреннюю жизнь человеческой души, — он стал классиком критического реализма в XX веке». Развивая эти мысли, авторы справедливо замечают: Томас Манн за полвека своей писательской жизни во многом изменился, но никогда не изменял самому себе. Он был и остался верен лучшим гуманистическим традициям европейской культуры. Но он был «постепенно, под давлением реальных фактов истории, принужден заново пересматривать вопрос, на какие силы и на какие стороны общественной жизни нужно опереться, чтобы сохранить богатства гуманистической культуры, чтобы вдохнуть в нее новую жизнь». С этих позиций авторы и рассматривают ход развития Томаса Манна от ранних новелл и

«Будденброков» до неоконченных «Признаний авантюриста Феликса Круля».

В каждой из названных работ есть спорные или недостаточно ясные положения — об этом еще будет сказано дальше. Так или иначе, очень отраднo, что наряду с широкой публикацией произведений Томаса Манна у нас началось глубокое изучение его наследия, но оно только началось и заслуживает быть продолженным. Произведения Т. Манна требуют от читателя немалою напряжения собственной мысли, поднимают множество вопросов — философских, общественных, психологических, эстетических, нередко рождают желание спорить и с самим писателем и с его героями. И тут еще много есть что сказать критикам и исследователям.

Тот факт, что книги Томаса Манна подчас очень нелегко воспринимаются, сам по себе вызывает недоуменные вопросы. В итоге своей долгой творческой деятельности автор «Доктора Фаустуса» подверг глубокой критике новейшее аристократически-декадентское искусство для немногих, чуждое народу и непонятное ему. Но разве не отличается малодоступностью сам роман о композиторе Леверкуне, разве не труден он даже для подготовленных читателей? Общеизвестно, что после Октябрьской революции Томас Манн постепенно пересмотрел многие свои прежние взгляды, что он в последние десятилетия своей жизни приблизился в существенных пунктах к передовым идеям нашего времени. Но — странное дело! — более ранние вещи Томаса Манна обладают большей художественной пластичностью, наглядностью изображения, чем те книги, которые написаны им в последние десятилетия его жизни. В «Будденброках» и новеллах художник уделял много внимания зримому облику явлений, живым подробностям повседневного существования людей. В книгах более поздних всегда присутствует элемент абстрагирующей условности; философско-публицистические экскурсы нередко ломают цельность сюжета, надолго отвлекают читателя от романтических перипетий и личной судьбы персонажей. Не получается ли, что Томас Манн, двигаясь в идейном отношении вперед, вместе с тем как художник утратил что-то существенное? Чем объяснить, что он, обретая все большую ясность и трезвость в понимании реальных общественных отношений, в своем творчестве шел от полнокров-

ного реализма «Будденброков» к многозначной философской символике «Фаустуса»?

Мы тут сталкиваемся с проблемой, которая вовсе не была простой для самого Томаса Манна. Из автобиографического эссе «История «Доктора Фаустуса» мы узнаем, что писателя очень беспокоило, как бы громоздкость и сложность его последнего романа не затруднила ему пути к читающей публике. Подобные же вопросы возникали у Т. Манна и в ходе работы над «Волшебной горой». Он писал своему другу, историку литературы Э. Бертраму: «Эта безумная книга и вопрос о ее доступности для читателя часто причиняет мне тяжелые заботы». Он опасался, что «затянувшийся роман-чудовище, наверное, будет скучен в больших своих частях»<sup>1</sup>. И если Томас Манн, осознавая опасности, таящиеся в его новой литературной манере, писал именно в этой манере, не возвращаясь к более доходчивому и простому художественному строю «Будденброков», на то должны были быть глубокие причины.

Эта проблема была впервые выяснена в работе В. Днепрова «Интеллектуальный роман Томаса Манна» («Вопросы литературы», № 2, 1960). Художественное своеобразие манновского творчества поставлено здесь в связь с великими революционными преобразованиями, составляющими сущность нашей эпохи. В «наш век, когда миллионы людей руководствуются — впервые со времени возникновения человека — великой наукой, переделывают в работе и борьбе коренные законы истории, не может не произойти глубокая перемена в отношении честного и пытливого писателя к теории». И Франс, и Шоу, и Роллан, и Уэллс, и Роже Мартен дю Гар чувствуют роль теорий в общественной практике, рассматривают в своих произведениях «не только факты, но и идеи времени». У каждого из этих художников связь фактов и идей раскрывается на свой особый лад. Томас Манн, опирающийся на свое национальное философское наследие, на немецкую традицию «воспитательного романа», идущую от «Вильгельма Мейстера» Гёте, находит свое эстетическое решение этой задачи. Главный принцип его стиля начинающая с «Волшебной горы» — это, по опре-

<sup>1</sup> Thomas Mann an Ernst Bertram. Briefe aus den Jahren 1910—1955. Pfullingen. 1960, S. 109, 122.

делению Днепров, переход образа в общую мысль и общей мысли снова в образ. Возникает особый, новый тип «рассуждающего повествования», насыщенного самой острой, животрепещущей проблематикой современности. Такое повествование действительно требует некоторых усилий при чтении. Но под пером такого искусного и мудрого художника, как Томас Манн, оно приобретает свою эстетическую прелесть. Достаточно вспомнить, как оригинально и поэтично решен образ времени в «Волшебной горе». Изображение быта буржуа и обывателей, бессмысленно растрачивающих годы в фешенебельном санатории, дает художнику повод для обобщенной постановки вопроса о времени, протекающем с неодинаковой скоростью для тех, у кого оно заполнено осмысленным напряженным трудом, и для тех, у кого оно обесценено дремотным бездельем. У Томаса Манна, по верному замечанию В. Днепров, эйнштейновская относительность времени преломляется через людское счастье и страдание. «Само время наказывает людей застоя и поощряет людей прогресса». Философски символические образы «Волшебной горы» не столь отвлеченны и нейтральны, как это может показаться на первый взгляд, — в них по своему отозвалась революционная действительность нашей эпохи. Художественная система, созданная Томасом Манном после Октябрьской революции, не отход от реализма, а особый тип реализма, одна из новаторских разновидностей того сложного комплекса явлений, которое именуется реализмом XX века. Работа В. Днепров об интеллектуальном романе Т. Манна, как и ее продолжение «Поворот в мировоззрении Томаса Манна» («Вопросы литературы», № 8, 1960), содержит много интересных частных наблюдений над мастерством и методом художника. Но главная ценность этих работ в том, что они углубляют и обогащают наше представление о Томасе Манне в целом и дают прочную основу для дальнейших конкретных исследований.

Концепция творчества Т. Манна, предложенная В. Днепровым, была недавно оспорена в статье В. Щербины («Новый мир», № 11, 1961). Думается, что тут многое основано на недоразумении. В. Днепров вовсе не утверждает, будто научные, публицистические раздумья в романах Т. Манна пред-

ставляют некую обособленную надстройку. Напротив, он пишет: «Теоретическое осознание непрерывно сопровождает появление картин и образов, отнюдь не являясь, пусть весьма полезной, но внешней добавкой к искусству: нет, оно органически в это искусство входит». Неоправдан упрек, будто В. Днепров усматривает в художественном методе Т. Манна некий генеральный путь развития современной литературы: ведь не кто иной, как В. Днепров, очень убедительно обосновал в своей книге «Проблемы реализма» тезис о возрастающем многообразии форм и стилей в искусстве — и особенно в передовом искусстве — нашего столетия. Тем более несправедлив упрек, будто В. Днепров «недооценил опасности отвлеченного интеллектуализма». Об этих опасностях в его работе говорится очень ясно: «Превратите условность из схематизирующего начала реалистической видимости в самостоятельный принцип — и образ сразу же превратится в простой знак, чистую условность. Пожелайте сделать интеллектуализм самостоятельным принципом, захотите изображать не предмет, а мою мысль о нем — и вы пойдете навстречу всем нелепостям абстракционизма». И далее: «Лишь на основе огромного богатства жизненных, чувственно-достоверных образов может «интеллектуальный роман» оставаться реалистическим. Лишь оставаясь реалистическим, может он удержаться на высоте подлинной художественности».

Никто не пытается представить «интеллектуальный роман» Томаса Манна как общеобязательный образец для подражания. Томас Манн писал не как Алексей Толстой, и Хемингуэй писал не как Томас Манн. Однако творческий опыт великого немецкого писателя XX века входит как важная составная часть в художественную культуру современности. Критическое, творческое усвоение этого опыта может содействовать повышению общего интеллектуального уровня нашей литературы (за что справедливо ратует и В. Щербина). В условиях стремительного духовного роста миллионов советских людей возрастает и будет возрастать требовательность читателей к научному, философскому содержанию произведений искусства; возрастает и будет возрастать интерес к творчеству художников-мыслителей, ставящих коренные проблемы эпохи. Значит — и к творчеству Томаса Манна.

## 2

В советской литературной науке прочно сложился взгляд на Томаса Манна как на одного из великих реалистов нашего века. В этом смысле он, при всем своем индивидуальном своеобразии, стоит в одном ряду со своим братом Генрихом Манном, с Анатолем Франсом, Роменом Ролланом, Теодором Драйзером и другими западными мастерами культуры — современниками Горького. Вместе с этими писателями он отстаивал и осмысливал применительно к новому столетию гуманистические традиции человечества. Вместе с ними он создавал широкие полотна, «в которых отразился век и современный человек» и была показана обреченность буржуазного строя. Вместе с ними Томас Манн, при всех колебаниях и предрассудках, осложнивших его идейный путь, двигался от апатичности, от отвлеченного гуманизма «вообще» к активной борьбе с фашистским варварством и защите передовых социальных идеалов.

Зарубежная критическая литература о Томасе Манне очень обширна. И нам не может быть безразлично, что в представлениях иных буржуазных литературоведов Т. Манн стоит не в ряду художников гуманистического, реалистического склада, а в ряду ведущих писателей-модернистов, таких, как Пруст, Кафка, Джойс.

Так, в объемистом сборнике «Привет Франции Томасу Манну», вышедшем к восьмидесятилетию писателя<sup>1</sup>, он по разным поводам сопоставляется с Прустом, есть и специальная статья «Андре Жид и Томас Манн», притом реалистическая сущность манновского творчества, его социальное содержание—все это попросту замалчивается. В книге К. А. Хорста «Спектр современного романа», вышедшей недавно в Мюнхене, главный признак подлинно современного романа усматривается в отказе от жизненной достоверности, в подмене действительности «фикцией» и в том, что герой гонится за расшифровкой тайны, которая так и не поддается расшифровке. Хорст ссылается по ходу своих рассуждений на произведения Кафки, Пруста, Камю, Бютора, Броча; в этом ряду «между прочим» фигурирует и Томас Манн<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Homage de la France à Thomas Mann». Paris. 1955.

<sup>2</sup> Karl August Horst. Das Spektrum des modernen Romans. München. 1960, S. 37.

Западногерманский литературовед Вильгельм Эмрих пишет в своем сборнике теоретических и критических этюдов «Протест и обещание»: «Современный роман является разрушением формы романа, унаследованной от прошлого. Такие авторы, как Марсель Пруст, Джеймс Джойс, Франц Кафка, Томас Манн, Роберт Музиль, Герман Брох, осуществляют в свойственных каждому из них языковых и композиционных формах разложение «романического начала» в традиционном смысле. На место последовательного эпического действия или развивающейся через романические перипетии игры интриг приходит дифференцирующее описание и анализ самих представленных явлений. В каждом пункте изображения само изображаемое аналитически расщепляется, раскалывается на множество своих компонентов и значений. Мир отнюдь не конструируется заранее — в противовес миру традиционного романа. Напротив, возможность его конструирования снова и снова ставится под вопрос». Эмрих ставит в особую заслугу Кафке, что для него действительность «загадочна», и все попытки объяснить отношения и связи, существующие в реальном мире, обнаруживают у него свою несостоятельность. И Томас Манн здесь снова оказывается рядом с Кафкой: и Ганс Касторп в «Волшебной горе» и герой романа Ф. Кафки «Процесс» вырываются из обычной жизненной колеи — и весь мировой порядок подлежит для них пересмотру. «Перед изолированным вопрошающим субъектом, который в состоянии двигаться лишь в рамках человеческого познания и видения, мир разворачивается как нечто ошеломляюще неуловимое»<sup>1</sup>.

Искусственно заостряя различие между романом «современным» и «традиционным», Эмрих рисует в совершенно превратном свете наследие классиков реалистического романа. Кто же это из великих писателей прошлого «конструировал заранее» изображаемый в романе мир? Неужели Бальзак, Флобер, Достоевский, Толстой? Для каждого из крупнейших прозаиков XIX века художественное творчество было исследованием действительности, а не преднамеренным конструированием выдуманного мира: в этом и состоит отличие подлинных худож-

<sup>1</sup> Wilhelm Emrich. Protest und Verheißung. Studien zur klassischen und modernen Dichtung. Frankfurt a/Main—Bonn. 1960, S. 169, 172.

ников-реалистов от ремесленников и иллюстраторов. Анализ, выяснение действительных отношений и связей между людьми — все это свойственно скорей мастерам реалистического романа, чем писателям модернизма. И какова цена художественному анализу, если в итоге его мир представляется непознаваемым, загадочным, ошеломляюще неуловимым? А ведь именно таков итог поисков «вопрошающего субъекта» в любой из книг Кафки. Но не таков итог поисков Томаса Манна! Чтение каждого из его романов обогащает читателя новыми знаниями о мире и человеке, об исторических путях Германии и законах современного общества. И в этом решающем и главном Томас Манн — продолжатель реалистических традиций, а не разрушитель их.

Эрих усматривает распад традиционной формы романа у Т. Манна в том, что «Томас Манн, как нам кажется, не повествует более, а выясняет, дискутирует, описывает, расчленяет». Включая в свои романы рассуждения и авторские комментарии, Т. Манн, по мысли Эриха, отрицает и уничтожает само повествование, преодолевает его иронию.

Немецкий литературовед исходит из плохого представления, согласно которому роман сводится к повествованию о событиях. Однако творческая практика величайших романистов нового и новейшего времени вносит в это представление основательные поправки. Мы хорошо помним, что роман и у Бальзака, и у Теккерея, и у Золя, не говоря уже о Толстом или Достоевском, включал в себя не только рассказ о судьбах и отношениях персонажей, но и авторские рассуждения, и развернутые описания, и диалоги-дискуссии, и драматический, оценивающий элемент, подчас резко выламывающийся из рамок повествовательной формы. Отступления от узко понятой повествовательности тем более заметны в «Жан-Кристофе», «Американской трагедии» или «Семье Тибо». Понятно, что в XX веке реалистический роман не стоит на месте, не копирует образцы, завещанные минувшим столетием, а, используя завоевания прошлого, создает новые образцы. В современном романе возрастает роль публицистики, картина общества нередко расширяется за счет собирательного образа народа, нации, а подчас и за счет внесюжетных элементов, лирические раздумья героя приобретают ярко выраженный соци-

альный характер, один и тот же предмет рисуется в разных аспектах и восприятиях, образ повествователя то прячется за персонажами, то, напротив, выходит на авансцену и живет самостоятельной жизнью, не зависимой от романического сюжета. Разрушение романа? Нет, развитие романа! Томас Манн занимает в этом процессе развития немаловажное место. Диспуты Сеттембрини и Нафты в «Волшебной горе», хроника событий второй мировой войны в «Докторе Фаустусе», пространные рассказы современников Гёте в «Лотте в Веймаре» — все это замедляет романическое действие. Но все это и обогащает действие, придает ему особого рода интеллектуальный драматизм. В «Лотте в Веймаре» сюжетный интерес держится, конечно, не на внешних событиях, не на том, как сложатся отношения Гёте с любимой им некогда женщиной, с которой он встречается после сорокачетырехлетней разлуки, и не на том, осуществится ли брак угрюмого увальня Августа с бойкой «амазоночкой» Оггилией. Читателя волнует совсем другое — как решатся большие вопросы о нравственном облике великого художника, о его долге по отношению к родной стране и окружающим людям. И когда Томасу Манну оказывается нужно, чтобы глубже проникнуть в «тайное тайных» поэта, пойти на сюжетные условности — затянуть на десятки страниц неслышный утренний монолог просыпающегося Гёте, а потом, в конце романа, ввести явно невозможную в действительности сцену откровенного объяснения Гёте с Шарлоттой в карете,— эти отступления от внешнего правдоподобия не идут в ущерб реализму романа, а в конечном счете углубляют этот реализм. Только очень недалекие люди могут думать, что Томас Манн внес в сюжет «Доктора Фаустуса» мотив договора Левверкюна с нечистой силой ради артистической игры или в угоду нарочитой декадентской «загадочности». На самом деле вся «дьявольская» линия романа — нравится нам это или нет — настолько плотно входит в реалистическое действие, что нам уже трудно представить себе историю композитора Адриана Левверкюна без этого второго символического плана: умаление внешней достоверности во много крат возмещается необычайно возрастающей силой трагического напряжения, помогающего выявить типическое в немецкой действительности XX века. При-

мель фантастического и условного в биографии Леверкюна дает Манну неожиданные художественные возможности для того, чтобы объяснить и самому себе и своим читателям, как бывшая страна поэтов и мыслителей десятилетиями накопляла в своем национальном сознании яды антинародной, реакционной идеологии, становилась гнездом фашистских варваров и их безоружной добычей. Деформация жизненного материала, которая у литераторов декаданса является выражением смутных, мистифицирующих представлений о законах социального бытия, у Томаса Манна чаще всего направлена на то, чтобы продвинуться насколько возможно дальше в постижении этих законов.

Советские исследователи отнюдь не отрицают причастности Томаса Манна к философии и искусству декаданса. Сложный, драматический характер отношения Томаса Манна к таким властителям дум буржуазной Европы, как Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, разносторонне показан в статьях Н. Вильмонта, В. Днепров, в книге В. Адмони и Т. Сильман. Расставание с идеалистическим наследием немецкой идеологии затянулось у Томаса Манна на десятилетия, вплоть до последних лет его жизни. Понятно, что черты декаданса проявлялись у Т. Манна и в эстетическом плане, сказывались и в известной поэтизации «демонического» начала (даже в «Докторе Фаустусе»), и в постоянном тяготении к патологическим темам («Есть у меня склонность к больнице...» — горестно-шутливо признавался Манн в письме к Бертрану). Следы старых декадентских пристрастий очень заметны в некоторых поздних его вещах, созданных в период душевной усталости, некоторого творческого спада, таких, как роман «Избранник», где в форме простодушной христианской легенды разрабатываются фрейдистские мотивы инцеста и «эдипова комплекса», и повесть «Обманутая» с ее болезненным физиологизмом. (На наш взгляд, эти произведения заслуживают более критической оценки, чем та, какая им дана и в статье Б. Сучкова и в монографии В. Адмони и Т. Сильман.) Однако по главной своей творческой сути Томас Манн — автор «Будденброков» и «Волшебной горы», «Лотты в Веймаре» и «Доктора Фаустуса» — входит в большую реалистическую литературу на-

шего века и знаменует одну из ее вершин.

Буржуазные литературоведы, как мы видели и на примере Эмриха, любят выдвигать на первый план пристрастие Т. Манна к художественной иронии (одна из западногерманских монографий о нем так и называется: «Томас Манн, иронический немец»). Из этого пристрастия делаются далеко идущие выводы: Томас Манн утверждал относительность всех истин, любой из его образов двусмыслен, подлинность всякой картины мира, создаваемой писателем, иронически или пародийно снимается им же самим... На деле все обстоит сложнее. Ирония Томаса Манна многопланова. Она направляется художником и на самого себя и на господствующие взгляды, нравы, отношения; она действительно помогает Т. Манну расшатывать застарелые устои бюргерского, обывательского мира (вспомним спокойно высказанные, но по существу такие беспощадные иронические характеристики санаторного сонного царства в «Волшебной горе!»), а подчас и служит средством самокритики немецкой либеральной интеллигенции, духовно не затронутой фашизмом, но привыкшей занимать пассивно-зеркальную позицию (пример тому образ Серенуса Цейтблома в «Докторе Фаустусе»). Однако ирония и пародия никогда не становились для Томаса Манна артистической самоцелью; сознание относительности многих общепринятых истин не вырождалось у него в равнодушный релятивизм и не освобождало его от чувства своей ответственности перед обществом. Это высокое чувство ответственности, резко отличающее Томаса Манна от писателей декаданса и сближающее его с лучшими художниками-гуманистами его времени, побуждало его в настойчивых исканиях продираться к социальной и философской истине, определять с максимальной достижимой для него ясностью свое отношение к центральным вопросам эпохи.

### 3

Да, Томас Манн входит в плеяду великих реалистов XX века, но занимает в ней обособленное место. Дело не только в том, что он был на тридцать один год моложе Анатоля Франса и на девятнадцать лет моложе Шоу, но только в том, что он создал свои главные книги не до Октябрь-

ской революции, а после нее. Бажнее другое. Томас Манн был дальше от народа, чем большинство его литературных современников, и по жизненной судьбе и по идейно-творческому складу. Он в отличие от Драйзера или Джека Лондона не должен был пробивать себе дорогу тяжким трудом, не знал в юности нужды и лишения; он в отличие от Франса, Роллана или Шоу не общался с деятелями рабочего движения. Дух бунтарства, захвативший еще в начале века многих видных деятелей культуры, остался чужд Томасу Манну. Его ни в годы первой мировой войны, ни после нее не захватило антиимпериалистическое движение левой интеллигенции — в этом смысле он резко расходился и со своим братом Генрихом, и с Леонгардом Франком, и с молодым Фейхтвангером, и с многочисленными литераторами-экспрессионистами, группировавшимися вокруг журнала «Аktion». В то самое время, когда Анри Барбюс старался объединить все наиболее живое и честное, что было среди европейских деятелей культуры, вокруг группы «Клартэ», Томас Манн только что выпустил книгу под полемически вызывающим заглавием «Размышления аполитичного».

Связь с передовыми социальными устремлениями эпохи проявлялась у автора «Будденброков» в гораздо более косвенной и запутанной форме, чем у автора «Верноподданного». Томас Манн был и остался далек от жизни и борьбы трудящихся — это неизбежно ограничивало его писательский кругозор. Но консерватизм воззрений и привычек, привязанность к философии Шопенгауэра и эстетике Ницше не помешали Т. Манну с нелюбимой правдивостью отразить в «Будденброках» закат старого бюргерства, а в новеллах «Тонио Крёгер», «Тристан», «Смерть в Венеции» точно и прямо поставить диагноз смертельной болезни, исказившей облик новейшей буржуазной цивилизации. Черты трезвого реализма в художественном сознании Томаса Манна облегчили и подготовили те идейные сдвиги, без которых не могла бы быть написана ни «Волшебная гора», ни «Лотта в Веймаре», ни «Доктор Фаустус».

Поворот в мировоззрении Томаса Манна, обозначившийся в первые же годы после Октябрьской революции, намного углубившийся в период антифашистской эмиграции, был не одновременным и не внезап-

ным, а длительным и очень трудным. Думается, что о драматичном, осложненном многими колебаниями идейном развитии писателя надлежит говорить с полной откровенностью — наше уважение к Томасу Манну от этого не уменьшится, а скорее увеличится, потому что мы яснее увидим, какие внутренние препятствия ему пришлось преодолевать.

В статьях, подсправаждающих собрание сочинений, мы подчас встречаем формулировки, «выпрямляющие» извилистый путь писателя. Вряд ли правильно будет сказать, например, что Томас Манн уже в 1923 году в речи «О германской республике», как утверждает Б. Сучков, «беспощадно осудил» свою книгу «Размышления аполитичного». Действительно, речь Т. Манна «О германской республике» представляла серьезный пересмотр прежних позиций писателя. Томас Манн подверг суровой критике ницшеанскую «лирику белокурого бестиализма», признал, насколько вреден для Германии оказался традиционный разрыв между духовной и общественной жизнью, призвал немецкую мыслящую молодежь к «политической гуманности». Но, вспоминая о своей книге «Размышления аполитичного», он сказал: «Я ни от чего не отрекаюсь. Я ничего не беру обратно» — и сам себя назвал консерватором, выполняющим «задачи не революционного, а охранительного порядка». Томас Манн, при всем своем несомненном интеллектуальном мужестве, очень не любил становиться в позу кающегося. Каждый новый свой отход от прежних консервативных воззрений он сопровождал оговорками, в которых сказывалась и устойчивость его духовных привязанностей и весьма наивное упрямство. Даже и в знаменательной статье «Философия Ницше в свете нашего опыта», написанной после окончания второй мировой войны, четкая политическая оценка ницшеанства, утверждение, что «ницшевский сверхчеловек — это лишь идеализированный образ фашистского вождя и что сам Ницше со своей философией был не более как пролагателем путей, духовным теорцом и провозвестником фашизма в Европе и во всем мире», сопровождается попытками смягчить эту оценку, перевести разговор об истоках реакционной философии в субъективно-психологический план: Ницше предстает в анализе Т. Манна как одержимый мечтами гениальный безумец,

который-де не ведал, что творил, проповедуя насилие и агрессию.

Сложным было и отношение Томаса Манна к Советской России, к Октябрьской революции. Он отнюдь не сразу и не полностью принял идею свободы, идущую с Востока. «Размышления аполитичного» кончались восклицанием: «Мир с Россией! Мир прежде всего с ней!» Но это еще вовсе не значило, что Томас Манн приветствовал «сближение новой, послевоенной Германии с Советской Россией» и этим «по сути зачеркивал почти все, что было сказано в этой книге», как пишет об этом Н. Вильмонт. Томас Манн сразу перенес на новую Россию свои давние и глубокие симпатии к русскому народу, к русской культуре. Отсюда еще далеко было до сочувствия советскому строю, до признания исторической истинности идей, вдохновлявших его. Статья Томаса Манна «Русская антология» (1921) кончалась словами: «...Россия и Германия должны все лучше узнавать друг друга. Они в будущем должны идти рука об руку». Но в этой же статье, написанной с глубокой любовью к русской литературе, есть и неумеренно восторженный отзыв о Мережковском и отголоски поверхностно экзотических представлений о русской душе. А разве не сказались подобные же представления в образе русской женщины Клавдии Шоша из «Волшебной горы»? Б. Сучков пишет: «...Главная черта характера Клавдии Шоша — подчеркнутая небуржуазность — была привнесена в ее образ раздумьями писателя над тем новым опытом, который внесла в жизнь русская революция». Следовало бы, на наш взгляд, точнее определить уровень и качество этой «небуржуазности». Свойственная Клавдии внутренняя свобода, столь выгодно отличающая ее от чопорных и лицемерных буржуа, в конечном счете оборачивается свободой от каких бы то ни было нравственных принципов и правил. Подтрунивая над «бродетелью бюргеров, Клавдия противопоставляет ей откровенную проповедь аморализма: «...нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь. Великие моралисты вовсе не были добродетельными, они были порочными, искушенными во зле, великими грешниками, и они учат нас по-христиански склоняться перед несчастьем». Сближение образа Клавдии с русской революцией представляется неоправданным и натянутым.

Уважение к социалистическому государству, дружеские чувства к советским людям — все это складывалось у Томаса Манна мало-помалу, все это приняло устойчивый и осознанный характер уже во время второй мировой войны. Моральный авторитет Советского Союза намного вырос в эти годы в глазах писателя. Вместе с тем опыт военных событий укрепил в его сознании мысль, что именно народные массы, и только они, в состоянии сокрушить господство гитлеровцев. В письме к Генриху Манну от 19 мая 1942 года Томас Манн утверждал: «Я не верю в победу, если в наших странах не произойдут революции, которые сметут реакционных руководителей, больше боющихся победы, чем желающих ее, и превратят войну в подлинно освободительную войну народов». В письме к брату от 24 марта 1944 года Т. Манн, ссылаясь на одного американского литератора, высказывал предположение, что в итоге войны возникнут «Соединенные светские республики Европы»<sup>1</sup>. При всей наивности подобных прогнозов существенно, что опыт исторического развития наталкивал Томаса Манна на мысль о неизбежности революционных, социалистических перемен — по крайней мере во всеевропейском масштабе.

Глубоко не правы те буржуазные исследователи, которые считают, что у Томаса Манна на каждое «да» было свое «нет» и что жизнь рисовалась ему в аспекте неразрешимых трагических загадок. Однако очевидно, что многолетняя внутренняя борьба, происходившая в сознании писателя, отражалась в его образах, подчас определяла очень сложное сочетание любви и ненависти, притяжения и отталкивания по отношению к одним и тем же явлениям. Каждое «да» или «нет» утверждалось Томасом Манном в итоге поисков; колебаний, длительного спора с самим собой.

Это очень важно иметь в виду, чтобы лучше понять Манна как мастера художественной прозы. Ведь даже в его стиле, в многоступенчатом синтаксисе, в обилии уточняющих синонимов и поясняющих вводных слов сказывается — по верным

<sup>1</sup> Цитируется по подлинникам, хранящимся в архиве Генриха Манна при Немецкой Академии искусств в Берлине. (Под «нашими странами» Т. Манн, судя по контексту, подразумевает страны Запада, участвовавшие в антигитлеровской коалиции.)

наблюдениям В. Адмони и Т. Сильман — «стремление отразить весь путь познания, в[с]ей его сложности, со всеми его отступлениями и самокритическими поправками...». Это стремление сказывается в композиции его романов, в группировке персонажей. В каждом из основных произведений Т. Манна авторские симпатии и антипатии выявляются исподволь, через контрастное сопоставление разных образов или разных сторон одного образа. Антитеза «бюргера» и «художника», то и дело возникающая в новеллах Томаса Манна (например, в «Тристане»), сходство и противоположность характеров Левкерюна и Цейтблома в «Докторе Фаустусе», разные аспекты образа Гёте, сменяющиеся в «Лотте в Веймаре», — все это способствует постепенному — не прямолинейно-однозначному, не категорическому, не окончательному! — выяснению моральной и философской истины.

Драматический ход идейной эволюции Томаса Манна отразился в его многолетних напряженных раздумьях над вопросом об основном характере нашей эпохи, о направлении развития человечества.

Что несет, что сулит людям двадцатый век? Цепь невиданных в истории катастроф, всеобщее одичание и жестокость, гибель наций и стран в разрушительных войнах, или — освобождение народов от многовекового рабства, расцвет духовной культуры, осуществление исконной мечты человечества о торжестве свободы и гуманности? Над этим задумывался не один Томас Манн. Наиболее пронзительные и наиболее тесно связанные с народом писатели нашего столетия сумели, каждый по-своему, разрешить эту антиномию в духе героического оптимизма, сумели, ощущая со всей трезвостью трагедийный характер эпохи, богатой историческими потрясениями, острыми классовыми схватками, почувствовать величие перспектив, открывшихся перед человечеством. Младший соотечественник Томаса Манна, Иоганнес Бехер откликнулся на Октябрьскую революцию стихотворением, которое кончалось строками: «Сияет ангел с баррикады. Ты слышишь грохот канонады? В нем мира вечного напев!» Но для того чтобы увидеть ангела в дыму баррикад, как Бехер, или увидеть в пасмурный день луч солнца над полем битвы, как Барбюс в финале «Сия», требовалось революционное миро-

ощущение, глубокий внутренний контакт с угнетенными и мятежными массами. Для художника такого склада, как Томас Манн, проблема эта была неизмеримо более запутанной и мучительной.

...В одном из новейших западногерманских историко-литературных обзоров говорится: «В романе «Волшебная гора» (1924) Манн в символически-аллегорической форме изображает положение европейской крупной буржуазии накануне первой мировой войны. Катастрофа представляется неотвратимой. Люди, больные телом и душой, выброшены на берег как при кораблекрушении. Легочный санаторий в Швейцарии (Волшебная гора) становится местом их мрачной встречи. Развертывается мистический, подхлестываемый чахоткой и эротикой, цинически-отталкивающий маскарад; жизнь, долина находится далеко. Дороги назад нет; остается лишь дорога к смерти. Все образы «Волшебной горы» окрашены заревом старой, гибнущей Европы; идет распад всех ценностей»<sup>1</sup>. Авторы правы, когда видят в «Волшебной горе» обобщенное изображение современного капиталистического мира. Но они пытаются, искусственно «подтягивая» Томаса Манна к литературе декаданса, знушить читателю мысль, будто для автора «Волшебной горы» распад и гибель капитализма были тождественны с распадом и гибелью человечества. А это глубоко неверно.

Два антагониста ведут спор на страницах романа. Обаятельный и чудаковатый Сеттембрини полон оптимистической веры в торжество прогресса и справедливости. Ему противостоит иезуит Нафта, апостол зла, греха, насилия, идеолог фашистского образца. Диспут ведется с яростью и с переменным успехом. Нафту не так-то легко переспорить: он припирает противника к стенке, напоминая, что благородные идеалы французской революции на практике обернулись волчьей свирепостью буржуазного общества. Сеттембрини, при всем своем прекраснородии, то и дело обнаруживает свою ограниченность и наивность: его воля к социальному прогрессу на глазах у читателя вырождается в беспочвенное прожектерство и веру в мирное сотрудничество

<sup>1</sup> Hermann Glaser, Jakob Lehmann, Arno Lubos. Wege der deutschen Literatur, Frankfurt a/Main—Berlin. 1961, S. 290.

классов. Юный герой романа Ганс Касторп должен сам решать, кто прав. Для него, как и для Томаса Манна, глубоко неприемлем тезис Нафты: «Вашему гуманизму пришел конец». В главе «Снег», где развертывается фантастико-символическая картина сновидения Ганса, застигнутого в горах метелью, итог раздумий молодого человека выражен в словах, которые романист выделяет курсивом: «Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями». Этот вывод не подкрепляется полностью логикой образов, глава «Снег» не завершает собою роман ни в идейном, ни в композиционном смысле. Однако в тех частях повествования, которые следуют за этой главой, заметно увеличивается дистанция между автором и изображаемой средой, усиливается сатирически-гротескный колорит. Для читателя становится все более явственным, что тот странный, неразумный мирок, который изображен в романе, — это еще не весь мир, еще не вся жизнь! Главные вопросы бытия остаются открытыми для Ганса Касторпа, когда он выходит из санатория. Но силы смерти потеряли власть над его мыслями. Ядовитые идеи, которыми пытался его опутать враг гуманизма Нафта, разоблачены и преодолены в его сознании навсегда.

Спор об основном характере эпохи возобновляется с новой остротой в романе «Доктор Фаустус». Из автобиографического эссе «История «Доктора Фаустуса» мы узнаем многое об условиях, в каких создавался роман. Боль за Германию, не утихшая и после освобождения страны от фашизма, определила эмоциональный тон этой книги. Нафта из «Волшебной горы» воскресает в «Докторе Фаустусе», принимая символически-зловещее обличье черта, который искушает, подчиняет себе и губит композитора Леверкюна. Воскресает и Сеттембрини — в образе либерально-прекраснодушного интеллигента Цейтблома, от лица которого написан роман. Цейтблом, как и Сеттембрини, во многом духовно близок самому Томасу Манну и, подобно Сеттембрини, дан в аспекте доброй и умной авторской иронии. Но как далек просвещенный немецкий бюргер сороковых годов от своего старшего итальянского собрата! В Цейтбломе нет и следа тех оптимистических мечтаний, которым предавался персо-

наж «Волшебной горы». Мысль о гибели гуманизма, которую Нафта высказывал с циническим самодовольством, передается теперь либералу Цейтблому, который высказывает ее с глубокой скорбью. Он смотрит на современность как на «суровую и мрачную, глумящуюся над гуманностью эру, век непрерывных войн и революций...» Это, конечно, лишь одна из граней противоречивой мысли Томаса Манна. Оторванность от живых антифашистских сил собственного народа в известной степени затемняла взор художника; в «Докторе Фаустусе» эти силы представлены как бы несуществующими и национальная самокритика доходит порой до национального самоуничтожения. Трагедийность романа тесно соприкасается с пессимизмом.

Но и здесь пессимизм не торжествует бесраздельно. Трезвый разум умудренного жизнью писателя, прочность гуманистических основ его мировоззрения и — не в последнюю очередь! — окрепшее в итоге войны доверие к международным факторам демократии и социализма помогли ему уберечься от отчаяния. В конце романа возникает оптимистический проблеск, выраженный в музыкально-символической форме. В финале оратории Леверкюна «Плач доктора Фаустуса» неожиданно для слушателей «пробивается росток надежды». «Одна за другой смолкают группы инструментов, остается лишь то, во что излилась кантата — высокое «соль» виолончели, последнее слово, последний отлетающий звук медленно меркнет в *pianissimo* ферматы... Но звенящая нота, что повисла среди молчания, уже исчезнувшая, которой внимлет еще только душа, нота, некогда бывшая отголоском печали, изменила свой смысл и сияет, как светоч в ночи».

Первого января 1947 года Томас Манн написал одному из своих постоянных корреспондентов, венгерскому ученому К. Кереньи, комментируя концовку романа: «Сейчас я придумываю и сочиняю для моего музыканта произведение, означающее для него прощание с духовной жизнью: симфоническую кантату «Плач доктора Фаустуса» (по народной книге), вещь, полную экспрессии именно потому, что это плач, а ведь он был исконным началом всякого выражения, и всякое выражение, собственно, и есть плач. Как только музыка в начале своей новейшей истории эмансипируется для того, чтобы что-то выражать, она ста-

овится *Lamento*, в ней звучит «*Lasciatemi morire*»<sup>1</sup>.

Что ж, плач — это весьма актуальное содержание для выражения, не находите ли? Плохи дела. Известия, которые я получаю из Германии, очень уж безнадежны. Однако я в глубине души убежден, что, как бы то ни было, человечество все-таки, хотя видимость и свидетельствует о противоположном, на хороший кусок протолкнулось в п е р е д. И оно ведь — живучая кошка. Даже атомная бомба не внушает мне серьезных опасений. Разве она не помогает выявиться нашей внутренней стойкости? Какое странное легкомыслие, или — какая сила доверия к жизни, — в том, что мы все еще создаем п р о и з в е д е н и я! Для кого? Для какого будущего? И все же произведение, даже если оно и дышит отчаянием, не может не иметь конечной своей основой оптимизм, веру в жизнь, потому что ведь отчаяние — штука особого рода: оно само в себе заключает переход к надежде»<sup>2</sup>.

Читатели иногда задают вопрос: как мог Томас Манн, автор горестного повествования о композиторе Левекюне, художник трагедийного и философского склада, написать «Признания авантюриста Феликса Круля»? Ведь это вещь совсем для него нехарактерная — в комическом жанре. Сам Томас Манн ответил на этот вопрос в эссе «История «Доктора Фаустуса». Он рассказывает о том, как он, готовясь писать «Фаустуса», перечитал заготовленные давно материалы к роману о Круле. Результатом этого просмотра было «осознание внутреннего родства между фаустовской темой и этой (родства, основанного на мотиве одиночества, там трагично-мистическом, здесь юмористически-плутовском)». Левекюн и Круль обозначались в сознании Т. Манна как две стороны одной медали, одного явления — буржуазного индивидуализма. При всей диаметральной противоположности характеров утонченного, погруженного в мир высших духовных интересов, предельно бескорыстного Адриана Левекюна и беспечно-самодовольного, аморального жуира и циника Феликса Круля, и тот и другой отражают, каждый по-своему, «разоблачение» человека в современном капиталистическом мире.

<sup>1</sup> «Жалоба», «дайте мне умереть» (итал.).

<sup>2</sup> Thomas Mann, Karl Kerényi. Gespräch in Briefen. FÜRICH. 1960, S. 146.

Какие бы грустные раздумья ни возникали у Томаса Манна в последние годы его жизни, в нем прочно жила уверенность, что человечество «на хороший кусок протолкнулось в п е р е д». Не это ли усиливало в нем влечение к сатире и юмору? Перефразируя известные слова Маркса о человечестве, которое весело расстается со своим прошлым, мы можем сказать, что в последней своей книге Томас Манн, художник, кровно связанный со старым буржуазным миром, расстается с ним весело, с полным сознанием того, что мир этот стал явной нелепицей и исторической ненужностью.

В этом серьезный смысл изящно-легкомысленного повествования о Феликсе Круле.

#### 4

Новое собрание сочинений Томаса Манна дает возможность проследить, как развивалась в его творчестве тема, занимавшая его всю жизнь, — тема искусства и художника.

В раннем рассказе-этюде Томаса Манна «Алчущие» поэт Детлеф уходит душевно подавленным со светского праздника: он ощутил себя чужим и ненужным в среде самодовольных господ. Он в мыслях обращается к уличному бродяге, называя себя его братом: ведь он, поэт, как и этот голодный бедняк, — один из «обманутых, алчущих, обвиняющих, неприемлющих»... Детлеф размышляет: «Ах, хоть раз, хоть на один только вечер быть не художником, а человеком! Хоть раз избежать проклятия, неумолимо гласящего: ты не смеешь чувствовать, ты должен видеть, ты не смеешь жить, ты должен творить, ты не смеешь влюбляться, ты должен познавать!» В этом наброске молодого писателя даны как бы в зародыше мотивы многих его последующих произведений, в частности и таких новелл, как «Тонио Крёгер», «Тристан», «Смерть в Венеции».

Томас Манн всегда остро чувствовал тяжесть судьбы таланта, отрешенного от окружающего мира, одинокого в среде буржуа, обывателей. Он ясно видел, что такое одиночество и отрешенность художника губельны для искусства. Сила реализма Т. Манна побуждала его пронизательно раскрывать те общественные условия, которые заставляют одаренного человека страдать и заводят буржуазное искусство в тупик. В то же время давление ложных иррационалистиче-

ских воззрений приводило к тому, что Томас Манн, особенно в ранних своих вещах, склонен был мотивировать трагедию одинокого таланта не объективными историческими условиями, а субъективными причинами, лежащими в самой природе художественного творчества.

Почти полвека отделяет этюд «Алчущие» от романа «Доктор Фаустус». За этот срок писатель многое увидел и многое узнал. Безусловно, не стоит сводить этого романа к той прямолинейной антитезе понятий «жить» и «творить», которую Томас Манн мог выдвигать разве только в пору своей писательской юности.

Никак нельзя согласиться с тем толкованием «Доктора Фаустуса», которое предложила недавно Мариэтта Шагинян в интересной статье «Судьба творца», посвященной чешскому композитору XVIII века Мысливечку и затрагивающей творчество Томаса Манна, собственно, лишь попутно («Литературная газета», 7 октября 1961 года).

«Критики (как, возможно, и автор), — пишет М. Шагинян, — думают и думали, что в «Докторе Фаустусе» показана гибель музыканта, захотевшего разрушить рамки своего искусства, иначе говоря, спета отходная всякому левацкому, формалистическому, абстрактному, оторванному от жизни новейшему западному искусству». «Но гениальный роман Томаса Манна был бы выстрелом из пушки по воробью, если бы все его значение свелось к выпадку против такого преходящего явления, как формалистические загибы в искусстве, самим временем обреченные на отмирание. Нет, — хотел или не хотел этого Томас Манн, — в романе его во всю глубину и ширину поставлена совсем иная тема, несравненно более важная для нас и для всей эпохи: тема сущности творческого акта. Совсем не в том дело, какую именно музыку писал Леверкюн; Томас Манн и не показал вовсе читателю этой музыки. Но герой его романа был показан творцом, и весь роман строится на описании того великого и страстного напряжения, с помощью которого нормальный человек выходит за рамки ординарной человеческой нормы и становится как бы сверхнормальным, становится творцом-новатором, создателем еще не существовавших до него ценностей». По мнению М. Шагинян, «роман Томаса Манна естественно подводит мысль к необходимости расплаты чем-то

за небывалое счастье, за дар человека творить, выделяющий его среди других людей, этого дара не имеющих».

Да, гениальный художник расплачивается за дар творить предельным напряжением духовных, моральных, да и физических сил, расплачивается отказом от многих радостей жизни; подлинно художественное творчество — это всегда горение, самопожертвование, безоглядная самоотдача: об этом глубоко и мудро сказано в романе Томаса Манна «Лотта в Веймаре». Но Адриан Леверкюн — это человек иной эпохи, иного идейного и творческого склада, чем были Гёте, Шиллер или Бетховен. Его отношение к классическому наследию немецкой культуры выражено в самоубийственном намерении — «отнять» Девятую симфонию! Перечеркнуть, уничтожить, опровергнуть то доброе и благородное, «за что боролись люди, во имя чего штурмовали бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы...»

М. Шагинян считает несущественным, какую именно музыку писал Леверкюн. А для Томаса Манна, как и для читателей романа, это необычайно существенно. Не потому, что в этой музыке есть «формалистические загибы», а потому, что она по самой сути своей представляет разрыв с гуманистическими традициями мирового искусства. И разве «Доктор Фаустус» — роман только об искусстве? В нем подняты большие общественные, исторические вопросы — об этом уже не раз писали советские исследователи, да и не только советские. «Доктор Фаустус» — роман о музыке и политике, — верно замечает, например, польский критик Р. Карст<sup>1</sup>.

Уже одно это умение художника связать воедино проблемы искусства и самые насущные, острые общеполитические проблемы неизмеримо возвышает «Доктора Фаустуса» над всей литературой модернизма.

Трагедия композитора Леверкюна — не только в том, что он за дар творчества расплачивается неизлечимой тяжелой болезнью, но и в том, что само его творчество поражено болезнью. Путь Леверкюна тщательно мотивирован в романе конкретными историческими обстоятельствами, показан на фоне широкой картины идеологической жизни страны на протяжении первой

<sup>1</sup> Roman Karst. Sztuka, parodia i diabet. «Twórczość», № 8, 1961.

трети XX века. Разумеется, ни в высказываниях, ни в творениях Леверкюна нет ни малейшего оттенка политической реакционности: в этом смысле между ним и такими его сверстниками, как воинствующий националист Дейчлин, существует принципиальное различие. Но дух варварства проникает в музыку Леверкюна специфическими, сложными путями. Примечательно, что в своих исканиях новой музыки, ломающей традиции и чуждой всякой банальности, Леверкюн то и дело обращается к источникам многовековой давности. В его ораториях «Апокалипсис» и «Плач доктора Фаустуса», ультрасовременное смыкается со средневековым и даже с первобытным. По мнению М. Шагинян, музыка Леверкюна не показана в романе. Нет, показана, и притом очень отчетливо! Герой-повествователь Серенус Цейтблом со смешанным чувством преклонения и ужаса передает ту «акустическую панику», которой проникнуто предпоследнее сочинение композитора. «От этих звуков мороз подирает по коже. Но самое потрясающее — применение глассандо к человеческому голосу, первому объекту музыкального упорядочения, вырванному из первобытного состояния разнотонного воя, — возврат, стало быть, к этому первобытному состоянию, — в жутких хорах «Апокалипсиса» о снятии седьмой печати, о почернении солнца, о кровотокающей луне, о кораблях, опрокидывающихся среди свалки кричащих людей». И тот же Цейтблом по другому поводу в характерном для него иронически сдержанном тоне говорит об элементах возврата к средневековью в действительности гитлеровской Германии, ссылаясь, например, на сожжение книг. Читатель сопоставляет и делает выводы. Варварство в сфере музыкально-эстетической не тождественно варварству политическому. Но родство, общность корней тут налицо.

Понятно, что в безысходно скорбной музыке Леверкюна по-своему отражаются реальные черты эпохи, богатой трагическими событиями, тяжелыми потрясениями в жизни множества людей. Но они отражаются односторонне. Взгляд на современность как на безраздельное торжество антигуманизма, неумение осознать освободительные движения эпохи в их подлинном, глубоко человеческом значении — все это приводит Леверкюна к эстетизации зла и капитуляции перед злом. Раскрывая с большой силой экспрес-

сии жестокость, катастрофы, страдания, композитор не видит в современной ему действительности ничего другого. Враждебность Леверкюна Бетховену не в трагедийном характере музыки (разве не насыщена суровой трагедийностью первая часть Девятой симфонии?), а в концепции извечного, непреодолимого одиночества и обреченности человека.

Томас Манн не раз признавался, что Леверкюн, из всех созданных им героев, наиболее ему дорог и что «Доктор Фаустус» представляет собою роман-исповедь. Тем более заслуживает уважения та самокритическая откровенность, с которой раскрыт этот герой и показана ложность его пути. Приводя Леверкюна к краху и гибели, Томас Манн подверг острейшему осуждению философско-эстетические основы буржуазной культуры XX века, во многом близкие его собственной творческой личности. Критика декаданса, развертывающаяся в «Фаустусе», тем более убедительна и глубока благодаря тому, что Адриан Леверкюн наделен благородными человеческими чертами. При всей своей снобистской холодности он привлекает своей полной независимостью от буржуазного художественного рынка, бескорыстной приверженностью к своему искусству. Для Томаса Манна декаданс не сводится к художественной моде, к фокусам и вывертам, хорошо оплачиваемым хозяевами «ярмарки на площади». Самое страшное и опасное в декадансе то, что соблазнам его подвержены и крупные и неподкупные таланты, субъективно чуждые этой ярмарке. Судьба Леверкюна трагична, как судьба тех одаренных художников XX века, которые подчинились духу буржуазного распада и своим творчеством содействовали этому распаду.

На наш взгляд, не следует (как это было сделано недавно одним из одаренных молодых литературоведов ГДР<sup>1</sup>) называть Леверкюна «империалистическим Фаустом» и рассматривать итог его деятельности как служение дьяволу. В этом смысле ближе к истине В. Адмони и Т. Сильман, которые считают, что «образ Леверкюна оказывается не воплощением, а жертвой страшной эпохи империализма». Однако нет оснований утверждать, что Леверкюн в своей музыке «восстает против дьявола» и что беспросвет-

<sup>1</sup> Inge Diersen. Untersuchungen zu Thomas Mann. Berlin. 1959, S. 289, 301.

но мрачный характер леверкюновского искусства является объективным отражением эпохи. «Ведь все дело в том,— пишут исследователи,— является ли варварство душевной позицией художника или оно привносится в произведение искусства чудовищной действительностью, которую художник не может не отразить в своем произведении». Но ведь безоружность художника по отношению к «чудовищной действительности», неумение увидеть реальные силы, противостоящие этой действительности, то же есть позиция, и притом позиция, отнюдь не помогающая освободительной борьбе человечества! Томас Манн, глубоко сознающий ответственность художника за духовное здоровье его народа, далек от того, чтобы усматривать в Леверкюне только пассивную жертву обстоятельств. При всем том привкусе мистического фатализма, который вносится «дьявольской» символикой романа и его патологическими мотивами, Леверкюн предстает в одно и то же время и как жертва и как соучастник вины. В такой диалектической трактовке образа есть глубокая жизненная правда.

Мысль об ответственности художника перед народом, перед обществом настойчиво вставала перед Томасом Манном в последние годы его жизни. Писатель, показавший в длинном ряду произведений, от ранних новелл до «Доктора Фаустуса», обреченность и бесплодность искусства снобистского, большого, оторванного от народа, стремился утвердить в позитивной форме идеалы искусства гуманистического и содержательного, помогающего людям в их битвах за лучшее будущее. Именно в этом — главный смысл последних статей и речей Томаса Манна<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Совсем недавно в Венгрии опубликован подлинник в высшей степени примечательного письма, которое Томас Манн незадолго до смерти (в марте 1955 года) адресовал своим венгерским читателям в связи с выходом в Будапеште нового издания «Будденброков». Томас Манн цитировал слова Шиллера, который в изведении о выходе журнала «Оры» выражал желание объединять человечество «под знаменем истины и красоты». Томас Манн писал далее: «Это — слишком высокие слова, чтобы их можно было применить к моему существованию и моей деятельности; однако потребность, которая была для Шиллера столь настоятельной, — потребность в том, чтобы раскрепощать скованные души и объединять мир, охваченный политическими раздорами, под высо-

Художник не должен подменять собою моралиста и политика — так думал Манн всегда, об этом он еще раз сказал в статье «Художник и общество». Сложность послевоенной политической обстановки напомнила старому писателю о том, что борьба передовой интеллигенции против фашизма далеко не полностью увенчалась успехом, и это настраивало его на скептический лад, побуждало его считать наилучшей позицией творческой личности «богемную иронию». Однако скептически-иронические интонации перебиваются и в конечном счете заглушаются в этой статье мужественными и грезвыми суждениями об общественном долге деятелей искусства. Ведь и сам Гёте, который предостерегал художника против прямого вмешательства в политику, «не был в состоянии разорвать неразрывное и уничтожить узлы, неизменно соединяющие искусство и политику, политику и дух».

Новые мотивы возникли у Томаса Манна и в оценке другого крупнейшего немецкого классика. В «Слове о Шиллере» (1955) Манн в противовес застарелой литературоведческой традиции, отчасти в противовес тому, что он сам писал о Шиллере много лет назад, целеустремленно выдвинул на первый план именно то, что связывало великого поэта с реальной, земной жизнью. «...Испытываешь потребность сообщить небесно-голубому идеалистическому нимбу, которым принято окружать образ Шиллера, несколько более сочные тона, примешать к небесно-голубой более земные, реалистические краски, неотъемлемые от его величия в силу присущей ей энергии, цепкости, упорства, жизнелюбия...» «У этого глашатая свободы мы находим высказывания о политических и социальных про-

ким знаком «истины и красоты», то есть под знаком искусства,— и на самом деле составляет смысл моего существования, руководящую нить моей деятельности; и для меня отраднее иметь друзей не только в западноевропейских странах и в «политически разделенном» мире, говорящем на моем родном языке, но и за пресловутым «железным занавесом»; не потому, что я так уж хочу понравиться моими сочинениями всем и вся, а потому, что я вижу в этом намечающуюся возможность взаимопонимания и соприкосновения на почве человечности, то есть возможность мира». Слова «железный занавес» взяты Томасом Манном в иронические кавычки, а слово «мир» подчеркнуто. (См. Pál Réz. Thomas Mann and Hungary — his correspondence with Hungarian friends. The New Hungarian Quarterly, vol. II, № 3, VII—IX 1961.)

блемах, поражающие своей трезвой реалистичностью».

С особым волнением перечитывается сегодня одна из самых поздних работ Томаса Манна — «Слово о Чехове». Томас Манн с молодых лет любил русскую литературу, превосходно знал ее. Он видел в ней образец искусства, высоко сознающего свое гуманистическое назначение; именно в этом смысл слов Тонио Крёгера о «святой» русской литературе, именно в этом главный пафос интереснейших (хотя и далеко не во всем бесспорных) работ Манна о Толстом и Достоевском.

В «Слове о Чехове» наследие русского классика осмыслено в свете социального опыта нашей эпохи. События военных и послевоенных лет в значительной мере изменили Томаса Манна от излишнего доверия к «демократиям» западного образца. И ему оказалось особенно близко недоверие Чехова к фальшивой либерально-гуманитарной фразе, ко всяким самодовольно-реформистским рецептам, восхваляющим «преlestи паллиатива». Умонастроению Т. Манна, его беспокойным раздумьям в

позднюю пору жизни оказалась близка и та мучительная нравственная тревога, которая побуждала Чехова спрашивать себя: «Не обманываю ли я читателя, не зная, как ответить на важнейшие вопросы?» Томаса Манна глубоко привлекало то здоровое, поистине гуманное отношение к жизни и к людям, которое выражено у Чехова без нарочитого морализирования, ненавязчиво, силой самих образов. Вместе с тем Манн отмечает остроту общественных мотивов чеховского творчества, глубокую искренность той мечты о будущем, которая высказана, например, в «Невесте». Нет ли в этой мечте, спрашивает Томас Манн, «чего-то от пафоса строительства социализма, которым современная Россия, несмотря на весь вызываемый ею страх и враждебность, столь сильно впечатляет Запад?».

Знаменательно, что в этой статье — в одной из последних, и того же литературно-критических работ старого писателя — столь явственно протягиваются нити от благородных нравственных устоев «святой» русской литературы к нашей советской современности.



---

## К 70-летию К. А. Федина

### ПИСЬМО ДРУГУ

**В** каждой человеческой жизни есть события, встречи, память о которых неизгладима.

Хорошо помню, как сорок лет назад я пришел в редакцию «Книги и революции» с приветом от Горького, проживавшего тогда за границей. В моей жизни это был незабываемый, решавший судьбу год. В тот памятный год на улицах запустелого Петрограда нежно зеленела молодая трава. После долгих заморских скитаний, на чистеньком немецком пароходе я вернулся в родную Россию, в которой еще не затихли отзвуки отшумевшей гражданской войны. Ты был первым русским советским писателем, с которым свела меня на родной земле судьба. Первая встреча положила начало дружбе.

Потом — в двадцатых годах — ты не раз приезжал гостить в деревню, на «глухую» Смоленщину, в мои родные края, где с детства я был своим человеком. Там, в деревне, я оказался как бы твоим гидом, проводником по почти неведомой тебе сказочной мужичьей стране, полной чудес и открытий. Нам памятны деревенские встречи, живые люди, с которыми встречались мы тогда ежедневно. Мы были молоды, беспечно бедны, умели мечтать и громко смеяться. Сердца и души еще не успели устать и остыть, хотя за нашими плечами оставался нелегкий путь, полный тревог, утрат и горьких сомнений.

Как забыть наши душевные долгие разговоры? Случалось, мы проводили ночи в лесу у охотничьего костра, с восторгом слушая симфонию наступавшего утра. Охотились на волков в глухом непролазном Бездоне. Охотничья наука тебе давалась не сразу, и ты подчас удивлялся моему «уменью» метко стрелять, разбираться в лесных путаных стежках, отчетливо различать голоса птиц и зверей. Тебя изумляли наши смоленские мужики, удивляла деревня, переживавшая крутые переходные времена. Ты навсегда запомнил лесную речку Невестницу и речку Гордоту (как хорошо, как трогательно звучали их имена!), тихий Кисловский пруд, в котором мы ловили в «норота» золотистых жирных линей, очень похожих на откормленных поросят...

Тебе, наверное, памятны имена и клички кочановских мужиков и баб, забавные, порой как бы с усмешкой звучащие названия смоленских сел и деревень: Кочаны, Кислово, Теплянку, Витигнево, Желтоухи, Подопхаи. Ты запомнил «дядю Ремонта», нашего деревенского бессребреника пастуха Прокопа, его приемную дочку Проску с трагической судьбой шекспировской героини. И уж, наверное, помнишь деревенскую красавицу Таню, на которую мы любовались. Помнишь простецкие деревенские песни:

Хороша наша деревня Кочаны,  
Заросла она малиною...

Для тебя и для меня это была подлинная, не показная, не выдуманная Россия. Россия полей и лесов, народных песен и сказок, живых пословиц и поговорок, родина Глинок и Мусоргских, вечный и чистый источник ярких слов, из которого черпали ключевую воду великие писатели и поэты, а терпеливые ученые люди составляли бесценные словари. Ты дивился смекалке, мудрости, добродушию, веселости простого деревенского человека, изумительному разнообразию нравов, душ и лиц.

А как восхитительны были наши «бдения», чудесные летние ночи, деревенские праздники и гулянья, на которых — что таить старый грех! — вместо шампанского и ликеров мы пили мужицкий самогон, пахнувший хлебом, дымом и горелым хвостом болотного черта.

И наши волшебные путешествия: поездка в старинный Дорогобуж, дорожные ночевки, утренний туман над заливными днепровскими лугами, рожок пастуха, напомнивший нам ветхозаветные времена. Болдинский древний монастырь с двумя чудом уцелевшими монахами и музеем; заставшая нас в дороге гроза, от которой прятались в лесу под деревьями; ночлег в старинном дворце богачей Барышниковых, в «охотничьем кабинете», где всю ночь нам слышались шаги и чудились привидения... Наше «мальчишеское» путешествие в лодке по рекам Угре и Оке... Да разве можно все вспомнить и перечислить!

Там, на речке Невестнице, где я некогда писал мои шуточные «Былицы», в лесной деревеньке Кочаны, в моей скромной «келье», обитой еловой корою, ты дописывал свой первый роман «Города и годы», там же начиналась твоя книга «Трансвааль».

В твоих прежних писаниях, в новом романе я с радостью встречаю знакомые мужицкие имена. Прообразы «деревенских» героев рождались и жили на знакомых нам лесных скромных речках, воды которых извечно питают родную тебе великую русскую реку матушку Волгу, а судьбы людей, с которыми мы встречались, чудесным образом вливаются в новую, общую, еще небывалую на земле жизнь.

**И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.**

## ВЗАМЕН ЮБИЛЕЙНОЙ РЕЧИ

Пора, наконец, нарушить слащавую традицию юбилеев.

Чехов едко сказал по поводу юбилеев, что вот, мол, ругают человека на все корки, а потом дарят ему гусиное перо и несут над ним торжественную ахинею.

С давних пор так повелось, что все юбилейные статьи и речи похожи на надгробное слово. Особенно казенные юбилейные «адреса», заключенные в дерматиновые папки: «В сегодняшний день, каковой день есть день вашего славного юбилея, позвольте нам от имени...» — и так далее и тому подобное — до обморочного состояния у юбиляра и судорожной зевоты у слушателей.

Поэтому я хочу говорить о Федине как о простом и талантливом человеке, а не как о литературном монументе или «маститом» современнике.

Прежде всего Федин любит жизнь во всех ее проявлениях — больших и малых. Он любит людей, общество. Как в поговорке о цыгане, он «готов пропасть ради хорошей компании».

Он любит шум, оживленные застольные беседы, меткие и неожиданные рассказы — чужие и свои. Свои он рассказывает артистически, подчеркивая все самое характерное легким движением погасшей трубки.

Он шутив, легок на смех, податлив на веселье, несмотря на внешнюю сдержанность.

Есть одно обстоятельство, о котором не принято говорить. Оно относится к Федину. Заключается оно в том, что чем популярнее писатель, тем у него меньше возможности заниматься тем единственно важным, ради чего он живет, — то есть писательством. Сотни и тысячи писем, груды рукописей, изюм всех углов страны, множество людей, требующих ответа на всяческие литературные и житейские вопросы или просящих о помощи, — все это законно, естественно, но превышает меру сил писателя и не оставляет времени для сосредоточенности. А без нее немислимо творчество.

Любовь оборачивается своей трудной стороной. Если к этому прибавить еще работу (вернее, заседания) в Союзе писателей и в разных организациях, то жизнь писателя приобретает уже характер трагический. Особенно, если он не молод и у него не так уж много сил.

Я понимаю, что этот разговор — далеко не юбилейный. Но жаль писательских усилий, потраченных, может быть, на полезное дело, но не на то главное, к которому писатель призван своим талантом. А за свой талант отвечает только он один.

Пусть Константин Александрович Федин не посетует на меня за эту непрошенную защиту.

Впервые я прочел Федина в Тбилиси в начале двадцатых годов.

Тогда Тбилиси казался таким далеким от Москвы, как Багдад или какой-нибудь загадочный Диарбекир.

Литературный Тбилиси жил еще застарелыми остатками футуризма. Поэтому появление в городе альманаха «Серрапионовых братьев» произвело впечатление освежающего чуда.

Тогда я прочел «Сад» Федина и понял, что начала советской литературы исходят из живой связи с великой литературой нашего недавнего прошлого. Молодые советские писатели — «Серрапионовы братья» — не растеряли мастерства, завещанного классиками, и органически и талантливо применили его к содержанию новой эпохи.

Потом, в следующие годы, я прочел всего Федина, особо выделив для себя в качестве образцов «Города и годы», «Братья», «Санаторий Арктур» и «Горький среди нас».

О прозе Федина сказано так много, что трудно что-либо прибавить к облику писателя, широко признанного читателем и тщательно изученного критикой. Поэтому я ограничусь несколькими записями, дающими, конечно, очень неполное, эскизное представление о Федине-человеке.

Я познакомился с Фединым в 1941 году за несколько дней до начала войны.

В одно синее и безмятежное июньское утро мы сидели с Фединым на террасе его дачи в Переделкине, пили кофе и говорили о литературе, нащупывая общие взгляды и вкусы.

Внезапно распахнулась калитка, в сад вбежала незнакомая ни Федину, ни мне рыжеволосая женщина с обезумевшими глазами и, задыхаясь, крикнула:

— Немцы перешли границу... Бомбят с воздуха Киев и Минск!

— Когда? — крикнул Федин, но женщина ничего не слышала, — она уже бежала по шоссе к соседней даче.

Мы вышли, зная, что нужно куда-то идти, что нельзя оставаться одним в доме. Мы пошли в сторону станции. Нам встретились два пожи-

лых рыболова. Они шли навстречу нам со станции на пруд и тащили идиллические бамбуковые удочки.

— Война началась,— сказал им Федин.

Рыболовы ничего не ответили. Они молча повернулись и пошли обратно на станцию.

Над лесом, поблескивая тусклым серебром, уже подымался в небо аэростат воздушного заграждения.

Мы остановились на поляне и смотрели на него. Кашка цвела у наших ног — теперь уже довоенная кашка — вся в росе и петлях душистого горошка. От земли шел теплый запах устоявшегося лета.

Мы молча поцеловались и разошлись. Может быть, навсегда. Слова были не нужны. Надо было быть на людях, ехать в Москву и немедленно действовать.

Осенью я приехал с Южного фронта и поселился на даче у Федина,— в мою квартиру в Москве попала бомба.

Все писательские семьи были эвакуированы в Чистополь на Каме. Переделкино опустело.

Каждую ночь бомбили Москву. С качающимся воем шли с запада в точно назначенные часы фашистские эскадрильи. Вокруг Переделкина стояли морские зенитки. Они открывали сосредоточенный беглый огонь. Осколки сшибали сосновые ветки и били по крышам.

Каждый вечер мы почти до света сидели на темной холодной террасе и говорили все о войне, все о войне и о милой России.

Говорили о родном городе Федина — Саратове (он почему-то казался мне «земским» городом, где жило много старых и просвещенных земских врачей), маленьких светелках-мезонинах в каком-нибудь Наровчате, ко-согорах, как бы подпиравших серое ветреное небо.

Вспоминали настойчиво, как одержимые, вспоминали с такой щемящей любовью и болью, что она вот-вот могла пролиться в слезах:

О Русь! в тоске изнемогая,  
Тебе слагаю гимны я.  
Милее нет на свете края,  
О родина моя!..

Иногда мы уходили в блиндаж в лесу. В те холодные и бессонные ночи с их предрассветным ознобом над Филями и Москвой зловеще висели, как десятки люстр, осветительные ракеты. Свет их казался наглым и вызывающим.

Федин был печален, суров и спокоен. Он говорил о бесспорной победе. От этих его слов и от ощущения великолепной русской осени становилось легче и крепче на душе.

Тогда, глядя на Федина, я понял, какая сила заключается в ясности ума, не позволяющего себе никаких сомнений в те дни, когда решается судьба народа.

Для Федина характерна повышенная любовь к слову. Любовь взыскательная и поэтическая. Он особенно любит те слова, которые богаты оттенками.

Для большого писателя мало знать родной язык. Мало знать его даже великолепно. Ему нужно непрерывно жить в великой красоте, разнообразии и развитии русского языка, как в стройном и волнующем поэтическом мире.

Каждое новое слово — меткое и необыкновенное — вызывает у Федина восхищение, а тупое и невразумительное — ярость.

Как-то мы ехали с Фединым из Гагр на реку Бзыбь. Нам попался странный шофер — старый, тощий, как жердь, с отвислыми тонкими усами и дергающимся от раздражения лицом. Всю дорогу он молчал, прислушиваясь к нашим разговорам. Наконец, выяснив про себя, что мы писатели, он сварливо сказал:

— Писатели, а небось не знаете, какое самое длинное слово в русском языке.

Мы вспомнили несколько длиннейших слов, но шофер только снисходительно усмехнулся.

— Мало же вы знаете, товарищи писатели. Вот слушайте! Самое длинное слово такое: «Неблагорассмотрительствующиеся дела»!

Федин засмеялся.

— Где вы его взяли?

— Из сенатских постановлений,— угрюмо ответил загадочный шофер и надолго замолчал, глядяваясь в синеватые сырые пропасти и близкие вершины. Мы молчали, пораженные шоферским словом. Наконец, Федин спросил:

— Откуда вы знаете сенатские постановления?

— Значит, читал,— ответил шофер и с этой минуты стал вдвое загадочнее, чем раньше. — Не говорите мне под руку! Видите, какая чертова дорога.

Есть воспоминания деловые, есть лирические, есть, пожалуй, даже патетические. А есть и просто милые, почти детские.

К таким воспоминаниям относится поездка с Фединым и Симоном Чиковани в Пицунду.

Вопреки зиме над морем простирался неправдоподобно яркий, лазурный штиль. В свечении неба и воздуха был свойственный осени блеск паутины, летящей неизвестно зачем и куда. Этот блеск, почти неприметный для трезвого глаза, первым заметил Федин. Он сказал об этом. И тотчас весь тот день пошел для нас по какому-то необычайному и легкому пути.

Так бывает. Каждая милая черта сливается с такой же новой чертой, и весь день разворачивается, как сказочная пряжа. Это были почти неуловимые черты, но я все же попытаюсь сказать о них более конкретно и грубо.

Во-первых, мы нашли на пляже множество перебеленных прибоем древесных корней. Они напоминали то диких зверей, то маски древних скифов, то Дон Кихота с копьём в руке, то лицо японки с немного смытыми миндалевидными улыбающимися глазами.

Мы набрали целую коллекцию этих удивительных корней. Стоило повертеть любой корень, чтобы отыскать в нем не одно, а несколько совершенно разных изображений.

Во-вторых, мы нашли на пляже загорелые черепки и, конечно, решили, что это черепки эллинских ваз.

Иначе и быть не могло, потому что у наших ног чуть пенилось море, принесшее на своих волнах в Колхиду корабль Язона. А весь крупнозернистый красноватый пляж вокруг горел, как золотое руно.

В-третьих, мы нашли на берегу черную бутылку, засунули в нее записку со словами «Для жизни — жизнь», закупорили бутылку и бросили в море.

Потом мы осматривали древнейший собор. Казалось, что воздух застоялся там с незапамятных времен,— так он был тепел и сер.

Через сосновый лес вела тропа к маяку. Мы встретили на ней двух маленьких застенчивых девочек с сияющими глазами и пышными крас-

ными бантами в волосах. Это были дочери маячного смотрителя. Они провели нас на маяк.

Мы долго подымались к фонарю по витой чугунной лестнице, по звонким ступеням. Десятками медных искр горели начищенные приборы и линзы. На стене в маячной рубке висело расписание закатов.

А с балкончика с решетчатым полом ударила в глаза черноморская счастливая синева.

— Вот это и есть, должно быть, счастье,— сказал Федин.— Но очень редкое,— добавил он.— Это все для тебя. Не забудешь?

— Нет,— ответил я.— Не забуду.

— Смотри же напиши!

Но до сих пор я не написал. Слишком цельно было все в тот день. Мне кажется, что его нельзя дробить на части подробным описанием. Но «приказ» Федина остается в силе, и я рано или поздно его выполню.

Мне пришлось видеть, как Федин работает.

Ни у кого из знакомых писателей я не встречал такой настойчивости, такого упорства в работе, как у Федина. Он был безжалостен к себе. Он вставал из-за стола с побелевшими от усталости глазами и еще долго был рассеян и задумчив.

Ручка была отложена в сторону, но мысль продолжала работать и останавливалась очень медленно.

Лучший отдых — самый быстрый и легкий — давало резкое переключение от пера к чему-нибудь просто мальчишескому — к студенческой песне, например, к «Крамбабули» или к незамысловатому веселью на площадке ветхой приморской кофейни-«поплавка».

Это было на Кавказском побережье зимой, во время ревущего шторма. «Поплавок» трясся от ударов прибоя. Вдали по горизонту проносились вереницы смерчей. Испорченный патефон дребезжал старинные вальсы.

И мы все, несмотря на возраст, танцевали — просто от хорошего настроения и дурашливости. И Федин танцевал необыкновенно выразительно, спокойно, даже как-то снисходительно. В нем проснулся бывший актер. Он — с его резким профилем — показался мне во время этого танца героем какой-то северной саги.

Он танцевал замедленный вальс и не спускал глаз со звенящих от ветра широких окон кофейни. Там из мглы несло к берегам разъяренное море. Над ним проступали какие-то багровые размытые пятна. То был, очевидно, отблеск солнца, заходившего за громадами туч.

Федин молча показал мне глазами на море. Казалось, он говорил: «Как это сильно! От такого зрелища крепнет рука».

Так я его понял. И был, очевидно, прав, потому что он оборвал танец, тотчас ушел к себе в холодноватую комнату, сел за стол и начал писать, стараясь не торопиться, сдерживая себя. И писал почти всю ночь.

Таких «бессюжетных» отрывков из жизни, связанных с Фединым, я мог бы привести много. Но я хочу сказать еще несколько слов об отношении Федина к природе и, в частности, о том, как мы ловили с ним рыбу.

Мне кажется, что природу Федин любит не только как созерцатель, но и как лесничий, как садовод, огородник и, наконец, как цветовод.

Во всех этих областях у него большие познания. Такое отношение к природе придает фединскому пейзажу черты безусловной точности. А, как известно, без знания и точности нет поэзии.

В делах природы Федин строг и не любит небрежности и дилетантства. Мне рассказывали, как сердил Федина его милейший сосед по даче

и чудесный его друг Александр Георгиевич Малышкин. Сердил тем, что, гуляя по лесу, вырывал из земли, сильно дергая за верхинки, молодые березки, чтобы тут же посадить их у себя на участке.

— Просто безобразия, — говорил Федин, — таким варварским способом сажать березки. Они никогда не примутся и не отрастут, — у них же корни порваны в клочья.

Действительно, березки умирали. Но, как на грех, три-четыре березки выжили и пошли в рост. Правда, то были корявые, но крепкие деревья. Федин только пожимал плечами.

Рыбу мы ловили на Переделкинском пруду, стараясь не попадаться на глаза «братьям-писателям».

Мы выходили на пруд на рассвете, но все же никак не могли спастись от Юрия Слезкина. Он вставал очень рано, застигал нас на пруду и посмеивался над нами ядовито, но настолько вежливо, что при всем нашем желании «схватиться» с ним это не удавалось.

У Федина была своя, несколько странная, манера ловить рыбу. Он закидывал удочки, а сам, чтобы не пугать рыбу, отходил от берега на двадцать — тридцать шагов, прятался в кустах и оттуда следил за поплавками. Когда рыба клевала, он вскакивал, но, конечно, не успевал добежать до удочек. Почти всегда хитрая рыба выплевывала крючок с насадкой.

Но какое же было торжество, когда мы поймали шесть карпов. Мы нанизали их на кукан и нарочито медленно, стараясь всеми силами поpastься недавним насмешникам на глаза (в особенности Слезкину), пошли домой мимо Дома творчества. Это, конечно, было нам не по дороге, но мы знали, что в этот час на террасе завтракали писатели.

Мы вольно и небрежно прошли мимо них со своими бронзовыми красавцами карпами. Писатели окаменели от изумления. Это была с нашей стороны законная месть всем урбанистам и матерым литераторам — любителям велеречивых высказываний и сентенций.

Я предвижу обвинение в легкомысленности и чрезмерной субъективности этих отрывочных воспоминаний. Я не буду оправдываться.

Я уже писал о том, как работает Федин (в «Золотой розе»). Я знаю ему цену и знаю его место в русской советской литературе. Поэтому я и хотел сказать несколько слов о Федине только как о простом человеке. Надеюсь, что он меня простит за это.

**КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ.**

---

## О КОНСТАНТИНЕ ФЕДИНЕ

Живя в Сибири, я довольно часто приезжал в Москву: то в Союз писателей, то в издательства, то просто в отпуск. Я был знаком и часто встречался и с А. Фадеевым, и с П. Павленко, и с А. Макаренко, и с Л. Сейфуллиной, и с другими видными писателями. Но увидеться с Фе-диным, познакомиться с ним мне долго не удавалось, как-то не выпадало случая. Конечно, его книги, статьи, воспоминания я знал, так как всегда следил за его работой с большим интересом.

И вот однажды я снова оказался в Москве. Отзаседав в областной комиссии в связи с рассмотрением плана «Сибирских огней», мы вместе с Саввой Кожевниковым отправились в клуб писателей обедать.

Помнится, что в эти дни в Москве в Институте мировой литературы проходила дискуссия по итогам литературного года и ресторан клуба

был переполнен приезжими товарищами. Мы сели в уголок за единственный свободный столик.

Вдруг дверь зала раскрылась, и в ресторан стремительно вошел Константин Александрович Федин. Я моментально узнал его по фотграфиям и портретам, напечатанным в книгах. Остановившись, он окинул быстрым взглядом переполненный зал и направился к нашему столику, за которым было два незанятых места.

— Я вам не помешаю, товарищи, если на полчаса окажусь вашим соседом? — строгим, очень четким голосом спросил Константин Александрович.

Наперебой мы принялись приглашать Федина присесть за стол. Разговор возник как-то непринужденно, сам собой. Узнав, что мы сибиряки, Константин Александрович шутливо сказал:

— Вон оно что! В хорошую компанию я попал! Сибиряк — ведь это почти у нас почетное звание. Обедал с сибиряками! Шутка ли?! И говорят, у вас, в этой холодной стране, успешно процветает литература! Жаль, что не знаю я творчества сибирских писателей.

Савва Кожевников, написавший к тому времени десятки статей о творчестве писателей-сибиряков и произнесший сотни речей о внимании к их работе, не упустил случая и «сел» на своего любимого конька.

— Вы знаете, Константин Александрович, — приподнято заговорил Савва, — вот Алексей Максимович Горький, даже находясь в Сорренто, не переставал интересоваться сибирскими писателями...

— Как же, знаю! Но ведь то — Горький! Он многое умел делать иначе, чем мы. А какая нынче выдалась у вас зима? Морозно?

Мы рассказали Федину о зиме. Она оказалась неодинаковой. В Новосибирске стояла оттепель, а в Иркутске ударил сильный мороз, и на Ангаре случилось зимнее наводнение — местами лед стал преграждать путь воде и выжимать ее на поверхность.

— Смотрите, как у вас все необычно, — сказал Федин, с интересом слушавший наши рассказы о Сибири. — Кстати, вот совсем недавно я узнал, что у вас в прошлом были своеобразные «кедровые бунты». Узнал я это из романа «Строговы». Автор для меня новый.

Федин произнес несколько похвальных слов о романе и, полураскрыв свой портфель, в котором лежала моя книга, как-то одобрительно хлопнул ладонью по желтой коре.

Я страшно смутился. Савва представил меня. Константин Александрович в упор взглянул мне в глаза, и взгляд этот был жестким и каким-то очень требовательным, бескомпромиссным.

— По роману я считал вас старше, — сказал Федин и снова посмотрел на меня, но теперь уже мягче и даже с улыбкой.

Я опустил голову. Самым тяжким было бы сейчас для меня, если б Федин начал, как это случается порой с иными даже очень опытными людьми, расспрашивать: «А над чем вы трудитесь теперь, что пописываете?» — или, достав книгу, принялся бы не спеша полистывать ее. Но тонким внутренним чутьем Константин Александрович угадал мое состояние, понял все значение для меня этой неожиданной встречи и, сделав вид, что я больше его не интересую, заговорил о другом. Он расспрашивал о новых книгах Сергея Сартакова, Константина Седых, Афанасия Коптелова, интересовался поэтами Сибири, портфелем журнала «Сибирские огни». Савва Кожевников оказался на высоте положения и дал волю своему красноречию.

— А заваска-то у него горьковская! И все ему интересно и до всего есть дело! — возбужденно говорил Савва, когда Федин, торопливо пообедав, приветливо попрощался с нами и заспешил на какое-то заседание.

И вот несколько лет спустя жизнь судила мне работать вместе с Фе-  
диным в секретариате Союза писателей СССР.

За эти годы много было у нас встреч, бесед, разговоров. Обо всем  
в короткой заметке не расскажешь. Хочется сегодня отметить лишь  
отдельные черточки фединского характера.

Константин Александрович Федин — человек дела; не только мне, но  
и многим другим писателям запомнится его необыкновенная собранность,  
точность и поразительная внимательность.

...Вот идешь извилистой дорожкой через продолговатый двор к дому  
Федина в Переделкине, идешь минуток на пять, на десять пораньше, чем  
договорились, но Федин уже ждет.

— Вот и хорошо, что пришли! Я ведь и сам такой: лучше чуть по-  
раньше, чем чуть попозже! — смеется он, встречая тебя внизу, у вешалки.

Я не знаю другого человека, который умел бы слушать так вниматель-  
но, так заинтересованно, как это делает Константин Александрович.  
В литературной жизни, в общении писателей друг с другом ему инте-  
ресно буквально все: атмосфера того или иного собрания, поступки и  
слова товарищей по работе, настроение отдельных лиц... Он спрашивает,  
спрашивает, и худощавое лицо его, всегда очень живое и очень вырази-  
тельное, одухотворено непрерывным движением мысли...

Ему тоже есть что рассказать. Пока мы не виделись, он встретился  
с тем-то и тем-то, такой-то прислал ему письмо... а вот в такой-то газете  
или в таком-то журнале напечатана интересная статья... А такой-то  
прислал ему свою последнюю книгу. Прочитал. К сожалению, ответил  
кратко, а можно было бы о многом написать... И вот еще: в такой-то  
республике появился значительный роман. Говорит об этом серьезный,  
знающий человек. Надо почитать.

Течет беседа, и чем дальше, тем больше узнаешь от Федина такие  
важные подробности литературной жизни, без которых просто невозмож-  
но составить о ней более или менее полное представление...

Потом он берет со стола сколотую обычной скрепкой стопочку бумаг.  
Тут и письма товарищей по работе, предложения по текущим делам  
секретариата Союза писателей, заметки на полях газетных статей.

Федин глубоко и остро, именно остро, чувствует всю сложность и  
ответственность работы литератора. Может быть, поэтому он, как никто  
другой, чуток ко всякой несправедливости в суждениях о писательском  
труде.

— Вы читали статью о романе Н.? Я не поклонник его таланта, но  
разве допустимо так грубо, с такими подозрениями рассуждать об этом  
писателе? Мы же члены одной семьи, делаем одно дело, служим одному  
народу, а разговаривать уважительно друг с другом не научились. Пого-  
ворите-ка с этим критиком по-товарищески, не на заседании, а с глазу на  
глаз, разъясните ему кое-что. Может быть, поберечь бы ему излишек  
запала против наших идейных врагов...

В литературном деле все для Федина имеет значение. Не раз доводи-  
лось мне давать Константину Александровичу читать свои выступления  
по различным литературным вопросам. Более вдумчивого наставника и  
редактора я не встречал. От его зоркого взгляда не ускользает не только  
нечеткость того или иного высказывания, но и пропущенная запятая. По  
Федину, в литературе нет мелочей, в ней все важно и значительно.

Федин любит нашу родину, народ, партию, литературу пылкой, огром-  
ной любовью. Его прекрасные книги пронизаны этим большим чувством  
от начала до конца.

Однажды после длительной болезни Федин по приглашению немецких  
друзей уехал в санаторий в Германскую Демократическую Республику.  
Месяца через два по некоторым обстоятельствам оказался в Берлине и я.

Немецкие товарищи предложили мне съездить в Саксонию, под Дрезден, навестить Константина Александровича. Я охотно согласился, тем более что от города Галле, в котором созывалась конференция молодых писателей республики, до санатория было едва ли больше ста километров. Вместе со мной поехал поэт и переводчик Лев Гинзбург.

Константин Александрович встретил нас с радостью. Он вышел навстречу, обнял, возбужденно сказал:

— Ну, проходите же скорее, посланники родины, в комнату, садитесь, рассказывайте, как там у нас, что нового в секретариате? Какие вопросы заботят наших партийцев? Что яркого появилось в журналах?

Мы рассказывали с Гинзбургом целый вечер. Интерес Феина нелегко было утолить. Наконец, наступил и наш черед спрашивать.

— Как движется роман, Константин Александрович?

Федин бросил какой-то отчужденный взгляд на письменный стол, заваленный рукописными страницами, исчерченными цветным карандашом, глухо сказал:

— Снова все перекроил. Думал, что впишу «окно», а пришлось возводить стену.— И совсем тихо, как бы с раскаянием: — Обещал Твардовскому в марте сдать в журнал и подвел...

И вот «Костер» вспыхнул на страницах журнала. Он горит сильно, ярко. Он запылал в памятные дни XII съезда партии, и радостно нам, что роман этот как бы предвосхитил дух, атмосферу исторических устремлений съезда.

Это счастье, большое счастье всей многонациональной советской литературы, что у нас есть такие выдающиеся мастера, такие крупные таланты, такие замечательные люди, как Константин Александрович Федин.

**Г. МАРКОВ.**



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**М. Блинкова.** Испытание буднями.— **В. Войнович.** Хива. 20-й год.— **Л. Лебедева.** Связь времен.— **Л. Лазарев.** Материал и исследование.— **Е. Эткинд.** Новый Рабле.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Л. Зак,** кандидат исторических наук. Документы пролетарского интернационализма.— **А. Кондратович.** Бессмертие рода людского.— **Евг. Бурче.** Книга о великом русском летчике.— **Д. Гурвич, И. Шаскольский,** кандидаты исторических наук. Правда, идущая из глубины веков.

## Литература и искусство

### ИСПЫТАНИЕ БУДНЯМИ

**Ф. Вигдорова.** Семейное счастье. Роман. Книга первая. «Москва», № 3, 4, 5. 1961.

**К**акое странное название для современного советского романа — «Семейное счастье»! Неужели действительно может быть само по себе, отделенное от всех дел большого мира счастье двух людей? Мы сразу настраиваемся на недоверчивый лад, настораживаемся. А если мы к тому же прочтем рецензию В. Стариковой на первую часть этого произведения, то у нас не останется никаких сомнений в том, что наше недоверчивое отношение к этому роману вполне правомерно.

«Герои не выходят за пределы четырех стен своего дома, а главное, не чувствуют в этом внутренней необходимости».

«Можно ли по-настоящему написать о счастье человека, всерьез ограничив круг своих наблюдений и размышлений одним прилагательным: с е м е й н о е?»

Попробуем все же прочесть роман, отвлекшись от рецензии, и разобраться в том смысле, который вкладывает автор в его название.

С героиней произведения Сашей мы рас-

стаемся в военные годы, а наше знакомство с ней началось с ее первого, очень раннего и счастливого брака. Писательница освещает и детские годы своих героев — в свойственной ей несколько пространной манере, почти не утаивая своей цели — объяснить, как сформировались особенности характера ее молодых героев.

Итак, первый брак Саши. Когда ей семнадцать, а ему двадцать три, когда на душе спокойно и радостно, то две жизни легко сливаются в одну. Печали здесь были недолгими и не слишком глубокими, чаще всего они происходили оттого, что Андрею было трудноато приноровиться к семейному укладу Сашиних родных. В его семье владычествовали благоговейно-бережное отношение друг к другу, деликатность, тишина, задумчивое спокойствие. А семья Саши была большая, шумная, говорливая, бесцеремонная. Это были бесхитростные, открытые и простодушные люди: все происходящее в семье они считали бесспорно общим делом, общей заботой и не могли себе пред-

ставить, что у человека могут быть какие-то свои тайны, что не все свои мысли и переживания ему хочется делать общесемейным достоянием. И хотя шепетильному Андрею было трудновато примириться с тем, что здесь за чаем могли заговорить о мужском нижнем белье, но все же он был по-настоящему счастлив. Как хорошо, что из-за этих мелочей не «разразилась гроза», как того требует другой критик, И. Мотяшов, обвиняющий Андрея в «покорности обстоятельствам».

Тепло, лирично, с легкой иронией рассказывает автор о радостном союзе Андрея и Саши, об их занятиях и увлечениях, о дружном и забавном «клане» Сашиных родных. Иногда перед нами мелькают какие-нибудь детали быта тех лет (вторая половина 30-х годов): то вдруг прозвучат песни, которые тогда пели, то в Сашином ворковании над грудной Анютой («Ты ребенок сознательный, передовой. Ну, по какому вопросу ты плачешь? Ну, прояви чуткость») услышим обороты, точно взятые из языкового пласта тех лет. А при описании Сашиного гардероба (черная юбка, две кофточки и одно выходное — «синее, в складку, с белым воротником» — платье) вспомнится скромный быт того времени, когда, скажем, никому не приходило в голову носить обручальные кольца, а обладание натефонов считалось признаком состоятельности.

Автор как будто намеренно ограничивает свое повествование бытом семьи и бытовыми деталями времени, и нам уже начинает казаться, что и в самом деле круг действия замкнут квартирой в уютном арбатском переулке. Но...

В это время в другой стране люди сражались за свою свободу. Под бомбами, пулями, в огне пожаров вместе со взрослыми погибало много детей, еще больше оставалось сирот. Люди, которые не могли быть равнодушны к чужой беде, съехались в эту страну со всего мира. И Андрей тоже. «Прости меня, что бы со мной ни случилось... — писал он жене в своем последнем письме, — я иначе не мог».

...Маленькая Аня осталась сиротой, а в Сашиной жизни произошла первая катастрофа — сразу и безвозвратно рухнуло ее светлое семейное счастье. И случилось это потому, что в Испании шла гражданская война. Так первый раз трагедия из большого мира властно вошла в жизнь Саши. И знаменательно — как ни мучительна была

ее утрата, Саше никогда не приходила мысль о неестественности ее горя, несправедливости судьбы к ней. И умом и сердцем она понимала, что Андрей «иначе не мог». Собственное ее возвращение к настоящей жизни было тоже связано со стремлением быть на самом ее переднем крае — на фронте. Ради этого она переменяла профессию — ушла из гуманитарного вуза и стала медсестрой. Война тогда шла финская, она быстро окончилась, а Саша так и не попала на нее.

Не один год прошел, пока в Сашиной душе проудились силы для новых привязанностей. И тогда она полюбила веселого и талантливого человека с легким и добрым характером. Он окружил вниманием Сашу и ее близких, он умел всем помочь и всех радовать. Кто бы мог подумать, что Сашина жизнь с ним будет трудна и горестна?

В дом Саши опять вошла беда.

В те годы (это было уже во время Отечественной войны) случалось иногда, что за человеком шло по пятам оскорбительное и непонятное недоверие. В разгар войны вернулся домой после тяжелой контузии Дмитрий Поливанов. Воевал он на одном из самых опасных участков фронта — в тылу врага, в авиации, и вот там с ним случилось несчастье: был подбит его самолет, он и его товарищ попали в плен. Чудом им удалось бежать и спастись: плен продолжался, очевидно, меньше суток; затем он был тяжело контужен. Так произошло, что Поливанов, который «привык, чтоб в самой гуще», «из дела выбыл»; но мало того — в его ушах непрестанно звучали слова: «Чего ты наобещал немцам?» В другом месте говорили вежливее: «У нас нет к вам никаких претензий. Но плен есть плен». С грузом этого недоверия, потерявший свою любимую профессию (он был кинооператором, а теперь у него дрожали после контузии руки), приехал в Ташкент к своей семье бывший офицер, бывший кинооператор Поливанов. Что ж, семья — жена, любви которой он долго добивался, и новорожденная дочь — у него осталась. «Кто бы думал? Вся жизнь, весь смысл вот в ней. И все», — сказал он, глядя на свою дочь. Семья есть, а счастья нет, потому что «он выбыл. Из дела выбыл...» Именно потому и пришло горе в семью Поливановых, что Дмитрий оказался выбит из привычной и необходимой для каждого советского человека общественной, активной жизни. Именно по-

этому так резко изменился он: стал угрюмым, раздражительным и очень замкнутым, никого не впускал в свой внутренний мир, наполненный болью, тоской и обидой.

Наверное, если бы писатель показал, как врач борется за жизнь больного или как коллектив на предприятии помогает товарищу в беде, никто бы не отказал этому произведению в общественном звучании. Но роман Вигдоровой называется «Семейное счастье», и возвратить Поливанова к настоящей жизни выпало на долю его жены, молодой женщины, жившей так трудно, как жили все честные люди в войну; это она должна была на первых порах, в самое сложное для Дмитрия время, вынести на своих плечах тяжесть его беды, начало которой было где-то за линией фронта.

О доброте, о добрых делах все чаще говорится в литературе последних лет. Все более высоким утверждается критерий человеческого поведения, полнее делаются представления об истинной гуманности. А с этим неразрывно связано и другое: все решительнее правдивость и искренность вытесняют парадное, однобокое изображение жизни — то самое, из-за которого юноши и девушки, отправляясь в самостоятельный путь, часто теряются, потому что в жизни многое оказывается не так...

В первой, опубликованной книге нового романа Ф. Вигдоровой писательское внимание обращено в сферу нравственную. Роман «исследует», так сказать, «первоэлементы» гуманности, самые основы ее. Если мы скажем, что главным началом Сашиного характера была доброта, то скажем почти все, потому что настоящая доброта включает в себя множество различных качеств. Например: чтобы не только хотеть, но и суметь помочь тому, кто в этом нуждается, действительно добрый человек должен быть умелым и неутомимым. Он должен быть волевым и настойчивым: слишком много разнообразных врагов у доброты, чтобы слабый, с вялой душой человек мог им противостать. Или еще: иногда бестактность может ранить сильнее рассчитанного оскорбления. Действительно гуманный человек должен остро чувствовать боль другого, должен хорошо владеть собой, своими порывами. Как выразительна сцена в детской больнице, куда с жалким лакомством военного времени, леденцами, удалось пробраться Саше к своей больной дочери. Саша

«ходит между кроватями и укачивает Аню. И вдруг останавливается. В углу кроватка. Малыш лет двух стоит, крепко ухватясь за перекладину, и глядит на Аню и Сашу. Большие глаза на исхудалом лице. В этих глазах отчаяние. И покорность. У этой девочки есть мама. А у него — нет. Он глядит, не смея надеяться и не отрывая глаз. Его глаза ни о чем не просят, они знают: он один.

Саша подходит к нему и говорит:

— На, держи. Открой рот. Это вкусно.

Ну, голубчик мой, ну!

— Это Шурка Терешкин, — говорит Аня и крепче сжимает мамину руку.

А Шурка, перехватив Сашин рукав, смотрит на нее снизу вверх и молчит. И вдруг несмело улыбается. Саша сжимает зубы и отходит. Потом поворачивает обратно. Шурка смотрит так же неотступно, молча и пристально, и чем ближе подходит Саша, укачивая на руках свою Аню, тем шире становятся глаза ребенка, и вдруг опять робкая улыбка, и чем ближе Саша подходит, тем улыбка шире. И опять Саша поворачивается и снова идет к дверям, зная, что в спину ей глядят Шуркины глаза.

Она укладывает уснувшую Аню, осторожно разжимает ее пальцы, освобождая руку, и идет к Шуркиной кровати. Она берет малыша, всхлипывая, не смея заплакать, целует его тонкую шею, щеку.

— Ешь, — говорит она и сует ему в рот леденец.

— Эй! — слышит она позади свистящий шепот. — Обход! Давай уходи скорее!

Это Шарафат. Она почти выталкивает Сашу из палаты.

Саша бежит с лестницы, потом по темной ташкентской улице и плачет. Никогда, — говорит она себе, — ни за что, никогда. Чужих нет. Все мои. И как это я могла. Взяла Аню и жожу. Нет! Никогда! Ни за что!»

Душевная широта, отсутствие мелочности, амбициозности определили и своеобразный этический принцип Сашиного поведения, который она сама изложила так: «Меня нельзя обидеть». Действительно, стоит ли обижаться на тех, кого не уважаешь или не любишь? «А если мне что-нибудь обидное говорят близкие люди, я тоже не обижаюсь. Они ведь не хотят меня обидеть. Я знаю, что не хотят». Да, от обид Саша была таким образом заговорена, а вот сердиться она умела и тогда уже никому не давала

пошады. Очень выразительны в этом отношении сцены, когда Саша дает решительный отпор мещанке — квартирной хозяйке, которая стремится отравить мироощущение Сашиной дочери, Анюты.

Казалось бы, такому стойкому и сильному характеру, как Сашиному, вполне под силу справиться с любой бедой. Но одно казалось ей самым страшным — если ей отказывали в доверии, если она теряла веру в любовь близкого человека, если она чувствовала, что обрываются связывающие их внутренние нити. И всей историей ее трудных отношений с мужем писательница призывает людей к безоговорочному доверию, к взаимному уважению, к полному отсутствию недоговоренности и скрытности. Это серьезная философия человеческих отношений, и она далеко не ограничивается рамками семейного счастья или семейных невзгод.

Мы расстаемся с героями романа в тот момент, когда наметился перелом в их отношениях. Как это действительно часто бывает в жизни, новая беда заставила людей заново сплотиться, сломала инерцию пошедших по неправильному пути поступков и переживаний. Этой бедой была тяжелая болезнь Анюты.

Творчество Ф. Вигдоровой трудно представить себе без «детской темы». В романе «Семейное счастье» присутствие детей усиливает и обостряет всю сложную семейную ситуацию. Дети — всегда чрезвычайно чуткий барометр атмосферы в семье, а особенно, если ребенок не родной кому-нибудь из родителей. Тяжелое моральное состояние Дмитрия, его болезненная раздражительность, Сашина растерянность и тоска — все это вызвало резкие перемены в характере и поведении ребенка. Анюта, в которой уже наметились было прекрасные человеческие качества — отзывчивость, деликатность, щедрость, — стала озлобляться, грубить, стала избегать родительского дома. И это обвиняет в наших глазах взрослого человека, не умеющего справиться со своими трудностями, больше, чем это сделали бы любовные авторские декларации.

Но все-таки думается, что автору следо-

вало бы более определенно выразить свое отношение к недостаточно мужественному поведению Дмитрия в семье. В конце концов его образ воспринимается скорее как объект Сашиных страданий, чем во всем сложном комплексе его собственных переживаний. Вероятно, виной тому некоторое нарушение пропорций, которым грешит роман. Последняя его часть, например, перегружена рассказами о том, как портился характер Дмитрия, как нарастало взаимное отчуждение, как «все тише и глуше становился Сашин отклик и все меньше запасы доверия и щедрости». Этот сюжет — нарушение гармонии в семье — так деликатен, что одна или две метко отобранные детали могут воздействовать на воображение с достаточной силой, а перебор этих подробностей грозит художественной бестактностью. Нарушение пропорций ощущается и в других частях романа. Так, очень подробно, во множестве эпизодов рассказано, как Саша не принимала любовь Дмитрия, но очень вскользь, неопределенно — о том переломе, что произошел в ней, и о пробуждении в ней ответного чувства.

Вызывает возражения откровенная моралистическая направленность, которая кое-где чересчур заметно дает себя знать, особенно в той части романа, где рассказывается о воспитании Андрея, или в самих последних строках, где устами выздоравливающей Анюты выносятся оправдательный приговор Дмитрию («Мама, а он меня любит... Он плакал. Я видела. Ему меня жалко!»). Эти просчеты досадны, но они, как видим, совсем не таковы, чтобы иметь право сказать, что все в романе определяется «одним прилагательным: с е м е й н о е».

Мы расстаемся с героями, поверив в их истинную человечность, поверив в то, что им органически необходимо быть нужными людям, быть «в самой гуще». И мы верим, что Дмитрий сумеет вернуться к настоящей, активной жизни, а Сашиных сил хватит и для больших общих дел. И тогда-то наладится и их семейное счастье — скромное счастье, для которого, оказывается, так много надо!

**М. БЛИНКОВА.**

## ХИВА. 20-Й ГОД

**К. Икрамов. Караваны уходят — пути остаются. Повесть. Редактор Л. Щербакова. Государственное издательство художественной литературы УзССР. Ташкент. 1961. 132 стр.**

**М**ы мало знаем о Хиве и еще меньше о том, что было в Хиве в двадцатом году. Мы даже редко интересуемся этим.

Во всяком случае про себя лично я могу сказать это с полной уверенностью. Но вот я прочел книгу, и уже не могу сказать, что двадцатый год в Хиве меня не интересует. Книга эта — историческая повесть К. Икрамова «Караваны уходят — пути остаются». Главный герой ее — легендарный военачальник гражданской войны Миркамил Миршарапов. До 1937 года о нем пели песни и слагали легенды. После 1937 историки и писатели вынуждены были сделать вид, что такого человека не существовало вообще. Миркамил Миршарапов разделил судьбу многих советских командиров, уничтоженных в период господства культа личности Сталина. Но заслуга писателя не в том, что он взялся рассказать нам о таком человеке, как Миршарапов. Заслуга его состоит в том, что рассказал он хорошо.

Кстати, о самом авторе. К. Икрамов — писатель молодой (повесть, о которой идет речь, — первое произведение К. Икрамова). Иногда, желая похвалить молодого писателя, перечисляют его долитературные профессии. Профессий Икрамов сменил немало. Он водил трактор на Севере, рубил лес на Урале и ставил спектакли в городе Джамбуле. Но дело, конечно, не в самом жизненном опыте, а в том, как он отражен в творчестве писателя.

Часто критики говорят: «Раскроем книгу на любой странице». Звучит это красиво, но книжку критик открывает все-таки не на любой странице, а на той, на которой ему хочется. В данном случае давайте не будем хитрить и начнем с первой страницы.

«— Курсант Миршарапов, к доске, — строго сказала молоденькая учительница. — Пишите: «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь».

Курсант написал, положил мел и встал вполборота к классу.

— Та-ак. — Учительница глянула на доску. — Теперь, товарищи, посмотрите, правильно ли все написано. Если заметите ошибки, поднимите руку».

Но руки никто не поднял. Среди курсантов Ташкентского военного училища набо-

ра 1920 года авторитет курсанта Миршарапова был очень велик. И если Миршарапов написал так, значит так и должно быть.

«— Курсант Нурматов, — вызвала по журналу учительница, — скажите, правильно ли написано слово «крестьянин»?

Нурматов встал, широко улыбнулся и сказал:

— Наверно, правильно.

— Курсант Рузаев, как пишется слово «крестьянин»? — по слогам произнесла учительница.

Встал застенчивый Рузаев, покачался за партией, потом кивнул на доску:

— Наверно, так».

Слово «крестьянин» было написано неправильно, но дело не в этом. Мне кажется, что уже по этому первому отрывку читатель может представить себе и Миршарапова, и Рузаева, и Нурматова, и эти курсы.

У двадцатилетнего курсанта Миршарапова был уже немалый военный опыт, и не случайно М. В. Фрунзе поручил именно ему создание регулярных частей Красной Армии.

«Вы назначаетесь командиром кавалерийского эскадрона, который, я надеюсь, станет ядром будущей Красной Армии Хорезма. Армии там нет, — Фрунзе помолчал, — эскадрона тоже нет... Контрреволюция имеет там около трех тысяч сабель и новейшее вооружение... Вы понимаете, мы могли послать в Хорезм более опытного военного специалиста, чем вы. Но мы ведем гражданскую войну, и каждая настоящая победа в этой войне должна быть прежде всего победой политической».

История показала, что Фрунзе не ошибся, поручив Миршарапову такое сложное и ответственное дело.

В исторической литературе еще есть тенденция наделять героев знанием вещей, которых они не могли знать, и предвидением событий, которых они не могли предвидеть. Порой получается так, что герой знает настолько много, что все его действия становятся само собой разумеющимися, и поэтому, когда писатель рассказывает нам о подвигах своего героя, нас они не удивляют, мы вместе с писателем (который даже

не вглядывался в магический кристалл) предвидели их с самого начала.

Серьезной опасностью для каждого литератора (особенно для автора исторической или биографической книги) является иллюстративность.

Берется идея, кстати уже неоднократно отображенная в литературе, находится соответствующая ситуация (тоже не всегда новая), и герои начинают действовать, как фигуры при воспроизведении давно сыгранной шахматной партии. Спасти от иллюстративности может только живое ощущение писателем своего героя.

Гражданская война и становление советской власти всегда привлекали и еще будут привлекать к себе внимание многих поколений советских писателей. И среди множества книг, написанных на эту тему, книга К. Икрамова выделяется не только своеобразием материала, но и тем, что перед нами разворачиваются характеры людей, с которыми раньше мы не были знакомы.

Миршарапов не знал многого из того, что знаем мы. Но главное он знал: народу нужна советская власть, дехканам нужна земля и вода. Ему казалось, что каждый бой — последний, что победа где-то за ближним барханом. Но он был неутомим в воинском труде, и вера его не слабела.

В повести есть и яростные схватки с басмачами, и томительные переходы по безводным пустыням, и заседания военных советов. Но к чести автора надо сказать, что весь этот обязательный антураж военно-исторической книги не заслоняет главного — людей. Попробую познакомить читателя с главой «У него был тенор».

«Неожиданно в полку стало известно, что у командира второго эскадрона Рустама Рузаева — тенор. Что такое тенор, никто не знал».

Обнаружилось это так. Однажды утром Рустам Рузаев вместо утренней джигитовки оказался в бывшем ханском дворце Нурлабай. Он сидел у рояля и впервые в жизни пробовал подобрать какую-то простую восточную мелодию: Рузаев не заметил, как к нему подошел капельмейстер полка Исаак Гринберг, служивший прежде у хана в таперах.

«— Ну, молодой человек, — сказал капельмейстер. — Нехорошо. Разве этому вас учит ваша партия и ваш комсомол? Может быть, вы музыкант? Может быть, вы даже

капельмейстер? Я ведь не беру вашу лошадь и вашу саблю. Почему вы берете этот дорогой инструмент, будто это, простите, винтовка или даже, простите, ружье?»

Смушение командира эскадрона вполне удовлетворило старого музыканта. Они подружились. А через несколько дней Гринберг явился к Миршарапову и, шаркнув ичигами, доложил, что у командира второго эскадрона товарища Рузаева замечательный тенор, абсолютный слух, и ему необходимо учиться. Миршарапов внимательно выслушал доклад капельмейстера и спросил, не нужно ли Исааку Львовичу чего из обмундирования. Старик сказал, что из обмундирования ему ничего не надо, но ему совершенно необходим наган, потому что он хранит дома инструменты духового оркестра и боятся, как бы их не украли. В нагане ему было отказано.

— А насчет тенора разберемся, — пообещал Миршарапов».

Разобраться он не успел. Рустам Рузаев погиб. Его похоронили в бархане. «Отряд двинулся в путь. Кони шли рысью. Миршарапов скакал впереди, и лицо его, обдуваемое горячим ветром пустыни, не просыхало от слез».

«Тенор, — думал он. — Тенор». Капельмейстер объяснил ему, что тенор — это высокий мужской голос».

Живое дыхание тех лет сказывается не только в романтике подвигов и красоте человеческих характеров. Оно сказывается и во многих других с виду незначительных, но и неожиданных эпизодах. Так, Миршарапов спрашивает одного из бойцов: что тот сделает, если он, Миршарапов, перейдет к басмачам. Молодой красноармеец влюблен в командира, верит ему и без раздумья отвечает:

— И я с вами.

— Почему? — опешив, спрашивает его Миршарапов.

— Ваша голова светлей моей.

Для Миршарапова это удар.

Но автор не боится ставить героя в трудное положение. Так было в жизни, так есть в книге.

В повести много героев. Порой даже кажется, что их слишком много. Не все запоминаются одинаково. Но комиссар Иван Чертаков, Рустам Рузаев, Серафим Пензин или даже эпизодический персонаж Ахмет Хабибулин запомнятся читателю.

Вот, например, финал главы «Когда портилась соль».

Патрульный отряд нападает на мирный караван. Трибунал приговаривает к расстрелу командира отряда Шарипова и политрука Хабибулина. Расстрелять их должен Серафим Пензин.

«Протопаив по рассохшимся доскам коридора, он откинул простую щеколду и распахнул дверь.

— Выходи! — сказал он грубо.

Пензин дружил с Хабибулиным и боялся дать волю чувствам...

— Выходи, — повторил он тише.

Никто не выходил. Пензин заглянул в камеру и обомлел. Там был один Хабибулин. Толстая оконная решетка валялась на полу.

— Где Шарипов? — спросил Пензин, хотя и так все было ясно.

— Убежал, — равнодушно ответил Хабибулин.

— Куда?

— Не знаю. Ночью наши ординарцы решетку сломали. Говорят, бежим. Коней привели.

— А ты почему?

— Куда? — спросил Хабибулин. — Куда мне бежать?

В полдень из Хивы за город ехала телега, на которой спиной друг к другу сидели два политрука — Хабибулин и Пензин. Сзади пылило по дороге отделение роты особого назначения. В километре от города Пензин остановил лошадь, привязал вожжи к перекладине и сказал:

— Пошли, Ахмет.

Они пошли к яме, выкопанной для двоих.

— Может, у тебя какие просьбы будут? — дрогнувшим голосом спросил Пензин. — Ты скажи, я все выполняю.

— Нет, спасибо, Серафим.

— Может, передать кому что? — глядя под ноги, спросил Серафим.

— Нет, спасибо. Ничего никому не передавай.

— Тогда иди вперед».

Пензин не расстрелял Хабибулина. Но нельзя же бесконечно цитировать!

Мне еще хотелось бы рассказать и про старика Уста-Ходжу, который караулит

пленных басмачей, и про муллу, который плохо выговаривает слово «Ленин», и о трофейном гареме...

Конечно, не все в повести равноценно. И автора можно было бы упрекнуть в том, что противники советской власти изображены иногда упрощенно, традиционно. Так, английские разведчики Смитт и Гроули явно сродни многим иностранным разведчикам из многих наших книжек. И несмотря на то, что автор наделил их довольно оригинальными рассуждениями, сдобрил их беседы несколькими парадоксами, выбиться из схемы ему не удалось.

Жизнь всегда богаче любой схемы. При всей своей банальности эта истина всегда актуальна.

И когда я читаю, как голодные дехкане, силой согнанные Джунаид-Ханом для осады крепости, вдруг кладут на землю свои берданки и начинают есть дыни, мне кажется, что я это не прочел в книжке, а сам видел когда-то.

Просто и убедительно написаны лучшие сцены книги. Именно сцены, потому что зримость — ее главное достоинство. А главный недостаток, на мой взгляд, — это отступление с претензией на публицистичность.

Очевидно, хорошая публицистичность не противопоставлена художественному произведению, плохо, когда отступления ничего не добавляют к тому, что уже сказано. А в книге сказано убедительно и просто, что наша победа в гражданской войне в этой далекой и отсталой стране, в бывшем Хивинском ханстве, была победой политической, победой наших идей. И не зря в повести приводится подлинный текст телеграммы Фрунзе Ленину:

«...Таким образом, в военном отношении мы сейчас представляем ничтожество. В политическом отношении наше положение в Закаспии в данный момент вполне благоприятно».

В моей рецензии нет глубокого анализа повести К. Икрамова. Да я и не собирался этого делать. Я хотел бы, чтобы, прочтя рецензию, читатель взял эту книгу в библиотеке (в магазине ее уже нет) и прочел ее сам.

**В. ВОЙНОВИЧ.**

★

## СВЯЗЬ ВРЕМЕН

А. Бруштейн. Весна. Повесть. Редактор И. Кротова. Детгиз. М. 1961. 319 стр.

Я люблю перечитывать письма Чехова. Не только потому, что в них раскрывается ум, тонкая, деликатная натура этого удивительного человека, не только потому, что чтение этих писем доставляет огромное художественное, эстетическое наслаждение. В письмах этих непосредственно, глубоко и разносторонне отражено время, в которое жил Чехов. Читая их, понимаешь и ощущаешь черты и черточки тогдашней литературной, социальной, политической жизни с такой ясностью и убедительностью, какой не может дать самое основательное историческое исследование и какую дает далеко не всякое литературное произведение.

И еще одно. Письма Чехова не составляют и не представляют только, так сказать, историческую ценность. Из них мы, люди шестидесятых годов двадцатого века, можем почерпнуть очень много человечески необходимого и поучительного, особенно сейчас, когда с такой серьезностью, с такой общественной значительностью стоит вопрос о моральном облике, о нравственном достоинстве человека.

Наверное, у многих бывает так: читаешь одну книгу и вдруг ощущение какой-то необходимой связи и неодолимой внутренней потребности потянет взять с полки другую. Перелистать последние тома сочинений Чехова, где помещены его письма, мне захотелось, когда я закрыла повесть А. Бруштейн «Весна» — завершающую часть автобиографической трилогии «Дорога уходит в даль...». По-видимому, в основе лежало желание поверить и повторить возникшее от чтения повести ощущение эпохи, отдаленной от нас уже более чем полувеком. Было и другое. Книга А. Бруштейн — я говорю сейчас обо всей трилогии, а не только о последней ее части — написана с такой любовью к людям, с такой болью за их страдания и ошибки, что вся она кажется большим письмом к друзьям, дорогим и близким. И, наверное, поэтому, говоря об этой книге, не хочется заниматься разбором литературных удач и недостатков, толковать, например, о композиции, которая строгому критику может показаться несколько рыхлою из-за выбранного автором способа изложения, — а по сути дела выбранного правильно и точно для такой книги.

Если сравнивать «Весну» с двумя первыми частями трилогии, то можно сказать, что эта повесть более публицистична по самой манере изложения и что оттого некоторые главы ее кажутся суховатыми. Но, пожалуй, справедливее будет сказать, что «Весна» строже, что в ней меньше радости и уюта, — кончилось детство героини повести Саши Яновской, она собирается вступить в самостоятельную жизнь, и хотя ее собственный жизненный опыт не слишком велик, ей уже многое пришлось увидеть и понять в окружающем.

Это окружающее властно заявляло о себе и в страстном волнении тех людей, которых Саша привыкла любить и уважать, по поводу так называемого дела Дрейфуса; и в постоянных, обыденных столкновениях «бедных» и «богатых», хотя бы в том институте, где Саша учится; и в «социологических» разговорах Саши с ее учениками Степой и Шниром, подростками, работающими в типографии; и в тех событиях, которые произошли в Вильно после первой демонстрации 1902 года...

На странице «Весны» история врывается более резко и непосредственно, чем это было в первых двух частях трилогии. Здесь больше событий, точно датированных и точно, порою документально, описанных. А. Бруштейн при этом не только рассказывает о том, что происходило в 1898-м, 1901-м или 1902 году. Она, «разбивая» повествование, заглядывает вперед, иногда далеко вперед, «дорассказывает» происшедшее, подводит ему общественный итог с позиций человека, пережившего не только само событие, но и его исторически необходимые последствия. Читая повесть, задаешь себе вопросы: закономерно ли это, не нарушает ли это целостность образов и замысла? Нет, не нарушает. Все это делается с такой внутренне оправданной убежденностью и с такой логикой, что оказывается органичным. И, наверное, сделай автор в подобных главах попытку «беллетризовать» повествование, снять «излишнюю» документальность, произведение проиграло бы, что-то утратило бы из своего обаяния, своей страстности.

Вот один из основных эпизодов повести и одна из последних ее глав. Май 1902 года

Саша готовится к выпускным экзаменам в институте. В городе недавно происходили серьезные события: первомайская демонстрация и затем — отвратительно циничная жандармская расправа с ее участниками, которых по приказу генерал-губернатора фон Валя и в его присутствии секли розгами. За эти подлые розги, за унижение прекрасных своих товарищей хочет отомстить губернатору двадцатидвухлетний сапожник Гирш Лекерт. Он стреляет в губернатора, когда тот выходит из цирка. Лекерта тут же схватили, судили военным судом и приговорили к смертной казни. «Лекерт был повешен 28 мая (по старому стилю) 1902 года, в 3 часа 40 минут утра», — так кончает А. Бруштейн главку о казни, главку, в которой языком скупым точным и внутренне напряженным рассказано о смерти Лекерта. Писательница цитирует дикое, человечески невыносимое письмо добровольного палача из уголовников Филиппова, обращающегося к начальству с претензией: пусть-де ему дадут «работу». Он получил эту «работу» — его специально привезли в Вильно повесить Лекерта...

Письмо Филиппова и все обстоятельства смерти Лекерта стали известны лишь через несколько десятилетий. Пятнадцатилетняя Саша Яновская не знала этого. Должна ли была умолчать об этом А. Бруштейн, чтобы, так сказать, не нарушить хронологическую цельность повести? Очевидно, и не должна была и не могла умолчать, и то, что она написала об этом, и то, как она это написала, подняло повесть, сделало ее значительней и сильней.

Да, Саша не знала тогда, как умер Лекерт. Но она стала случайной свидетельницей того, как ее отец выгоняет вон пришедшего к нему сразу после присутствия на казни тюремного врача. И этот поступок отца кажется Саше совершенно естественным, он не вызывает у нее недоумения или замешательства; она ошеломлена тем, что отец после ухода незваного посетителя... плачет. Этот, как говорит писательница, «беспомощный, неумелый мужской плач, когда слезы стекают по носу и попадают в рот», — плач отчаяния, это плач человека, который не может помешать совершенно подлого дела, хотя он и знает, что есть уже социальная сила, должная уничтожить существующий строй со всеми его подлыми делами и порядками.

Бывает так, что человек в ранней юности,

даже еще в детстве сталкивается с несправедливостью, горем, подлостью, что он видит вдруг перед собой зверино-злобную или тупо равнодушную морду мещанства и пошлости. Если сложная совокупность обстоятельств, формирующих ум и характер, складывается так, что никто и ничто не помогает подростку противостоять этим впечатлениям, трудно поручиться, что из него выйдет человек честный и нравственно здоровый.

В жизни Саши Яновской сложилось не так. Вокруг семьи, в которой она выросла, всегда группировались светлые сердцем люди. Они становились близкими друзьями ее отца, шли к нему посоветоваться, поделиться мыслями и новостями, попросить помощи или помочь. Это были разные люди, но главным образом интеллигенты-разночинцы, если и не прямые участники революционных кружков и организаций, то тянувшиеся ко всему тому, что опровергает и подтачивает «существующий строй». Необходимость труда для уважающего себя человека, честность и прямота, неприятие барства и кастовости вообще — вот первые «социальные заповеди», которым учат Сашу отец и его друзья, а действительность постоянно доказывает и подтверждает их правоту.

Воссоздаваемый писательницей с особенной проникновенной достоверностью мир добрых человеческих чувств, глубокое уважение к таким чувствам и к хорошим поступкам, умение рассказывать об этом просто и без прикрас — вот, пожалуй, в чем секрет светлого ощущения, которое оставляет по прочтении книга А. Бруштейн.

Между тем события, о которых говорится в повести, отнюдь не носят идиллического характера. Об этом, наверное, можно судить даже по тому немногому, что сказано было выше о содержании книги. Доброта, честность, высокая человеческая порядочность не могут быть результатом благогостного уединения в тихом и уютном семейном гнездышке, вдали от всех тех передряг, что сотрясают мир. В мире социального неравенства человек с самых ранних лет должен воевать за эти качества в себе и в других — это одна из главных мыслей в трилогии А. Бруштейн. Герония трилогии Саша Яновская постепению приходит к пониманию того, что многие и дурные и добрые черты людей социально обусловлены и что все честное и светлое в человеке восстает против общественной несправедливо-

сти, против социального уклада, порождающего несправедливость. В том, как показывает это А. Бруштейн,— сила гражданского звучания ее книги, ее актуальность, хотя речь идет о событиях довольно далекого прошлого.

В первой части повести «Весна» говорится о том времени, когда весь цивилизованный мир был взволнован делом о ложном обвинении в государственной измене, а затем об осуждении в каторгу французского офицера Альфреда Дрейфуса. Нет нужды излагать здесь подробности этого нашумевшего, тянувшегося в течение двенадцати лет процесса,— они общеизвестны. Состряпавшие дело реакционеры, конечно, не предполагали, что оно вызовет такой бурный взрыв общественных страстей и противоречий, что эти противоречия достигнут такого социального накала, и не в одной только Франции. Во многих странах, в том числе и в России, общество разделилось в своем отношении к делу Дрейфуса на два резко противоположных лагеря: правящая бюрократия и поддерживающее ее тупое и злобное мешанство всех мастей на одном полюсе; передовая, честная часть общества — революционные рабочие, прогрессивная интеллигенция — на другом. Дрейфус был еврей, и реакция прибегла к одному из излюбленных способов заглушения социальных противоречий — антисемитским провокациям.

Живо и достоверно воспроизводит А. Бруштейн атмосферу, которая создалась тогда в Вильно. Собирались и взволнованно обсуждали перипетии дела; горячо поддерживали позицию Эмиля Золя, смело выступившего на защиту Дрейфуса; нетерпеливо ждали очередного номера газеты; с жадным вниманием слушали очевидцев, побывавших во Франции...

Так было везде. И когда, окончив повесть, я взялась перечитывать письма Чехова того времени (Антон Павлович был тогда на юге Франции и, таким образом, тоже оказался «очевидцем»), я нашла строки, с которыми удивительно совпадают по тону и настроению первые главы «Весны».

«У нас только и разговору, что о Золя и Дрейфусе. Громадное большинство интеллигенции на стороне Золя и верит в невинность Дрейфуса... Французские газеты чрезвычайно интересны, а русские — хоть брось. «Новое время» просто отвратительно», — пишет он Ф. Д. Батюшкову.

Через несколько дней Чехов написал письмо А. С. Суворину, издателю «Нового времени», письмо, в котором он подробно изложил свое отношение к делу Дрейфуса и которое, по свидетельству М. П. Чехова, послужило началом окончательного разрыва писателя с его давним издателем.

«...Заварилась мало-помалу каша на почве антисемитизма, на почве, от которой пахнет бойней», — так определяет Чехов существо дела. «Вы пишете, что Вам досадно на Золя, а здесь у всех такое чувство, как будто народился новый, лучший Золя», — говорит он. И дальше: «Вспомните Короленко, который защищал мултановских язычников и спас их от каторги».

Читатели трилогии А. Бруштейн, очевидно, помнят, что во второй ее книге нашло свое место отражение мултанской трагедии. В конце первой части «Весны» писательница говорит: «Вместе с делом мултанских вотяков дело Дрейфуса воспитало в нас глубочайшее уважение к высокому долгу писателя-гражданина — долгу, которому так самоотверженно служили русский писатель Владимир Короленко и французский писатель Эмиль Золя».

Долг писателя-гражданина... Трилогия А. Бруштейн свидетельствует о том, что ее автор в высокой степени наделен чувством такого долга. Рассказывая о прошлом, писательница испытывает ответственность за настоящее — этим пронизана вся ее книга, обращенная (нельзя не подчеркнуть этого) к подросткам, к юношеству. Воспринимать опыт прошедшего или спорить с ним можно, только зная его, чувствуя его. Чтобы оценить тот вред, который приносят в нашей современной жизни остатки старого, собственнического, мешанского (а они, мы это знаем, бывают ой как цепки и разнообразны!), чтобы действительно бороться с этими остатками, надо хорошо знать то, что их породило, а не отмахиваться от такого знания, не делать вид, что их и вообще-то у нас не существует, как это, к сожалению, иногда бывает и в жизни, и в литературе, и в литературной критике.

И чтобы оценить красоту настоящего, надо знать, какую ценой досталась она тебе. Надо любить то доброе, светлое, чистое, что было в прошлом.

Всему этому служит книга А. Бруштейн.

Л. ЛЕБЕДЕВА.

## МАТЕРИАЛ И ИССЛЕДОВАНИЕ

А. Метченко. Творчество Маяковского 1925—1930 гг. Редактор А. Марусич. «Советский писатель». М. 1961. 652 стр.

Даже среди множества работ, посвященных Маяковскому, монография А. Метченко «Творчество Маяковского 1925—1930 гг.» выделяется своей обстоятельностью, фундаментальностью, разнообразием и обилием найденного и использованного критиком историко-литературного материала.

Если А. Метченко анализирует, скажем, стихотворение «Тозаришу Нетте — пароходу и человеку», он хотя бы кратко сообщает не только об обстоятельствах гибели, но и о жизненном пути героя. Когда заходит речь о «Разговоре с фининспектором о поэзии», он напоминает об обстоятельствах, послуживших поводом для создания стихотворения («неопределенное положение, в котором находились в те годы писатели в финансово-правовом отношении») и даже процитирует выступление Л. Леонова, протестовавшего против включения писателей «в один ковчег со священнослужителями, «кустарями без мотора» и всякими иными стригомыми». Если внимание автора задержалось на главке о Блоке из «Хорошо!», то он воскресит и охарактеризует почти забытый спор о Блоке в критике двадцатых годов, который «перерастал в спор о методе». Приступая к исследованию «Клопа», он рассказывает о той анкете, которую, опубликовав статью Горького «О мешающих», провела среди деятелей литературы и искусства редакция «На литературном посту». Разбирая образ Чудакова из «Бани», А. Метченко обращается и к мхатовскому спектаклю «Чудак» А. Афиногенова, и к истории создания сатирического журнала «Чудак», и к горьковскому толкованию названия и идеи этого журнала.

Я выбрал лишь несколько примеров (можно без труда увеличить их число), чтобы показать, что А. Метченко стремится понять и объяснить творчество Маяковского, восстанавливая жизненную и литературную обстановку тех лет, настойчиво отыскивая жизненные и литературные обстоятельства, которые так или иначе нашли отклик в произведениях поэта или помогают глубже проникнуть в их содержание. Некоторые главки его работы так богаты материалом, характеризующим историко-литературный

процесс, что вполне могли бы претендовать и на более широкое название — не просто «Творчество Маяковского», а «Творчество Маяковского и советская литература (или поэзия) таких-то лет». С этой точки зрения как особую удачу я отметил бы те страницы книги, которые посвящены «социальному заказу» и полемике вокруг этого лозунга, вступлению Маяковского в РАПП, отношениям его с рапповцами в последние месяцы жизни, смерти поэта и реакции на нее со стороны руководства РАППа. Здесь А. Метченко создает гораздо более полную и ясную картину, чем кто-либо до него.

Можно, конечно, закончить разговор об этой стороне работы, прибегнув к весьма распространенной формуле: «Серьезное достоинство рецензируемой книги — большой материал, который автор вводит в научный обиход». Но формула эта, к сожалению, не дает ни малейшего представления о труде, затраченном исследователем. А об этом хочется сказать — о многих месяцах, проведенных в библиотеках над комплектами старых газет и журналов, о розысках в архивах, где счастливые находки ожидают лишь тех, кто не жалеет времени и сил. Только зная это, можно представить себе, какой труд вложен в книгу «Творчество Маяковского».

Казалось бы, обилие материала в литературоведческой книге — достоинство бесспорное. Но, видимо, на свете не существует абстрактных добродетелей: нередко недостатки оказываются близкими «соседями» очевидных достоинств. Стоит утратить чувство меры или «контекста», и то, что обогащало исследование, вдруг становится помехой, уводит мысль в сторону, а то и искажает ее. К сожалению, это относится и к работе А. Метченко. И дело не просто в том, что кое-где автор явно злоупотребляет подробностями, не содержащими ничего нового, «утяжеляет» изложение, доказывая уже доказанное, лишняя раз подтверждая то, что уже не требует подтверждения, — особенно сетовать на это не приходится, в конце концов монография не роман и не обязательно должна читаться легко. Беда в другом. Случается, что помимо воли автора привлеченный им обильный материал

вступает в противоречие с его же выводами. Происходит же это потому, что в одних случаях значение тех или иных фактов автором преувеличивается, в других — случайное совпадение рассматривается им как прямая и непосредственная связь и т. д. и т. п. А. Метченко много раз говорит о том, что Маяковский был поэтом, находившимся в гуще жизни, разведывающим и осваивающим новые пласты действительности, прокладывающим путь по литературной целине. А в подтверждение этого иной раз приводится такой материал, который невольно рождает мысль о том, что знание жизни поэту давалось нетрудным путем внимательного и систематического чтения газет (лишь «к середине двадцатых годов, — заявляет А. Метченко, — газета как главный источник знакомства с жизнью уступает место непосредственным наблюдениям»), что первооткрывательство сведено к отклику на злобу дня, а утверждение нового выглядит как иллюстрация общеизвестных положений, щедро заимствованных из газетных заметок и передовиц. Нередко приведенный критиком материал заставляет думать, что поэма или стихотворение Маяковского обладают главным образом достоинствами очерка, фельетона, произведение оказывается лишенным поэтической крылатости, силы обобщения. Требование «конкретности» выдвигается А. Метченко как один из существенных критериев художественности. Он пишет о «Хорошо!»: «Не менее сильно, чем в фельетонах, выступает в поэме пафос конкретности», — и это в его устах очень высокая оценка.

То и дело логика фактов, на которые опирается критик, анализируя творчество Маяковского, оказывается сильнее его правильных деклараций о величии Маяковского, о мощи его поэзии. Как же это получается?

Рассказывая, например, историю создания стихотворения «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», А. Метченко приводит обширную цитату из опубликованной в «Правде» статьи А. Аросева: «Тяжелая, ответственная, но невидная работа дикпурьера выпала на долю товарища Нетте. Работа нервная, работа, при которой личная жизнь почти полностью вычеркивается, при которой даже от общественно-партийной жизни можно не отстать лишь при глубокой идейной связанности с ней, при которой трясушийся и несущийся поезд служит и личной квартирой, и местом службы, и чужь

ли не местом своеобразного отдыха, при которой на вокзалах, в купе вагонов, на неприветливых улицах чужих и подчас враждебных городов можно всегда ждать нападения, выстрела из-за угла, при которой надо не разлучаться с револьвером и быть в буквальном смысле на все всегда готовым, — вот какая работа выпала на долю незабываемого товарища Нетте». И тут же в одной короткой фразе критик сообщает: «Маяковский лично знал Теодора Нетте». Нетрудно заметить, что в стихотворении Маяковского и в статье А. Аросева некоторые детали совпадают. Быть может, Маяковский и читал статью А. Аросева. Но, право же, его собственные впечатления от встречи с Нетте (если судить хотя бы по стихотворению) были богаче и интереснее. Конечно, очень хорошо, что А. Метченко отыскал статью А. Аросева. Но использовал он ее не лучшим образом, возвращая читателей к мысли, что для Маяковского газета была «главным источником знакомства с жизнью».

Может быть, такое ощущение не возникало бы, если бы приведенный пример был единственным. Но, увы, незаметно для себя, движимый самыми лучшими намерениями, исследователь то и дело лишает поэта творческой самостоятельности. Вот он пишет об очерке «Мое открытие Америки»: «Некоторые его (Маяковского. — Л. Л.) наблюдения совпали, например, с наблюдениями тогдашнего вице-президента Академии наук СССР В. А. Стеклова, выпустившего свои путевые очерки в год поездки Маяковского в Америку. Сопоставление очерка Маяковского с книгой ученого убеждает в том, что главным для поэта было точное, объективное освещение фактов, а не стремление к необычности». Но для того чтобы доказать это положение, можно было, пожалуй, и не обращаться к книге В. Стеклова, тем более что приводимые затем автором сопоставления касаются преимущественно того, что не без оснований называют общими местами. А ложное ощущение, будто поэт идет по чужим следам, возникает. Возникает оно и тогда, когда А. Метченко сообщает: «Подробное изложение событий накануне и в день взятия Зимнего, расположение полков красногвардейских отрядов и т. д. Маяковский мог взять из печатных источников. В частности, в «Правде» 7 ноября 1926 года была опубликована статья О. Дзениса «Под Зимним дворцом», изобиловавшая

нужными сведениями». Но ведь в поэме «Хорошо!» большинство «сведений» (если можно употребить это выражение, когда речь идет о поэтическом произведении) такого порядка, что вполне могли быть «взяты» поэтом, который в дни Октября находился в Петрограде, и из собственной памяти. И именно об этом следовало говорить в первую очередь.

Утверждая, что в поэме «Хорошо!» «большое место отводится песне как одному из выразительнейших средств реалистически правдивого воспроизведения эпохи», А. Метченко ссылается затем как на первоисточник на фельетон М. Кольцова «Как мы веселимся», содержащий «интересный исторический экскурс под углом зрения, что пели за пореволюционные годы разные социальные группы». Он убежден, что «этот фельетон не мог не привлечь внимания Маяковского». Но по правде говоря, если бы даже А. Метченко с неопровержимой точностью установил, что Маяковский читал фельетон М. Кольцова, это ровным счетом ничего не меняло бы. Надо думать, что такие песни, как «Яблочко» и «Цыпленок», поэт мог ввести в поэму все-таки и совершенно самостоятельно, без подсказки М. Кольцова. Даже фамилия героини пьесы «Клоп» и та, оказывается, не принадлежит полностью фантазии поэта: «Ренессанс... Иронический смысл этой фамилии ясен, но откуда она попала к Маяковскому?» (Неужели сам поэт не в состоянии был что-нибудь придумать? — Л. Л.) В 1923 году в журнале «Россия» была напечатана статья Н. Устрялова «Обмирщение», в которой излагалась программа сменовеховского «возрождения» русского капитализма. В статье, в частности, давалось сменовеховское истолкование сатирического стихотворения Маяковского «О дряни». Мещанская канарейка расценивалась как символ непобедимости капитализма. Призывая шире открыть дверь для капитализма, Устрялов торжественно заявлял, что возрождение капитализма приведет «к подлинному русскому Ренессансу». Что ж, очень интересное свидетельство того, как сменовеховцы воспринимали нэп. Но как неудачно использовано оно критиком!

В чем же причина столь очевидного прочета опытного исследователя (первые работы А. Метченко о Маяковском появились еще до войны — двадцать с лишним лет назад)? Как же это получается, что он, всячески стремясь продемонстрировать богат-

ство и сложность творческого мира поэта, когда дело доходит до конкретного анализа, сплошь и рядом обедняет и упрощает поэзию? Главная причина в том, что анализ историко-литературного процесса дается автору монографии «Творчество Маяковского» несравнимо лучше, чем эстетический. Это вовсе не значит, что все характеристики литературного процесса, содержащиеся в монографии, глубоки и верны, а среди наблюдений эстетического порядка нет тонких и точных. Есть и то и другое — и неверные характеристики и тонкие наблюдения. Но это ни в коей мере не снимает вопроса о слабости эстетического анализа.

Иногда о работе литературоведа говорят: он должен разобрать, а затем собрать сложнейший механизм художественного произведения. Я бы, правда, предпочел в этом случае другое сравнение: не с механизмом, а с живым организмом, который, конечно, нельзя разобрать и собрать, а можно и нужно исследовать. Но если, не усложняя чересчур задачи, воспользоваться сравнением с механизмом, придется сказать, что А. Метченко, как правило, ограничивается лишь первой частью задачи — он «разбирает». «Разбирает», как говорится, «до винтиков и колесиков» — так что трудно себе представить, что эти «винтики» и «колесики» когда-то составляли «механизм», который «работал». Вот всего несколько (чтобы не загромождать изложение) образчиков такого анализа.

«Все изобразительные средства служат здесь цели — запечатлеть нарастание гнева. Это прекрасно выражено в движении ритма. Многоударный стих, хорошо передающий безмерность накопившегося в массах негодования, резко сменяется одноударным, как бы резюмирующим преступления Временного правительства или сообщаящим о решении, созревшем в народе, сжато, энергично, часто в одном коротком слове». Очень мало остается здесь от поэзии, так ничтожно мало, что невольно спрашиваешь себя: а есть ли вообще какая-нибудь нужда в таком разрушительном «демонтаже»? «Эпичность надвигающихся событий, при всем их внутреннем драматизме, подчеркивается также своеобразным концентрическим построением всей первой части. Каждая из главок экспозиции внутренне завершена, обладает своей заключительной кодой. В то же время все эти главки, внешне как будто мало связанные между собою,





шался под влиянием ложных теорий в лучшем случае односторонне, чаще — неверно»; «Критика большей частью оказывалась не в состоянии своевременно отделить плодотворное в этих поисках от ложного, ошибочного» и так далее в том же духе. Если А. Метченко приводит высказывания писателей о критике, то обычно только негативные: «Критика не направляет, а, наоборот, сбивает». Но, оставив в покое критику и где-то на соседних страницах обратиться к художественному творчеству, А. Метченко вдруг заявляет: «Дискуссия о новом человеке, о принципах его изображения в искусстве не могла должным образом развернуться в 1923 году: писатели в своем подавляющем большинстве не были к ней подготовлены» или: «Мало кто из авторов оказался подготовленным, чтобы дать на них (на вопросы о сущности и назначении искусства.— Л. Л.) правильный ответ». Значит, оказывается, не «безгрешны» были и писатели, когда вставала проблема эстетического осмысления и освоения новой действительности, и у них, ока-

зывается, не всегда были готовые решения. Отделять их от критиков, а тем более противопоставлять — неверно. Процесс становления нового творческого метода охватывал все области советского искусства — это был путь параллельных поисков и в художественном творчестве и в критике, и на этом пути были свои завоевания и просчеты, свои победы и заблуждения и у «практиков» и у «теоретиков». И если бы А. Метченко под этим углом зрения рассматривал развитие критической мысли той поры, картина литературного процесса двадцатых годов в его книге была бы богаче, а главное, вернее.

Достоинства и недостатки книги А. Метченко очевидны. И вряд ли нужно сводить их воедино, чтобы установить «среднеарифметическую» оценку. Недостатки монографии никак не ставят под сомнение тот труд, который вложил А. Метченко в книгу. А это вовсе не требует обидной снисходительности к слабостям работы.

Л. ЛАЗАРЕВ.



## НОВЫЙ РАБЛЕ

Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Перевод с французского Н. Любимова. Гослитиздат. М. 1961. 726 стр.

Русский читатель получил нового Рабле. Впрочем, это не совсем точно сказано. Не столько «нового», сколько «первого». До сих пор следовало верить на слово исследователям, изучавшим в оригинале великую книгу о Гаргантюа и Пантагрюэле. Перевод В. Пяста, единственный более или менее полный русский перевод бессмертного памятника французской культуры Возрождения, мог дать лишь бледное представление о первозданной мощи, о стихийной грандиозности оригинала. Не будем преуменьшать заслуги В. Пяста: благодаря его труду миллионы ознакомились с творениями «медонского кюре», полюбили добрых и жизнелюбивых великанов — любимцев французского народа. Но В. Пясту было не под силу единоборство с таким титаном Возрождения, как Франсуа Рабле. В его лексиконе не было и в помине громающих, грубых, вульгарных, веселых слов, которые громоздил друг на друга автор «Гаргантюа», радостно открывавший земную жизнь — прекрасную, поражающую красками, фор-

мами, запахами, звуками. В. Пяст отличался немалой ученостью, добросовестностью литератора и исследователя, живым чувством юмора. Конечно, В. Пяст был незаурядно талантлив. Но у него был другой, совсем другой талант, и его Рабле получился смиренным, интеллигентным, уравновешенным. В 1938 году Гослитиздат выпустил «Гаргантюа и Пантагрюэль» в переводе В. Пяста с гравюрами Гюстава Доре. Читая эту книгу, испытываешь странное чувство. Кажется, что знаменитый французский иллюстратор создавал свои рисунки к другому тексту. Гюстав Доре поражает нас плотской мощью образов, с его гравюр на читателя смотрят мудрые, хохочущие, сквернословящие, толстые гиганты или страшные в своей гротескности, в своем безобразии чудовища — монахи, схоласты, воинственные государи, лекари-шарлатаны... А самое книга сдержанна, слог ее уравновешан, нейтрально литературен. Порою кажется, что перед нами не перевод, а пересказ. И в самом деле — многие главы, набранные пе-

гитом, просто реферируют текст Рабле. Например, во вступлении к третьей книге переводчик сообщает: «Рабле считает, что он тоже может с пользой потрудиться в то время, как все заняты посильной защитой родины». А Рабле пишет так: «...Я не был призван и зачислен в ряды наших наступательных войск, ибо нашли, что я совершенно к тому не способен и хил, ни к какому делу, сопряженному с обороной отечества, меня также не приспособили, а между тем я бы ни от чего не отказался: кидал бы сено на воз, чистил бы навоз, забывая про свою хворость, таскал бы хворост, ибо совестно мне оставаться праздным наблюдателем отважных, красноречивых и самоотверженных людей, которые на глазах и на виду у всей Европы разыгрывают славное действо и трагическую комедию, совестно мне не напрягать последних усилий и не жертвовать тем немногим, что у меня еще осталось».

Эта поистине раблезнанская фраза выписана нами из нового перевода Н. Любимова. Рабле — это циклопический период, занимающий десяток строк; это озорная и ликующая игра словами; это неповторимое сочетание шутовства и высокой патетики. Такого Рабле нет в переводе В. Пяста. Такой Рабле появился теперь по-русски впервые — в переводе Н. Любимова.

Для книги Рабле характерно огромное лексическое богатство, поистине вакханалия слов. Читая ее в оригинале, не перестаешь изумляться этому пиришественному изобилию: так и кажется, что Рабле постоянно испытывает восторг первооткрывателя, словно перед ним впервые засверкали сокровища языка и он черпает их полными пригоршнями. Эту важнейшую особенность Рабле Н. Любимов сумел блистательно передать. Язык перевода отличается громадным разнообразием и изобилием. Вслед за оригиналом переводчик выстраивает в ряд десятки эпитетов: «Толстая, пухлая, большая, серая, красивая, малюсенькая, заплеванная книжица». Громоздятся друг на друга бесчисленные глаголы. Например, Диген, «обуреваемый жаждой деятельности, стал проворно двигать руками: уж он эту свою бочку поворачивал,

переворачивал, чинил, грязнил, наливал, выливал, забивал, скоблил, смолил, белил, катал, шатал, мотал, метал, латал, хому-

толкал, затыкал, кувыркал, полоскал, конопатил, колошматил, баламутил, пинал, приминал, уминал...»

и так далее, всего шестьдесят пять глаголов! А сколько их, этих бурных, стремительных глаголов в описании детства Гаргантюа (впрочем, у Рабле нет «описаний» — все у него бьется, движется, клокочет): маленький великан «точил зубы о колодку, мыл руки похлебкой, расчесывал волосы стаканом, садился между двух стульев, укрывался мокрым мешком, запивал суп водой, как ему аюкали, так он и откликался, кусался, когда смеялся, смеялся, когда кусался, частенько плевал в колодец, лопался от жира...» Особенное пристрастие Рабле питает к синонимам. Он любит наваливать в кучу слова, значащие почти одно и то же, и радостно смаковать эти языковые богатства. Н. Любимов весело, размашисто, смело и в то же время вполне точно следует за Рабле. На одной 31 странице мы найдем: сверхъестественный, изумительный, неодолимый, беспримерный, неизменный, несокрушимый, необычный; на 32 странице — нелепости, дурачества, уморительные небывальщины; унюхать, почуять, оценить... Списком таких примеров можно бы было заполнить десятки страниц. Вероятно, это и нужно сделать в другое время и в другом месте — перевод Н. Любимова заслуживает такого пристального изучения. Здесь же ограничимся только общей оценкой: Н. Любимов вернул Рабле его ренессансную хаотичность, его радость первооткрывателя языка.

В отличие от своего предшественника Н. Любимов увидел в прозе Рабле бурную стихию народной речи. Там, где у В. Пяста был ровный, нейтрализованный, гармонизованный литературный слог, у Н. Любимова поднялись волны просторечья. «Только слушайте, бездельники», — писал В. Пяст. «Только вот что, балбесы, чума вас возьми», — пишет Н. Любимов. Родившись на свет, Гаргантюа у В. Пяста произносит: «Пи-и-и-ть!» У Любимова он выражается куда энергичнее: «Лакаты!» В новом переводе дерзкие, корявые, иногда даже уродливые метафоры Рабле нашли себе живое русское соответствие. Если В. Пяст переводил «*mon cerveau caséiforme*» как «мой пищеносный мозг», то у Н. Любимова — «мой творогообразный мозг». А сколько смешных, энергичных бранных восклицаний в новом переводе! У В. Пяста все больше

«черт возьми!», «черт поберит!». А у Н. Любимова, как и в оригинале, брат Жан, Панург, Пантагрюэль весьма изобретательны по части брани; переводчик использует все ресурсы русского языка, не выходя, однако, за пределы литературной речи.

Своеобразная черта раблезианской прозы — сочетание различных стилей, из которых особое значение имеет стиль преувеличенной книжной учености — с одной стороны, и фамильярное, а подчас и вульгарное просторечье — с другой. Если в прежних переводах — особенно у А. Энгельгардта, но и у В. Пяста — это различие сглажено, то в новом переводе смело подчеркнуты характерные черты каждого из этих литературных или речевых стилей. С большой энергией и вкусом передаются и народные тирады, которых у Рабле так много и которые сообщают его книге особую яркость красок. В результате гораздо живее, сочнее стали характеристики таких персонажей, как брат Жан и Панург. В речах Жана-зубодробителя отчетливо выступают приданные ему автором черты бражника, ученого аббата, смельчака, народного богатыря, гуляки, сквернословя — недаром Панург шутливо называет его «блудоденше». А как удивительно весело и естественно сочетаются самые противоположные языковые стили в речах Панурга! Ограничимся тремя фразами из его рассказа о мытарствах в турецком плену:

«Турки, сукины дети, посадили меня на вертел, предварительно нашпиговав салом, как кролика: ведь я был до того худ, что иначе им бы меня не угрызть. И начали они меня живьем поджаривать. Вот, стало быть, поджаривают они меня, а я мысленно поручил себя божественному милосердию, помолвился святому Лаврентию, и все не покидала меня надежда на бога, что он избавит меня от этой муки, и избавление наконец совершилось воистину чудесное».

Новыми красками засверкал образ пресловутого схоласта и ратора, магистра Ианотуса де Брагмардо, — уговаривая Гаргантюа не брать парижских колоколов, он ссылается на то, что их когда-то не отдали «за большие деньги кагорским лондонцам, равно как и брийским бордосцам, коих пленники субстанциональные достоинства их элементарной комплекции, укореневающиеся в земнородности их квиддитативной натуре». А как уничтожающе звучат пародийные речи адвокатов из второй книги

и текст приговора, оглашаемого Пантагрюэлем! Или речи «великого английского ученого» и Труйогана — «философа эффектического и ирронического»!

Словотворчество — область, в которой так охотно упражнялся Рабле, — сильная сторона Н. Любимова. «Альмаматеринская», «многолагиноречье», «всеобличьяпримемлющий» — лишь наудачу взятые примеры. Своеобразным словотворчеством являются имена персонажей, которые у Рабле всегда смысловые и комические. Там, где у В. Пяста были невыразительные кальки оригинала вроде «принц де Гратель», «герцог де Турнемуль», у Н. Любимова появляются имена, фонетически оркестрованные на французский лад и в то же время ярко комические: герцог де Пустомель, де Карануз, де Шваль, принц де Парша, виконт де Вин, граф Буян, военачальник Молокосос, Адвокаты, которые в старом переводе выступают под именами Безколю и Гюмвен, теперь именуются сеньоры Лнжизад и Пейвино, позар получает великолепное имя Грязнуиль. Изобретательность переводчика можно было еще показать на перечисляемых во второй части (глава VII) книгах библиотеки святого Виктора. Из огромного числа наименований приведем только несколько: «Метелка проповедника, сочинение Дармода», «Судейское головомороченье», «Зубостучание у голытьбы», «Толстобрюшество председателей судов», «Ослоумне аббатов»...

Всех этих списков, перечислений, нагромождений в прежних переводах не было. Видимо, они казались скучными, непонятными, утратившими для современного читателя всякий интерес. А как они неизмеримо повысили сатирическую остроту книги Рабле! Оказалось, что простое и даже очень длинное перечисление может дать яркий художественный эффект. Наш читатель получил огромный подарок благодаря не только тому, что бледное стало ярким, но и тому, что пропущенное стало на свое место. Это относится и к таким блестящим главам, как «Беседа во хмелю» (V глава I книги), «О том, что означают белый и голубой цвета» (X глава I книги), и — что особенно важно — к стихам. В книге Рабле множество стихотворных вставок. До сих пор они пропускались как слишком вольные или непонятные. Для нового издания их перевел Ю. Корнеев. Об этом следует сказать особо.

Стихи Рабле очень сложны по форме.

Иногда переводчику приходилось строить на двух рифмах большое стихотворение, и он неизменно с честью выходил из испытания. «Надпись на главных врагах Телемской обители» принадлежит к числу удач Ю. Корнеева. Из семи строф приведем одну — читателю будет ясно, каких важных красот лишился Рабле в прежних изданиях, где не было этих стихов:

Идите мимо, скряга-ростовщик,  
Пред кем должник трепещет разоренный,  
Скупец иссохший, кто стяжать привык,  
Кто весь приник к страницам счетных книг,  
В кого проник бесовский дух маммоны,  
Кто иступленно копит миллионы.  
Пусть в раскаленный ад вас свергнет черт!  
Здесь места нет для ваших скотских морд.

Ваши морды тут  
Сразу же сочтут  
Обликами гадин:  
Здесь не любят жадин,  
И не подойдут  
Ваши морды тут.

Издательство поступило правильно, смело сочетав под общим переплетом одного

из видных и опытных мастеров искусства перевода Н. Любимова, уже известного воссозданием на русском языке «Дон Кихота», «Севильского цирюльника», «Женитьбы Фигаро», «Госпожи Бовари», «Тартарена из Тараскона», — с молодым переводчиком Ю. Корнеевым. Опыт этот дал отличные результаты. Нельзя не отметить и стилистическое единство, объединяющее стихи Ю. Корнеева и прозу Н. Любимова: и то и другое — Рабле, прочитанный очень сходным образом. Большая заслуга здесь принадлежит редактору перевода, тонкому знатоку французской литературы эпохи Возрождения профессору А. Смирнову.

Отличную книгу выпустил Гослитиздат, — книгу, в которой проза заново открывает нам мудрого веселого Рабле, стихи гармонически сочетаются с прозой и добавляют к книге многое, о чем прежде читатель мог только гадать, а великолепные рисунки Гюстава Доре — наконец-то! — оказываются в действительном соответствии с текстом.

Е. ЭТКИНД.

★

### Политика и наука

#### ДОКУМЕНТЫ ПРОЛЕТАРСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

Из истории международной пролетарской солидарности. Документы и материалы. Глазная редакция: Г. А. Белов, И. Т. Виноградов, Б. А. Гаврилов, Д. М. Кукин, А. И. Логинова, Н. В. Матковский, Г. Д. Обичкин, И. А. Смирнов, Г. В. Шумейко, Л. И. Яковлев.

Сборник 1. Боевое содружество трудящихся зарубежных стран с народами Советской России (1917—1922). 575 стр.

Сборник 2. Пролетарская солидарность трудящихся в борьбе за мир (1917—1924). 560 стр.

Сборник 3. Международная солидарность трудящихся в борьбе с наступлением реакции и военной опасностью (1925—1927). 544 стр.

Сборник 4. Международная пролетарская солидарность в борьбе с наступлением фашизма (1928—1932). 592 стр.

Сборник 5. Международная солидарность трудящихся в борьбе с фашизмом, против развязывания второй мировой войны (1933—1937). 556 стр.  
«Советская Россия». М. 1957—1961.

У нас есть международный союз, который нигде не записан, не оформлен. ничего не представляет из себя с точки зрения «государственного права», а в действительности, в разлагающемся капиталистическом мире представляет из себя все», — так говорил В. И. Ленин еще в 1920 году.

Этой великой силе, сцементированной мысли, чаяния и волю миллионов людей земли, — братской солидарности трудящихся

всех стран — посвящена обширная серия документальных публикаций, изданная Главным архивным управлением СССР.

В пяти объемистых книгах более двух тысяч страниц, более двух тысяч документов. Том за томом, начиная с сорокалетия Октября, выходит в свет эта серия документов и материалов, плод кропотливой, тщательной работы историков-архивистов не только нашей страны, но и многих стран социализма.

Первый том серии посвящен боевому содружеству трудящихся зарубежных стран с народами нашей страны. Военнопленные империалистической войны — немцы, венгры, чехи, болгары, словаки, рабочие из Китая, Кореи, Бельгии и Франции, а их в России к 1917 году оказались сотни тысяч человек — выбрали для себя путь революции и пролетарской борьбы. В Петрограде возник Революционный союз китайских рабочих, в Москве — Союз военнопленных социал-демократов-интернационалистов, в Омске — Революционный центр венгерских военнопленных. В боях за советскую власть в Одессе участвовали бойцы интернациональной Красной гвардии — югославы под командованием легендарного Олеко Дундича, чехи, китайцы, румыны. В Томской губернии за установление власти Советов сражались военнопленные Томского лагеря, среди которых был Ференц Мюнних. В марте—апреле 1918 года в нашей стране были образованы иностранные группы РКП(б), которые объединились в Федерацию иностранных групп РКП(б) под руководством славного интернационалиста товарища Бела Куна.

Когда враги напали на молодую Советскую страну, против интервентов плечом к плечу с народами Советской республики выступили и боевые интернациональные формирования, созданные в восьмидесяти пяти пунктах страны, — первый коммунистический отряд, сформированный в Москве Тибором Самуэли, китайский батальон Саян Фу-яна, интернациональные отряды Ярослава Гашека в Самаре, Қеллиера Шандора в Саратове, Пау Ти-сана во Владикавказе и многие другие. Боевые сводки и рапорты частей, приказы о награждении героев, письма бойцов и командиров подробно знакомят читателя с боевой деятельностью славных формирований интернационалистов на всех участках борьбы против интервентов Антанты и белогвардейцев.

Со второго тома ареной событий служит уже весь мир, все континенты. Мы видим, как растет, сплачивается, крепнет союз трудящихся всех стран, в каких формах осуществляется лозунг «Пролетарии всех стран, соединитесь!».

С первых дней победы Октября рабочий класс, угнетенные всего мира увидели в русской революции свой маяк, свое будущее. Это выразилось в широком движении пролетарской солидарности с Советской

Россией, в борьбе против военной интервенции 1918—1920 годов. «Ни единой винтовки, ни одного патрона, ни одного человека против родины трудящихся!» — таким был боевой клич рабочих Италии в годы интервенции. Приветствуя своих моряков, отказавшихся участвовать в антисоветском походе на Черном море, французские пролетарии противопоставили политике войны и интервенции требования мира и признания Советской России. Особенно ярко показаны в сборнике документы движения «Руки прочь от Советской России!» в 1920 году, где активную роль играл английский пролетариат.

В книгах приведены и документы ответной помощи советских рабочих своим братьям, бастующим в странах капитала.

Одним из ярких проявлений пролетарской солидарности явилась помощь рабочим всех стран английским горнякам в 1926 году, когда пять миллионов английских пролетариев героически объединились во всеобщей стачке.

Через тысячи документов революционной борьбы трудящихся всех стран проходит ясная мысль: СССР — крепость и оплот трудящихся земли; самим фактом своего существования Советский Союз служит делу мира.

Еще в 1920 году, отвечая английскому корреспонденту «Дейли ньюс», В. И. Ленин иронически предлагал заключить договор с антибольшевистской буржуазией всех стран о регулярной посылке делегаций трудящихся в Советскую республику, чтобы те имели возможность своими глазами увидеть правду. Этой правды боялся и бонтея империализм. За этой правдой приезжали и приезжают к нам делегации рабочих и крестьян. В 1925—1926 годах СССР посетили двадцать четыре зарубежные делегации профсоюзов, а в 1927—1928 годах таких делегаций насчитывалось уже пятьдесят три, и в них участвовали свыше тысячи двухсот человек.

В честь десятилетия Октября в Москве был созван первый Всемирный конгресс друзей СССР — трудящихся тридцати капиталистических стран: коммунистов, беспартийных, социал-демократов, интеллигентов, ветеранов революционного движения.

В документах делегаций, посетивших СССР в 1934 году, мы находим письмо кубинской делегации: «Псы империализма не ограничиваются лишь одной клеветой на

Советский Союз; они стараются всеми средствами развязать войну против страны, которая является гордостью и отечеством мирового пролетариата... Мы, кубинские пролетарии, вместе со всем международным пролетариатом клянемся с оружием в руках защищать Советский Союз».

На рубеже двадцатых и тридцатых годов во многих странах развернулось движение рабочих и крестьянских корреспондентов революционной печати, установилась письменная связь многих из них с советскими газетами. Это была особая форма интернациональной солидарности. Только архангельская газета «Правда Севера» за пять лет получила четыре тысячи писем.

Поистине пророчески звучит один из документов братской Чехословацкой компартии, относящийся к этому времени. В 1930 году газета «Руде право» сообщала о телеграмме из Москвы: «Вчера начал работать трактор, полученный от вас...» Чешские товарищи откликались на эти слова: «Когда-нибудь будем телеграфировать мы им: «Вчера у нас началась новая эра истории, состоялось первое заседание Совета рабочих и крестьянских депутатов, рабоче-крестьянского правительства!» Тогда наши русские товарищи отплатят нам за этот первый трактор тем, в чем мы будем наиболее нуждаться».

Документы сборника убедительно показывают, что интернационализм — неотъемлемая часть идеологии трудящихся. Глубоко поучительны документы коммунистических партий разных стран, резолюции рабочих собраний и митингов, подтверждающие это вопреки измышлениям националистов, предательству II Интернационала, всей подрывной деятельности буржуазии.

«Куба охвачена войной. По приказу Уолл-стрита убивают кубинский народ, сражающийся за свое освобождение... Рабочие Нью-Йорка! Студенты! Все друзья кубинского народа! Присоединяйтесь к демонстрации протеста!.. Боритесь против американской интервенции на Кубу!» Что это? Сегодняшний призыв? Нет, это документ нью-йоркского городского комитета Компартии США, датированный 12 марта 1935 года. По этому призыву было приостановлено все движение в нижней части Нью-Йорка и более пяти тысяч демонстрантов прошли там с флагами и знаменами: «Руки прочь от Республики Кубы!»

Большого размаха достигло движение

интернациональной солидарности с народами Эфиопии (Абиссинии), когда на эту свободолюбивую страну напали итальянские фашисты.

Мы читаем в сборниках призывы французских коммунистов и выступления против колониальной войны в Марокко и Сирии, за поддержку борющегося Алжира; коммунисты Англии обращаются со словами горячей поддержки к народам Индии, угнетаемым английским империализмом; пролетарии всех континентов объединяются под лозунгом «Руки прочь от Китая!».

Угроза войны и фашизма сплотила народный фронт во многих странах. Со страниц публикуемых документов на нас глядят Анри Барбюс, Марсель Кашен, Георгий Димитров, Мартин Андерсен-Нексе, Михаил Кольцов — подлинны рыцари мира и правды. Их речи, выступления, обращения, посвященные борьбе против фашизма и войны, со всей силой звучат и сегодня.

Борьба народов Испанской республики против фашистской интервенции — первый вооруженный отпор нацистской агрессии, незабываемая в истории страница героизма и мужества.

Сборники воскрешают драматическую историю первых всемирных конгрессов против войны и фашизма. Вот обращение Анри Барбюса, Романа Роллана, поддержанное А. М. Горьким, — о подготовке первого Всемирного антивоенного конгресса в 1932 году. Швейцарские власти запретили проводить конгресс в Женеве, и он созван в Амстердаме. Сквозь все преграды сюда собираются более двух тысяч посланцев мира от двадцати девяти стран. Но голландское правительство не допустило сюда советскую делегацию. И в дни конгресса в Москве проходят митинги трудящихся. Они направляют свой наказ антивоенному форуму, проводят сбор средств в фонд мира. Наказы многотысячных митингов подписаны секретарем МГК ВКП(б) Н. С. Хрущевым, рабочими, учеными, деятелями литературы и искусства, среди которых А. Бах, Вс. Иванов, Ф. Гладков, Б. Пильняк, Вс. Мейерхольд и другие.

Документы пятого тома сборника рассказывают о всемирных конгрессах рабочих, молодежи, студентов, женщин, о первом и втором Международных конгрессах писателей в защиту культуры... Каждая из этих ассамблей представлена в сборнике двумя-

тремя документами. Поэтому возникает вполне естественное стремление побольше узнать о работе конгрессов. Хотелось бы вновь прочесть прекрасные речи А. В. Косарева, возглавлявшего советские делегации на международных юношеских конгрессах в 1933 и 1936 годах. Досадно, что читатель не может ознакомиться с выступлениями советских делегатов И. Эренбурга, А. Толстого, М. Кольцова на конгрессах в защиту культуры в 1935 и 1937 годах.

Обо многих событиях читатель узнает не по документам, а из подстрочных примечаний. И это неизбежно. В сборниках тесно. Ведь они должны показать весь мир за бурное двадцатилетие его истории. Здесь очень важен принцип отбора материала. На наш взгляд, некоторые документы, например многочисленные отклики зарубежной прессы на смерть А. М. Горького, можно было бы безболезненно опустить. В то же время сборнику не хватает ряда важных материалов. Можно было бы сказать и о некоторых недочетах переводов

(в частности, о разночтениях текстов обращений Р. Роллана с текстом собрания сочинений). Думается, что не всегда заглавие очередного тома отражает его содержание. Но все это мелкие недочеты серьезного издания, в который вложен большой и вдохновенный труд.

Опубликованные две тысячи документов интернациональной солидарности за первое двадцатилетие Октября — только небольшая часть того огромного документального богатства, которым располагают наши архивные и библиотечные фонды. Нужно надеяться, что издание этих документов будет продолжено.

Изучение серии документов пролетарской солидарности не только обогащает новыми сведениями, но будит мысли и чувства, вызывает законную гордость советских людей, руководимых Коммунистической партией, укрепляет нашу веру в победу дела мира на земле.

Л. ЗАК,

*кандидат исторических наук.*

★

## БЕССМЕРТИЕ РОДА ЛЮДСКОГО

**Воспрянет род людской. Краткие биографии и последние письма борцов антифашистского Сопротивления. Предисловие Вильгельма Пика. Перевод с немецкого Р. А. Крестьянинова и В. М. Розанова. Редактор перевода Л. З. Плянова. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 705 стр.**

Есть святой обычай: в час самого большого торжества чтить память павших минутой молчания. В эту минуту мы, живые, не только вспоминаем о них, ушедших, но и как бы возвращаем их к жизни, в свой живой боевой строй, испытывая при этом особое горделивое и горькое чувство.

Нечто подобное этому высокому переживанию не покидало меня много часов, когда время от времени я принимался читать книгу «Воспрянет род людской». Прочитать ее не отрываясь, наверное, невозможно. Нет сил сразу выдержать это страшное чтение.

Предисловие к книге, вышедшей три года назад в ГДР, написал президент республики Вильгельм Пик. Он привел слова Карла Либкнехта, обращенные к рабочему классу в 1919 году:

«Крестный путь германского рабочего движения до конца еще не пройден, но день освобождения близок... События нарастают, подобно огромным волнам, вздымающимся до самого неба, и мы не раз,

достигнув вершины, уже низвергались в глубину. Но наш корабль, не отклоняясь от своего курса, гордо и смело идет прямо к цели.

И даже если нас уже не будет в живых, когда эта цель будет достигнута, живы будут наши идеи; они восторжествуют в мире освобожденного человечества. Несмотря ни на что!»

Карлу Либкнехту судьба не дала знать, что Германию еще постигнет чума фашизма, что жизненный путь многих борцов оборвет нож гильотины, залп эсэсовцев, топор палача и лишь в лучшем случае — негаданный выстрел из-за угла и что, наконец, сама казнь может оказаться более легким делом, чем иные муки.

Вот всего лишь четыре страницы из этой большой книги.

«В сентябре 1942 года, хотя Гильда Коппи была беременна на последних месяцах, гестапо арестовало ее и бросило в тюрьму. 27 ноября она родила в женской

тюрьме в Берлине, на Барнимштрассе, мальчика. А 29 января 1943 года нацистский суд приговорил молодую мать к смертной казни. Гильде Коппи разрешили еще несколько месяцев кормить ребенка, а затем 5 августа 1943 года вместе с десятью товарищами по борьбе ее повесили в Берлин-Плетцензее.

В день казни Гильда Коппи написала последнее в жизни письмо:

«Мама моя, дорогая, любимая моя мамочка!

Вот скоро нам и придется проститься навсегда. Самое тяжелое — расставание с моим маленьким Гансом — уже позади. Сколько счастья он мне принес! Я знаю, он в твоих любящих, надежных материнских руках, и я могу быть за него спокойна. Ради него, мамочка, обещай сохранить мужество... Теперь я ухожу к моему большому Гансу. А маленький Ганс, надеюсь, получил в наследство от нас все самое хорошее».

Тут же помещена короткая биографическая справка о «большом Гансе» — Гансе Коппи. «Техник. Родился 25 января 1916 года в Берлине. С юных лет — участник социалистического движения... В сентябре 1942 года гестаповцы снова арестовывают его вместе со многими его товарищами по борьбе, среди которых находилась и его жена. Как одного из самых активных борцов группы Сопротивления, его приговаривают к смерти. Спустя несколько недель после рождения сына, 22 декабря 1942 года Ганс Коппи был казнен».

Незадолго до казни он пишет письмо Гильде, стараясь уберечь ее от отчаяния. Письмо спокойное, даже немного деловитое, словно пишет не узник, а человек с воли:

«Лучше всего попытаться восстановить свое внутреннее равновесие и, если возможно, поверить в то, что перед тобой стоит определенная задача. И такая задача, которая, очевидно, целиком завладела тобой, у тебя ведь есть. Это наш ребенок».

Он шутит: «Надеюсь, что ты получила карточки, а посылки, пожалуйста, сохраняй теперь для себя. Время от времени мне кое-что перепадает, а тебе это нужнее, чем мне. Договорились? А то не будет никакой моей доли в нашем отпрыске. Чего доброго, он меня позднее начнет попрекать, что я у него все съел».

Он спокоен, заботлив, он улыбается, шутит, и, может быть, самое удивительное, что и спокойствие его и улыбка естествен-

ны. До конца своих дней он продолжает жить — советовать и советоваться, размышлять, читать, заниматься. «Открой «Дифференциальные уравнения» и несколько «Ауфбаухефге» Христиани,— пишет он Гильде,— этого хватит на многие годы — для чтения и занятий». Так мог написать человек не одной лишь большой воли — любая воля может сорваться, если только на ней и держится характер. Нет, тут должно быть что-то другое, более крепкое и сильное, что и саму волю может укрепить и поддержать в трудный час. Это что-то другое — прежде всего убежденность в своей правоте, в правильности однажды избранного жизненного пути, который надо пройти до последнего мгновения достойно.

Самое сильное, что выносишь из чтения книги,— резкий контраст между мерой испытаний, которыми гитлеровцы пытались сломить дух борцов Сопротивления, и поведением самих героев — естественным, человеческим, лишенным какого-либо надрыва.

Краткие биографические справки кончаются одинаково, но от этого они не становятся менее зловещими.

«Роберт Абсхаген был обезглавлен в Гамбурге».

Ольга Бенарно-Престес (жена вождя бразильского освободительного движения Луиса Карлоса Престеса) «вместе со многими товарищами по приказу лагерного начальства была назначена «на отправку». В лагере уничтожения в Бернбурге она в апреле 1942 года и была сожжена».

«Многие месяцы Конрад Бленкле подвергался пыткам, прежде чем «народная судебная палата» приговорила его к смертной казни. 20 января 1943 года Конрада Бленкле не стало».

Студентка Лизелотта Герман «не выдала ни одного из своих соратников и 20 июня 1938 года стала первой женщиной, умершей под ножом гильотины в Берлин-Плетцензее».

Да, так кончаются почти все биографии, а их в книге четыреста восемьдесят шесть. За многими биографиями следуют письма казненных. Мало сказать, что они написаны твердой, не дрожащей рукой — а ведь это предсмертные письма,— в них столько спокойствия и мужества, столько веры в то, что жизнь с ними не кончится, а пойдет дальше и рано или поздно станет справедливой жизнью! И когда они огляды-

вают пройденное, то лишь утверждают в этой высокой вере.

«...я видел, слышал и пережил чудовищные вещи,— пишет Бернгард Бестлейн.— Это-то и убило во мне даже малейшее сомнение в правильности моего мировоззрения...»

И мы слышим тут же другой чистый и ясный голос:

«Впал ли я в отчаяние за последние недели? Нет. В той же степени, в какой во мне нарастала уверенность, что ничего уже нельзя спасти, во мне росла сила — стойко снести свою участь до конца... Без нашей смерти не было бы новой жизни, не было бы будущего... Это страшная борьба, в которой лучше пробивает себе путь через реки крови. Как в минувшем тысячелетии, так и ныне человечество пишет свою историю самым благородным соком — кровью», — так пишет слесарь подпольщик Герман Дани, обезглавленный вместе со своими боевыми товарищами в Бранденбурге.

И мы слышим третий, четвертый, пятый голос... Это звучит голос самого бессмертия, и мы начинаем ощущать не только слитность устремлений, желаний, надежд борцов. Уходя из жизни, они видели будущее куда прозорливее, куда точнее, чем те, кто лишал их жизни. И они верили — стяг этого будущего будет подхвачен.

«Прошу тебя, если можешь, хотя бы немного помоги в воспитании моего сына, — обращается к своему другу Пауль Геше. — Если он проявит хорошие способности, прошу тебя, помоги их развитию. Это мое последнее желание. Если я буду уверен, что со временем он поможет в осуществлении того, в чем я видел задачу своей жизни, то я поднимусь на эшафот с сознанием исполненного долга: я внес свою лепту в торжество добра и справедливости. В надежде, что я и мои товарищи будем последними жертвами этой системы, я приветствую тебя и всех друзей и призываю:

Не плачьте над трупами павших бойцов,  
Не надо ни славы, ни слез им!  
Шагайте с надеждой и верой вперед,  
Несите их светлое знамя!»

Что можно добавить к этим словам? Я по-тому так много и цитирую, что чувствую себя совершенно бессильным передать свои-

ми словами содержание этой книги. Трагическая, она не взывает к жалости, а будит более жизнестойкие чувства и в конечном своем итоге рождает тот оптимизм, который с шемящей силой выражен в последних словах художника Альфреда Франка:

«Самый горячий привет всем, шлю вам бодрое «прощайте!»»

Под этим письмом в книге помещена фотография. Голая кирпичная стена, и на ней надпись: «Hitler stürzen heisst Freiheit u. Frieden!» («Свержение Гитлера означает свободу и мир!»). Неизвестно, где было написано это — на тюремной ли стене или в рабочем пригороде, да разве это тельер имеет значение. Это было написано. Трудно было жить тем, кто в потемках нацизма оставался верным революционным идеалам. Трудно потому, что такую верность не утаишь в себе, если ты честен. Настоящая верность проявляется в действии — пусть в этой надписи на стене, в листовке, подкнутой в чей-то подъезд, в услышанных по радио и затем переданных другим людям сводках о победах Советской Армии. И в других действиях, которые предпринимали борцы антифашистского подполья.

Им было очень трудно на воле, еще труднее в тюрьме. «В тюрьме, — писал вождь германского пролетариата Эрнст Тельман, — нам иногда приходилось выдерживать непосильное, временами нас готово было охватить разочарование, но мы оставались тверды, решительны, непоколебимы, хотя вокруг нас и свирепствовала буря, развязавшая стихии».

Корабль германского рабочего движения захлестнул такой вал, о котором, наверно, и не мог думать Карл Либкнехт. Но оставшиеся на корабле сделали все, чтобы похоронить нацизм. В общей великой победе над фашизмом, за которую отдали свою жизнь миллионы людей, есть святая кровь этих четырехсот восьмидесяти шести.

Их убивали втайне, глухими ночами, в неведомых казематах. Их пытались вычеркнуть из памяти человечества: на это всегда надеются палачи и их хозяева. Но история рассуждает иначе. Она брезгливо выбросила из своей памяти имена палачей. И во всей человеческой красоте встали перед нами павшие, те, кому мы обязаны бессмертием рода людского.

**А. КОНДРАТОВИЧ.**

## КНИГА О ВЕЛИКОМ РУССКОМ ЛЕТЧИКЕ

В. Ткачев. *Русский сокол*. Редактор Л. И. Муратова. Краснодарское книжное издательство. 1961. 204 стр.

Петр Николаевич Нестеров. Кому не известно это имя — имя великого русского летчика, основоположника высшего пилотажа, автора первой в мире «мертвой петли» и героя первого в истории военной авиации тарана в воздушном бою? В этом месяце исполняется семьдесят пять лет со дня его рождения.

Деятельность П. Н. Нестерова в авиации была очень непродолжительной — всего два года. Но за этот короткий срок он сумел завоевать для русской авиации высокое признание и стал одним из тех пионеров покорения воздушного пространства, память о которых высоко чтят не только в нашей стране, но и во всем мире. Подтверждением этому служит хотя бы тот факт, что в 1961 году Интернациональная авиационная федерация (ФАИ) учредила приз (кубок) имени П. Н. Нестерова для победителей международных соревнований по высшему пилотажу.

Многое из его наследия прочно вошло в арсенал современной авиации и широко используется как советскими, так и зарубежными летчиками. Нестеровские междугородние перелеты в любую погоду — прямые предшественники дальних перелетов многих советских летчиков. Это же можно сказать и о полетах в строю, начало которым положил П. Н. Нестеров, — они вошли в обиход военной авиации всех стран мира. Тактика авиации как наука также ведет начало от опытов Нестерова. Умение выполнять в воздухе приемы высшего пилотажа сейчас обязательно для любого летчика, а таран является самой решительной — и только русской, а ныне только советской — формой воздушного боя.

Памяти П. Н. Нестерова посвящена книга В. М. Ткачева «Русский сокол», выпущенная Краснодарским книжным издательством. Вообще говоря, литература о замечательном русском летчике довольно обширна — множество статей и до полутора десятков книг, от тоненьких брошюр Общества по распространению политических и научных знаний до объемистых романов. Но все они в той или иной мере грешат против полноты и точности в описании личности героя и пройденного им славного пу-

ти. Некоторые авторы (К. Вейгелин) обесценивают его творчество и принижают совершенный им подвиг. Другие (Н. Бобров и И. Шипилов) допустили немало исторических и технических ошибок.

Поэтому каждая новая книга о П. Н. Нестерове вызывает повышенный интерес, и в каждой из них мы ищем раскрытия новых, ранее не воспроизведенных черт его морального облика, неизвестных эпизодов его жизни и деятельности. Книга В. М. Ткачева привлекает особое внимание хотя бы тем, что ее автор — личный друг П. Н. Нестерова, его однокашник по кадетскому корпусу, а затем соратник и последователь в военной авиации.

Кстати, несколько слов об авторе. Судьба его необычна. Рядовой летчик, он к концу первой мировой войны стал главным начальником всего русского военного воздушного флота. Подобно многим другим кадровым офицерам царской армии, В. М. Ткачев не разобрался в событиях Великой Октябрьской социалистической революции и оказался в стане белогвардейцев, где был командующим авиацией «черного барона» Врангеля. В долгие годы эмиграции в Югославии генерал Ткачев начинал все яснее понимать, что большевики не только не погубили его родную страну, но неизмеримо возвеличили ее. И когда в 1944 году советские войска подступили к Белграду, В. М. Ткачев отказался от предложенной ему эвакуации. Сейчас он — гражданин СССР, пенсионер. Он поставил перед собой цель — искупить прошлые грехи перед русским народом научной и литературной работой в области истории авиации. Книга «Русский сокол» — первая проба пера семидесятишестилетнего автора.

Рецензируемая книга В. М. Ткачева — не историческое исследование. Это воспоминания о близком друге. Повествование охватывает всю жизнь П. Н. Нестерова — уклад жизни в семье, учебу в кадетском корпусе и в артиллерийском училище, женитьбу и службу на Дальнем Востоке и, наконец, деятельность в авиации. Все это так или иначе описано и в других книгах о Нестерове, но близость автора к герою книги позволила ему раскрыть особенно полно об-

лик Петра Николаевича и как обаятельного человека, и как авиационного новатора, и как пламенного патриота, подлинного героя.

Мы находим уже в начале книги рассказ о неизвестных ранее поступках Нестерова, таких, как форменный бунт против притеснений малышей старшекласниками в кадетском корпусе, протест против передачи в руки полиции революционных листовок, найденных кадетами в подzemелье одной из башен нижегородского Кремля.

Хорошо описан период учебы Нестерова в Гатчинской авиационной школе, поиски им нового в искусстве пилотирования, зарождение идеи «мертвой петли».

Получив по окончании летной школы назначение в Киевскую авиационную роту, П. Н. Нестеров после перерыва в несколько лет снова встречается там с автором книги. И с этой исключительно тепло описанной встречи начинается их совместная плодотворная работа по повышению боеспособности отряда, поиски технических усовершенствований и новых тактических приемов.

Единственный оставшийся в живых участник организованного П. Н. Нестеровым первого в мире группового перелета в строю по маршруту Киев—Остер—Нежин—Киев, В. М. Ткачев впервые описал этот перелет именно так, как он происходил, без домыслов и неточностей, которые встречались у других авторов.

То же можно сказать и о первой в мире «мертвой петле», очевидцем которой был В. М. Ткачев, о первых внеаэродромных полетах, первых опытах взаимодействия авиации с артиллерией и других эпизодах предвоенной жизни нестеровского отряда.

Но вот началась первая мировая война. П. Н. Нестеров — на юго-западном фронте, уже в роли командира XI корпусного авиационного отряда. Он летает больше других летчиков, выполняет самые сложные задания, проводит первые опыты сбрасывания

с самолета бомб, переделанных из артиллерийских снарядов.

Автор показывает, как мешало работе летчиков пренебрежение к ним со стороны высшего начальства. Особенно выделялся в этом отношении начальник разведывательного отряда штаба армии, в распоряжении которой находился XI отряд, — генерал М. Д. Бонч-Бруевич (в книге он не назван по имени). Брошенное им в лицо летчикам оскорбление — они, мол, боятся вылетать навстречу австрийским аэропланам, — быть может, явилось косвенной причиной преждевременной гибели Нестерова.

Его последний подвиг — таранный удар по вражескому самолету — явился достойным завершением жизни героя, всегда и во всем стремившегося увлечь и воспитывать подчиненных личным примером.

Из недостатков книги основным является то, что автор ведет повествование не от первого лица — он вывел себя под вымышленным именем Васи Найденова. Если это проявление скромности, то здесь она неоправдана. Если так сделано по настоянию издательства, то это явная ошибка редакционного коллектива. В результате мемуарное по существу повествование утратило значительную долю своей убедительности и достоверности.

На страницах 76—78 написано, что П. Н. Нестеров поднимался на воздушном змее для корректирования артиллерийского огня. Автор этой рецензии ряд лет работал над изучением жизни и творчества Нестерова и ни в каких материалах подобных сведений не обнаружил. Поскольку В. М. Ткачев сам не был очевидцем этих новаторских опытов, ему следовало бы пояснить, откуда он почерпнул сведения о них, чтобы убедить в их достоверности читателей, причастных к истории авиации.

В целом книга В. М. Ткачева — интересный и полезный вклад в нашу литературу о русском национальном герое Петре Николаевиче Нестерове.

Евг. БУРЧЕ.

## ПРАВДА, ИДУЩАЯ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Д. С. Лихачев. *Культура русского народа X—XVII вв.* Редактор Е. И. Михлин. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1961. 120 стр.

Отсталая, неподвижная, косная Русь, раскинувшаяся где-то на задворках Европы. Разве мог ее народ создать что-либо значительное, внести свой вклад в мировую культуру? Нет, этот народ мог лишь подражать Византии, заимствовать у нее, у западных и восточных соседей...

Тысячи «страниц «научных трудов» исписаны с единственной целью — установить эти «заимствованная» и вынести безапелляционный приговор о темноте и невежестве русских людей, якобы не способных к самостоятельному творчеству. Так писали в XVIII—XIX веках, так пишут и сегодня на Западе буржуазные историки культуры. Подобные же взгляды были распространены и в дореволюционной русской исторической науке. Лишь немногие ученые, в числе которых был М. В. Ломоносов, возвышали свой голос в защиту талантливого русского народа, боролись против «неприятелей наук российских», лишавших русских людей их истории, их культуры.

В последние десятилетия советские ученые — историки, археологи, литературоведы — камня на камне не оставили от «теории» дикости и извечной отсталости России. Достаточно напомнить о выдающихся исследованиях Б. А. Рыбакова, А. В. Арциховского, Н. Н. Воронина, М. К. Каргера. В результате их раскопок раскрылась богатая, яркая и многообразная жизнь крупнейших городов древней Руси — Киева, Новгорода, Чернигова, Владимира. В арсенал науки были введены такие новые виды источников, как новгородские берестяные грамоты, всевозможные изделия древнерусских ремесленников, надписи на сосудах, кирпичках, камнях. Изучение памятников архитектуры древней Руси позволило установить национальную самобытность древнерусского зодчества. Исследования историков искусства И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, М. В. Алпатова раскрыли подлинные шедевры древнерусской фресковой и станковой живописи.

Советские литературоведы В. П. Адрианова-Перетц, Д. С. Лихачев, Н. К. Гудзий и другие впервые создали научную историю литературы древней Руси и установили ее самобытный высокопатриотический характер. В последние годы были изучены пере-

довые, гуманистические течения в древнерусской литературе, боровшиеся против реакционной идеологии официальной церкви.

Многовековая культура народа предстала во всем своем удивительном многообразии. Не осталось никаких сомнений в том, что она создавалась и развивалась самостоятельно и во многом не только не отставала, но и превосходила культуру Византии и Западной Европы.

Очень важно, чтобы достижения наших ученых стали известны и доступны широкому читателю, чтобы ему было рассказано о вновь открытых страницах истории и культуры древней Руси. Этот рассказ должен быть доступен и интересен, увлекателен и прост и вместе с тем должен сохранять научную глубину и достоверность. Его прочтут люди разных профессий и разного уровня знаний, но одинаково любящие родную историю. Создание таких книг — большая и сложная проблема, которая может быть решена лишь общими усилиями наших ученых, писателей, журналистов, педагогов.

Нужно, к сожалению, признать, что советские ученые-историки в большом долгу перед нашим массовым читателем. Они пишут для него мало, да и далеко не все из написанного может удовлетворить высоким требованиям подлинно научной популяризации. Нередко еще под рубрикой научно-популярной литературы выходят в свет книги, написанные очень трудным, сухим языком, полные далеко не всегда нужных рассуждений на общие и отвлеченные темы. При этом нередко из книги в книгу переходят одни и те же примеры, социологические формулы и схемы. Под пером таких горе-популяризаторов науки богатая и яркая история народа становится поразительно тусклой и однообразной, а чтение подобных «сочинений» превращается в дело весьма мучительное.

Конечно, написать хорошую научно-популярную книгу нелегко, и потому особенно важно отметить каждую творческую удачу. Расскажем об одной из них.

Видный советский ученый, автор многочисленных исследований по истории древнерусской культуры, член-корреспондент Ака-

демии наук СССР Д. С. Лихачев выпустил книгу «Культура русского народа X—XVII вв.». Об этой книге хочется прежде всего сказать, что она написана с подлинным вдохновением. Широкий читатель, к которому обращается автор, не останется равнодушным к высоким достижениям талантливых русских людей в самых различных областях культуры.

Д. С. Лихачев просто и доступно излагает результаты огромной исследовательской работы советских ученых, открывших новые страницы в истории древнерусского искусства и литературы. Хотя ограниченные размеры научно-популярной книги не позволили представить в ней все богатства культуры древней Руси, автору удалось все же раскрыть во всем его блеске творчество древнерусских мастеров — строителей, художников, ювелиров, оружейников, получившее признание далеко за пределами родной земли.

Лишь немногие имена создателей выдающихся произведений литературы и искусства дошли до нашего времени. Тысячи творцов подлинных шедевров остаются неизвестными. Но автору удалось передать свою глубокую симпатию к художникам минувших веков, отдававшим все свое умение прославлению родины.

Пожалуй, наиболее яркие страницы посвящены литературе и книжному делу древней Руси. Первые русские книги писались и украшались их создателями с исключительной любовью и тщанием: русские книжники уже девять веков назад сознавали огромную пользу книг. «Велика бывает польза от учения книжного», — писал летописец в 1037 году; книги — «реки, напоющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь глубина неизмеримая».

В XI—XII веках в Киеве и других городах переводились многочисленные произведения византийских и античных писателей. Это были книги по истории, географии, естественным наукам, а также повести и романы. Тогда же было создано немало оригинальных сочинений, среди которых самым примечательным была «Начальная летопись», или «Повесть временных лет» — книга об исторических судьбах Русской земли. «Ни одна славянская страна, — пишет Д. С. Лихачев, — и ни одна страна северозападной Европы не обладала в XI — начале XII века таким превосходным сочинени-

ем по истории своей родины, каким была «Повесть временных лет». Летописец проявил себя «образованным писателем, знакомым с обширным кругом произведений — русских, византийских, болгарских, западнославянских», и создал целую энциклопедию русской жизни, дающую представление «не только об истории Руси, но и о ее языке, происхождении письменности, религии, воззрениях на мир, географических знаниях, искусстве, международных связях и т. д.».

В рецензируемой книге ярко описаны величественные памятники древнерусского зодчества, которые уже на протяжении многих веков украшают Киев, Новгород, Псков, Владимир и другие древнейшие русские города. До наших дней дошли замечательные фресковые росписи и мозаики, украшавшие стены Софийского собора в Киеве и ряда церквей. К сожалению, многие бесценные памятники архитектуры и живописи — новгородские церкви — были варварски уничтожены немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

На протяжении своей тысячелетней истории Русь не раз подвергалась нападению со стороны иноземных захватчиков.

Жестоким был удар, нанесенный русскому народу татаро-монгольскими завоевателями в середине XIII века. Опустошению подверглась Русская земля, в развалинах лежали города, погибли замечательные культурные сокровища — творения русских умельцев. Пришли в упадок ремесла и искусства, которыми славилась древняя Русь. Прекратилось изготовление перегородчатой эмали, черни и зерни, была забыта резьба по дереву и камню. Резко сократилось строительство каменных зданий.

Но уже в XIV—XV веках начался новый хозяйственный и культурный подъем. Вера в неизбывную силу Русской земли, в ее великое будущее особенно проявилось в летописях и других памятниках литературы, воспевавших русских патриотов, не склонивших головы перед жестокими врагами.

В книге показано, что в этот период особого расцвета достигла живопись. Андрей Рублев и Феофан Грек могут быть смело поставлены в один ряд с современными им прославленными мастерами итальянского Возрождения. По словам Д. С. Лихачева, «если бы от XIV—XV вв. не сохранилось ничего, кроме произведений Рублева, то их

одних было бы достаточно, чтобы судить о высоком развитии на Руси как человеческой личности, так и общественной культуры».

В книге раскрываются выдающиеся достижения русской национальной культуры XVI—XVII веков, когда сложилось и окрепло русское централизованное государство. Автор рассказывает увлекательную историю создания ансамбля Московского Кремля. Многие его здания возводились русскими и иностранными зодчими в разное время. И тем не менее работа каждого зодчего была подчинена единому замыслу. По словам Д. С. Лихачева, Кремль — «русский по своей архитектурной идее, русский по своему своему духу. Торжественный и жизнерадостный, классически спокойный и интимно лиричный, Московский Кремль — живая история русского народа».

В XVI—XVII веках были созданы крупнейшие произведения русского летописания, и в том числе грандиозный «Лицевой летописный свод», иллюстрированный более чем десятью тысячами миниатюр на сюжеты из всемирной и русской истории. Летописи прославляли героическое прошлое Руси, воспитывали у читателей любовь и уважение к родной истории. Были созданы и такие выдающиеся произведения литературы и искусства, как сочинения Аввакума, живопись Симона Ушакова, памятники зодчества Москвы, Ярославля, Ростова и других городов.

В отличие от многих изданий, в которых вопросы истории культуры рассматриваются зачастую как нечто самодеятельное и

обособленное от исторической жизни народа, Д. С. Лихачеву удалось осветить пути развития культуры на широком историческом фоне и показать, что в основе прогресса лежат факторы экономического и политического развития Руси.

Многочисленные иллюстрации книги позволяют воочию представить себе шедевры зодчества и прикладного искусства, живописи, мозаики, резьбы по камню.

Автор надеется, что читатель начнет с его книги знакомство с древнерусской культурой. Помочь продолжить и углубить это знакомство позволяет удачно составленный краткий указатель рекомендуемой литературы. «Знать все то лучшее, — пишет Д. С. Лихачев, — что создано русским народом, — создано в неимоверно тяжелых условиях, — уметь понимать произведения древнего искусства, уважать их и любить — не только обязанность каждого советского человека, но и великое счастье. Знание истории своего народа, знание памятников его культуры открывает перед человеком целый мир, — мир, который не только величествен сам по себе, но который позволяет по-новому понять и оценить современность».

И к еще одному выводу подводит читателя книга: нужно бережно хранить памятники прошлого, искать, находить и изучать то немногое, что дошло до нас от той далекой поры сквозь бури истории.

**Д. ГУРВИЧ, И. ШАСКОЛЬСКИЙ,**  
*кандидаты исторических наук.*

Ленинград.



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**ЛЮДИ БЕССМЕРТНОГО ПОДВИГА** (Очерки о дважды Героях Советского Союза). Книга первая. 462 стр. Цена 70 к. Книга вторая. 512 стр. Цена 78 к. Госполитиздат. М. 1961.

Свыше одиннадцати тысяч воинов были увенчаны в годы Великой Отечественной войны высоким званием Героя Советского Союза. Многие из них совершили новые замечательные подвиги, принесшие им вторую Золотую Звезду. Летописью подвига бессмертных дел, совершенных дважды Героями Советского Союза, является двухтомник, выпущенный Госполитиздатом. Он включает сто четыре очерка с фотографиями героев. Каждому очерку предшествует краткое жизнеописание героя.

Среди дважды Героев Советского Союза — представители различных родов оружия, военнослужащие разных возрастов и национальностей, воинских званий, боевого и жизненного опыта. Из них — пять Маршалов Советского Союза, пятьдесят девять летчиков, командиров и военачальников ВВС, шестнадцать общевойсковых офицеров и генералов, тринадцать танкистов, семь военных моряков и летчиков ВМФ, два артиллериста и два командира партизанских соединений.

Не всем суждено было увидеть великую победу Советского Союза — восемнадцать пали смертью храбрых на полях сражений. Среди них — бывший командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И. Д. Черняховский, генерал-майор авиации И. С. Полбин, подполковник Б. Ф. Сафонов и другие верные сыны партии и народа.

Из ныне здравствующих дважды Героев Советского Союза шестьдесят один продолжает службу в рядах Вооруженных Сил, передавая свой воинский опыт молодым бойцам, воспитывая у них высокие принципы человека коммунистического общества. Многие герои работают в различных областях народного хозяйства.

Сто четыре очерка — сто четыре ярких боевых эпизода. Очерки эти различны по уровню литературного мастерства. Но каковы бы ни были частные замечания, важнее всего отметить главное: выпустив двухтомник «Люди бессмертного подвига», Госполитиздат сделал нужное и полезное дело

А. Иглицкий.

**Ю. К. ФИШЕВСКИЙ.** Монополии ФРГ — оплот империалистической реакции. Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М. 1961. 184 стр. Цена 54 к.

В этой книге речь идет о возрождении и укреплении западногерманского империализма после второй мировой войны. Особую заботу о милитаризации ФРГ проявляют западные державы.

По словам Н. С. Хрущева, главным демомом, определяющим милитаристскую и реваншистскую политику, проводимую Западной Германией, является Аденауэр. Престарелый канцлер усердно выполняет волю истинных хозяев страны — агрессивных кругов крупного монополистического капитала.

В первых главах книги говорится о возрождении крупнейших монополий в Западной Германии, о ее промышленном развитии после второй мировой войны, росте концентрации в промышленности ФРГ, господстве монополий. Центральная часть книги — глава «Монополии и милитаризация Западной Германии». Пользуясь тем, что западные державы саботируют выполнение обязательств, вытекающих из решений Потсдамской конференции, крупнейшие промышленные и банковские монополии быстро восстановили и усилили свое могущество. В их числе активно участвует в военном «гешефте» принадлежащая государству компания «ИФГ», объединяющая двадцать крупных заводов. Ее коммерческий директор — Курт Аденауэр, племянник канцлера.

В последней главе разоблачается буржуазный миф о «всеобщем благосостоянии» в ФРГ.

Книга Ю. Фишевского обогатит читателя многими полезными сведениями и явится вкладом в борьбу всех честных людей против возрождающейся опасности со стороны западногерманского империализма и его покровителей.

А. О.

★

**И. АКИМУШКИН.** Тропую легенд. «Молодая гвардия». М. 1961. 288 стр. Цена 62 к.

В царстве животных и растений нередко происходят, на первый взгляд, необъяснимые, загадочные явления. Ну, например, как

находят дорогу птицы во время своих весенних и осенних странствований? Почему вдруг выпадает «кровавый дождь»? В разговоре мы часто упоминаем «крокодиловы слезы», ставшие синонимом сентиментальной жестокости, «птичье молоко» как символ недосагаемости или пресловутую «рыбью немоту». А существуют ли в природе эти самые «крокодиловы слезы», «птичье молоко» и действительно ли немые рыбы?

Не менее интересен и вопрос о возникновении многочисленных легенд о русалках, вампирах, оборотнях, домовых, которые дошли до нас из стародавних времен, когда люди, не обладая знаниями и потому не умея объяснить непонятные им явления природы, окружали их ореолом легенд, иногда поэтических, иногда зловещих, суеверно видя в подчас безобидных зверьках и птицах вестников несчастья.

Обо всем этом серьезно и занимательно рассказывает книга биолога И. Акимушкина «Тропю легенд». Книга эта увлекательна, насыщена многими фактами и сведениями, проиллюстрирована выразительными рисунками и фотографиями. Страница за страницей ведет нас автор тропю легенд в обширный и безграничный мир познания, и на каждом шагу мы совершаем полезные для себя большие и малые открытия, которые еще активнее пробуждают в нас интерес к окружающему миру.

**В. Гольдштейн.**

★

**ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА.** Сборник воспоминаний об обороне Брестской крепости в июне—июле 1941 г. Госиздат БССР. Минск. 1961. 602 стр. Цена 71 к.

В этой книге собраны многие вновь обнаруженные материалы, связанные с обороной Брестской крепости.

Сборник содержит воспоминания семидесяти трех участников обороны крепости. Среди авторов—Герой Советского Союза П. Гаврилов, С. Матевосян, П. Клыпа и другие. Взволнованно и живо они рассказывают о самоотверженной борьбе против немецко-фашистских оккупантов летом 1941 года. Внимание читателя привлекут сведения о прошлом Брестской крепости, о численности ее гарнизона в июне 1941 года, о том, какие части участвовали в героической обороне. Широко использованы документы архива Министерства обороны СССР и других советских хранилищ. В книге помещены фотоснимки руин крепости, надписей, обнаруженных на ее стенах, фотодублики немецких документов, приказа по гарнизону крепости и так далее.

Читатель найдет в сборнике краткие биографические сведения об авторах воспоминаний и портреты их.

**Б. Виноградов.**

★

**Б. Г. АНАНЬЕВ. Теория ощущений.** Издательство Ленинградского университета. 1961. 456 стр. Цена 1 р. 84 к.

Ощущения и восприятия—единственный источник знания человека об окружающем мире. Проблема ощущений—это проблема не только физиологии, но и психологии, философии и ряда других наук и областей практики. В составе философских знаний наука об ощущениях является частью марксистско-ленинской теории познания.

Автор делает попытку обобщить с позиций диалектического материализма современные научные данные об основных видах ощущений—зрительных, слуховых, вкусовых, температурных, болевых и других.

С прогрессом науки и техники расширяется область изучения ощущений. Введение цветной сигнализации на транспорте заставило детально изучить аномалии цветового зрения. Успехи авиации стимулировали углубленное исследование работы вестибулярного аппарата («внутреннего уха»). У человека обнаружены некоторые ранее не известные виды чувствительности. Из них наиболее изучена вибрационная чувствительность (к инфразвукам).

Рассказывая об успехах теоретического мышления в познании Вселенной, автор пишет: «Биофизика, биохимия и физиология, непосредственно связанные с авиационной медициной, вплотную приступили к разработке новых проблем, возникших в связи с возможным выходом человека за пределы нашей планеты—Земли... Не всем известно, что наряду с классическими трудами по реактивной технике Циолковскому принадлежат оригинальные работы по натурфилософии и психологии. В этих работах многое представляет специальный интерес для проблемы отношения человека к Земле и ко Вселенной в процессе чувственного и логического отражения окружающего мира».

По упомянутому здесь проблемам возникла обширная литература. Систематическое изложение автором результатов важнейших исследований представляет большой интерес.

Врач Д. Виленский.

★

**РОМАН ПЕРЕСВЕТОВ. Тайны выцветших строк.** Детгиз. М. 1961. 288 стр. Цена 57 к.

«Тайны выцветших строк»—это тайны старинных рукописей, раскрытые кропотливым трудом ученых-историков. Лучшие главы этой научно-популярной книги по праву могут быть названы научно-художественными. В них налицо единство замысла и даже, пожалуй, сюжет. Это не значит, что автор беллетризует материал, украшает его диалогом, вводит вымышленных героев и т. п. Сюжет здесь иного рода, чем в беллетристике. Здесь он в истории научного открытия, поисков.

Лучшие из глав книги — «Великое искоемое» о так называемой библиотеке Ивана Грозного и «Загадочные приписки», с содержанием которых читатель «Нового мира» знаком по статье того же автора (см. № 9, 1960).

В очерке, составляющем первую главу книги, Р. Пересветов прослеживает целую эстафету поисков, длившихся более ста лет (с 1827 года до наших дней). От профессора Дерптского (Тартуского) университета Вальтера Фридриха Клоснуса до академика М. Н. Тихомирова, выступившего в 1960 году на страницах «Нового мира». Перипетии столетних разысканий, история находок и тупиков, догадок и разочарований, преемственность и своеобразная коллективность труда многочисленных ученых, живших в разное время, единая нить поисков, переходящая из рук в руки, — это и есть сюжет очерка, изложенный автором живо и занимательно.

Иначе построен второй очерк — о пометках и приписках, сделанных неизвестным «редактором» на двух разных экземплярах Лицевого летописного свода, создававшегося при Иване Грозном. Сюжетом тут являются разыскания не многих ученых, а одного — ленинградского историка Д. Альшица, которому удалось доказать, что автором приписок является сам царь Иван Грозный. Подробности этих разысканий, отнюдь не сразу приведших к успеху и затянувшихся на годы, не менее любопытны, чем подробности поисков библиотеки Грозного.

К сожалению, остальные главы книги слабее. В них автор не нашел того счастливого сюжетного единства, которым отмечены первые две главы.

В очерке «Приказ тайных дел» много интересного, есть и поиски. Но стержнем изложения они не стали. Отсюда некоторая аморфность: в очерке восемьдесят страниц, а кажется, он длиннее предыдущего, хотя в том почти сто тридцать страниц. Еще меньше стройности и цельности в главе «Дела Коша Запорожского».

В главе «Биография одного скелета» автор увлекся необычными обстоятельствами жизни Григория Котошихина в ущерб тому, чем, собственно, этот бежавший в Швецию подьячий времен Алексея Михайловича знаменит, — о сочинении Котошихина рассказано скупо.

В книге много рисунков. Далеко не всегда они снабжены указанием источника. Это мешает читателю разобраться, где перерисовка старинного подлинника, где стилизация под старину (увы, и то и другое довольно аляповато).

На книге Романа Пересветова, изданной Детгизом, есть пометка: «Для старшего возраста». Адрес указан точно, школьник узнает из книги много нового, увлекательного. Но книга, безусловно, представит интерес и для взрослого читателя.

Б. З.

★

**И. А. БУНИН.** Повести, рассказы, воспоминания. «Московский рабочий». 1961. 631 стр. Цена 1 р. 22 к.

Этот сборник произведений И. А. Бунина представляет существенный интерес для советских читателей. Кроме нескольких дореволюционных рассказов и повести «Деревня», в него вошел ряд еще не известных нашему читателю произведений И. А. Бунина, написанных им в эмиграции, и в том числе автобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева», которая по праву считается одним из самых лучших произведений писателя.

«Жизнь Арсеньева» и несколько рассказов напечатаны с сокращениями. Составитель однотомника ссылается на то, что книгу «Освобождение Толстого» Бунин разрешил печатать с сокращениями. Но это разрешение едва ли можно было толковать расширительно. В результате «Жизнь Арсеньева» и некоторые другие произведения Бунина, помещенные в однотомнике, выглядят приглаженными. При этом ни во вступительной статье, ни в примечаниях ничего не сказано о характере сокращений, о том, что в произведениях Бунина, написанных в эмиграции, нередко весьма сильно звучали узкословные мотивы.

В однотомник вошли также воспоминания Бунина о Шаялине и несколько различных отрывков мемуарного характера. Однако и они почему-то оставлены составителем без примечаний, хотя некоторые субъективные суждения писателя (например, о Горьком) явно требовали пояснений.

А. Дементьев.

★

**ИОСИФ УТКИН.** Стихотворения и поэмы. Гослитиздат. М. 1961. 328 стр. Цена 57 к.

Перед нами небольшая по формату, с любовью изданная книга. На обложке имя — Иосиф Уткин.

Иосиф Уткин вошел в советскую поэзию в начале двадцатых годов и прочно занял в ней одно из заметных мест. При жизни ему пришлось столкнуться и с хвалителями, поднимавшими поэта «на недосягаемую высоту», и с хулителями, перечеркивавшими его «вчистую». Одни опирались на лучшие стихи поэта, для других срывы Уткина были главным в его поэзии.

Новый сборник, наиболее полный, помогает представить советскому читателю Уткина, каким он действительно был.

Революция, гражданская война дали Уткину тот неисчерпаемый запас веры, бодрости, оптимизма, который в течение двух десятков лет питал его творчество, позволил создать поэмы «Повесть о рыжем Мотэле» и «Милое детство», такие стихи, как «Расказ солдата», «Расстрел», «Налет», «Молодежи», «Октябрь», «Свидание», «Двадцатый», «О юности», «Комсомольская песня» и многие другие.

Много тем волновало поэта. Но две были главными: тема революции и переплетен-

ная с нею тема большой любви, дающей человеку силы на жизнь и подвиг.

Особенно ярко вторая тема прозвучала в годы Великой Отечественной войны, когда он создал стихи, звавшие в бой, — «Перед боем», «Комсомольцу», «Москве», «Сестра», «Петлицы», «Я видел девочку убитую...», «После боя».

Сложный путь прошел поэт. Автор многих сильных стихов против мещанства, он, случалось, срывался, создавал «красивые» стихи, которые нравились именно тем, против кого он боролся.

В новом издании, вступительную статью к которому написал З. Паперный, представит не хрестоматийно приглашенный Уткин, а тот поэт, который любил, боролся, ошибался и побеждал.

★

Р. Борисов.

**ПОЛЬ ГИМАР.** Гаврская улица. Перевод с французского. Гослитиздат. М. 1961. 120 стр. Цена 31 к.

Каждый день в Париже кто-то кончает жизнь самоубийством. И за каждой такой смертью — человеческая драма, часто никому не известная, никем не разгаданная. О самоубийстве одинокого старика, торговца лотерейными билетами, узнал талантливый молодой писатель Поль Гимар. Этот старик был на две недели приглашен в качестве «деда Мороза» в большой универсальный магазин, где пользовался необыкновенным успехом у детей. По окончании контракта вернуться к своей безрадостной и одинокой жизни он уже не смог. Поля Гимара взволновала эта история, и он рассказал о ней в своем маленьком романе «Гаврская улица».

Герой романа Жюльен Легри вот уже десять лет с утра до вечера стоит на одной из самых людных улиц Парижа, предлагая прохожим «попытать счастья», в которое он не верит. У него нет близких, нет друзей. Но душа его жаждет связей с людьми, и потому он наполняет свою жизнь вымышленным общением с вымышленными друзьями.

Резкими и скупыми штрихами обрисован в романе мир, в котором нет покоя, нет доброты, нет человечности. В образе героя автор воплотил безграничное одиночество и гибель маленького человека в большом городе. Его судьба стала для него бесспорным доказательством неблагоприятия в мире, где все так «усовершенствовано». И Поль Гимар, в котором чувствуется тонкое лирическое дарование, становится сатириком, когда заходит речь о характерных чертах современной западной действительности.

С горечью говорит он о молодежи, одичавшей от внутренней пустоты и тоски по неведомым идеалам. С издевкой показыва-

ет писатель проникновение «американизма» в Европу, высмеивает пресловутую «деловитость» администрации нового типа по форме дружелюбно фамиллярную и по существу беспощадную к человеку. Но особенно острой критике подвергает Гимар американизированные методы в искусстве. На мытарствах одной из героинь романа Катрин, ставшей случайно и ненадолго кинозвездой, раскрывается бесчеловечность этого мира.

Маленькая книжка «Гаврская улица» получила во Франции высокую оценку критики (она удостоена премии Энтералье), хорошо, что теперь с ней познакомится и советский читатель.

А. Кеменова.

★

**АЛЕКСАНДРА АНИСИМОВА.** На короткой волне. Записки радистки. «Советский писатель». М. 1961. 216 стр. Цена 21 к.

Книга «На короткой волне» — лирический дневник, своеобразная, почти хроникальная запись, регистрация событий, размышлений, эмоций человека, оказавшегося во время войны в самой что ни на есть острой, драматической ситуации — в тылу врага с важнейшим, смертельно опасным заданием.

«Четырнадцатого июня 1941 года я окончила седьмой класс», — пишет А. Анисимова. Совсем еще девочка с тихой московской улицы Селезневки, она с завидным упорством добивается своего — уйти на фронт. И вот наконец первые, правда еще дальние подступы к цели — школа военных радистов особого назначения. «В нашем классе, то есть в нашем взводе, сорок девушек-москвичек». В этой фразе, в этом «то есть» очень много — и возраст героини и привычный лексикон школьницы. И «поправка», внесенная временем. Очень трудно и сложно пришлося молодой радистке. Спокойно и даже чуть сухо ваты написаны страницы, рассказывающие о том, как в глухом лесу, в оккупированной немцами Польше, в настороженной ночной темноте «приземлялась» парашютистка. Пилот был неточен, и Ася, прыгнувшая вместе с друзьями, оказалась одна. Почти неделю, надежно закопав рацию, бродила она по лесам, промокшая, больная, голодная, пытаясь отыскать товарищей. Обо всем этом рассказано ясно, точно, как в боевом донесении, но с такой яркостью ощущений, которые дают читателю достаточно полное представление о том, что пережила героиня.

Польские партизаны нашли Асю и помогли ей связаться с товарищами. Более полугода провела группа советских разведчиков в лесах Польши, выполняя задание. Рассказ об этих месяцах, об отношениях с польскими крестьянами интересен и своей документальной достоверностью и меткостью наблюдений.

Т. Смолянская.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрущев.** Каждая советская республика должна внести достойный вклад в строительство коммунизма. Речь на совещании работников сельского хозяйства Белорусской ССР в гор. Минске 12 января 1962 года. 48 стр. Цена 5 к.

**VIII съезд Коммунистической партии Японии** (Токио, 25—31 июля 1961 года). 304 стр. Цена 57 к.

**Знаменосцы.** Сборник. 420 стр. Цена 78 к.  
**М. В. Лавриченко.** Экономическое сотрудничество СССР со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 144 стр. Цена 17 к.

**Луиза Мамиак, Андре Вюрмсер.** СССР открытым сердцем. 288 стр. Цена 57 к.

**Л. Митрохин.** Христианская «наука жизни». 128 стр. Цена 16 к.

**Б. Пальванова.** Дочери советского Востока. 176 стр. Цена 20 к.

**Джордж Моррис.** Основные проблемы рабочего движения в США. 208 стр. Цена 24 к.

**Г. П. Попов.** За независимый и нейтральный Лаос. 96 стр. Цена 11 к.

**Пятнадцатый съезд ВКП(б).** Декабрь 1927 года. Стенографический отчет. 876 стр. Цена 1 р. 58 к.

**А. С. Степанов.** Десятый съезд РКП(б). 120 стр. Цена 14 к.

**Збигнев Столярек.** «Город чудес». Своими и чужими глазами (Лурд сегодня). 88 стр. Цена 9 к.

**СССР и арабские страны.** 1917—1960 гг. Документы и материалы. 856 стр. Цена 1 р. 44 к.

**Вл. Федоров.** Невидимая империя. 96 стр. Цена 11 к.

**Черные призраки отступают.** Рассказы о борьбе с верующими. 120 стр. Цена 13 к.

**З. Шейнис.** Снова тень Вотана. 72 стр. Цена 8 к.

## СОЦЭНГИЗ

**Бонн — враг народов Азии и Африки.** Документы о колониальной политике правительства Аденауэра. 138 стр. Цена 25 к.

**Дневник посла Додда.** 1933—1938. Подготовлен к печати Уильямом Э. Доддом-младшим и Мартой Додд. 567 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Заработная плата в промышленности СССР и ее совершенствование.** 208 стр. Цена 35 к.

**Коллектив авторов.** К столетию гражданской войны в США. 586 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Р. М. Мукиджанова.** Политика США в Пакистане. 1947—1960. 224 стр. Цена 45 к.

**А. Р. Тюрго.** Избранные экономические произведения. 198 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Е. М. Филатова.** Русская революционная демократия и ее буржуазные критики (Против искажений экономических идей демократов). 295 стр. Цена 74 к.

**Хрестоматия по истории средних веков.** В трех томах. Том 1. Раннее средневековье. 688 стр. Цена 1 р.

**В. Шевяков.** Подвиг русского народа в борьбе против татаро-монгольских захватчиков в XIII—XV веках. 111 стр. Цена 24 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**А. Балин.** Солнце над цехом. Стихи. 152 стр. Цена 17 к.

**В. Британишский.** Наташа. Стихи. 108 стр. Цена 11 к.

**И. Вайфельд.** Мастерство кинодраматурга. 304 стр. Цена 74 к.

**И. Гринберг.** Вера Инбер. Критико-биографический очерк. 196 стр. Цена 32 к.

**Н. Забара.** Отец. Роман. Перевод с еврейского. 284 стр. Цена 53 к.

**А. Ильченко.** Козацкому роду нет переводу. Роман. Перевод с украинского. 600 стр. Цена 1 р. 23 к.

**Ю. Казаков.** По дороге. Рассказы и очерк. 260 стр. Цена 31 к.

**Н. Кончаловская.** Цвет. Стихи. 88 стр. Цена 15 к.

**А. Кудрейко.** Пересечение путей. Книга стихов. 160 стр. Цена 27 к.

**А. Кузнецов.** Селенга. Рассказы. 196 стр. Цена 38 к.

**А. Кулешов.** Адмирал воздуха. Рассказы. 80 стр. Цена 11 к.

**О. Курганов.** Солдат и строитель. Повесть и очерки. 353 стр. Цена 59 к.

**Г. Ленобль.** От слова — к образу. О языке советской художественной литературы. 172 стр. Цена 31 к.

**Ю. Мориц.** Мыс Желания. Стихи. 108 стр. Цена 12 к.

**На просторах Узбекистана.** Сборник. Перевод с узбекского. 196 стр. Цена 38 к.

**В. Писунюв.** Юрий Смолич. Критико-биографический очерк. 204 стр. Цена 33 к.

**Рассказы 1960 года.** Сборник. 468 стр. Цена 84 к.

**Р. Рыскулов.** Звездный возраст. Стихи. Перевод с киргизского. 76 стр. Цена 10 к.

**Б. Саулит.** Весенняя метель. Стихи. Перевод с латышского. 76 стр. Цена 9 к.

**В. Смирнова.** Аркадий Гайдар. Критико-биографический очерк. 204 стр. Цена 31 к.

**В. Файнберг.** Над уровнем моря. Стихи. 68 стр. Цена 9 к.

**Л. Хаустов.** Весенняя река. Стихи. 128 стр. Цена 20 к.

**Н. Химмет.** Новые стихи. Перевод с турецкого. 80 стр. Цена 17 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**В. Базанов.** Очерки декабристской литературы. Поэзия. 472 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Вагиф.** Лирика. Перевод с азербайджанского. 264 стр. Цена 26 к.

**Мартин Андерсен Ненсе.** Потерянное поколение. Жаннета. Романы. Перевод с датского. 512 стр. Цена 97 к.

**Борис Полевой.** Самые близкие. Избранные рассказы. 463 стр. Цена 1 р. 2 к.

**И. Сергиевский.** Избранные работы. Статьи о русской литературе. 344 стр. Цена 92 к.

**Борислав Станкович.** Дурная кровь. Роман. Перевод с сербо-хорватского. 192 стр. Цена 30 к.

**А. Фадеев.** О литературном труде. 340 стр. Цена 65 к.

**Дюла Юхас.** У Тиссы. Стихи. Переводы с венгерского. 144 стр. Цена 18 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- Николай Андиферов.** Подарок. Стихи. 79 стр. Цена 10 к.  
**Иван Баунов.** Лед идет. Стихи и поэма. 144 стр. Цена 32 к.  
**Дмитро Бедзик.** Песня про Байду. Роман. Перевод с украинского. 264 стр. Цена 55 к.  
**Игорь Грудев.** Соцветие. Стихи. 120 стр. Цена 25 к.  
**Лев Гумилевский.** Вернадский. 320 стр. Цена 66 к.  
**Евг. Долматовский.** Африка имеет форму сердца. Книга стихов. 160 стр. Цена 39 к.  
**Борис Егоров.** Разговор по существу. Юмористические рассказы и фельетоны. 239 стр. Цена 31 к.  
**М. Зуев-Ордынец.** Вызывайте 5... 5... 5... Сборник приключенческих рассказов. 128 стр. Цена 18 к.  
**Анатолий Калинин.** Цыган. Повесть. 72 стр. Цена 11 к.  
**Марат Каримов.** Весенние почки. Стихи. 64 стр. Цена 24 к.  
**Дмитрий Осин.** Зеленое войско мая. Рассказы. 288 стр. Цена 57 к.  
**От Москвы до тайги одна ночевка.** Сборник рассказов. 480 стр. Цена 1 р. 11 к.  
**Юрий Панкратов.** Месяц. Стихи. 136 стр. Цена 31 к.  
**Сергей Плачинда.** Таня Соломаха. Повесть. Перевод с украинского. 208 стр. Цена 52 к.  
**Антонио Родригес.** Бесплодное облако. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 58 к.  
**В. Смирнова-Ракитина.** Валентин Серов. 336 стр. Цена 69 к.

## ДЕТГИЗ

- А. Аграновский.** Разная смелость. 144 стр. Цена 38 к.  
**М. Белахов.** Дочь. Повесть. 96 стр. Цена 24 к.  
**Р. Габдрахманов.** Дорога приключений. Повесть. Перевод с башкирского. 192 стр. Цена 36 к.  
**Д. Гразкин.** Путь в партию. Рассказ старого большевика. 80 стр. Цена 11 к.  
**М. Ефетов.** Самый сиюный. Рассказ. 16 стр. Цена 19 к.  
**К. Первозицков.** Под солнцем Индии, страны сказочной и обыкновенной. Очерки. 160 стр. Цена 41 к.  
**Ф. Праттино.** Перчинка. Повесть. Перевод с итальянского. 176 стр. Цена 37 к.  
**Р. Соболенко.** Королинцы. Повесть. Перевод с белорусского. 224 стр. Цена 44 к.  
**Ю. Чельгрэн.** Приключения в шхерах. Повесть. Перевод со шведского. 192 стр. Цена 36 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

- Л. И. Андиферова.** О закономерностях элементарной познавательной деятельности. 152 стр. Цена 46 к.  
**Г. Б. Богатов.** Телевидение на земле и в космосе. 208 стр. Цена 35 к.  
**Великий Октябрь.** Сборник документов. 428 стр. Цена 1 р. 40 к.  
**Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур.** Материалы дискуссии 11—15 января 1960 г. 440 стр. Цена 2 р. 27 к.  
**В. В. Витт.** Стефан Жеромский. 344 стр. Цена 1 р. 27 к.  
**Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока СССР.** 407 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**А. Т. Григорьян.** Очерки истории механики в России. 292 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**Землетрясения в СССР.** 412 стр. Цена 3 р. 13 к.

**Е. А. Истрин.** Развитие письма. 396 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Г. В. Крылов.** Леса Западной Сибири (История изучения, типы лесов, районирование, пути использования и улучшения). 256 стр. Цена 1 р. 84 к.

**Н. Т. Кузнецов.** Сокровища наших рек. 159 стр. Цена 25 к.

**Я. М. Лебедев.** Атеизм М. Е. Салтыкова-Щедрина. 158 стр. Цена 24 к.

**Л. Н. Нежинский, А. И. Пушкаш.** Борьба венгерского народа за установление и упрочение народно-демократического строя. 552 стр. Цена 2 р.

**Л. Д. Розенберг.** Рассказ о неслышимом звуке. 160 стр. Цена 23 к.

**Столетие теории химического строения.** 148 стр. Цена 84 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Р. и. Андреасян, А. Я. Эльянов.** Ближний Восток. Нефть и независимость. 319 стр. Цена 1 р.

**А. Л. Баталов, Р. П. Гурвич.** Может ли Индия прогормить себя? 99 стр. Цена 30 к.

**Пьер Буато.** Мадагаскар. Очерки по истории мальгашской нации. Перевод с французского. 435 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Взаимосвязи литератур Востока и Запада.** 251 стр. Цена 80 к.

**Ю. А. Ершов.** Нефть и борьба Индии за экономическую независимость. 231 стр. Цена 55 к.

**Камилль ат-Тальмасани.** Американские фильмы глазами египтян. Перевод с арабского. 102 стр. Цена 25 к.

**Республика Индонезия 1945—1960.** Сборник статей. 383 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Современная персидская лирика.** 336 стр. Цена 60 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**С. Т. Бобренок.** Слово о товарищах (Записки участника обороны Брестской крепости). 296 стр. Цена 42 к.

**Г. С. Десницкий.** Часовые воздушных просторов Родины. 152 стр. Цена 40 к.

**Е. Ф. Ерыкалов, Ф. В. Носов, Е. П. Путырский, С. Н. Шунденко.** В огне революции (Военно-боевая работа большевистской партии в 1917 году). 288 стр. Цена 56 к.

**М. С. Манокеев.** Человек готовится к подвигу (Очерки о послевоенной жизни воинов Советских Вооруженных Сил). 132 стр. Цена 29 к.

**На пути к подвигу** (Очерки о ракетчиках). 120 стр. Цена 17 к.

**Незабываемое.** Воспоминания участников гражданской войны. 304 стр. Цена 61 к.

**С. А. Неустров.** Путь к рейхстагу. 96 стр. Цена 30 к.

**Б. Д. Николаев, П. А. Петрухин.** Мы с «Гремящего». 192 стр. Цена 44 к.

**М. И. Панарин.** В боях под Ржевом (Записки секретаря партбюро стрелкового полка). 128 стр. Цена 19 к.

**Партийно-политическая работа в Красной Армии** (Апрель 1918 — февраль 1919 гг.). Документы. 360 стр. Цена 81 к.

**Перед лицом общественности.** 256 стр. Цена 49 к.

**Пост 27** (Сборник воспоминаний бывших курсантов-кремлевцев, стоявших на посту № 27 у кабинета В. И. Ленина). 152 стр. Цена 32 к.

**Солдат, герой, ученый** (Воспоминания о генерал-лейтенанте Д. М. Карбышеве). 196 стр. Цена 49 к.

**П. В. Соколов.** Война и людские резервы. 192 стр. Цена 40 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

**Афганские народные пословицы и поговорки.** Перевод с пушту. 66 стр. Цена 11 к.  
**Филипп Боносский.** Волшебный папоротник. Роман. Перевод с английского. 711 стр. Цена 2 р. 36 к.  
**Грэм Грин.** Суть дела. Роман. Перевод с английского. 302 стр. Цена 86 к.  
**Индонезийские народные пословицы и поговорки.** Перевод с индонезийского. 57 стр. Цена 9 к.  
**Самим Коджагёз.** Возвращение десяти тысяч. Роман. Перевод с турецкого. 268 стр. Цена 88 к.  
**Джуда Уотен.** Соучастие в убийстве. Роман. Перевод с английского. 230 стр. Цена 73 к.

## ПРОФИЗДАТ

**Г. Багдасаров.** Идущие впереди. 64 стр. Цена 10 к.  
**А. Виташевич.** Наш девиз—поиск. 96 стр. Цена 12 к.  
**Вопросы профсоюзной работы.** 400 стр. Цена 74 к.  
**А. Горский, М. Зеленский.** Так работает совет новаторов. 56 стр. Цена 7 к.  
**В. Мещеретов.** Путь к мастерству. 80 стр. Цена 9 к.  
**А. Назаров.** Новое в организации социалистического соревнования. 56 стр. Цена 9 к.  
**В. Николаев, Я. Грановский.** Общественное конструкторское бюро. 40 стр. Цена 5 к.  
**Н. Сметанникова.** Воспитательная работа в бригаде коммунистического труда. 104 стр. Цена 18 к.

## ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Н. Г. Александров.** Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. 264 стр. Цена 89 к.  
**К. Ф. Гуценко.** Судебная система США и ее классовая сущность. 152 стр. Цена 20 к.  
**Н. Н. Леонова, Г. А. Линенбург.** Товарищеский суд на предприятии. 104 стр. Цена 12 к.  
**В. А. Романов.** Исключение войны из жизни общества. Международно-правовые проблемы. 200 стр. Цена 65 к.

## «ЗАРЯ ВОСТОКА» (Тбилиси)

**А. Антоновская, Б. Черный.** Документальные новеллы о Грузии. 126 стр. Цена 39 к.  
**Н. Верзибицкий.** Встречи с Есениным. Воспоминания. 128 стр. Цена 45 к.

## КАЛИНИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**И. Долгов.** Золотые Звезды калининцев. 299 стр. Цена 1 р.  
**Рубеж великой битвы.** Воспоминания участников боев. 164 стр. Цена 18 к.

## НОВОСИБИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Н. Дементьев.** Натка кубанец. Повесть. 162 стр. Цена 42 к.  
**Шагами сибирскими.** Очерки. 252 стр. Цена 67 к.  
**Н. Яценно.** Босоногая команда. Повесть. 209 стр. Цена 42 к.




---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

---

Редакция: Москва Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76 97.  
Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

---

Сдано в набор 27·XII 1961 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 30/I 1962 г.  
А 02030 Формат бумаги 70×108/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 91 350.  
Зак. 2260.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.